И.И. ГОРБАЧЕВСКИЙ



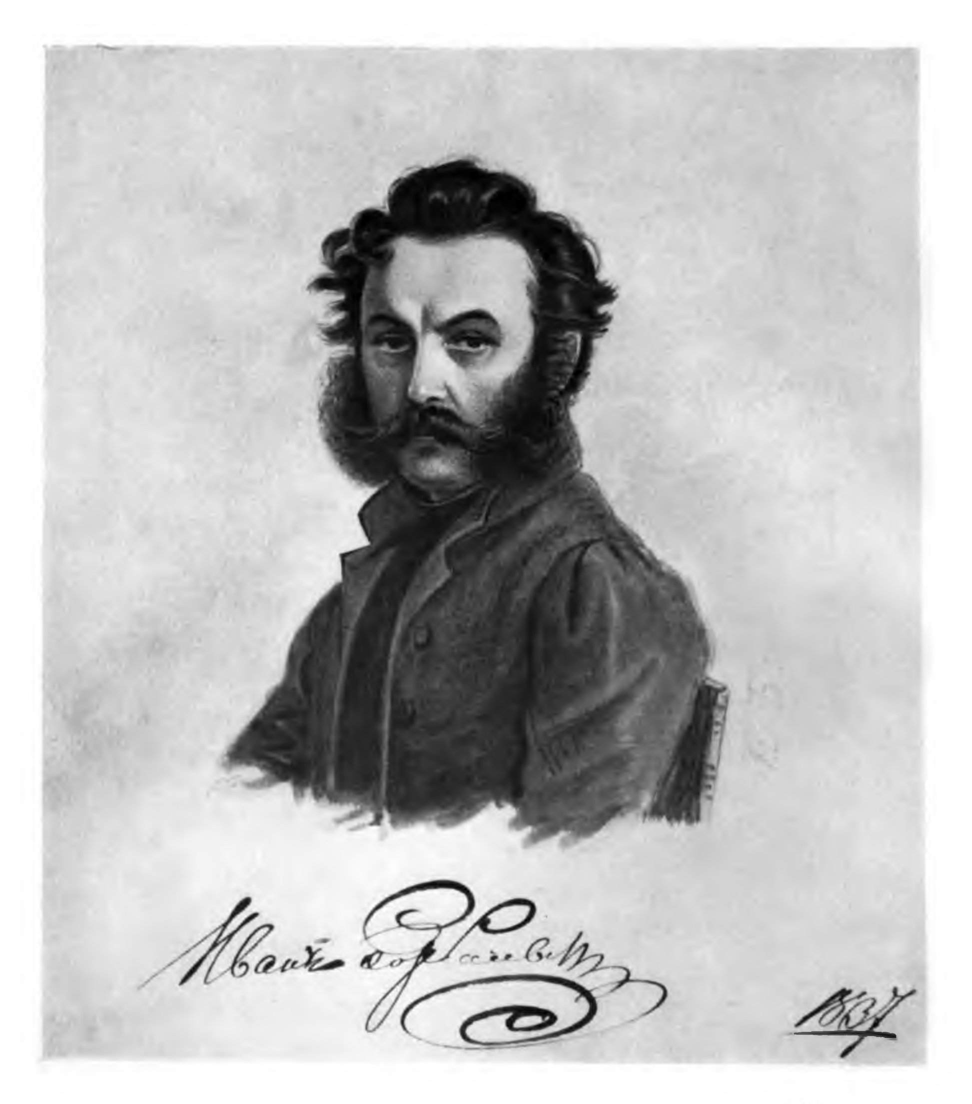
ЗАПИСКИ
ПИСЬМА

И.И. ГОРБАЧЕВСКИЙ

И. И. ГОРБАЧЕВСКИЙ

ЗАПИСКИ
ПИСЬМА

И. И. ГОРБАЧЕВСКИЙ



И. И. Горбачевский. С акварели Н. А. Бестужева. 1837 г.
(Из собрания И. С. Зильберштейна)

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Литературные Памятники



И. И. ГОРБАЧЕВСКИЙ



ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ
Б. Е. СЫРОЕЧКОВСКИЙ,
Л. А. СОКОЛЬСКИЙ, И. В. ПОРОХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА
1963

ЗАПИСКИ

I. ПРОИСШЕСТВИЯ ЛЕЩИНСКОГО ЛАГЕРЯ

1

Общество соединенных славян перед Лещинским лагерем.— Планы его реорганизации.— Славяне открывают Южное общество.— Свидание Борисова 2-го и Горбачевского с С. Муравьевым-Апостолом и Бестужевым-Рюминым 30 августа 1825 г.— Муравьев предлагает соединение Славянского общества с Южным. Мнения славян об этом предложении

В конце 1824 года тайное общество под названием Славянского союза или Соединенных славян состояло из малого числа членов, рассеянных по разным местам Южной России [1]. Усилия славян укоренить свои мнения и распространить Общество оставались без желаемого успеха. Многие из них убеждались даже, что время ни мало не сближает их с целью; но сие убеждение, не ослабляя желаний, еще более других воспламеняло.

6 декабря 1824 года Борисов 2-й и Горбачевский после долгого совещания признали, что для единства в действиях к скорейшему достижению предназначенной цели необходимо ускорить ход Общества, дать новое образование оному — учредить порядок в делах и подвергнуть членов ответственности за их действия. Во исполнение сей мысли первый из них написал проект окончательного образования Общества.

Мы упомянем здесь вкратце о сем уставе, чтобы тем хоть несколько пояснить дела Общества, и показать, в каком положении оно находилось до маневров под Лещиным. Сим проектом управление Общества поручалось президенту и секретарю, выбранным на один год и подлежащим ответственности пред Обществом. Первый назначал время и место обыкновенных и чрезвычайных собраний, давал направление действиям Общества и старался привести в исполнение все намерения и планы, служащие к распространению оного. Последний способствовал взаимным сношениям между членами, равно отношениям их с президентом; кроме того ему вверялась общественная сумма, из коей по согласию президента выделялись деньги, назначаемые для всякого предприятия, признанного полезным Обществу.

В марте месяце 1825 года многие из славян собрались в местечке Черникове (в 25 верстах от Житомира) и, рассмотрев помянутое предложение, приняли его единогласно; каждый чувствовал необходимость лучшего и правильнейшего устройства. По общему желанию, Борисов принял должность президента на время с тем, чтобы, сделав полное собрание членов в лагере под Лещиным и приняв еще некоторые улучшения в предположенном образовании Общества, избрать там нового президента. Иванов, находившийся по должности в корпусной квартире и имевший средства вступить в постоянные сношения со всеми членами, был назначен временным секретарем [2].

Составление общественной суммы должно было начаться с 1 сентября; сумма сия должна была беспрерывно увеличиваться взносами членов,— кроме сего секретарю дозволялось употреблять наличный капитал в торговых оборотах для приращения оного. Но непредвиденный случай разрушил все сии планы прежде, нежели они были приведены в исполнение. С давнего времени члены Славянского союза замечали, что офицеры бывшего Семеновского полка имеют какие-то тайные предприятия против правительства и думали, что они состоят в каком-либо тайном обществе. Борисов 2-й, узнав от Пестова и Высочина о близком знакомстве Сергея Муравьева с офицерами конных артиллерийских рот, препоручил Громницкому принять в Общество капитана Тютчева, служившего прежде в помянутом гвардейском полку, и поручить ему возобновить прежнее знакомство с Сергеем Муравьевым, стараясь узнать его мысли и намерения с тем, что ежели он заметит в нем что-либо клонящееся к цели Славянского общества, то немедленно уведомить о сем Борисова или которого-нибудь из членов. Не нужно говорить, что от Тютчева требовали скромности и осторожности; ему никто не препоручал принимать в члены С. Муравьева; просили только с ним сблизиться и узнать все что можно о тайном обществе.

В 1825 году 3-й пехотный корпус (кроме 7-й дивизии) для смотра, назначенного покойным государем, был собран под местечком Лещиным, находящимся от Житомира в 15-ти верстах, влево от дороги из Житомира в Бердичев. Полки 8-й и 9-й пехотных дивизий ушли на сборное место еще в начале августа месяца; артиллерия же сих дивизий и 3-я гусарская дивизия с принадлежащею к ней конною артиллериею прибыли в лагерь к 1 сентября.

По проходе 8-й артиллерийской бригады через Житомир, Иванов уведомил Горбачевского, что Пензенского пехотного полка капитан Тютчев открыл какое-то тайное общество, к которому принадлежит Черниговского полка подполковник Сергей Муравьев-Апостол. На другой день Борисов 2-й увиделся с Тютчевым, который подтвердил сказанное Ивановым, присовокупляя, что сие тайное общество чрезвычайно сильно, и что в скором времени оно начнет переворот в России; из слов его видно было, что члены

сего Общества составили уже для России Конституцию и на следующем году намеревались приступить к решительным мерам.

Сие известие поразило всех славян. Борисов 2-й и Иванов хотели уведомить о сем отсутствующих членов и назначить время для предположенного в марте месяце совещания. Другие члены, соглашаясь на сию меру, вместе с тем требовали, чтобы немедленно были открыты отношения с Муравьевым, который, по словам Тютчева и Громницкого, ищет знакомства славян. И в самом деле С. Муравьев и Бестужев-Рюмин 29 августа приезжали в деревню Млинищи * с намерением познакомиться с Горбачевским и Борисовым 2-м и, не застав их дома, запискою просили их к себе. Опасаясь потерять случай, благоприятный их желаниям, славяне положили, не дожидая общего собрания всех членов, препоручить Борисову и Горбачевскому открыть сношения с Сергеем Муравьевым и Бестужевым, но отнюдь не приступать к решительным мерам, не объявлять им ничего и ни на что не соглашаться без общего согласия всех членов Славянского общества.

30 августа Громницкий и Тютчев приехали к Борисову и Горбачевскому с предложением ехать в лагерь к Муравьеву; в этом случае они были некоторым образом посредниками между двумя Обществами. Свидание сие с помянутыми членами Южного общества было роковым ударом для Славянского союза. Муравьев принял Борисова и Горбачевского с особенным радушием, осыпал их ласками и лестными отзывами, которым едва могла противоустоять врожденная недоверчивость Борисова. Бестужев-Рюмин, бывший при сем свидании, говорил много и, в пылу разговора, излил всю свою душу. Нельзя довольно изобразить удивление славян, когда члены Южного общества начали говорить об их цели, намерениях и даже об именах всех их сочленов. Муравьеву и Бестужеву все было уже известно: самое образование Славянского общества, предположенное совещание для отклонения затруднений сношениям и действиям по Обществу. Славяне догадались, что Тютчев, не будучи уполномочен, открыл Муравьеву все тайны их Общества по личной к нему доверенности, а может быть даже и неосторожности. Муравьев, говоря о силе своего Общества и невозможности, в которой находились славяне осуществить свои желания без содействия русского и известного ему польского тайного общества, предложил славянам немедленно соединиться с Южным обществом. Борисов 2-й, желая отклонить подробные объяснения, отвечал на все поверхностно и неудовлетворительно; между прочим, говорил, что правила Славянского общества запрещают ему входить в положительные сношения с кем бы то ни было, без особенного на то согласия других членов; что без согласия

---

* 8-й артиллерийской бригады 1-я батарейная и 2-я легкая роты стояли на тесных квартирах [3]. В деревне Млинищах, от Лещина 3 версты, от ... ⟨*пропуск в оригинале*⟩ $1^1/_2$ версты. Там происходили совещания. Вообще как артиллерия, так и кавалерия 3-го корпуса, стояли на тесных квартирах.— *Прим. Горбачевского.*

своих товарищей он не может ни принять, ни отвергнуть лестных предложений Муравьева, что сие требует времени и размышления. Наконец, после долгих рассуждений, которые имели целью с одной стороны — получить решительный ответ на предложение, а с другой — избежать оного и оставить сие дело не конченным, условились назначить общее собрание членов Славянского общества, на котором Муравьев и Бестужев обещали лично возобновить свои предложения.

Славяне, узнав от своих доверенных о предложении Муравьева, разделились в мнениях: некоторые из них чрезвычайно радовались сему случаю и предлагали немедля ни мало соединиться с Южным обществом, другие, напротив того, вознегодовали на Тютчева, и желая чтобы Славянский союз удержал свои формы, требовали его смерти, как примерного паказания за нескромность и нарушение правил Славянского общества, и тем пресечь все дальнейшие сношения с Муравьевым. Мнение Борисова 2-го было совершенно иное: он предлагал продолжить переговоры, не соглашаясь на предложения С. Муравьева и стараясь склонить его к цели Славянского общества. В случае же его отказа взять с него честное слово, что существование Славянского общества останется тайною для других членов Южного общества, и уверить его, что все славяне готовы принять участие в перевороте, когда он начнется, и будут способствовать оному всеми своими силами. Хотя многие разделяли последнее сие мнение, но никто, кроме Иванова, не поддерживал оное; умы всех были обворожены близким и как бы несомненным преобразованием России, и, по-видимому, каждый предоставлял обстоятельствам решить вопрос соединения. Однако ж после многих сообщений, рассуждений и даже сильных споров положили: собраться на квартире подпоручика Пестова и Борисова 2-го всем членам, находящимся в лагере, пригласить туда Муравьева и Бестужева, вступить с ними в переговоры и потом положить, должно ли Славянское общество оставаться на прежнем основании, или, соединясь с Южным, принять иной вид и характер?

2

Первое собрание ⟨3 или 4 сентября⟩ у Пестова и Борисова 2-го.— Речь Бестужева о Южном обществе.— Славяне знакомятся с извлечением из «Русской правды».— Встреча Горбачевского и Борисова 2-го с Муравьевым.— Второе собрание славян у Андреевича 2-го ⟨между 5 и 7 сентября⟩. Речь Бестужева об устройстве и связях Южного общества.— Возражения Борисова 2-го против полного слияния Обществ.— Согласие славян на соединение.— Заявление Бестужева об избрании посредника, о приеме членов, об отношении к чиновникам и полякам

3 или 4 сентября большая часть членов Славянского общества собрались в назначенном месте и в ожидании приезда членов Южного общества рассуждали снова о предложении соединить два Общества; но мысль

безусловного соединения уже начинала преобладать над умами славян, которых желание действовать обращалось в непреодолимую страсть. Появление Бестужева прекратило сии прения.

— Важные дела,— сказал он после обыкновенных приветствий,— помешали Муравьеву сдержать данное им обещание, но он поручил мне кончить наши общие дела. Я должен объявить вам о намерениях и цели Южного общества и предложить присоединение к оному Славянского.

Потом начал говорить он о силе своего Общества, об управлении оного Верховною думою; о готовности Москвы и Петербурга начать переворот; об участии в сих намерениях 2-й армии, гвардейского корпуса и многих полков 3-го и 4-го корпусов. Из его слов видно было, что конституция, заключающая в себе формы республиканского правления для России и получившая одобрение многих знаменитых публицистов — английских, французских и германских, принята была единодушно членами Южного общества *. Бестужев обещал немедленно доставить им копию с конституции, объяснить цели, меры и управление оного Общества, и при окончательном соединении даже наименовать главных членов; но объявил, что правила Общества запрещают ему открыть местопребывание Верховной думы и членов, составляющих оную.

Сии неудовлетворительные ответы поколебали большую часть славян; сомнение вкралось в сердца многих, требовали доказательств, делали возражения,— одним словом, с обеих сторон ожидали взаимной доверенности, но никто первый не хотел быть откровенным. Бестужев отложил дальнейшие объяснения до другого времени, надеясь, что время не охладит порыва, но еще более усилит его — и в этом он ошибся. На другой день поутру он дал Пестову извлечение из «Русской правды» [4] и просил его сообщить оное всем славянам. В тот же день было сделано несколько списков с помянутого извлечения, и ввечеру уже всем славянам была известна будущая форма русского правления **. Ввечеру того же дня Горбачевский и Борисов 2-й виделись с Муравьевым, который, подтверждая все сказанное Бестужевым, просил их снова собраться и кончить скорее дело соединением двух Обществ.

По прошествии двух или трех дней после первого сообщения все

---

* Бестужев, увидя на сем совещании Полтавского полка поручика Усовского, удивился, что в 9-й дивизии есть члены тайного общества: он обрадовался сему, но его радость, по замечанию других, была притворная. Причину увидим после.— *Прим. Горбачевского.*

** Некоторые славяне спрашивали у С. Муравьева: Неужели Верховная дума хочет принудить Россию взять для себя ту конституцию, которую она написала и извлечения из коей находятся у них в руках. Муравьев отвечал, что Верховная дума только предложит, но что народ может ее принять или отвергнуть.— *Прим. Горбачевского.*

славяне, исключая офицеров Черниговского полка *, собрались на квартире подпоручика Андреевича, в деревне Млинищах. Сие собрание было многочисленное. Бестужев приехал вместе с Тютчевым и начал разговор требованием неограниченной доверенности к Верховной думе,— во имя любви к отечеству просил славян соединиться с Южным обществом без дальнейших с его стороны объяснений. Громкий ропот и изъявление негодования служили ему ответом.

— Нам нужны доказательства! Мы требуем объяснения! — выкрикнуло несколько голосов. Бестужев начал объяснять чертежом управление Южного общества; говорил о различных управах (ventes), существующих в разных местах России **, об образе их сношения с Верховною думою, о силе своего Общества, наименовал членов оного: кн. Волконского, кн. Трубецкого, ген. Раевского, ген. Орлова, ген. Киселева, Юшневского, Пестеля, Давыдова, Тизенгаузена, Повало-Швейковского, Александра и Артамона Муравьевых, Фролова, Пыхачева, Враницкого, Габбе ⟨Граббе?⟩, Набокова и многих других штаб и обер-офицеров разных корпусов и дивизий и полков.

— Все они благородные люди,— сказал он в заключение,— забывая почести и богатство, поклялись освободить Россию от постыдного рабства и готовы умереть за благо своего отечества ***.

Видя, что его слова произвели сильное впечатление на умы славян, он присовокупил, что многочисленное польское общество, коего члены рассеяны не только в Царстве польском и присоединенных к России губерниях, но в Галиции и воеводстве Познанском, готовы разделить с русскими опасность переворота и содействовать оному всеми своими силами и способами; — что оно уже соединилось с Южным обществом, и что для сношения сих двух Обществ назначены с польской стороны князь Яблоновский, граф Мошинский и полковник Крыжановский, а с русской — Сергей Муравьев и он, Бестужев-Рюмин. Тут же он объявил, что открыты следы существования тайного общества между офицерами Литовского корпуса и что Повало-Швейковскому поручено войти в сношения с членами оного,— и в особенности действовать на сей корпус [5].

Откровенность Бестужева обворожила славян; немногие могли противиться всеобщему влечению; согласие соединиться с Обществом благонамеренных людей, поклявшихся умереть за благо своего отечества, выражалось в их взорах, в их телодвижениях. Каждый требовал скорейшего

* Черниговского полка офицеры не могли быть на сем совещании по делам службы.— *Прим. Горбачевского.*

** Как-то: в Каменке, в Василькове, в Тульчине, в Москве, в Петербурге, в Киеве, в Вильне, в Варшаве и прочих.— *Прим. Горбачевского.*

*** Чтобы более убедить в силе своего Общества, Бестужев присовокупил, что полки 3-й гусарской дивизии, конные роты 5-я и 6-я, многие командиры пехотных полков 3-го и 4-го корпусов разделяют образ мыслей ⟨Общества⟩ и совершенно уже готовы принять участие в замышляемом перевороте.— *Прим. Горбачевского.*

окончания дела. Только Борисов 2-й и некоторые из присутствующих на сем совещании славян почитали невозможным безусловное соединение двух Обществ. По мнению Борисова 2-го, славяне, обязавшись клятвою посвятить всю свою жизнь освобождению славянских племен, искоренению существующей между некоторыми из них вражды и водворению свободы, равенства и братской любви, не в праве нарушить сих обязательств. Нарушение это влечет за собою всеобщее порицание и упреки совести.

— Тем более, подчинив себя безусловно Верховной думе Южного общества,— продолжал он,— будем ли мы в состоянии исполнить в точности принятые нами обязательства? Наша подчиненность не подвергнет ли нас произволу сей таинственной думы, которая, может быть, высокую цель Славянского союза найдет маловажною и, для настоящих выгод жертвуя будущими, запретит нам иметь сношения с другими иноплеменными народами? *

Бестужев-Рюмин всеми силами старался опровергнуть сие возражение; он доказывал, что преобразование России необходимо откроет всем славянским племенам путь к свободе и благоденствию; что соединенные Общества удобнее могут произвести сие преобразование; что Россия, освобожденная от тиранства, будет открыто споспешествовать цели Славянского союза: освободить Польшу, Богемию, Моравию и другие славянские земли, учредить в них свободные правления и соединить всех федеральным союзом.

— Таким образом,— сказал он,— наше соединение не только не удалит вас от цели, но, напротив того, приблизит к оной.

Энтузиазм Бестужева-Рюмина походил на вдохновение; уверенность в успехе предприятия вдыхала в сердце каждого несомненную надежду счастливой будущности. Он восторжествовал над холодным скептицизмом Борисова 2-го, ожидавшего успеха от одних усилий ума и приписывавшего все постоянной воле людей. Мысль о силе Южного общества, надежда видеть при своей жизни освобождение отечества и других славянских народов увлекла совершенно славян; в общем пылу благородных страстей своих они согласились немедленно соединиться с Южным обществом, разделять с ним труды и опасности для блага своей родины, и от сей минуты цель, правила и меры, принятые сим Обществом, почитать своими собственными. Таким образом окончательно объединились два Общества: судьба славян была решена. С сего времени Славянский союз существовал только в мыслях и сердцах немногих, которые не могли забыть возвышенной и великой (хотя, может быть, по мнению некоторых,

---

* При первом свидании с Борисовым и Горбачевским Бестужев обнаружил свои мысли относительно цели славян и сношений русских с поляками. Борисов не мог забыть сего.— *Прим. Горбачевского.*

мечтательной) идеи федеративного Союза славянских народов *. Получив от славян согласие на соединение с Южным обществом, Бестужев-Рюмин предложил им избрать из среды своей посредника и составить особенную управу **.

— Избранный посредник,— сказал он,— должен заведывать делами управы и относиться во всем ко мне или к С. Муравьеву; мы обязываемся, с своей стороны, доставлять ему предписания от Верховной думы и уведомлять его о всех делах Общества; славяне могут принимать новых членов не иначе как с дозволения посредника, который должен будет, хотя один раз в год, отдавать отчет Верховной думе о распространении и делах Славянской управы.

Бестужев-Рюмин продолжал: Южное общество уже так сильно, что не нуждается даже в приобретении новых членов. Посему гораздо лучше славянам заняться постепенным, осторожным и *медленным* приготовлением солдат. Они могут принимать также в Общество офицеров, если найдут таких, которые заслуживают сию честь. Относительно гражданских чиновников он был вовсе противного мнения: в его глазах эти люди были не только бесполезны, но даже вредны; преобразование России должно было быть следствием чисто военной революции. Поляки подверглись сему исключению. Бестужев-Рюмин требовал от славян, чтобы они умалчивали о существовании Южного общества даже перед теми, которые уже несколько лет были членами Славянского общества. Сие исключение Бестужев основывал на том, что в Польше существует особенное общество, и что каждый из поляков должен думать прежде о своем отечестве, а потом уже о России.

Изложив помянутые условия и не дожидая принятия оных, Бестужев требовал, чтобы все бумаги, касающиеся до Славянского союза, и списки членов оного были представлены ему как лицу, уполномоченному Верховною думою. Против сего не было сделано никакого возражения; но за

* Все сказанное Бестужевым о силе Южного общества и содействии сего Общества к освобождению других народов, о силе оного и пр.,— после сего совещания было подтверждено многими членами Южного общества, а особливо с ужасным хладнокровием, отличным красноречием и умом — Сергеем Муравьевым, который не только подтвердил, но еще более объяснил все сказанное Бестужевым на совещании. Но некоторых из славян это не утешило: они скорбели об участи Славянского союза, и даже двое из них после сего соединения не хотели дальше быть на совещаниях; другие с сожалением согласились с большинством. Достойно замечания, что соединение двух Обществ воспоследовало в том же самом месяце (сентябрь), когда Майборода донес правительству о существовании Южного [6].— *Прим. Горбачевского.*

** Члены Славянского общества на случай соединения двух Обществ положили следующие условия: они имеют право выбрать посредника из среды своей для сношения с Верховною думою, состоять в отдельной управе и принимать членов по своим правилам. Муравьев согласился на сии условия; но впоследствии славяне, соединившись с Южным обществом, в принятии новых членов не следовали уже формам Славянского общества.— *Прим. Горбачевского.*

то члены Славянского общества, не почитая себя обязанными следовать первому условию, на которое Бестужев не требовал изъявления их согласия, действовали по своим правилам, т. е. объявили всем гражданским чиновникам и полякам о соединении двух Обществ и принимали новых членов на прежнем основании.

Совещание кончилось предложением съехаться на другой день для избрания посредника и приготовления требуемых Бестужевым бумаг.

3

Третье собрание славян у Андреевича для избрания посредника.— Доклад Борисова 2-го о Славянском обществе.— Цель, правила и дух Славянского общества

На другой день, в 5-м или 6-м часу вечера, все славяне собрались снова на квартире (в Млинищах) подпоручика Андреевича 2-го: число их было значительно и увеличено вновь принятыми членами. Борисов 2-й представил собранию отчет, содержащий в себе цель и правила Славянского общества, проект нового образования Славянского союза, мнения и действия членов и присовокупил к сему общий список всех славян, с означением настоящего их местопребывания и рода службы.

Желая познакомить читателей с духом Общества соединенных славян, мы прервем на некоторое время нить нашего рассказа и изложим в нескольких словах цель и правила оного.

Общество имело главною целию освобождение всех славянских племен от самовластия; уничтожение существующей между некоторыми из них национальной ненависти и соединение всех обитаемых ими земель федеративным союзом. Предполагалось с точностью определить границы каждого государства; ввести у всех народов форму демократического представительного правления; составить конгресс для управления делами Союза и для изменения, в случае надобности, общих коренных законов, предоставляя каждому государству заняться внутренним устройством и быть независимым в составлении частных своих узаконений.

Вникая в основания благоденствия частного человека, мы убеждаемся, что они бывают физические, нравственные и умственные. Посему гражданское общество, как целое, составленное из единиц, необходимо зиждется на тех же началах и для достижения возможного благосостояния требует промышленности, отвращающей бедность и нищету; нравственности — исправляющей дурные наклонности, смягчающей страсти и внушающей человеколюбие; и, наконец,— просвещения, вернейшего сподвижника в борьбе противу зол, неразлучных с существованием, которое делает умнее и искуснее во всех предприятиях. Развертывать, распространять сии три основные начала общественного блага поставлялось в первую и неизменную обязанность славянина. Он должен был по возможности истреблять предрассудки

и порочные наклонности, изглаживать различие сословий и искоренять нетерпимость верования; собственным примером побуждать к воздержанию и трудолюбию; стремиться к умственному и нравственному усовершенствованию и поощрять к сему делу других; всеми способами помогать бедным, но не быть расточительным; не делать людей богатыми, но научать их, каким образом посредством труда и бережливости, без вреда для себя и других пользоваться оными. Убеждение в сих правилах заставляло славян выводить следующие заключения: никакой переворот не может быть успешен без согласия и содействия целой нации, посему, прежде всего, должно приготовить народ к новому образу гражданского существования и потом уже дать ему оный; народ не иначе может быть свободным, как сделавшись нравственным, просвещенным и промышленным. Хотя военные революции быстрее достигают цели, но следствия оных опасны: они бывают не колыбелью, а гробом свободы, именем которой совершаются [7]. Славяне, убежденные в том, что надежды их не могут так скоро исполниться, как они того желали, не хотели терять времени в пустых и невозможных усилиях; но вознамерились сделать все, что зависит от них и ведет, хотя медленно, к предпринятой цели. В исполнение сего намерения они положили определить некоторую часть общественной суммы на выкуп крепостных людей; стараться заводить или споспешествовать заведению небольших сельских и деревенских училищ; внушать крестьянам и солдатам необходимость познания правды и любовь к исполнению обязанностей гражданина, и таким образом возбудить в них желание .... [8] и изменить унизительное состояние рабства и пр.

Не взирая, однако ж, на сии постепенные и кроткие меры, Славянский союз носил на себе отпечаток какой-то воинственности [9]. Страшная клятва, обязывающая членов оного посвящать все мысли, все действия благу и свободе своих единоплеменников и жертвовать всей жизнью для достижения сей цели, произносилась на оружии, от одних своих друзей, от одного оружия славяне ожидали исполнения своих желаний; мысль, что свобода покупается не слезами, не золотом, но кровью, была вкоренена в их сердцах, и слова знаменитого республиканца, сказавшего: «обнаживши меч против своего государя, должно отбросить ножны сколь возможно далее», долженствовали служить руководством их будущего поведения *. Сей слабый очерк достаточно показывает, что дух Славянского общества во многом отличался от духа Южного общества, и что даже в некоторых отношениях они были друг другу совершенно противоположны [11]. Но к соединению двух обществ не столько содействовало сходство их характеров, сколько нетерпение и желание скорейшего достижения цели. Мы обязаны

* Сии постановления и правила Славянского союза были рассматриваемы единственно для того, чтобы их передать Южному обществу безошибочно, чтобы оно могло в них найти правила, получившие одобрение всех славянских членов, залог будущего их поведения и основные мысли сего общества [10].— *Прим. Горбачевского.*

сказать, не упрекая никого, что большинство славян еще худо понимало правила и средства своего Союза, и порывом своим увлекло тех немногих, которые были вполне проникнуты оными. Сии последние видели невозможность бороться с представителями сильного русского общества, обещавшего немедленное освобождение России, и с прискорбием приняли на себя труд оного. Боязнь повредить благу отечества, показать себя малодушными или самолюбивыми, заставила их утешаться надеждою, что после переворота мысль Славянского союза снова воспрянет, и с новою силою заставит трудиться для освобождения всех славянских народов. Но время нам возвратиться к славянам, собравшимся для избрания посредника.

4

Избрание Спиридова в посредники.— Изменение духа Славянского союза после соединения его с Южным обществом.— Примеры: бунт 1-й гренадерской роты, поднятый юнкером Шеколлою: объявление поручиком Кузьминым солдатам о замышляемом перевороте

Рассмотрев бумаги и проверив список *, представленный Борисовым 2-м, члены Славянского союза поручили доставить оные Бестужеву и приступили к предположенному избранию посредника. Пензенского пехотного полка майор Спиридов получил большинство голосов. Тотчас после избрания он предложил и взялся сам составить правила, которые могли бы служить руководством членам тайного общества в их будущих действиях. Предложение Спиридова было принято без малейшего возражения. После непродолжительных прений славяне предоставили право другим изложить мысли о сем предмете и предложить их к следующему собранию на общее утверждение.

С сего уже времени характер Славянского союза начинал приметно изменяться, действия и намерения членов принимали вид решительных и даже слишком смелых мер. Нельзя не заметить, что дух Васильковской управы находил отголоски в пылких страстях славян и увлекал их за пределы благоразумия. Одна искра могла произвести пожар. Приведем примеры.

Пред закрытием описываемого собрания один из членов объявил, что командир 1-й гвардейской роты Саратовского полка притесняет своих подчиненных, что несправедливости и жестокости его превышают всякую меру, и что даже запрещает своим солдатам иметь сношение с солдатами бывшего Семеновского полка, которые по своему положению были ревностными агентами тайного общества, возбуждая в своих товарищах ненависть и презрение к правительству.

---

* В оном списке находились и гражданские чиновники, и не служащие нигде дворяне.— *Прим. Горбачевского.*

— Он должен быть наказан за свою жестокость,— закричали немедленно многие. Борисов 2-й и еще некоторые из славян хотели остановить сей порыв негодования; их усилия остались тщетными.— Взбунтовать роту,— вскрикнул в исступлении поручик Кузьмин. Многие его поддержали. Собрание поручило тотчас члену Общества Саратовского же полка юнкеру Шеколле привести предложение Кузьмина в исполнение. Отчаянный Шеколла с радостью принял сие поручение, и на другой же день осуществил желание своих сочленов *.

Сие дело кончилось, однако ж, без дурных последствий, которых опасались некоторые из членов Союза. Командир 1-й гренадерской роты, узнав, что его подчиненные не хотят более ему повиноваться и страшась подвергнуть жизнь свою опасности, спрятался в балаган полкового командира, который побежал к восставшей роте, стараясь как можно скорее ее усмирить. Дерзость недовольных солдат час от часу увеличивалась. Полковник, боясь, чтобы сие происшествие не навлекло ему неприятность от высшего начальства и не лишило бы его полка, вступил с ними в переговоры, обещал забыть нарушение военной дисциплины, простить их всех и сменить немедленно ротного командира. Зная трусливый характер полковника, Шеколла искусно шепнул солдатам, чтобы они изъявили согласие на сие предложение и просили бы нового ротного командира. Их требование в тот же день было исполнено. Полковой командир сдержал вполне свое слово.

Вот другой пример. Васильковская управа, ослепляясь мнимою силою Южного общества и надеждою счастливого успеха своих предприятий, полагала, что в народе и в армии Общество не только не встретит сопротивления ко введению конституции, но найдет даже помощь, и потому намеревалось воспользоваться сбором 3-го корпуса и начать действия тотчас по приезде государя в лагерь. Обстоятельство сие было поводом к многим разговорам и различным предложениям. Многие члены Южного общества хотели даже, чтобы корпус поднял знамя бунта, не дожидая приезда государя, полагая, что усердие членов, ропот и негодование войск достаточны для счастливого начала и окончания переворота. Славяне знали все эти предположения, и хотя были убеждены в силе Южного общества и в скором преобразовании России, однако ж большая часть из них, сколько известно, не думали, чтобы во время лагеря можно было начать восстание, никто из них не сообщал еще о своих намерениях подчиненным, не знал их образа мыслей (впрочем негодование и озлобление было общее) и потому не слишком надеялся на их пособие, которое, по мнению славян, было необходимым условием успешного переворота.

* Саратовского полка юнкер Шеколла имел от роду 20 лет, росту высокого, лицо страшное, обросшее волосами; глаза большие, черные; физиогномия изображала всю пылкость его души. Был испытанной храбрости и решительности; родом серб, уважаемый сочленами и любимый солдатами.— *Прим. Горбачевского.*

Несмотря на все сии обстоятельства, Кузьмин, по пылкости и решительности своего характера, был готов на все, даже и на невозможное. Преобладаемый, так сказать, единственною мыслию о восстании, о котором только и говорил, он вообразил, что существование самовластия в России приходит уже к концу. Не посоветовавшись ни с кем из своих сочленов, этот пылкий человек собрал роту и объявил преданным своим солдатам о замышляемом перевороте; в коротких словах изъяснил им причину, цель и средства достигнуть оного. Получив от подчиненных согласие и клятву умереть с ним для блага отечества, он с радостным лицом явился в собрание и торжественно объявил, что его рота готова и ожидает только приказания идти.

— Когда назначено восстание? — спросил он при всех у Горбачевского.

— Этого никто не знает,— отвечал последний,— начало его зависит не от нас, но от обстоятельств; ты напрасно спешишь, мы должны приготовлять медленно нижних чинов, может быть только в будущем году нам представится случай осуществить наши намерения, и, вероятно, не ранее.

— Жаль,— возразил Кузьмин.— Я думаю лучше скорее начать,— пустые толки ни к чему не ведут. Впрочем,— прибавил он,— мои солдаты умеют молчать; я сожалею только, что объявил о сем юнкеру Полтавского полка Богуславскому и послал его в Житомир с поручением уведомить наших друзей о близком восстании.

Сии слова были громовым ударом для многих; все знали, что помянутый юнкер был глуп, болтлив и развратен, и что он без разбору все пересказывает дяде, начальнику артиллерии 3-го корпуса. Никто не мог удержать справедливого своего негодования.

Кузьмин, заметив сие, сказал хладнокровно.

— Разве сего поправить нельзя? — взял шляпу и, выходя из комнаты, прибавил: Завтра вы найдете его мертвым в постели.

Горбачевский и Громницкий, зная решительность и твердость Кузьмина, зная, что он ничего напрасно не говорит, схватили его и начали отклонять от сего опасного предприятия.

— Завтра он будет мертвым, повторяю вам! — закричал в бешенстве Кузьмин. Многие из славян окружили его и после долгих прений склонили наконец Кузьмина отказаться от безрассудного и даже преступного намерения лишить жизни глупца, которого легко можно уверить, что Кузьмин, говоря ему о восстании, хотел пошутить над его легковерием и простотою.

Славяне, однако, не совсем верили Кузьмину и, желая уничтожить в нем мысль о степени неосторожности его поступка, старались дать этому обстоятельству вид маловажности и даже обратили это в шутку, ибо, если бы Кузьмин заметил противоположное, несчастный юнкер в тот же вечер не существовал бы.

На другой день некоторые из славян объявили Богуславскому, что Кузьмин над ним пошутил, смеялись над его легковерием и этот бедный простак совершенно поверил всему — и молчал *.

Сии два случая, кажется, достаточно подтверждают сказанное выше об изменении духа Славянского союза по соединении оного с Южным обществом. Влияние Васильковской управы возбудило бурные страсти, до того времени дремавшие в сердцах славян. Люди, того времени почитавшие себя не вправе делать благодеяния другим без их ведома и согласия, вдруг приняли на себя обязанности покровительствовать притесняемых и карать притеснителей. Мнимая сила Южного общества и убеждение в его силе породило в славянах сию гордость и самонадеянность.

5

Спиридов у Муравьева; их спор о приеме в Общество офицеров Черниговского полка и о подготовке солдат и офицеров.— Встреча славян с членами Южного общестеа у С. Муравьева

По окончании выше описанного совещания Спиридов возвратился в лагерь, посетил Муравьева и между прочими разговорами сказал ему, что успехи Славянского общества невероятны.

— Каждый день,— говорил он,— Общество усиливается новыми членами; кроме прежних офицеров Черниговского полка приобретено еще несколько новых в том же полку, в других полках обеих дивизий и артиллерии.

К удивлению Спиридова Муравьев начал осуждать сию деятельность, находил ее неуместною и сказал, что он вовсе не желает, чтобы принимали в Общество его полка офицеров, которых он лично знает, и коих, по его мнению, можно возбудить к восстанию, объявив об этом накануне дела. В ответ на сие Спиридов сказал ему, что Кузьмин и Соловьев состоят в Обществе соединенных славян уже два года [12], и что им невозможно воспрепятствовать прямо действовать, ибо прежние правила не только дают им на сие право, но даже обязывают умножать Общество новыми приобретениями, налагая на них ответственность за принимаемых членов.

— Эти правила,— сказал Муравьев,— уничтожены соединением Обществ; они могут быть пагубны нашему делу. План наших действий совсем иной, солдаты и офицеры должны быть приготовляемы, но не должны знать ничего; они будут орудиями и произведут переворот. Вы знаете — что за люди русские солдаты и офицеры?!..

Заметя такое ложное понятие о русских солдатах и офицерах и, видя каким образом С. Муравьев, а, следовательно, и другие главные члены

* Соловьев и Щепилло, следуя примеру Кузьмина, тоже начали приготовлять солдат, бывших еще в лагере.— *Прим. Горбачевского.*

Южного общества полагают делать переворот, Спиридов не хотел входить в дальнейшие споры и с прискорбным молчанием удалился.

На другой день, после репетиции смотра, С. Муравьев пригласил к себе некоторых славян. Мы не знаем, с какими именно намерениями сие было сделано, но кажется, что он хотел показать славянам на самом деле силу Южного общества и совершенно разрушить сомнение, которое обозначалось в словах многих относительно сего предмета. Догадка сия подтверждается тем, что даже бóльшая часть членов Южного общества не знала причины собрания *.

Киреев, Горбачевский, Андреевич, Веденяпин 1-й, Борисов 2-й, Громницкий и прочие тотчас по окончании репетиции пришли к Муравьеву и застали там: Артамона Муравьева, Тизенгаузена, Швейковского, Враницкого, Фролова, Пыхачева, Врангеля, Нащокина, Бестужева-Рюмина и прочих. С. Муравьев знакомил своих сочленов с славянами и старался дружескими разговорами сгладить разницу в летах и чинах, и внушить им взаимную доверенность. Как С. Муравьев, так и прочие члены Южного общества говорили только о злоупотреблениях правительства. Каждый из них уверял в готовности искоренить зло, доказывал необходимость переворота и убеждал в силе Общества, составленного из благонамеренных людей, поклявшихся улучшить жребий своего отечества. Артамон Муравьев произносил беспрестанно страшные клятвы — купить свободу своею кровью. Славяне видели в нем не только решительного республиканца, но и ужасного терророриста. Аполлон Веденяпин 1-й, одаренный проницательным умом и никогда не доверявший словам, особенно в столь важных случаях, заметил некоторым из своих товарищей, что не должно полагаться на слова сих господ, что их поведение совершенно несогласно с тем, что они говорят: что, по его мнению, каждый член, какого бы то он звания ни был, необходимо должен представить доказательства преданности к священному делу не на словах, но на самых действиях; что, сколько ему известно, полковые командиры, состоящие в Обществе, не только не действуют на солдат, но даже не стараются принимать в Общество достойных офицеров своих полков, и что без сего никогда нельзя ожидать успеха. Аполлон Веденяпин сии самые слова повторил С. Муравьеву и Бестужеву, прибавляя, что для успеха в предпринимаемом перевороте необходимо, чтобы все члены без изъятия отдавали отчеты в своих действиях. С. Муравьев отвечал ему, что вероятно Верховная дума, управляющая Южным обществом, приняла меры, и что не должно сомневаться в чувствах тех, которые уже своими делами доказали возвышенность и благородство своей души. Веденяпин возразил, что он не знает никаких дел, и потому судить о них не может, но для побуждения к действию недостаточно одних чувств, к сему

* Почти все офицеры конной артиллерии спрашивали у славян, зачем звал их к себе Муравьев. Они отвечали, что ничего не знают.— *Прим. Горбачевского.*

необходимо обдуманная и твердая решительность; что в борьбе против гигантской власти мало одной военной храбрости, потребно еще гражданское мужество; что надобно заранее приучить себя к сей мысли: я погибну, если начну действовать; пусть другие доканчивают. Для достижения цели, сказал он, наконец, нужна сила; без единства же, совокупности и подчиненности нет силы, которая сверх того тогда только может быть известна, когда есть отчетливость.

Никто не поддержал Веденяпина и разговор снова обратился на предметы общие и снова начались восклицания! Горбачевский спросил Муравьева, по какой причине Южное общество не воспользуется настоящим сбором корпуса и не начнет действовать.

— Я и мои товарищи,— продолжал он,— могут ручаться за себя и за своих подчиненных; вы сами сему свидетели. По вашим словам, большая часть полковых командиров разделяют наши мысли и готовы на все, если...

В это время командир 5-й Конной роты Пыхачев схватил Горбачевского за руку и сказал с жаром:

— Нет, милостивые государи, я никому не позволю первому выстрелить за свободу моего отечества! Эта честь должна принадлежать 5-й Конной роте; я начну, да, я.

С. Муравьев бросился Пыхачеву на шею и оставил Горбачевского без ответа. Разговор снова переменился.

Последствия покажут, до какой степени можно было считать на сии мгновенные порывы и взаимные уверения некоторых лиц, имевших случай *делом* доказать прочность своих мнений и оправдать надежды общества.

6

План разделения Славянского общества на две управы.— Четвертое собрание у Андреевича 2-го.— Строгие правила, предложенные Спиридовым, отклоняются.— Разделение на две управы и избрание посредниками Спиридова и Горбачевского.— Права и обязанности посредников.— Спор Бестужева и Борисова 2-го о роли в перевороте войска и народа

Выходя от Муравьева, Бестужев-Рюмин остановил Борисова 2-го и Бечасного, спросил их, выбрали ли они посредника и, не дождавшись ответа, прибавил в рассеянности:

— Сделайте милость, не выбирайте Борисова 2-го.

— Мы выбрали Спиридова,— сказал хладнокровно сей последний,— вы вероятно уже об этом знаете.

— А я именно хотел сказать, чтобы его не выбирали,— подхватил Бестужев-Рюмин с замешательством и начал извиняться в своей ошибке.

Борисов 2-й улыбнулся вместо ответа.

— Нельзя ли как-нибудь переменить избрания? — продолжал Бестужев-Рюмин *.

— Я убежден в невозможности,— отвечал Борисов 2-й.— Избрание происходило в присутствии избранного, почти все голоса были в его пользу; устранить его — значит нанести оскорбление не только ему, но всем избирателям; впрочем, если вы имеете на сие достаточную причину, объясните ее и при будущем совещании предложите новый выбор.

— Я не имею никакой причины,— прервал Бестужев с досадою,— но мне бы хотелось...

Бечаснов вывел его из сего затруднительного положения, предложив разделить Славянское общество на два округа таким образом, что артиллерия будет составлять одну управу, а пехота другую, из коих каждая будет иметь своего посредника.

Эта мысль чрезвычайно понравилась Бестужеву; он и Муравьев просили славян собраться на другой же день и осуществить оную. Аполлон Веденяпин предложил съехаться на его квартиру, которая находилась в уединенном месте на берегу реки, на что и согласились. За несколько часов до назначенного времени Бестужев просил славян переменить избранное ими место для совещаний и собраться опять у Андреевича. Сию перемену он основывал на каком-то особенном затруднении; после некоторых возражений он получил, наконец, согласие и взялся уведомить о последовавшей перемене офицеров Черниговского полка.

Славяне собрались у Андреевича гораздо позже назначенного времени. Принятые в общество члены — поручики Шультен, Тихонов (9-й артиллерийской бригады) и старший адъютант 9-й дивизии Шахирев приехали с Пестовым. Вслед за ними явился Бестужев-Рюмин и пригласил собрание, не дожидая отсутствующих членов, заняться немедленно делами **.

Спиридов тотчас представил составленные им правила. Они заключались в том, что каждый член подвергался ответственности за свое бездействие и должен был отдавать отчет в своих поступках кому следует, подвергаясь за нескромность, неосторожность и упущения по делам Общества удалению от совещаний и прочее. За значительную же вину наказывался немедленно смертию.

Во время чтения сего проекта сильное большинство оказалось против сих правил, во главе коего был Бестужев-Рюмин. Но Борисов 2-й, Горбачевский, Аполлон Веденяпин и Драгоманов думали, что сии правила необходимы и поддерживали Спиридова. Они доказывали, что заговорщики не могут быть свободны в своих действиях, что принимая на себя священ-

* Причина сей недоверчивости к Спиридову Бестужева никому не известна.— *Прим. Горбачевского.*

** Отсутствующие члены были офицеры Черниговского полка и Черноглазов.— *Прим. Горбачевского.*

ные, необходимые, вместе с тем и ужасные обязанности, они более, нежели кто-либо, должны сами подчинять Обществу личную свою свободу и соблюдать с точностью правила и постановления, служащие к достижению цели, к сохранению союза и к безопасности членов оного; безнаказанное нарушение каких бы то ни было обязательств неминуемо разрушает всякое сообщество и совесть каждого не всегда может быть верным и надежным блюстителем принятых обязательств.

Бестужев-Рюмин с жаром отвергал сии доводы, говорил о неограниченной свободе, о благородстве цели, о высокости намерений.

— Для приобретения свободы,— вскричал он,— не нужно никаких сект, никаких правил, никакого принуждения,— нужен один энтузиазм. Энтузиазм,— продолжал он в исступлении,— пигмея делает гигантом, он разрушает все и он создает новое.

Ему делали возражения, он опять отвечал, наконец, стал собирать голоса, и предложение Спиридова было отвергнуто сильным большинством. Большинство сие вполне разделяло мнение Бестужева и не хотело слышать ни о каких правилах.

Тотчас же после сего Бестужев предложил новое разделение Славянского общества на две управы; опять сделаны были возражения, но большинство сново взяло верх, причем он прибавил, что члены 9-й артиллерийской бригады будут относиться к Пестову, который, находясь при корпусной квартире, имеет возможность вести с Южным обществом постоянные сношения, а члены 9-й дивизии непосредственно поступят в ведение Муравьева. Это предложение было одобрено, противники оного не могли даже замедлить его принятия и тотчас приступили к новому избранию. Спиридов был снова избран (хотя Бестужев тайно противился сему) 8-ю пехотною дивизиею; мнения артиллеристов пали на двух кандидатов: Борисова 2-го и Горбачевского. Первый уклонился сам, а последний был выбран посредником.

Посредники сии обязаны были сохранять порядок, последовательность и единство в действиях управы, наблюдать за поведением и поступками членов. Они одни имели право сноситься с Верховною думою через С. Муравьева или Бестужева-Рюмина и представлять думе разные проекты и мнения членов, которые через них получали предписания думы относительно действий, восстания и проч. Равным образом для принятия кого-либо в члены Общества необходимо было согласие посредника, который, впрочем, сам имел право принимать не только в члены Общества, но даже из них назначать в заговорщики *.

Объяснив права и обязанности посредников, безусловное и слепое повиновение членов предписаниям Верховной думы, Бестужев-Рюмин чи-

* Это различие объясняется впоследствии.— *Прим. Горбачевского.*

тал речь. В сей речи он доказывал пользу соединения двух Обществ, сильно говорил о необходимости переворота в России и красноречиво убеждал в несомненном успехе оного. По окончании чтения он объявил собранию о полученных им от Борисова 2-го бумагах, которые он взялся доставить Верховной думе, восхищался намерением и целью Славянского общества, но постепенное стремление и отдаленность цели ему не нравились. Сделать народ участником переворота казалось ему весьма опасным.

— Наша революция,— сказал он,— будет подобна революции испанской (1820 г.); она не будет стоить ни одной капли крови, ибо произведется одною армиею без участия народа. Москва и Петербург с нетерпением ожидают восстания войск. Наша конституция утвердит навсегда свободу и благоденствие народа. Будущего 1826 года в августе месяце император будет смотреть 3-й корпус, и в это время решится судьба деспотизма; тогда ненавистный тиран падет под нашими ударами; мы поднимем знамя свободы и пойдем на Москву, провозглашая конституцию.

— Но какие меры приняты Верховною думою для введения предположенной конституции,— спросил его Борисов 2-й,— кто и каким образом будет управлять Россией до совершенного образования нового конституционного правления? Вы еще ничего нам не сказали об этом.

— До тех пор пока конституция не примет надлежащей силы, — отвечал Бестужев, — Временное правление будет заниматься внешними и внутренними делами государства, и это может продолжаться десять лет.

— По вашим словам,— возразил Борисов 2-й,— для избежания кровопролития и удержания порядка народ будет вовсе устранен от участия в перевороте, что революция будет совершена военная, что одни военные люди произведут и утвердят ее. Кто же назначит членов Временного правления? Ужели одни военные люди примут в этом участие? По какому праву, с чьего согласия и одобрения будет оно управлять десять лет целою Россиею? Что составит его силу, и какие ограждения представит в том, что один из членов вашего правления, избранный воинством и поддерживаемый штыками, не похитит самовластия?

Вопросы Борисова 2-го произвели страшное действие на Бестужева-Рюмина; негодование изобразилось во всех чертах его лица.

— Как можете вы меня об этом спрашивать! — вскричал он с сверкающими глазами, — мы, которые убьем некоторым образом законного государя, потерпим ли власть похитителей?! Никогда! Никогда!

— Это правда, — сказал Борисов 2-й с притворным хладнокровием и с улыбкою сомнения, — но Юлий Цезарь был убит среди Рима, пораженного его величием и славою, а над убийцами, над пламенными патриотами восторжествовал малодушный Октавий, юноша 18-ти лет.

Борисов хотел продолжать, но был прерван другими вопросами, сделанными Бестужеву, о предметах вовсе незначительных. Бестужев-

Рюмин сим воспользовался и не отвечал ничего Борисову 2-му; потом, поспешая домой, просил избранных посредников назначить день последнего собрания для утверждения клятвою соединения двух Обществ и готовности умереть за Россию.

7

Намеренное устранение Бестужевым офицеров Черниговского полка от участия в собрании.— Объяснение с Муравьевым по этому поводу.— Различие взглядов славян и Южного общества по вопросу о цареубийстве

Собрание было закрыто. Все обратили внимание на поспешный отъезд Бестужева, вслед за ним уехали некоторые из членов Славянского общества, как вдруг вошел Черниговского полка поручик Щепилло, и видя, что собрание уже кончилось, с гневом сказал:

— Я и мои товарищи, по сделанному прежде условию, приехали к Веденяпину, не застав его дома, и не зная ничего о перемене места, мы долго дожидали приезда других членов, наконец, решились ехать назад с намерением найти кого-нибудь из сочленов и узнать, где происходит совещание. Недалеко от лагеря мы встретили Мозгана, который сказал нам, что место собрания переменено, по какой причине — сего никто не знает, и что оно уже кончилось. Сия новость весьма огорчила моих товарищей,— они подозревают, что Бестужев-Рюмин и даже некоторые славяне хотят удалить нас от Общества, как будто опасных или беспокойных людей. Напрасно я старался уговорить их ехать сюда для объяснений, они меня не послушали и говорили только о нанесенном им оскорблении и своих подозрениях насчет Муравьева и Бестужева-Рюмина.

Слова Щепиллы произвели сильное впечатление на присутствующих; они видели обман со стороны Бестужева и многие приняли сторону черниговских офицеров. Борисов 2-й просил Щепиллу употребить все силы для прекращения возбужденного негодования и предупреждения ссоры, которая в самом начале может разрушить все предприятие. Для лучшего успеха он с ним поехал к Соловьеву, но, не застав его дома, он должен был отложить сии переговоры до другого дня.

К сожалению, мы должны сознаться, что во многих случаях не можем одобрить поведения Бестужева и Муравьева. Желание удалить от совещания черниговских офицеров и гражданских чиновников (причину сего мы увидим после) разрушило прежнюю связь и доверенность, которыми всегда хвалилось Славянское общество. Речь Бестужева, его пустые и ничего не значащие ответы на вопросы Борисова 2-го, его замешательство, неприбытие черниговских офицеров на совещание и его скорый выезд из собрания многим весьма не понравились и навели на него подозрения. Шультен, Тихонов и Черноглазов после сего отказались присутствовать на совещаниях и не хотели принимать участия в делах Общества.

На другой день Горбачевский поехал к Кузьмину и Сухинову — объяснил, почему он их не уведомил о перемене места, назначенного для собрания, и убедил их вместе с ним идти к Бестужеву и Муравьеву, желая объяснить все недоразумения, породившие столь неприятные чувства.

Придя к Муравьеву, Горбачевский спросил его, почему он удаляет от совещаний черниговских офицеров и по какому праву он это делает? Муравьев отвечал хладнокровно, что все, касающееся до Черниговского полка, принадлежит ему исключительно, и он не позволит никому другому вмешиваться в его распоряжения.

— Но каким образом,— возразил Горбачевский,— мы можем прекратить сношения с теми, которые уже около двух лет считаются нашими сочленами [13], мне кажется, для сего нужно наше и их согласие.

Ответ Муравьева был точно такой же, как и первый. Казалось, он не хотел дать никаких объяснений и заставить их из уважения к нему забыть оскорбление и кончить ссору. Но он обманулся: его настойчивость и хладнокровие привели Кузьмина в бешенство.

— Черниговский полк,— вскричал он вне себя от ярости,— не ваш и не вам принадлежит. Я завтра взбунтую не только полк, но и целую дивизию. Не думайте же, г-н подполковник, что я и мои товарищи пришли просить у вас позволения быть патриотами! — повернулся и вышел вон.

Бестужев-Рюмин подошел к Сухинову и старался оправдать себя и Муравьева, однако ж его оправдания не произвели никакого действия. Сухинов, не слушая их, сказал ему в сильном гневе:

— Если он когда-нибудь вздумает располагать мною и моими товарищами, удалять нас от тех, с которыми мы быть хотим в связи, и сближать с теми, которых мы не хотим знать, то клянусь всем для меня священным, что я тебя изрублю в мелкие куски; знай навсегда, что мы найдем дорогу в Москву и Петербург; нам не нужны такие путеводители, как ты и... — тут он взглянул на С. Муравьева.

Муравьев, видя, что сии объяснения могут иметь весьма вредные следствия, переменил тон и начал хвалить чувствования Кузьмина и Сухинова, превозносил их любовь к отечеству и сказал наконец:

— Я не имел никогда намерения что-либо скрывать от таких достойных людей; но хотел только иметь честь сноситься с вами прямо как с товарищами одного полка, — и тому подобное.

Засим последовало примирение. Разговоры Щепиллы и Борисова 2-го успокоили совершенно черниговских офицеров и других членов и все пришло в прежний порядок.

Здесь должно заметить, что до 4-го совещания ни Бестужев-Рюмин, ни С. Муравьев ничего не говорили о покушении на жизнь императора Александра, хотя при первом свидании с Борисовым 2-м и Горбачевским С. Муравьев старался проникнуть мысли славян на сей счет и

узнать, думают ли они, что государь согласится дать конституцию, и что, давши оную, соблюдет ее с точностью? Борисов 2-й, при всей своей осторожности и недоверчивости своего характера, говорил всегда о перевороте чистосердечно и свободно; но как цель Славянского союза была чрезвычайно отдалена, то никто из членов сего Общества не делал себе вопроса, что будет с царствующим императором и его домом. Каждый считал бесполезным заниматься решением оного. Славянское общество желало радикальной перемены, намеревалось уничтожить политические и нравственные предрассудки, однако ж всем своим действиям хотело дать вид естественной справедливости, и потому, гнушаясь насильственных мер, какого бы рода они ни были, почитало всегда самым лучшим средством законность. Посему Борисов 2-й и некоторые из его товарищей осуждали убийство Павла I и все вообще дворцовые революции, но одобряли суд Карла I, Людовика XVI, изгнание Иакова II и заточение Фердинанда VII [14].

С. Муравьев, желая, вероятно, приготовить славян к мысли Южного общества, т. е. к истреблению всей царской фамилии, сказал однажды Борисову 2-му и Горбачевскому, что невозможно полагаться на слова государя и в доказательство привел поступок испанского короля с конституционистами. Борисов 2-й, не зная помянутой меры Южного общества, выразил откровенно мысли своего Общества следующими словами:

— Народ должен делать условия с похитителями власти не иначе как с оружием в руках, купить свободу кровью и кровью утвердить ее; безрассудно требовать, чтобы человек, родившийся на престоле и вкусивший сладость властолюбия с самой колыбели, добровольно отказался от того, что он привык почитать своим правом; что хотя некоторые и приводят в пример Траяна, который хотел в Римской империи ввести демократическое правление, но Траян может быть исключением очень редким, как в физической, так и в нравственной природе человека, и не может служить правилом и руководством.

Вероятно, Муравьев и Бестужев слова Борисова приняли в пользу мер Южного общества и думали, что истребление царствующего дома не будет новостью для славян, однако ж во всех своих разговорах они никогда не упоминали о сей мере и на 4-м только совещании, как мы видели, Бестужев, увлеченный энтузиазмом, в первый раз в присутствии славян вскрикнул: «Тогда тиран падет под нашими ударами». Впрочем и сие восклицание можно было принять в переносном смысле, если бы на том же совещании он не сказал Борисову 2-му: «Мы, которые убьем законного государя». Это одно объясняет, почему многие из славян показывали в Следственной комиссии, что злоумышление на царствующий дом было известно всем славянам, и что об этом *было* говорено неоднократно; между тем Борисов 2-й, Горбачевский и еще некоторые всеми силами отрицали сии показания и на их стороне была справедливость.

Без сомнения, те даже, которые говорили утвердительно о истреблении, никогда не думали о сем. Рассуждая о близком перевороте, зная, что форма правления должна быть республиканская, они, полагая, что император и его дом не могут остаться в России, и может быть после слов Бестужева-Рюмина «убьем законного государя», истребление всей царской фамилии показалось им самым надежным и скорым решением сего трудного вопроса.

Если бы план сего сочинения не заставлял нас заняться главнейшими происшествиями и избегать рассуждений, то мы могли бы подтвердить нашу мысль многими другими разговорами славян и тем доказать, что помянутое истребление никогда не было предметом общих рассуждений на совещаниях.

8

Пятое собрание славян 13 сентября у Андреевича 2-го.— Клятва.— Горбачевский, Спиридов, Пестов 15 сентября у С. Муравьева и Бестужева.— Разговор Горбачевского и Муравьева о приготовлении солдат.— Спор о действии на солдат посредством религии.— Назначение заговорщиков.— Борисов 2-й 16 сентября у Муравьева.— Выступление из лагеря.

13 сентября в день, назначенный для последнего совещания, все члены Славянского общества поспешили собраться на квартиру Андреевича 2-го. Это собрание было многочисленное и представляло любопытное зрелище для наблюдателя. Люди различных характеров, волнуемые различными страстями, кажется, помышляли только о том, как бы слиться в одно желание и составить одно целое; все их мысли были заняты предприятием освобождения отечества; все их надежды затмевались надеждою блистательных и несомненных успехов. Радость, самоотвержение блистали на их лицах; посреди всеобщего упоения проницательный взор наблюдателя мог бы заметить, что не все славяне чистосердечно радовались соединению их Общества с Южным, подобно как просвещенный путешественник, присутствующий при шумном и радостном торжестве диких, погребающих одного из своих собратий, читает в глазах отца и супруги скорбное чувство разлуки и видит незамечаемую никем слезу, посвященную памяти умершего.

Приезд Бестужева-Рюмина довершил упоение. Он говорил снова об успехах, о счастье пожертвовать собою для блага своих сограждан, и после сего каждый хотел произнести немедленно требуемую клятву. Все с жаром клялись при первом знаке явиться в назначенное место с оружием в руках, употребить все способы для увлечения своих подчиненных, действовать с преданностью и с самозабвением. Бестужев-Рюмин, сняв образ, висевший на его груди, поцеловал оный пламенно, призывая на помощь провидение; с величайшим чувством произнес клятву умереть за свободу и передал оный славянам, близ него стоявшим. Невозможно изобра-

зить сей торжественной, трогательной и вместе странной сцены. Воспламененное воображение, поток бурных и неукротимых страстей производили беспрестанные восклицания. Чистосердечные, торжественные страшные клятвы смешивались с криками: Да здравствует конституция! Да здравствует республика! Да здравствует народ! Да погибнет различие сословий! Да погибнет дворянство вместо с царским саном!..

Образ переходил из рук в руки: славяне с жаром целовали его, обнимали друг друга с горящими на глазах слезами, радовались как дети, одним словом, это собрание походило на сборище людей исступленных, которые почитали смерть верховным благом, искали и требовали оной *. Бестужев-Рюмин, пораженный и тронутый сими чувствами, сим бурным порывом энтузиазма, или желая, может быть, надеждою лучшей будущности еще более воспламенить страсти славян, сказал со слезами на глазах:

— Вы напрасно думаете, что славная смерть есть единственная цель вашей жизни; отечество всегда признательно: оно щедро награждает верных своих сынов; наградою вашего самоотвержения будет не смерть, а почести и достоинства; вы еще молоды и вас ожидает не мученический конец, но венец славы и счастья.

Сии слова, подобно магическому жезлу Эндоры[15], в одно мгновение переменили сцену: шумные восклицания умолкли, негодование заступило место успокоению.

— Говоря о наградах, — вскрикнули многие, — вы обижаете нас!

— Не для наград, не для приобретения почестей хотим освободить Россию, — говорили другие.

— Сражаться до последней капли крови: вот наша награда! — закричали с неистовством некоторые.

Бестужев-Рюмин смешался, видя что неуместно выразился на счет наград. Но сие справедливое негодование прошло после нескольких слов, сказанных Бестужевым: они успокоили славян, которые снова предались излиянию своих чувств.

15 сентября С. Муравьев попросил к себе Спиридова, Горбачевского и Пестова, которые приехали к нему в назначенный час. Бестужев-Рюмин начал разговор похвалами Славянскому обществу, рассказывал и повторял несколько раз С. Муравьеву, с каким восторгом они произносили клятву соединения двух Обществ, превозносил их преданность к общему делу, и тому подобное. Но Спиридов, Горбачевский и Пестов все еще не знали, зачем их к себе звал С. Муравьев. Сначала они полагали, что он их приглашает к себе по каким-нибудь маловажным обстоятельствам, или для того, чтобы кончить какие-нибудь переговоры, но вышло противное.

* Когда Бестужева вели на казнь, он сей самый образ, над которым клялись славяне, подарил своему сторожу, который был при нем в каземате. Сторож продал оный образ Лунину, у которого оный и теперь хранится.— *Прим. Горбачевского.*

Мы увидим в скорости, чего хотели С. Муравьев и Бестужев-Рюмин от славян, на что они соглашались и в чем отказали С. Муравьеву.

Разговор сделался общим, рассуждали о сношениях с Верховною думою, о действии на нижних чинов и прочем. Спиридов, Пестов и Бестужев-Рюмин перешли к рассуждениям о принятии членов, а по несогласию мнений относительно сего предмета между ними произошел довольно жаркий спор. Сергей Муравьев с Горбачевским, удалившись в другой конец комнаты, разговаривали о восстании, в особенности о приготовлении солдат.

Горбачевский утверждал, что от солдат ничего не надобно скрывать, но стараться с надлежащею осторожностью объяснить им все выгоды переворота и ввести их постепенно, так сказать, во все тайны Общества, разумеется не открывая им сего, заставить их о сем думать и дойти до того, чтобы они сражались не в минуту энтузиазма, но постоянно за свои мысли и за отыскиваемые ими права. Здесь Горбачевский рассказал С. Муравьеву предполагаемый славянами план действия на нижних чинов и говорил, что должно принять всем членам одинакой способ действий. Он был убежден, что откровенность и чистосердечие подействуют на русского солдата более, нежели все хитрости махиавелизма.

Муравьев думал иначе: ему казалось не только бесполезным, но даже опасным открывать солдатам что-либо клонящееся к цели Общества; что они отнюдь не в состоянии понять выгод переворота; что республиканское правление, равенство сословий и избрание чиновников будет для них загадкою сфинкса [16].

Горбачевский возражал, что сих политических тонкостей не нужно им толковать и рассказывать, но что на это есть другой язык, который они поймут, лишь бы только соображались с их понятиями.

— Кроме того, — прибавил он, — у всякого командира есть столько способов, что если солдаты во время восстания за ним не пойдут, то, конечно, командир сам виноват, и сие должно приписать ничему другому, как его нехотению, или — просто — нерадению.

С. Муравьев отвечал, что, по его мнению, лучший способ действовать на русских солдат религиею; что в них должно возбудить фанатизм и что чтение Библии может внушить им ненависть к правительству.

— Некоторые главы,— продолжал он,— содержат прямые запрещения от бога избирать царей и повиноваться им. Если русский солдат узнает сие повеление божие, то, не колеблясь ни мало, согласится поднять оружие против своего государя.

— Я с вами не согласен,— отвечал Горбачевский,— вы знаете, что терпимость составляет отличительную черту русского народа; вам не нужно говорить, что ни священники, ни монахи не могут иметь влияния на русских и что они пользуются весьма невыгодным для них мнением между нашими соотечественниками. Скажите, можно ли с русским гово-

рить языком духовных особ, на которых он смотрит с весьма худой стороны? Я думаю, что между нашими солдатами можно более найти вольнодумцев, нежели фанатиков, и легко может случиться, что здравый смысл заставит некоторых из них сказать, что запрещение израильтянам избирать царя было не божие повеление, а обман и козни священников-левитов, желавших поддержать теократию.

— Вы делаете много чести нашим солдатам, — возразил С. Муравьев,— простой народ добр, он никогда не рассуждает, и потому он должен быть орудием для достижения цели.

Говоря сие, он вынул из ящика исписанный лист бумаги и, подавая его Горбачевскому, сказал:

— Поверьте мне, что религия всегда будет сильным двигателем человеческого сердца; она укажет путь к добродетели; поведет к великим подвигам русского, по вашим словам равнодушного к религии, и доставит ему мученический венец.

Горбачевский молча взял бумагу из рук Муравьева, пробежал ее глазами и увидел, что это — перевод той главы из Ветхого завета, где описывается избрание израильтянами царя Саула.

— Это все очень хорошо, — сказал он, отдавая назад Муравьеву помянутый лист,— но я уверен, что никто из славян не согласится таким образом действовать; что же касается меня, то я первый отвергаю сей способ и не прикоснусь до сего листа.

В это время подошел к ним Спиридов. С. Муравьев, отдавая ему сей лист, повторил сие мнение. Услышав оное, Спиридов начал поддерживать мнение Горбачевского, говоря, что сей способ совершенно не соображен с духом русского народа; что он не принесет никакой пользы, и что кто проникнут чувством религии, тот не станет употреблять столь священный предмет орудием для достижения какой-либо посторонней цели. Муравьев силился доказать Горбачевскому, что сие средство действовать на солдат есть самое надежное; Горбачевский же, напротив, утверждал, что оно, относительно русского солдата, есть совершенно бесполезно, и что ежели ему начнут доказывать Ветхим заветом, что не надобно царя, то, с другой стороны, ему с малолетства твердят и будут доказывать Новым заветом, что идти против царя значит — идти против бога и религии, и — наконец — что никто не захочет входить в теологические споры с солдатами, которые совсем не в том положении, чтобы их понимать, и не те отношения между ними и офицерами.

Муравьев замолчал, положил бумагу в ящик и обратил разговор на другой предмет. Мы не будем здесь рассуждать, почему Муравьев полагал, что священным писанием можно привлечь к делу солдат и показать им, каким образом должны управляться народы; не будем также доказывать, ложно ли или справедливо было сие его мнение, но только скажем, что ни Горбачевский, ни Спиридов не только не приняли предложения С. Му-

равьева, но даже впоследствии оставили его без всякого внимания и не сообщали его своим товарищам, ибо наперед знали, что ⟨они⟩ будут противного мнения.

Во время разговора Горбачевского с Муравьевым Спиридов, Пестов и Бестужев-Рюмин спорили между собою. Бестужев вскричал:

— Членов много, но скажите, возьмется ли кто-нибудь из них нанести удар императору?

Пестов отвечал с удивлением:

— Я не понимаю вашего вопроса: мне кажется, что каждый, поклявшийся умереть за отечество, должен быть на все готов; он должен исполнить все, служащее ко благу отечества, лишь только оно будет признано необходимым.

При сих словах на лице Бестужева изобразилась радость: он, вместо всякого ответа, вынул из кармана список членов Славянского общества, подбежал к столу и, обращаясь к Пестову, Спиридову и Горбачевскому, сказал:

— Коль скоро так, то прошу на сем списке отметить имена славян, которые, по вашему мнению, готовы пожертвовать всем и одним ударом освободить Россию от тирана.

Очень хладнокровно и нимало не противореча, все три подошли к столу: Пестов назначил самого себя; Спиридов, кроме себя, еще Тютчева, Громницкого и Лисовского; Горбачевский — себя и двух братьев Борисовых, Бестужев-Рюмин сам назначил Бечасного и потом самого себя, Кузьмина, Соловьева и Сухинова.

Когда Горбачевский отмечал Борисова 2-го, Бестужев-Рюмин объявил неудовольствие и не хотел, чтобы он был назначен; Пестов и Горбачевский почли сие устранение оскорбительным и спросили причину оного.

— Он слишком холоден и неспособен к энтузиазму, — отвечал Бестужев,— и потому я почитаю его неспособным к этому решительному предприятию.

— Вы его не знаете,— отвечали они с негодованием, стараясь разрушить предубеждение Бестужева, который должен был наконец согласиться поместить Борисова 2-го в числе заговорщиков. Так он называл людей, которые назначались к отважному предприятию покуситься на жизнь государя.

Кончив сии назначения и не входя ни в какие предварительные рассуждения, Бестужев сказал:

— Заговорщики должны дать клятвенное обещание в неизменном исполнении возложенного на них поручения и до исполнения оного никому из членов Общества не открывать своего назначения, и даже никому не говорить о сей мере Южного общества. Он первый поклялся исполнить сей обет и — как оказалось после — первый его нарушил, написавши к Пестелю и сказавши другим, что у него есть пятнадцать человек,

готовых убить государя [17]. Славяне поклялись, и не только никто из них сочленов не знал о сей мере Южного общества, не только никто не знал о существовании заговорщиков, но даже никто из них не слыхал, что 15 сентября вечером у Муравьева и Бестужева были Пестов, Спиридов и Горбачевский.

Таким образом кончилось замечательное и странное совещание. Описывая его подробно, со всею справедливостью и истиною, мы хотим показать, каким образом действовали С. Муравьев и Бестужев, чего они хотели и должно ли было им так поступать с людьми, которые не скрывали от них ничего и которые, один раз решившись на все, не подвергая обсуждению предложения Бестужева, хладнокровно и без всякого противоречия назначали себя в убийцы из одного убеждения, что сего требует цель Общества и успех предприятия. Но между тем, Бестужев и Муравьев не заметили самого важного: от их внимания ускользнуло, что, действуя таким образом, они теряют доверенность, необходимую в столь важных случаях, и наводят на себя подозрения. Славяне ясно видели, что с ними обходятся неоткровенно и употребляют извороты, вовсе ненужные, чтобы получить от них согласие. Однако, несмотря на сие, имея всегда в виду только достижение цели, они согласились и молчали обо всем, единственно для того еще, чтобы не повредить успеху дела. Не менее того заговорщики с сей минуты еще более убедились в невыгодных мнениях на счет откровенности Муравьева и Бестужева, и — вообще — на счет дел их Общества.

Муравьев и Бестужев, прощаясь с Пестовым и Горбачевским, просили их сообщить о всем происходившем на сем совещании Борисову 2-му и желали, чтоб он непременно, до выхода из лагеря, с ними повидался. Борисов 2-й на другой день рано утром был у Муравьева и Бестужева (они вместе жили), которые сообщили ему, что он поступил в заговорщики, и взяли с него клятвенное обещание. В тот же день, т. е. 16 сентября, все полки и артиллерийские роты, бывшие в лагере, выступили на кантонир-квартиры.

9

Отличительные черты Южного общества и Союза соединенных славян

Краткое описание сих происшествий Лещинского лагеря доказывает, сколь сильное влияние имело соединение двух Обществ на направление действий и будущую судьбу оных. Постараемся теперь означить, сколько возможно, отличительные черты каждого из этих Обществ. Сие сближение яснее покажет составные части и характер оных.

Члены Южного общества действовали, большею частию, в кругу высшего сословия людей; богатство, связи, чины и значительные должности считались как бы необходимым условием для вступления в Общество; они

думали произвести переворот одною военною силою, без участия народа, не открывая даже предварительно тайны своих намерений ни офицерам, ни нижним чинам, из коих первых надеялись увлечь энтузиазмом и обещаниями, а последних — или теми же средствами, или — деньгами и угрозами *. Сверх того, так как члены Южного общества были, большею частью, люди зрелого возраста, занимавшие довольно значащие места и

---

* В справедливости сего мы могли бы привести множество примеров, но скажем главные, которые служат доказательством нашего мнения.

Из происшествий Лещинского лагеря легко можно видеть, что С. Муравьев и Бестужев с трудом согласились, чтобы славяне действовали на солдат, и когда дали оное согласие, то не иначе как с ограничением, как-то: действовать медленно, косвенно. Мы смело утверждаем, чему все свидетели, бывшие в Лещине, что полковые командиры всегда говорили,— в том числе и С. Муравьев,— что они без всякого предварительного приготовления увлекут за собою солдат и офицеров. Сему служат ⟨доказательством⟩ самые резкие примеры.

Ни один полковой командир 9-й дивизии, 8-й гусарской и командир артиллерийской роты, никто из них никогда из своего полка не принял ни одного офицера в Общество (хотя в полках сих дивизий находилось много членов Общества из субалтерн-офицеров, но все они были приняты: или — славянами, или — Бестужевым-Рюминым). Муравьев не только не принимал в члены офицеров Черниговского полка, но даже не знал, что с ним служат офицеры, которые уже два года принадлежат к другому тайному обществу. Мнение, что можно увлечь с собою офицеров и солдат, было единственною причиною, которая заставляла С. Муравьева противиться, чтобы Черниговского полка офицеры не принимали никакого участия в совещаниях, бывших в Лещине, и сия же самая причина была удивлению Бестужева при первом совещании, когда он увидел там 9-й дивизии поручика Усовского (см. выше, стр. 9). Черниговского полка офицеры прямо действовали на солдат, но о сем никогда не знал С. Муравьев; никогда сии офицеры не говорили ему о сем, ибо знали наперед, что он будет сему противиться. Вятского полка командир Пестель никогда не заботился об офицерах и угнетал самыми ужасными способами солдат, думая сим возбудить в них ненависть к правительству. Вышло совершенно противное. Солдаты были очень рады, когда его избавились и после его ареста они показали на него жалобы [18]. Непонятно как он не мог себе вообразить, что солдаты сие угнетение вовсе не отнесут к правительству, но к нему самому: они видели, что в других полках солдатам лучше, нежели им; следовательно понимали и даже говорили, что сие угнетение не от правительства, а от полкового командира. Полковник Тизенгаузен всегда говорил, что для него довольно будет, если он, выстроивши полк, выкативши несколько бочек вина, выдавши несколько денег, вызвавши песенников вперед, крикнет: Ребята, за мной! — чтобы полк двинулся и действовал в смысле его.

Бригадный командир 3-й конной бригады подполковник Фролов и ротный командир 4-й конной роты капитан Пыхачев говорили то же самое, что и полковник Тизенгаузен, прибавляя еще к их словам, что он прикажет дать несколько кусков сала в кашицу и русские солдаты пойдут за ним. Бывший командир 27-й конно-артиллерийской роты подполковник Ентальцев однажды спросил у Горбачевского:

— Зачем в 8-й артиллерийской бригаде объявили солдатам и фейерверкерам о замышляемом перевороте?

— Затем,— отвечал ему Горбачевский,— чтобы они знали, за что они будут сражаться, и поэтому быть совершенно убеждену в их содействии и усердии, и быть уверену всякую минуту в готовности их к восстанию.

— Этого никогда не должно делать: я бы свою роту, если б она за мной не пошла, погнал бы палкою,— возразил Ентальцев.— *Прим. Горбачевского.*

имевшие некоторый вес по гражданским отношениям, то для них было тягостно самое равенство их свободного соединения; привычка повелевать невольно брала верх и мешала повиноваться равному себе, и тем более препятствовала иметь доверенность в сношениях по Обществу с лицами, стоящими ниже их в гражданской иерархии.

Славяне, напротив, в действиях своих руководствовались совершенно противоположными началами. Они требовали от своего сочлена, нимало не взирая на светские его отношения, старания стремиться к собственному усовершенствованию, презрения к предрассудкам и твердого и обдуманного желания полного во всем преобразования. Они были проникнуты обширностью своего плана и для приведения его в исполнение считали необходимым содействие всех сословий; в народе искали они помощи, без которой всякое изменение непрочно; собственным же своим положением убеждались, что частная воля, частное желание — ничтожны без сего всемощного двигателя в политическом мире.

Славяне, все без исключения люди молодые, пылкие, доверчивые и решительные, не могли ограничиваться одними желаниями: деятельность сделалась потребностью их души, жаждущей овладеть желаемым. Равенство и даже подчиненность в стремлении к общему делу не могли устрашить тех, которые еще не вкусили яда власти.

Однако, несмотря на разномыслие в средствах и образе действий, сии люди соединились и поклялись, жертвуя всем, достигнуть цели. Сближение сие, конечно, изменило несколько характер Васильковской управы, но не могло вполне пробудить ее от бездействия [19]. Славяне же, укрепленные новыми силами, начали еще с большим рвением действовать на своих подчиненных. Плодом их действия было восстание Черниговского полка, которое составляет главный предмет нашего рассказа. Сила обстоятельств заставила, может быть, начать его ранее, нежели следовало, и надолго удалило Россию от того благоденствия, которое ей обещало сие благородное усилие людей истинно благомыслящих. Приступим к описанию сего незабвенного происшествия и, вместе с тем, изложим предварительно все содействовавшие оному обстоятельства. Пусть каждый оценит сие дело по совести, воспользуется ошибками первого опыта и почтит память погибших за святое дело.



II. ВОССТАНИЕ ЧЕРНИГОВСКОГО ПОЛКА

1

Агитация славян среди солдат.— В конце октября Горбачевский и Борисов 2-й посылают с Андреевичем 2-м в Киев Бестужеву письмо о подготовке восстания.— Известие о смерти Александра I.— Присяга Константину и происшествия в Черниговском полку при ее совершении

Немедленно по возвращении из Лещинского лагеря на зимние квартиры, славяне, горевшие нетерпением достигнуть желаемой цели, начали распространять свои мысли между нижними чинами. В 9-й дивизии офицеры Черниговского полка еще во время лагеря действовали на солдат; прибыв на квартиры, они усилили свои действия и неослабимо, с величайшею ревностию приготовляли своих подчиненных — будущих сподвижников великого дела. В полках 8-й дивизии члены Общества также не оставались праздными и всеми способами стремились к избранной цели; но можно положительно сказать, что никто из них не действовал смелее и решительнее артиллеристов 8-й бригады. Они употребляли все возможные усилия к приготовлению своих подчиненных, старались как бы слиться с ними, породнить их со своими мыслями и желаниями: они даже открыли им все свои намерения, и когда поверяли им свои надежды, в сем случае славяне Черниговского полка и 8-й бригады переступили, может быть, границы благоразумия, но, к их счастию и к чести русских, между нижними чинами не нашлось ни одного изменника. За доверенность своих офицеров они платили скромностью и верностью, слушали пылких славян со вниманием, любопытством, хотя и не без удивления; некоторые из них даже клялись следовать всюду за добрыми, как они говорили, офицерами, и если нужно — умереть вместе с ними. Какое-то темное желание изменить существующий порядок вещей волновало их ум и сердце; настоящее положение было им тягостно; они хотели перемены, но какой? — Они в том не могли себе сначала дать ясного отчета.

В конце октября месяца командирован был начальством Андреевич 2-й в Киевский арсенал для черчения планов *. Горбачевский послал

* После лагеря Андреевич был переведен из 2-й легкой роты в 1-ю батарейную 8-й же бригады.— *Прим. Горбачевского.*

с ним письмо к Бестужеву, где описывал действия славян на нижних чинов, готовность их к восстанию и принятие новых членов. В сем письме успехи славян нисколько не были преувеличены: они желали чистосердечно переворота, потому действовали смело и были уверены в скором исполнении их желаний. Тут же было приложено мнение Петра Борисова относительно приготовления артиллерии и переделки снарядов [20]: он предлагал управляющим Обществами найти способы внушить начальству чрез кого-нибудь из близких к оному мысль об отдании приказа по корпусу на счет осмотра и переделки всех вообще зарядов и полагал необходимым привести сию меру в действие, по крайней мере, в тех ротах артиллерии, где находятся члены Общества *.

Среди сих занятий и приготовлений получено было известие о внезапной смерти Александра I. Сие неожиданное происшествие призывало к немедленному восстанию; различные чувства волновали сердца, ожидания, надежды приводили умы в движение, но все было спокойно.

В начале декабря военные и гражданские чиновники получили повеление приступить к присяге новому императору — Константину [21]. Славяне присягали с неудовольствием и, пользуясь сим случаем, старались внушить своим подчиненным недоверенность к правительству и представить сию присягу как обстоятельство, вынужденное насилием, от которого каждый может освободиться при первом благоприятном случае без малейшего упрека совести.

В Черниговском полку сами обстоятельства помогали офицерам действовать на солдат в сем смысле. Командир сего полка подполковник Гебель, не соображаясь нисколько с духом времени, ни с важностью присяги, поступил, как обыкновенно поступают наши должностные люди, по мнению коих все искусство в управлении состоит в том, чтобы сбыть с рук скорее дело. Пользуясь сбором полка для присяги, он вздумал привести в исполнение сентенцию главнокомандующего 1-й армиею над двумя рядовыми, приговоренными за грабительство к позорному наказанию кнутом и ссылке в каторжную работу. Таким образом, в один и тот же час по его распоряжению было исполнено два повеления, разительно противуположные одно другому. Солдаты знали, что они собраны для присяги и не могли не удивиться, услышав чтение сентенции и вид приготовления к

---

* В артиллерийские роты для практических занятий порох и снаряды принимались всякий год в Киеве и расходовались во время лагеря. Между тем, по небрежению ротных командиров, заряды, находящиеся в ящиках, никогда не переменялись. Это делалось почти везде и Борисов, будучи в сражении против горцев с бригадою, которая перешла на Кавказ из первой армии и пошла тотчас в действие, не успев переменить и осмотреть снарядов и будучи свидетелем неудачного действия гранат, брандскугелей и картечи, боялся, чтобы сего не случилось и при восстании.— *Прим. Горбачевского.*

постыдному наказанию виновных их товарищей. При самом начале чтения в рядах слышен был глухой ропот, который вскоре превратился в явное изъявление негодования. Сей поступок полкового командира убеждал солдат в его злобе и недоброжелательстве: они думали, что он мог бы избавить их товарищей от жестокого наказания, зная, что при восшествии на престол нового государя самые ужасные злодеи получают смягчение наказания *. Офицеры, пораженные сим неблагоразумным распоряжением, жаловались вслух, при солдатах, на неуместную жестокость правительства, выражали явно свою ненависть к деспоту, к исполнителям его воли и, не желая быть свидетелями сего позорища, оставили свои места. Сие торжество человеколюбия пред военною дисциплиною сильно подействовало на солдат; казалось, они ожидали только слова, чтобы следовать примеру своих офицеров. Нечаянный случай выразил сей порыв. Сергей Муравьев, человек чувствительный по своему высокому и благородному характеру, чуждый всякой жестокости, был поражен воплем жертв, терзаемых бесчеловечно свирепым палачом. Напрасно он делал усилия казаться спокойным: не будучи в состоянии выдержать сильных потрясений души, производимых сим отвратительным зрелищем, он лишился чувств и пал замертво. Офицеры и солдаты, увидя сие, все без исключения, забыв военную дисциплину, забыв присутствие строгого Гебеля, бросились к Муравьеву на помощь. Строй пришел в совершенный беспорядок, солдаты собрались в кучу около лежавшего без чувств С. Муравьева и старались возвратить его к жизни. Ни командные слова, ни угрозы не могли привести их к послушанию и восстановить порядок.

Происшествие сие еще более привязало солдат Черниговского полка к их офицерам и особенно к Муравьеву; в его чувствительности они видели доказательство его человеколюбия и участия к бедственному жребию русского солдата, неограждённого никакими законами от самовластия последнего офицера; они чувствовали, что он для их собственного добра желает перемены их положения. Увлеченные гневом, они осыпали проклятиями полкового командира, правительство, и сей случай заронил в их сердце искру мщения. Присяга новому императору, произнесенная сейчас после сей ужасной экзекуции, не могла быть чистосердечна; умы и сердца были поражены жестокостью наказания и не могли вознестись к престолу вечного с обещанием умереть за...[22].

---

* Сии несчастные солдаты, будучи пьяны, отлучились от полка и в 3 верстах от штаба отняли у мужика 2 руб. сер. Конечно, они виноваты, но в сем случае такая строгость хуже всякого послабления.— *Прим. Горбачевского.*

2

23 декабря известия в Черниговском полку о событиях 14 декабря.— Отъезд С. Муравьева 24 декабря в Житомир.— Сборы Бестужева в Петербург.— 25 декабря присяга Николаю.— Прибытие жандармов для ареста Муравьева.— Выезд Бестужева в Житомир для предупреждения Муравьева.— Приезд в Васильков Андреевича 2-го

За два дня до рождества христова в Черниговском полку узнали о происшествии 14 декабря [23]. На другой день поутру С. Муравьев объявил славянам, что он поедет в Житомир и скоро возвратится. Целью сей поездки, по его словам, было намерение испросить у корпусного командира отпуск Бестужеву-Рюмину в С.-Петербург. Нам неизвестно, зачем Бестужев должен был ехать в столицу: мы только можем сказать, что он, незадолго перед сим, писал Горбачевскому и Спиридову и приглашал их приехать к 15-му января 1826 года в Киев, вместе с Борисовым 2-м и Тютчевым. Накануне отъезда С. Муравьева, Бестужев-Рюмин просил Кузьмина приготовиться в дорогу и сказать об этом Соловьеву, Сухинову и Щепилле:

— Вы все поедете,— говорил он,— со мною в Киев, а оттуда в С.-Петербург *. По сим данным невозможно сделать никакого заключения и весьма трудно решить, зачем Бестужев приглашал их в Киев к назначенному сроку. Вечером того же дня, вскоре после отъезда С. Муравьева (24 декабря), ротные командиры Черниговского полка получили от полкового командира повеление собрать роты в полковой штаб, для присяги новому императору Николаю I. Услыша о сем повелении, славяне сейчас согласились собрать свои роты в полной походной и боевой амуниции, намереваясь воспользоваться случаем и, не ожидая приезда Муравьева из Житомира, возмутить полк и идти прямо на Киев, где Муравьев, услыша о сем, мог соединиться с ними. Сию мысль подало им известие о неудачном происшествии 14 декабря в С.-Петербурге. Зная несчастные следствия оного, они хотели произвесть новое восстание на юге и тем спасти тайное общество от конечной гибели.

Рано по утру, 25 декабря, когда все роты Черниговского полка собрались в Васильков, члены Славянского общества поколебались в своем намерении; они не знали, на что решиться: начать ли действовать или ожидать возвращения С. Муравьева.

— Что мы будем делать,— говорили некоторые из них,— если, по приходе нашем в Киев, мы не найдем ни одного из членов, желающих разделить с нами опасность восстания, и если по каким-либо непредвиденным обстоятельствам Муравьев будет задержан в Житомире и не прибудет к нам? Наше восстание, начатое без ведома и согласия главных членов Общества, не повредит ли общему делу и не расстроит ли планов, составлен-

* Муравьев прежде сам хотел ехать в Петербург с сими офицерами, но, как видно, отложил сие намерение.— *Прим. Горбачевского.*

ных ими? Сие рассуждение остановило бурный порыв нетерпеливых славян и, после долгого совещания, они почли нужным, наконец, отложить свое предприятие и спокойно ожидать возвращения С. Муравьева *.

Того же дня в 10 часов утра был совершен обряд присяги **. Солдаты произносили обещание с отвращением; некоторые из них стояли с мрачным и неподвижным взором, в глубоком молчании, и не только не повторяли слов священника, но даже не слушали оных, а офицеры показывали явно нетерпение и негодование, были совершенно невнимательны к сему обряду, и многие из них даже не поднимали руки, как это бывает при подобных случаях. Глухой ропот в рядах сопровождал почти каждое слово священника.

— Сколько будет этих присяг? — говорили иные.

— Бог знает,— отвечали другие,— это ни на что не похоже; сегодня присягай одному, завтра другому, а там, может быть, и третьему.

Неудовольствие, досада изображались во всех движениях и показывали сильное брожение умов, казалось, что все ожидали чего-то необыкновенного и желали быть свидетелями совершения оного. Гебель все сие видел, но старался скрыть свое неудовольствие от своих подчиненных и произносил клятвенное обещание с особенным благоговением и усердием, как бы желая тем пробудить в сердцах угасшую их преданность к царственному дому.

Тотчас по окончании присяги полк был распущен по квартирам. Члены Общества, по принятому ими намерению, остались в Василькове и, отпустив свои роты в деревни, приказали им по первому приказу явиться в полной боевой и походной амуниции туда, куда потребуют их ротные начальники ***.

---

* Офицеры говорили впоследствии о сем Муравьеву: он очень жалел, что они тотчас не исполнили.— *Прим. Горбачевского.*

** Рано поутру ротные командиры — Соловьев и Щепилло, пришли к полковому командиру с рапортом о прибытии их рот в штаб. Когда они явились, подполковник Гебель спросил у них, между разговорами, знают ли они причину требования в штаб? Соловьев отвечал, что он слышал, будто бы присягать новому государю. Гебель сие подтвердил, прибавляя, что он боится, чтобы при сем случае не было переворота в России,— и при сих словах заплакал. Соловьев отвечал с улыбкой, что всякий переворот всегда бывает к лучшему и что даже желать должно. Ох, боюсь,— сказал, закрыв руками лицо, Гебель, как будто предчувствуя то, что с ним случится. Соловьев начал шутить, Гебель — плакать, а Щепилло, который был характера вспыльчивого и нетерпеливого, ненавидел Гебеля за его дурные поступки, дрожал от злости, сердился и едва мог удерживать свою досаду. Соловьев рассказывает, что из этого вышла пресмешная и оригинальная сцена.— *Прим. Горбачевского.*

*** Читая сии намерения членов Славянского общества и их распоряжения, нельзя не убедиться, как важно для всякого Общества, которое хочет действовать военною силою, иметь в нем ротных командиров и субалтерн-офицеров, и как важно заранее объявить свое намерение солдатам. Спрашивается: кто бы осмелился приказывать ротам явиться в походной амуниции к присяге и, пришедши в штаб, скрыть оное от всех? Кто бы осмелился отдавать приказания ротам являться с боевыми патронами

Вечером, по случаю полкового праздника, приглашены были к полковнику Гебелю на бал все офицеры, городские жители и знакомые помещики с их семействами. Собрание было довольно многочисленное; хозяин всеми силами содействовал к увеселению гостей, а гости старались отблагодарить его радушие, веселились от чистого сердца и танцевали, как говорится в тех местах, до упаду. Музыка не умолкала ни на минуту; дамы и кавалеры кружились беспрестанно в вихре танцев; даже пожилые люди принимали участие в забавах, опасаясь казаться невеселыми. Одним словом — веселиться и веселиться искренно было общим желанием, законом собрания; время летело быстрее молнии. Вдруг растворилась дверь в залу и вошли два жандармских офицера: поручик Несмеянов и прапорщик Скоков. Мгновенно удовольствия были прерваны, все собрание обратило на них взоры, веселие превратилось в неизъяснимую мрачность; все глядели друг на друга безмолвно, жандармы навели на всех трепет. Один из них подошел к Гебелю, спросил его, он ли командир Черниговского полка, и, получа от него утвердительный ответ, сказал ему:

— Я к вам имею важные бумаги.

Гебель тотчас удалился с ним в кабинет.— Тут начались вопросы, предположения, беспокойства; одни члены Славянского общества сейчас поняли, что ударил час общей для них гибели.

Все открыто,— думали они про себя. Сегодня арестуют одного, завтра другого; надобно на что-нибудь решиться.

Через несколько минут Гебель, в сопровождении жандармских офицеров, возвратился в залу и, не сказав никому ни слова, вышел, сел в те же самые сани, в которых приехали Несмеянов и Скоков, и вместе с ними поскакал на квартиру С. Муравьева *.

В это время Бестужев-Рюмин находился в Василькове и жил с Башмаковым на квартире Муравьева. Было довольно поздно: они уже спали. Никто из членов, бывших у Гебеля, не мог их уведомить о нечаянном появлении жандармов; отдаленное расстояние и быстрое действие Гебеля не позволили предварить их, и они узнали о нем только тогда, когда, разбуженные стуком и требованием огня, увидели перед собою командира Черниговского полка, сопровождаемого жандармами, которые прямо вошли в кабинет Муравьева и, не сказав ни одного слова, взяли все бумаги, там находящиеся. Кончив свое дело, они помчались по житомирской дороге. Бестужев-Рюмин и Башмаков, пораженные сим явлением, остава-

---

туда, куда потребует ротный командир? Можно ли отдавать такие приказания таким солдатам, которые не знают намерений ротного командира? Вопросы сии сами собою решаются. Но мы еще прибавим, что одни офицеры в состоянии сие сделать, и притом таким образом, что ни батальонный, ни полковой командир никогда о сем не могут знать. Этому пример — Черниговский полк.— *Прим. Горбачевского.*

* Сии жандармские офицеры посланы были из главной квартиры 1-й армии: один приехал, чтобы арестовать С. Муравьева, другой — брата его Матвея.— *Прим. Горбачевского.*

лись несколько минут в недоумении, из коего были выведены пришедшими славянами, которые, полагая, наверное, что жандармы привезли повеление арестовать Муравьева, оставили тотчас дом Гебеля и побежали в разные места города, чтобы собрать хоть несколько солдат и захватить Гебеля, вместе с жандармами; но, не найдя солдат, которые до одного разошлись по деревням, они поспешили к Бестужеву и просили его скакать в ту же минуту вслед за Гебелем, стараясь обогнать его и уведомить Муравьева об угрожающей ему и всему Обществу опасности, говоря, что, между тем, они займутся приготовлением к восстанию.

Бестужев-Рюмин не ожидал повторения, взял лошадей и полетел. Он так скоро ехал, что обогнал на дороге Гебеля, был четвертью часа на первой станции прежде его и поскакал далее.

Отправив Бестужева, офицеры Черниговского полка решились в Василькове ожидать возвращения С. Муравьева, и если он будет арестован на дороге, непременно поднять полк и идти на Киев, не заботясь, какой конец будет иметь сие действие. Однако ж, не взирая на сию твердую решительность пасть первыми жертвами свободы, их положение было весьма тягостно. Окруженные неизвестностью, мучимые желаниями, они терзались в догадках и предположениях, и почти не покидали квартиры Муравьева, ожидая его возвращения. 24 декабря, когда, по обыкновению, они там находились и беседовали о будущем, стараясь забыть настоящее, неожиданно явился 8-й бригады подпоручик Андреевич 2-й. Черниговцы обрадовались. Андреевич, войдя в комнату, спросил: Где Муравьев?

— Мы не знаем, где он и что с ним делается,— отвечали славяне. Тут рассказали они Андреевичу в коротких словах о всем случившемся 25 декабря, и потребовали, чтобы он немедленно ехал по следам Муравьева и старался отыскать его; чтобы он просил его остаться в 8-й дивизии в каком-нибудь гусарском полку и там поднять знамя бунта. Они поручили Андреевичу успокоить его на счет их, ибо коль скоро они узнают о восстании, то немедленно взбунтуют Черниговский полк и придут на сборное место. Сверх того они сказали Андреевичу, чтобы он известил всех известных ему членов, как Южного, так и Славянского Обществ о начале восстания, и, наконец, если Муравьев арестован, то чтобы он старался побудить других членов к действию и к освобождению арестованного, и что сами они ожидают от него уведомления об успехе его предприятия. Андреевич не делал никаких возражений: предложение черниговских офицеров ему понравилось; он тотчас согласился исполнить его со всевозможною ревностию. Ему дали казенную подорожную на имя Александрийского гусарского полка поручика Сухинова [24], а Кузьмин снабдил его деньгами на прогоны. Андреевич, ни минуты не медля, поскакал по дороге к Житомиру *.

* Торопливость, с какою отправили Андреевича, была так велика, что никто даже не вздумал спросить у него, зачем он приезжал в Васильков.— Черниговцы

3

Движение в 8-й артиллерийской бригаде.— Совещание Андреевича, Бечаснова, Борисова и Горбачевского ночью 20 декабря в Барановке.— Пункты о подготовке и начале выступления.— Артиллеристы открываются фейерверкерам.— Брожение в городе и среди солдат.— Отъезд Андреевича 23 декабря

Теперь оставим на время Черниговский полк и бросим взгляд на движения, происходившие в то же самое время в других местах: это отступление необходимо для обозрения общего хода дела; мы часто будем переносить нашего читателя из одного места в другое, прерывать начатый рассказ и начинать новый.

После присяги Константину, славяне 8-й дивизии, 8-й артиллерийской бригады не имели никакого известия — ни от Муравьева, ни от Бестужева. Несмотря на сие, члены неусыпно старались приготовлять солдат, хотя план восстания, назначенный на Лещинских совещаниях к концу 1826 года,— расстраивался смертью Александра I, но они думали, что распространение мыслей и желание переворота не может вредить общей цели. 20 декабря Борисов 2-й был у Горбачевского, и когда они рассуждали о своих действиях на солдат, один фейерверкер принес Горбачевскому письмо от Андреевича, в котором он иносказательно изъяснял, сколько Бестужев радуется успехам славян в их действиях и... о близком начале желаемого переворота. Еще не было прочтено письмо, как, к удивлению их, Андреевич сам вошел в комнату в дорожном платье. Радость их была неимоверная. Он подал им письмо от Бестужева. Из сего письма они увидели, что главные члены Южного общества почитают необходимым начать действие ранее положенного времени; Бестужев просил славян ускорить дело и употребить все усилия к приготовлению нижних чинов. «Нам представляется случай ранее, нежели мы думали, умереть со славою за свободу отечества,— писал он к Горбачевскому,— может быть в феврале или марте месяце,— голос родины соберет нас вокруг хоругви свободы» [25]. В сем же письме Бестужев просил Горбачевского, вместе с Борисовым 2-м, приехать к 15 января 1826 года в г. Киев. Известие сие чрезвычайно ободрило славян. Горбачевский тотчас уведомил Бечаснова о приезде Андреевича и просил его приехать к нему. Славяне провели всю ночь в совещаниях; разбирали возможность скорого восстания; приискивали средства к приведению сего дела в исполнение и, наконец, положили: ускорить свои действия, объявить фейерверкерам и рядовым о близости переворота, ста-

---

ского полка поручик Сухинов был еще в начале ноября месяца 1825 года переведен в Александрийский гусарский полк и в том же месяце получил от полка повеление отправиться куда следует, но несмотря на все угрозы начальства, которое побуждало его ехать в гусарский полк, Сухинов не выезжал из Черниговского полка, единственно дожидая восстания оного.— *Прим. Горбачевского.*

раться укрепить их дух и усугубить деятельность. Они поручили Андреевичу изъяснить словесно Бестужеву то, что они считали необходимым для поднятия артиллерийских рот 8-й бригады. Борисов 2-й, с общего согласия, написал памятную записку и вручил ее Андреевичу. Сия записка заключалась в следующих семи пунктах, на которые Андреевич должен был требовать разрешения от Муравьева и Бестужева:

1. Артиллерия не может выступить в поход и действовать без прикрытия; посему необходимо снестись с Спиридовым, Арт. Муравьевым, и требовать, чтобы они прислали в 8-ю артиллерийскую бригаду: первый — пехоту, а второй — гусар.

2. В батарейной роте состоит налицо один только офицер (прочие в командировке), принадлежащий к Обществу, и рота находится в городе, где квартирует бригадный командир, который, в случае восстания, может получить содействие от внутренней стражи. Посему, для надлежащего действия в сей роте нужна значительная часть пехоты и кавалерии, без коей фейерверкеры и рядовые, вооруженные только тесаками, несмотря на их готовность и рвение к делу, не могут одни обещать успеха, тем более, что артиллерийские лошади стоят в 45 верстах от парка.

3. Во 2-й легкой роте не существует сих затруднений, к восстанию она совершенно готова и требует только прикрытия на походе.

4. Из четырех орудий, остающихся в каждой роте за неимением лошадей (роты состояли на мирном положении), славяне намерены сформировать новую батарею; лошадей надеются найти под квитанцию одного из своих сочленов, а прислугу думают взять из 4-й парочной роты, полагаясь вполне на служащих в ней солдат.

5. Немедленно по восстании славяне полагают необходимым объявить скорое освобождение крестьян.

6. Славяне хотят, посредством поляков, состоящих в их Обществе, действовать на шляхту и склонить ее к участию в общем деле объявлением всеобщего восстания (pospolite ruszenie).

Наконец, 7. Славяне требуют от Муравьева и Бестужева немедленного уведомления о сделанных ими распоряжениях, заблаговременного извещения о дне восстания с означением сборного пункта, где предполагается сосредоточить все силы, поднявшие оружие против правительства.

На другой день Горбачевский и трое его товарищей виделись с фейерверкерами двух рот 8-й бригады и, согласно с принятым решением, сообщили им о полученных из Киева известиях и о мерах к дальнейшему действию. Это не удивило фейерверкеров: они, кажется, заранее были на все готовы, но нечаянный приезд Андреевича из Киева без дозволения начальства сильно подействовал на умы солдат и произвел глубокое впечатление, благоприятное намерениям славян. Через два дня Андреевич оставил 8-ю бригаду и возвратился в Киев, откуда 24 декабря отправился в Васильков к Муравьеву, которого, как мы видели выше, не найдя дома,

поехал отыскивать после минутного свидания с офицерами Черниговского полка.

Приезд Андреевича еще более сблизил славян с их подчиненными. Доверенность возрастала с каждым днем и некоторые фейерверкеры сделались настоящими членами тайного общества. Офицеры не пренебрегали их беседами и, напротив, старались всеми средствами облагородить чувства своих подчиненных, возвысить их в собственных их глазах и тем пробудить в их сердцах желание свободы. Все содействовало их намерениям: неожиданное отречение от престола Константина и присяга новому императору Николаю и его наследнику. Сии происшествия поселили в умах неизвестность и сомнение, весьмаспосшествующее замышляемому перевороту. Члены Общества пользовались сими важными событиями для ускорения своего дела. Между всеми сословиями начали распространяться разные слухи о перемене существующего порядка. Один из фейерверкеров, преданных Борисову 2-му, сообщил, что городской голова, мещанин, уважаемый всем городом, разговаривая с ним о смерти Александра, явно обнаружил свои надежды на лучшую будущность и намекал о близком перевороте, которого желают многие. По словам сего же фейерверкера, многие унтер-офицеры и солдаты Саратовского полка, ночевавшие в городе, изъявляли готовность действовать и упоминали о каком-то штаб-офицере, который поддерживал эти чувства и давал им понять, что улучшение их положения находится в собственных их руках и что от них самих зависит терпеть притеснения или прекратить оные. Подобные слухи и разговоры нижних чинов сильно помогали действиям славян, коих дела приметно улучшились.

4

26 декабря в 8-й бригаде узнают о происшествии 14 декабря.— Поездка Борисова 2-го в Житомир 30 декабря.— Совещание в Житомире; решение начать восстание.— Борисов 1-й привозит в 8-ю бригаду известие о погоне за Муравьевым и о решении, принятом славянами в Житомире.— Артиллеристы 8-й бригады решают начать действия.— Борисов 1-й отправляется в Пензенский полк для призыва к началу мятежа.— Возвращение его и отъезд в Киев.— Весть о восстании Муравьева.— Надежды

14 декабря неожиданно приехал в Новоград-Волынск, из Харьковской губернии, Борисов 1-й. Узнав из письма своего брата о знакомстве его с Муравьевым и Бестужевым, он отправился в Киев с намерением повидаться с ними; но, не застав там ни Муравьева, ни Бестужева, он приехал к брату. Приезд Борисова 1-го обрадовал не только его брата, но и других славян: они с удовольствием узнали о намерении его вступить опять в военную службу и определиться в одну конную роту, стоявшую в Украине.

26 декабря, поутру, известие, полученное о происшествии 14 декабря, заставило славян собраться для совещания; они убедились в скором вос-

стании, думая, что члены Южного общества пожелают завершить начатое в столице. На сем совещании положили: держать своих подчиненных в строгой дисциплине, стараться предупреждать беспорядки, обходиться с жителями как можно лучше, тотчас по восстании образовать в городе временное правление и выдать прокламации об освобождении крепостных людей; между тем, в ожидании положительного известия от Муравьева, приготовлять солдат и офицеров, на которых совершенно можно было положиться. Борисов 1-й вызвался ехать немедленно в Харьковскую губернию и приготовить к восстанию конные роты, в коих было несколько офицеров, принятых им в Славянское общество; проезжая же Житомир, он хотел объявить находящимся там славянам о мерах, принятых в 8-й бригаде. Вследствие сего плана, Борисов 1-й отправился 30 декабря из Новоград-Волынска в Житомир, но обстоятельства изменили все предположения. В Житомире при свидании с Ивановым и Киреевым он узнал о повелении арестовать С. Муравьева, о погоне за ним подполковника Гебеля, Бестужева, и проезде Андреевича через Житомир, который тоже поскакал догонять С. Муравьева. Борисов 1-й сейчас предложил всем членам собраться и положить, что должно делать в сих затруднительных обстоятельствах? Члены тайного общества, находившиеся тогда в Житомире, без отлагательства съехались к Веденяпину 2-му. На сем совещании были: Иванов, Веденяпин 1-й, Веденяпин 2-й, Киреев, Андреев, Нащокин и некоторые другие. Борисов 1-й предложил им восстать немедленно, стараться освободить Муравьева, если он арестован, и действовать по обстоятельствам, сообразно с планом, принятым артиллеристами 8-й бригады, который состоял в том, чтобы идти на Киев или на Бобруйск, запереться в которой-нибудь из сих крепостей и ожидать присоединения 2-й армии и полков 3-го и 4-го пехотных корпусов, на содействие коих можно было надеяться по уверениям членов Южного общества. Конной роты поручик Нащокин, принятый в Общество Бестужевым-Рюминым, противился сему предложению, почитая такого рода восстание безрассудным поступком, внушенным отчаянием.

— Мы должны погибнуть,— возразил Борисов 1-й,— погибнуть позорно; нашему выбору представляется или смерть, или заточение. Мне кажется лучше умереть с оружием в руках, нежели жить целую жизнь в железах.

Сие мнение одержало верх; все согласились с Борисовым 1-м.

— Я еду обратно в 8-ю бригаду и там положим начало мятежу, но дайте мне письменное доказательство, что вы будете содействовать моему брату и тем, которые согласятся погибнуть вместе с нами.

Сего не приняли, а удовольствовались тем, что Иванов написал две записки: одну к Горбачевскому — о готовности житомирских членов действовать, а другую — к двум ротным командирам Троицкого полка, коих он приглашал участвовать в восстании [26]. Киреев также написал письмо к

Борисову 2-му, исполненное рвения к благому делу и совершенною надеждою на несомненные успехи.

Борисов 1-й поспешил отъездом и, к удивлению своего брата и Горбачевского, был уже снова в Новоград-Волынске. Узнав о происшедшем в Житомире, Борисов 2-й и его товарищи решились немедленно начать действие, не ожидая уведомления С. Муравьева, и стараться увлечь за собою все, что только показывало склонность к мятежу. Они просили Борисова 1-го ехать в Пензенский полк и, если можно, оттудова уведомить членов Саратовского полка, лично или письменно, смотря по обстоятельствам.

Между тем как искали лошадей для Борисова 1-го, брат его написал к Громницкому, Тютчеву и Лисовскому письмо в весьма сильных выражениям, напомнил им обещанные узы, их соединяющие; клятву, данную Южному обществу, общую опасность, законы чести, одним словом — все, что только могло пробудить в них самоотвержение и решить трудный выбор между смертью и позором. Письмо сие он вручил брату, который должен был доставить его лично, равно как и к Спиридову записку от Горбачевского.

В это самое время отставной поручик Креницкий [27], принимавший во всем деятельное участие, привел к Борисову 2-му четырех поляков, присоединенных им к Славянскому обществу и давших клятвенное обещание действовать и погибнуть вместе с артиллеристами за общее дело. Борисов 2-й написал письмо к юнкеру Головинскому, служившему в 4-й парочной роте, квартировавшей тогда в Овручском уезде (в Некорости) [28]: он просил помянутого члена приготовить к восстанию солдат и убедить своего брата, занимавшего должность поветового маршала, содействовать им по возможности и, наконец, стараться узнать мнение шляхты Овручского повета и, если можно, склонить их к участию в деле [29]. Славяне думали во время восстания послать Киреева из Житомира в парочную роту для окончательного действия на солдат, которые могли быть полезны 8-й бригаде. С сим письмом к Головинскому двое поляков отправились в Овруч, взяв на себя обязанность действовать там на шляхту; третий поехал в Заслав с тем, чтобы узнать расположение тамошних полков, действовать на них и — при первом известии о начале восстания — поднять оружие. Четвертый из них остался в Новоград-Волынске, при Борисове 2-м, надеясь иметь некоторое влияние на шляхту, живущую в окрестностях сего города.

Славяне были в большом беспокойстве, видя невозможность вдруг отправить Борисова 1-го в Старый Константинов: они не могли найти наемных лошадей; почтовых же никому не давали, даже по подорожной, без особенного дозволения местного начальства. У евреев был праздник, и никто из них не хотел нарушить закон. По сим обстоятельствам Борисов 1-й выехал из Новоград-Волынска уже поздно вечером 1 января. На другой день неизвестный еврей доставил Борисову 2-му записку из местечка Полонного ⟨?⟩ от его брата, в коей было сказано, что Ахтырский полк собирается в штаб-квартиру м. Любар; что артиллерия второй армии и Ли-

товский корпус, квартирующие в Полонном ⟨?⟩, находятся уже в сборе и что везде замечается движение войск.

Надежда возбудилась в сердцах славян. В таком положении дел им невозможно было соблюдать правил, принятых на лещинских совещаниях. Точное исполнение оных было бы даже безрассудно; посему они немедленно уведомили фейерверкеров и рядовых о всех сих происшествиях, о своем намерении восстать, о надежде на пособие других и особенно от С. Муравьева, и о непременном прибытии к ним Пензенского полка и Ахтырских гусаров. Они препоручили им действовать на остальных своих товарищей и приготовляться к походу. Борисов 2-й говорил явно двум офицерам, что он ожидает переворота и приглашал их принять в нем участие, представляя опасность противиться или оставаться равнодушным во время восстания. Сии офицеры дали слово действовать.

Борисов 1-й, возвращаясь из Старого Константинова, заехал в Барановку к Горбачевскому и Бечаснову и сказал им, что он виделся с Тютчевым, Громницким и Лисовским, которые готовы действовать, но отсоветовали ему ехать к Спиридову, говоря, что они сами сообщат майору свои намерения. Борисов прежде сего не был знаком с офицерами Пензенского полка. Он видел из их слов, что они как будто не доверяют Спиридову, которого он тоже никогда не видал. Надеясь, что они исполнят свое обещание, он уехал от них. Горбачевский и Бечаснов советовали Борисову 1-му ехать из Барановки прямо домой, не подвергаться опасности быть заранее арестованным в Новоград-Волынске или где-нибудь на дороге, и взялись уведомить о всем его брата. Борисов 1-й охотно согласился, тем более, что считал свое присутствие в 8-й бригаде совершенно не нужным, между тем как надеялся в конных работах возбудить офицеров к участию в общем деле. Кроме того, он намеревался обо всем происходившем в 8-й дивизии уведомить киевских членов и, если можно, сделать там что-нибудь в пользу восстания, смотря по ходу обстоятельств.

Борисов отправился вечером 5-го числа проселочными дорогами в Житомир. Город был окружен военною цепью: он отпустил извозчика и пешком прошел заставу. Тут сообщил он Кирееву и Ивану, в каком положении находятся дела Общества. Ему нужно было продолжать путь, и хотя трудно было выехать из Житомира, но ему удалось обмануть бдительность местного начальства. Еще до его приезда в Житомир монахини католического ордена сестер милосердия предлагали некоторым членам Общества скрыть их от поисков правительства и вывести за границу. Андрей Борисов отказался от предложения и просил только доставить ему случай выехать из города. Желание его было немедленно исполнено и он отправился в Киев. В сем странствовании на каждом шагу встречал новые опасности, которые, однако ж, миновал довольно счастливо.

6-го января Борисов 2-й узнал о восстании С. Муравьева, а 7-го получил, чрез еврея из-под Житомира, от его брата записку следующего содер-

жания: «Я сделал все, что мог; Громницкий, Лисовский и Тютчев готовы на все: ожидайте их. К вам будет скоро если не весь Пензенский полк, то, по крайней мере, баталион. Они послали при мне за патронами. Прощай. Еду в конные роты к знакомым».

Борисов 2-й и его товарищи были уверены в скором прибытии Пензенского полка и ахтырских гусаров и старались приготовить все нужное к походу. Между тем как они упивались надеждою и мечтали, судьба готовила им страшное разочарование; гроза носилась над их головами, покоющимися под сенью доверенности и ожидания.

Оставим их в сем сладком заблуждении, возвратимся назад и посмотрим, что делалось в Старом Константинове и Любаре.

5

Приезд Борисова 1-го в Пензенский полк.— Совещание 3 января в Старом Константинове.— Колебания и несогласия офицеров.— Выход Тютчева 7 января с ротою в Житомир для занятия караулов.— Движение в Саратовском полку.— Известие о поражении Муравьева.— Вредное влияние на ход восстания нерешительности Муравьева и Бестужева

Борисов 1-й приехал в 11-м часу ночи со 2 на 3 января в Старый Константинов, прямо к Громницкому и Лисовскому, которые жили вместе. Рассказав, в коротких словах, все ему известное и отдав им письмо от брата, он просил их немедленной помощи; будучи уверен, что движение гусарских полков производится в революционном смысле, по планам членов Южного общества, Борисов 1-й говорил пензенским офицерам утвердительно, что восстание уже начато в 3-й гусарской дивизии и, вероятно, в Черниговском полку, где служил С. Муравьев. В последнем он не ошибся. Громницкий и Лисовский изъявили согласие на все меры, принятые артиллеристами, попросили Борисова 1-го ехать к капитану Тютчеву, квартировавшему со своей ротой в 10 верстах от города, в деревне Кузьмине, говоря, что вперед согласны на все, что предложит их товарищ.

Борисов 1-й через два часа был уже у Тютчева, который тотчас согласился с предложением артиллеристов и просил его ехать с ним вместе в Константинов к помянутым офицерам для совещания, каким образом приступить к действию. Выезжая из дому, в присутствии Борисова 1-го, Тютчев отдал приказание фельдфебелю собрать роту рано по утру и раздать боевые патроны. Желая скрыть приезд свой в город, он не заехал к Громницкому и остановился с Борисовым в отдаленной корчме, куда послал пригласить Громницкого и Лисовского, которые, вместе с Тютчевым, уговорили Борисова 1-го ехать назад в 8-ю бригаду, известить членов о готовности офицеров Пензенского полка к восстанию и сказать, что они, в самом скором времени, с ротами прибудут в 8-ю бригаду. Борисов 1-й хотел дождаться начала действия, но сии офицеры представили ему опас-

ность его положения, говоря, что он может навлечь на себя подозрение и тем самым повредить делу. Везде были разосланы повеления арестовать подозрительных людей. Опасение быть схваченным заставило Борисова 1-го согласиться на немедленный отъезд.

Отправив его, пензенские офицеры снова начали рассуждать о предложении артиллеристов 8-й бригады. Тютчев предложил взбунтовать полк и идти на Новоград-Волынск за артиллерией. Громницкий и Лисовский согласились с сим мнением, попросили его съездить к Спиридову, отдать ему записку Горбачевского и потом уже приступить к делу всем вместе. Тютчев охотно принял сие поручение и, пробыв в Константинове целый день, вечером поехал к Спиридову, квартировавшему в 20 верстах от города, в деревне. Он отдал ему записку Горбачевского, которая была следующего содержания:

«Податель сей записки расскажет вам подробно все случившееся с нашими знакомыми; от него вы узнаете, на что мы решились и чего ожидаем от вас».

— Где податель? — спросил Спиридов, прочитав записку,— и кто он?

— Он уже уехал обратно,— отвечал Тютчев. — То был брат известного вам Борисова 2-го.

Потом он рассказал все, что слышал от Борисова 1-го о намерении членов, находящихся в 8-й бригаде и Житомире.

— Итак, надобно начинать,— сказал Спиридов,— но готовы ли у вас роты?

— Я согласен действовать и приготовил 30 человек самых лучших солдат моей роты; я убежден, что они увлекут за собою всех и за это ручаюсь, — отвечал Тютчев,— что же касается до рот Громницкого и Лисовского, я ничего не знаю: поедем к ним.

Спиридов согласился, а между тем, пока приготовляли лошадей, он написал в Саратовский полк, к Шимкову, следующее:

«Уведомьте членов, что восстание начнется немедленно, приготовьте к сему солдат, но не начинайте действовать до вторичного моего уведомления: может быть, я сам прибуду к вам». А к Горбачевскому в 8-ю бригаду:

«Если не удастся мне привести к вам Пензенский полк, то я сам приеду; будучи вместе, мы скорее придумаем, что должны делать в таких обстоятельствах».

Обе сии записки он отдал своему верному человеку, которому приказал непременно доставить их по адресам, как можно скорее и надежнее. После Спиридов поехал с Тютчевым в Константинов к Громницкому и Лисовскому. Он предложил начать восстание, спрашивая предварительно, полагаются ли они на своих солдат, готовы ли роты?

— Нет,— отвечали единогласно Громницкий и Лисовский,— мы не успели приготовить ни одного солдата.

Спиридов дал заметить, что почитает это неисполнением принятых на себя обязанностей, на что Лисовский с жаром вскричал:

— С. Муравьев требовал, чтобы мы действовали на солдат медленно; Бестужев-Рюмин говорил мне лично, равно как и всем, что восстание начнется не ранее августа 1826 года; поэтому я действовал сообразно с принятыми на себя обязанностями; клянусь всем, что для меня свято, что к назначенному времени вся рота пойдет за мною в огонь и в воду.

Громницкий оправдывал свое поведение тем же условием медленно действовать и, кроме того, сказал:

— Нам предлагает начать бунт простой член Общества, Борисов 2-й, приглашение сие привез его брат, но мы не имеем никакого уведомления ни от С. Муравьева, ни от Бестужева, которым мы дали слово содействовать. Я не обязывался сломать себе шею для каждого: пускай приедет сам Муравьев, или пускай покажут мне приглашение к восстанию, написанное его рукою,— я тотчас взбунтую свою роту; до сего же времени ограничусь приготовлением солдат.

Тютчев не отказывался от сказанного им прежде Борисову 1-му и Спиридову: он опять подтвердил при всех, что готов ту же минуту начать действовать: что он ручается за свою роту и прибавил к сему:

— Если мы начнем восстание и ежели полковой командир будет нам препятствовать, я беру на себя убить его.

Наконец, после долгих рассуждений, Спиридов и Тютчев, видя, что невозможно никого уговорить, уехали.

Капитан Тютчев выступил с ротою 4 января в поход, следуя с батальоном Пензенского полка в Житомир для занятия караулов при корпусной квартире. Майор же Спиридов возвратился в Красилов, куда на другой день прибыл посланный им человек, который не мог исполнить в точности его поручения, ибо, оставив Шимкову записку и взяв от него ответ, он на дороге к Новоград-Волынску был схвачен земскою полициею как шпион злоумышленного общества. Его обыскали, но так как по приказанию Спиридова записки были зашиты в складках шинели около воротника, то и не были найдены, несмотря на то, что полицейские служители отпарывали даже воротник. Из-под ареста ночью он бежал с помощью еврея, в корчме коего содержался под стражею. Еврей за полтину серебра отважился спасти арестованного, который возвратился к Спиридову и вручил ему записку от Шимкова, в коей заключалось следующее:

«Саратовский полк с нетерпением ожидает начала восстания: я ездил в Тамбовский полк и принял там пять ротных командиров, которые поклялись при первом случае соединиться с нашим полком и готовы содействовать нам со своими подчиненными».

При записке Шимкова была другая, от капитана того же полка Ефимова, который, между прочим, говорил:

«К сожалению моему,— писал он к Спиридову,— я был несчастлив, что не заслужил вашей доверенности и не был членом Общества: это моя вина. Но теперь будьте уверены и знайте, что при первом известии начинать я поведу свою роту, на которую полагаюсь совершенно, и надеюсь на помощь своих товарищей; осмеливаюсь ручаться не только за несколько рот, но и за весь полк».

Спиридов, однако, не мог воспользоваться предложением. Получив отказ двух ротных командиров Пензенского полка и узнав 7 января о совершенном разбитии С. Муравьева, он неминуемо должен был удержаться от дальнейшего действия.

Описывая сии разнообразные действия, мы не можем не заметить, сколь много вредил общему делу неопределенный и двусмысленный язык членов Южного общества. Слова, беспрестанно повторяемые С. Муравьевым, Бестужевым-Рюминым и прочими: медленно, постепенно, исподволь, заставили многих членов вовсе не действовать. Беспечность некоторых находила в них благовидный предлог к извинению; другие оправдывали ими свою нерешимость или, лучше сказать, трусость, и, краснея, смотрели в глаза тем, которые требовали точного соблюдения обязательств. Не менее сего вредно было явное желание Муравьева и Бестужева сосредоточить всю власть в своих руках: они хотели одни двигать членами, разбросанными в разных полках, и запрещали им иметь между собою сношения. Таким образом, не имея возможности уведомить о начале восстания, они доставили случай многим членам искренно или только наружно сомневаться в необходимости местных возмущений, направленных к одной цели.

Мы желали показать общее усилие славян восстать против правительства и тем самым дополнить картину описываемого нами события. Сие отвлекло нас от Черниговского полка. Мы полагаем, что такого рода отступление не только не лишнее в нашем повествовании, но даже необходимо: оно дает понять о расположении умов и о ходе дела.

6

С. Муравьев 25 декабря в Житомире у Рота, в Траянове и Любаре.— Бестужев привозит весть о погоне за Муравьевым.— С. Муравьев призывает Артамона Муравьева поднять Ахтырский полк.— Противодействие Артамона Муравьва.— Приезд С. Муравьева в Трилесы 29 декабря.— Проезд Гебеля и жандармов через Любар

Теперь возвратимся к С. Муравьеву, которого мы оставили в Житомире. Приехав в Житомир рано утром 25 декабря, он явился к корпусному командиру, который пригласил его к себе на обед. Во время стола генерал Рот рассказал ему подробно о происшествии 14 декабря, получив сие известие через экстрапочту. Из сего разговора С. Муравьев ясно видел, что

Общество открыто правительством и что меры к арестованию членов уже приняты. После обеда, ни мало не медля, он проехал в Траянов, где квартировал Александрийский гусарский полк, коим командовал Александр Муравьев, брат Артамона Муравьева. Сергей Муравьев, пробыв в Траянове не более часу, успел переговорить с офицерами сего полка, принадлежавшими к Обществу, и, без сомнения, уведомил их о случившемся в столице происшествии, потом поехал с братом своим Матвеем в Любар к Артамону Муравьеву, командовавшему Ахтырским полком. Должно полагать, что С. Муравьев в это время не думал о возмущении [30], ибо по приезде к Артамону Муравьеву он не делал никаких предложений, но старался узнать о готовности нижних чинов и, даже рассказывая о 14 декабря, он не одобрял сие дело. Потом разговор обратился на предметы вовсе посторонние, как вдруг вошел в комнату Бестужев-Рюмин.

— Тебя приказано арестовать,— сказал он, задыхаясь, С. Муравьеву,— все твои бумаги взяты Гебелем, который мчится с жандармами по твоим следам.

Эти слова были громовым ударом для обоих братьев и Артамона Муравьева.

— Все кончено! — вскричал Матвей Муравьев.— Мы погибли, нас ожидает страшная участь; не лучше ли нам умереть? Прикажите подать ужин и шампанское,— продолжал он, оборотясь к Артамону Муравьеву,— выпьем и застрелимся весело.— Не будет ли это слишком рано? — сказал с некоторым огорчением С. Муравьев.

— Мы умрем в самую пору,— возразил Матвей,— подумай, брат, что мы четверо главные члены, и что своею смертью можем скрыть от поисков правительства менее известных.

— Это отчасти правда,— отвечал С. Муравьев,— но однако ж еще не мы одни главные члены Общества. Я решился на другое. Артамон Захарович может переменить вид дела.

И обратясь к Артамону Муравьеву, он предложил ему немедленно собрать Ахтырский полк, идти на Траянов, увлечь за собою Александрийский гусарский полк (так, как прежде и обещал Артамон Муравьев), явиться нечаянно в Житомир и арестовать всю корпусную квартиру. Не ожидая ответа от Артамона, С. Муравьев вслед за сим написал две записки: одну — к Горбачевскому, другую — к Спиридову и Тютчеву, в коих уведомлял их о начале восстания и приглашал к содействию, назначив Житомир сборным пунктом. Отдав сии записки Артамону Муравьеву, он просил его убедительно отправить их тотчас с нарочными. Артамон, взяв от него сии записки, после некоторого молчания начал говорить о невозможности восстания и, между прочими отговорками, сказал:

— Я недавно принял полк и потому еще не знаю хорошо ни офицеров, ни солдат, мой полк не приготовлен еще к такому важному предприятию: пуститься на оное — значит заранее приготовить неудачу.

Ротмистр Семичев, который пришел к Артамону Муравьеву за несколько минут [кажется так] до приезда Бестужева, при таком ответе своего командира о расположении полка не мог воздержаться от возражения.

— Я думаю совершенно противное, г. полковник,— сказал он,— в этом случае нужна решительность и сильная воля; если вы не хотите сами говорить с офицерами и солдатами, то соберите полк в штаб-квартиру и остальное нам предоставьте.

Замечание Семичева пробудило надежду в сердце Муравьева, его просьба приняла вид требования, представляя будущность, ожидающую членов Общества; от требования он перешел к упрекам, но Артамон Муравьев не хотел и слышать о возмущении.

— Я сейчас еду,— сказал он с жаром,— в С.-Петербург к государю, расскажу ему все подробно об Обществе, представлю, с какою целью оно было составлено, что намеревалось сделать и чего желало. Я уверен,— продолжал он,— что государь, узнав наши добрые и патриотические намерения, оставит нас всех при своих местах, и верно найдутся люди, окружающие его, которые примут нашу сторону.

При сих словах он сжег на свечке записки, писанные Сергеем Муравьевым к славянам.

С. Муравьев потерял терпение.

— Я жестоко обманулся в тебе,— сказал он с величайшею досадою,— поступки твои относительно нашего Общества заслуживают всевозможные упреки. Когда я хотел принять в Общество твоего брата, он, как прямодушный человек, объявил мне откровенно, что образ его мыслей противен всякого рода революциям и что он не хочет принадлежать ни к какому Обществу; ты же, напротив, принял предложение с необыкновенным жаром, осыпал нас обещаниями, клялся сделать то, чего мы даже и не требовали; а теперь в критическую минуту ты, когда дело идет о жизни и смерти всех нас, ты отказываешься и даже не хочешь уведомить наших членов об угрожающей мне и всем опасности. После сего я прекращаю с тобою знакомство, дружбу, и с сей минуты все мои сношения с тобою прерваны.

После минутного молчания С. Муравьев еще раз попытался уговорить Артамона Муравьева, написал новую записку в 8-ю бригаду и, отдавая ее Артамону, сказал с выражением горести:

— Доставь эту записку в 8-ю бригаду; это последняя моя к тебе просьба; одна услуга, которую я смею от тебя ожидать.

Артамон Муравьев взял записку и, казалось, тронутый просьбами своего родственника и сочлена, соглашался доставить оную славянам, но лишь только С. Муравьев уехал, он ее уничтожил, как и прежние. Славяне после сетовали на С. Муравьева и именно за то, что он из Любар не дал им никакого известия, и впоследствии только узнали причину непонятного его молчания.

С. Муравьев решился тотчас оставить Любар, не имея более надежды на ахтырских гусар. Он просил Артамона Муравьева дать ему своих лошадей, чтобы скорее доехать в свой полк, но и сия маловажная просьба осталась без удовлетворения. Командир Ахтырского полка извинялся и клялся, что у него нет ни одной лошади, годной к упряжи. Между тем Бестужев-Рюмин решился ехать к артиллеристам и лично уведомить славян о начале восстания.

— Я сам еду в 8-ю бригаду,— сказал он,— дайте мне, Артамон Захарович, верховую лошадь; 20 верст недалекий путь.

Просьба Бестужева имела одну участь с просьбой Муравьева. Артамон засыпал его словами, но не дал верховой лошади, оправдываясь тем, что такой поступок покажется подозрительным местному начальству. Он советовал Бестужеву выехать из Любара вместе с Муравьевым, отпречь за городом от его тройки пристяжную лошадь и, объехав кругом Любар, скакать куда ему угодно.

Огорченный столь неожиданным поведением командира Ахтырского полка, Сергей Муравьев вместе с братом Матвеем и Бестужевым-Рюминым спешили оставить Любар и должны были тащиться на измученных уже лошадях. Желая скорее приехать в свой полк, С. Муравьев дал еврею, своему извозчику, по три рубля серебром на милю. Разными проселочными дорогами, наконец, 29 декабря, под вечер, они достигли деревни Трилесы, отстоящей от Василькова в 45 верстах, и остановились на квартире поручика Кузьмина, квартировавшего в сей деревне с своею ротою. Бестужев-Рюмин тотчас опять уехал неизвестно куда.

Вскоре после отъезда С. Муравьева из Любара приехал к Артамону Муравьеву подполковник Гебель с жандармским поручиком Лангом, которого он взял с собою из Житомира вместо двух жандармских офицеров Несмеянова и Скокова, бывших у него в Василькове. Командир Ахтырского полка под разными предлогами задержал Гебеля несколько часов и через то дал возможность С. Муравьеву и его товарищам доехать до деревни Трилесы (одна услуга, оказанная им тайному обществу и С. Муравьеву). Не позволяя себе обвинять поведение кого-либо из членов в сии критические минуты, можно, однако, заметить, что если бы Артамон Муравьев имел более смелости и решительности в характере и принял немедленно предложение С. Муравьева поднять знамя бунта, то местечко Любар сделалось бы важным сборным пунктом восставших войск. Стоит только знать месторасположение полков 8-й дивизии с артиллериею и второй гусарской бригады и взглянуть на карту, чтобы убедиться, что Любар был почти в самой средине сих войск, когда, при восстании, они сошлись бы в самое короткое время, как радиусы к своему центру *.

* См. карту расположения войск 3-го пехотного корпуса.— *Прим. Горбачевского.— А. И. Баландин, переписывая это место, заметил: «ее нет».— Ред.*

7

Поздка Андреевича 2-го 27—31 декабря.— Радомысль; малодушие Повало-Швейковского.— Траянов.— Любар; малодушие Артамона Муравьева.— Неподготовленность к восстанию Ахтырского полка.— Прибытие Андреевича 2-го в Васильков 31 декабря.— Поспешный отъезд его в Киев с известием о восстании Муравьева

В то самое время как С. Муравьев старался уговорить к действию командира Ахтырского полка, Андреевич 2-й, посланный из Василькова, как мы уже выше сказали, черниговскими офицерами с подобным предложением к другим членам Общества, приехал в г. Радомысль к бывшему командиру Алексопольского полка полковнику Повало-Швейковскому. Хотя со времени Лещинского лагеря Швейковский лишился полка, но как он неоднократно утверждал, что это не помешает ему поднять прежний свой полк, то славяне положительно считали на его помощь. Андреевич узнал от юнкера Энгельгардта, жившего у Швейковского, что полковника дома нет. Сгорая от нетерпения приступить скорее к объяснению, Андреевич был в ужасной досаде.

— Давно ли уехал полковник? — спросил он юнкера.

— Он уехал рано поутру,— отвечал Энгельгардт с замешательством.

— Не знаете ли вы, скоро он возвратится назад?

— Не знаю, но, вероятно, около полуночи, ибо он всегда возвращается в это время.

— Скажите, по крайней мере, далеко ли он уехал?

— Не очень далеко, за несколько верст, в гости к одному помещику.

Андреевич спросил бумаги и написал к Швейковскому записку, прося его поспешить домой.

«Я должен переговорить с вами,— писал он,— о важном деле, время мне дорого». Потом, отдавая записку Энгельгардту, сказал:

— Потрудитесь послать с сим письмом нарочного к полковнику, а между тем прикажите дать мне чаю; дорога чрезвычайно дурная, я жестоко прозяб; к тому же чай сократит время ожидания, которое мне кажется весьма долгим.

Юнкер взял письмо и, ни слова не говоря, вышел вон. Подали чай. Андреевич расположился покойно за чайным столиком, с твердою решимостью дождаться возвращения Швейковского, полагая что он виделся с Муравьевым и Бестужевым, знает о приказе арестовать первого из них и может сказать ему, куда они оба поехали. Ему необходимо было свидание с бывшим командиром Алексопольского полка; он должен был известить его о начале восстания, уговорить его, чтобы он немедленно возбудил алексопольцев к мятежу и, приняв над ними команду, шел на Киев или Житомир для соединения с Черниговским полком или с 8-й дивизией. Между тем время летело и от Швейковского не было ответа. Андреевич

терял терпение. Беспрестанно возрастающее замешательство Энгельгардта подало Андреевичу мысль, что отсутствие Швейковского не что иное, как ложь, вымышленная единственно для того, чтобы избавиться от неприятного гостя. Сие подозрение скоро показалось ему несомненно истиною. В боковых комнатах был слышен шопот и тихий стук шагов; все двери, ведущие в комнаты из залы, в которой находился Андреевич, были заперты.

— Вероятно он дома,— думал Андреевич про себя,— догадываясь о цели моего приезда, без сомнения, он хочет уклониться от объяснений. Но это напрасно. Я должен говорить с ним.

В сих мыслях он подошел к одной из боковых дверей и попробовал отворить оную, но внутренний замок сопротивлялся его силе. С досадою он пошел прочь и начал снова ходить по зале, ожидая развязки. Наконец, его терпение истощилось совершенно. Не видя юнкера, Андреевич не мог более владеть собою: подошедши к запертой двери, он ударил ее из всей силы ногою; замок не мог устоять против удара, дверь отворилась с шумом и, к удивлению, он увидел перед собою Швейковского, который в замешательстве отступил назад и не знал, с чего начать разговор с неотвязчивым гостем

— Г. полковник,— сказал Андреевич, приняв важный вид,— я друг Бестужева-Рюмина; вероятно, вы догадываетесь, о чем дело идет, но наперед позвольте вас спросить, был ли он у вас, и, если был, то куда он поехал?

— Бестужев у меня был, но куда он поехал — я не знаю.

— Наше общество открыто правительством,— сказал Андреевич,— и мы решились поднять знамя мятежа.— Потом, в коротких словах рассказав Швейковскому о всем случившемся в Василькове, просил принять участие в общей опасности и, взбунтовав свой полк, идти на Киев или Житомир.

— Оставьте скорее мой дом,— был ответ полковника.— Я ничего не могу для вас сделать.

— Я думаю совершенно противное,— возразил с притворным хладнокровием Андреевич,— товарищи мои надеются на вас, и их надежды основываются на ваших собственных словах; вы не раз говорили о преданности и любви к вам своих подчиненных, о готовности офицеров и солдата следовать за вами повсюду; итак вам легко возбудить их к мятежу.

— Вы ошибаетесь,— отвечал Швейковский,— меня ненавидят и офицеры и солдаты.

Андреевич, пораженный сим ответом, не знал что говорить и, наконец, видя, что уговарить полковника значит понапрасну терять слова и время, после долгого молчания сказал:

— Вы видите, что я приехал к вам безо всего, в одной шинели; вы знаете, куда и зачем я еду; на каждом шагу я должен подвергаться опасности быть арестовану... Итак, дайте мне пару пистолетов или солдатское ружье: в моем положении необходимо иметь что-нибудь для обороны.

Швейковский ему и в этом решительно отказал, говоря:

— Не ожидайте от меня ничего.

Андреевич, раздраженный таким поведением, сказал с негодованием:

— Успокойтесь, г. полковник, я вижу, вы бледны как смерть; успокойтесь, я вас оставлю,— и с этими словами удалился.

Из Радомысля Андреевич спешил в Житомир: там он надеялся увидеться со славянами и решиться на какие-нибудь меры. Приезд Андреевича обрадовал житомирских членов. Они ему сказали, что Муравьев 25 декабря уехал в Траянов, и требовали от него, чтобы он тотчас ехал по следам и старался бы его догнать, между тем как они будут стараться дать знать во все полки о начале восстания.

В Траянове Андреевич узнал, что С. Муравьев поехал в Любар, почему, не останавливаясь ни на одну минуту, он пустился в дорогу. За несколько верст от Любара лошади его выбились из сил. К счастью, какой-то польский извозчик ехал той же дорогою и, видя затруднительное положение незнакомого ему офицера, предложил Андреевичу место в своей повозке и довез его очень скоро до Любара.

Приехавши туда, он тотчас пошел к командиру Ахтырского полка, думая, если он и не застанет у него С. Муравьсва, то, по крайней мере, получит от него прикрытие для артиллерии, которая квартировала от Любара очень близко, и что Артамон Муравьев, вероятно, начнет восстание. Пришедши к нему, Андреевич узнал, что С. Муравьев и Бестужев уехали. Тогда он объявил Артамону Муравьеву, что должно начать восстание, что в 9-й дивизии непременно будут действовать, и что он, с своей стороны, обязан вывести свой полк. Артамон Муравьев отвечал, что он не может ничего сделать, приводя те же причины, которые он представлял лично С. Муравьеву. Андреевич, видя, что он отказывается, возразил с жаром:

— По крайней мере, дайте мне, полковник, один эскадрон гусар: я пойду с ним в артиллерийские роты и там начнем действие.

Муравьев решительно отказался дать ему какое-либо пособие, говоря:

— Поезжайте куда хотите.

Андреевич представлял ему, что он не может никуда ехать; что из 25 рублей серебром, данных ему черниговскими офицерами на наем лошадей, остался у него один рубль; что у него нет паспорта, ни вида, кроме одной подорожной, и то на имя Сухинова, что он везде затрудняется лошадьми, и что даже он не только не имеет способа догнать С. Муравьева, но даже выехать из Любара...

— У меня нет денег: я *десять тысяч* дал С. Муравьеву, когда он от меня уезжал, и мне нечем вам пособить.

— Дайте мне гусар, мне не надо ваших денег,— сказал с досадою Андреевич,— я приехал к вам не за деньгами, а за гусарами. Дайте мне гусар, мне нужны ваши солдаты и офицеры! — повторил он несколько раз в совершенном отчаянии.

— В последний раз говорю вам, что ваше требование не может быть исполнено: мой полк не готов, — возразил полковник и вышел в другую комнату. Через несколько минут он возвратился и, подавая Андреевичу 400 руб., сказал:

— Я знаю, что у ротмистра Малявина продается лошадь; купите ее за эти деньги и поезжайте верхом скорее, вслед за Муравьевым и Бестужевым. Прощайте, я ничего не могу для вас сделать.

Замешательство Андреевича увеличивалось более и более, он не знал, что делать: скакать верхом зимою до Василькова почти 200 верст ему казалось невозможным; но, видя, что Артамон Муравьев решительно отказывается поддержать славян восстанием, решился ехать, взял деньги и спешил к ротмистру Малявину. Пришедши туда, он застал у Малявина многих офицеров, из коих некоторые были члены Южного общества, принятые Бестужевым-Рюминым. После обыкновенных приветствий, Андреевич обратился к хозяину:

— Я слышал от вашего полковника,— сказал он,— что вы продаете лошадь, которую цените в 400 руб.; я даю вам сию сумму без торга, не видавши лошади.

Громкий смех всех присутствующих был ответом на сие предложение. Андреевич удивился.

— Полковник давно знает, что я мою лошадь иначе не продаю как за 800 руб.,— отвечал Малявин,— вы напрасно ему поверили.

Андреевич, огорченный неудачею, объяснил офицерам, принадлежавшим к Обществу, цель своей поездки, рассказал им свое свидание с Швейковским, с Арт. Муравьевым и их отговорки. Гусары слушали Андреевича с величайшим чувством негодования; когда же он кончил, то ругательства и проклятия посыпались на малодушных, но гнев их кончился одними словами. Они не могли приступить тотчас к действию; полк их был разбросан по деревням.

— Солдаты наши не приготовлены,— говорили они,— и большая часть офицеров ничего не знает; полковой командир никогда не говорил нам о намерениях Общества и не имел никаких сношений с нами; поэтому мы сами оставались в таком бездействии и не думали приготовлять своих подчиненных.

Андреевич, видя, что все надежды его исчезли, убедился, что нет надобности ехать в артиллерийские роты без требуемого его товарищами прикрытия, решил ехать по следам С. Муравьева, стараться догнать его и, приехав с ним в какой-нибудь полк, начать восстание. Ротмистр Семичев и другие члены Южного общества были согласны с сим мнением Андреевича и советовали ему немедленно ехать в Васильков. Семичев просил сказать С. Муравьеву, если он начнет восстание и если Ахтырский полк будет послан для усмирения мятежа, то все офицеры за долг поставляют соединиться с ним и станут действовать за общее дело. Поручик Никифо-

раки сам побежал искать лошадей и в скорости возвратился с нанятым им евреем, который взялся доставить Андреевича в Васильков за неимоверно высокую плату. Делать было нечего: Андреевич тотчас согласился и — снова пустился в дорогу.

Отъехав верст 40 от Любара, под самым селением Пятками ⟨?⟩, извозчик его сбился с дороги. Ночь была очень темная; порывистый ветер, начавший дуть с вечера, поднял сильную метель. Андреевич не имел на себе никакой теплой одежды; одна офицерская шинель сверх мундира не могла защитить от пронзительного холодного ветра. Поле было ровное и не представляло никакой защиты. К счастию, лошади сами собою набрели на крестьянскую избу, где жили майданщики (делающие селитру). Эта нечаянность спасла ему жизнь. Обогревшись и дав отдохнуть измученным лошадям, Андреевич поскакал проселочными дорогами прямо в Васильков, но приехав в сей город 31 декабря, он не застал уже Черниговского полка, который выступил в поход.

Город был в величайшем страхе и никто не принимал приезжающих к себе на квартиру; местное начальство замечало за всеми подозрительными людьми. Угрожаемый каждую минуту попасть в руки правительства, Андреевич спрятался к одному еврею, который согласился его принять в дом за несколько рублей серебром. Потом просил он его достать ему лошадей, чтобы догнать Черниговский полк; еврей старался сыскать, но не мог, хотя Андреевич обещал ему тотчас заплатить вдесятеро. Видя невозможность оставаться в Василькове, он решился выйти из города пешком. В дальней деревне, в стороне от большой дороги, нанял у крестьянина пару лошадей и поехал в Киев. Он старался доехать туда как можно скорее, поспешая объявить всем киевским членам о действиях С. Муравьева.

8

Черниговские офицеры ночью 28 декабря получают в Василькове записку от С. Муравьева из Трилес и спешат к нему на выручку.— Арест и освобождение Муравьевых.— Бегство жандарма Ланга.— Нападение на Гебеля.— Поход в Васильков

Оставим Андреевича в Киеве и обратимся, наконец, к описанию восстания Черниговского полка, которое началось в деревне Трилесах вскоре по приезде туда С. Муравьева и Бестужева-Рюмина.

Черниговские офицеры, которых мы оставили в г. Василькове, с нетерпением там ожидали знака к восстанию. Хотя они не сомневались в готовности других членов тайного общества содействовать им в достижении общей цели и были уверены, что поездка Андреевича и Бестужева увенчается счастливым успехом, но неизвестность становилась для них час от часу тягостнее; они не могли действовать и не умели оставаться праздны-

ми. Для начала действия им необходимо было узнать, где С. Муравьев и на что он решился? Наконец сие желание их исполнилось. Около 11 часов ночи, с 28 на 29 декабря 1825 года, Кузьмин получил через рядового вверенной ему роты записку следующего содержания:

«Анастасий Дмитриевич! Я приехал в Трилесы и остановился на вашей квартире. Приезжайте и скажите барону Соловьеву, Щепилле и Сухинову, чтобы они тоже приехали как можно скорее в Трилесы.

Ваш Сергей Муравьев».

Кузьмин немедленно сообщил своим товарищам желание Муравьева с ними увидеться.

— Едем,— вскричали они в один голос,— едем в сию же ночь.

Через несколько минуть лошади были готовы. Но мысль, что, может быть, С. Муравьев уже арестован Гебелем по приезде его в Трилесы, остановила их стремление и заставила их подумать:

— Что мы будем делать, если Гебель арестовал Муравьева? — спросил один из них.

— Освободить его и начать действовать. Освободить его! — был единодушный ответ.

Решившись на столь смелое предприятие и не зная, какою дорогою поедет Гебель с арестованным Муравьевым из Трилес в Васильков, черниговские офицеры решились разделиться и ехать двумя дорогами, чтобы непременно его встретить. Соловьев и Щепилло поехали большою дорогою, а Кузьмин и Сухинов — проселочною.

Между тем как они спешили в Трилесы, их опасение исполнилось. В полночь того же числа прибыл туда Гебель с жандармским офицером Лангом и, узнав, что С. Муравьев и брат его Матвей остановились на квартире Кузьмина, он собрал часть квартировавшей там роты, окружил дом, вошел тихонько в комнату, в которой оба Муравьева спокойно спали, взял пистолеты, лежавшие на столе, и потом, разбудивши их, объявил им повеление об аресте *.

В 8 часов утра 29 декабря Кузьмин и Сухинов прискакали первые в Трилесы. Увидя дом свой, окруженный часовыми, Кузьмин сказал своему товарищу:

— Сбылось наше предположение: Муравьев арестован! К счастию, мы его здесь застали.

---

* Муравьев сделал ошибку, приехав в Трилесы и, зная, что по следам его скачет Гебель, не взял никаких предосторожностей, даже не приказал фельдфебелю роты Кузьмина дать ему тотчас знать, когда Гебель приедет. Он лег спать спокойно, но Гебель, с своей стороны, арестовав Муравьевых, был также неосторожен, не отправивши тотчас их дальше, но стал дожидаться рассвета, и, удовольствовавшись тем, что они уже арестованы, расположился преспокойно отдыхать и готовился поутру пить чай. Бедный Гебель не знал, что роковая записка была послана в Васильков.— *Прим. Горбачевского.*

И с этим словами они оба вошли прямо в комнату. Гебель встретил Кузьмина выговором за отлучку из роты, а Сухинова — за неявку к новому своему назначению. Кузьмин и Сухинов, пораженные таковыми приветствиями, старались, однако ж, сохранить хладнокровие и не отвечать ни слова на дерзости Гебеля. Мысли их были заняты другим предметом: они с нетерпением ожидали Соловьева и Щепиллы, которые с таким же чувством летели к ним на помощь и скоро достигли Трилес. Сухинов выбежал к ним навстречу.

— Муравьев арестован! Гебель здесь,— сказал он с досадою.

Услышав сие, Щепилло тотчас соскочил с повозки и в сильном движении сказал:

— Убить его.

Сделав два шага вперед,— убить его непременно,— повторил несколько раз решительным голосом пылкий товарищ Соловьева.— Пойдем к ним скорее,— продолжал он, задыхаясь от гнева и идя скорыми шагами к квартире Кузьмина. Соловьев и Сухинов за ним следовали.

Командир Черниговского полка, увидя еще двух новоприезжих и, может быть, подозревая их в каком-нибудь замысле, начал также им делать выговоры и упреки за отлучку от своих мест и требовал, чтобы они немедленно отправились в свои роты. Барон Соловьев отвечал ему, что он первый решительно не будет повиноваться его приказанию. Щепилло повторил то же. Не взирая на положительность отказа и на решительный тон, которым он был произнесен, Гебель требовал повиновения еще с большею настойчивостью. Это произвело ужасный спор, во время которого Муравьев дал знак офицерам, чтобы они приступили к убийствию, и к сему знаку прибавил он тихим, но внятным для них голосом:

— Убить его.

Гебель, разгоряченный спором, хотя не заметил знака и не слыхал рокового приговора, но видя невозможность восторжествовать над упорством своих офицеров, а может быть опасаясь неприятных следствий, смягчил строгий голос командира и хотел восстановить дисциплину ласковыми словами. Однако его усилия были тщетны; все было кончено и намерение начать действовать твердо было принято.

Чрез несколько минут Кузьмин вышел в другую комнату, отделенную от первой большими проходными сенями, с тем, чтобы все приготовить к восстанию и объявить солдатам своей роты о предпринимаемом действии. Щепилло, Соловьев и Сухинов вышли вслед за ним с тою же целью. Успех был неимоверный: солдаты изъявили готовность во всем повиноваться своим офицерам. Ободренные столь счастливым началом, офицеры Черниговского полка немедленно хотели приступить к освобождению Муравьева. Щепилло и Соловьев вышли из кухни, где была временная караульня, в сени, чтобы свободнее там переговорить о мерах, необходимых к исполнению сего намерения. В то самое время жандармский поручик Ланг,

хлопотавший об отъезде, вышел из противулежащей комнаты. Щепилло, увидя Ланга и думая, что он подслушал их разговор, схватил ружье, стоявшее в углу сеней, и хотел его смертью начать предполагаемое действие. Но Соловьев, махнув рукою, отвел смертельный удар.

— Оставим его в живых,— сказал он Щепилле,— лучше мы его арестуем; для нас достаточно этого.

Испуганный жандарм, видя опасность, выбежал без всякого шума из сеней и искал спасения в бегстве. Черниговские офицеры заметили его удаление и, опасаясь, чтобы он не известил кого-либо о начале возмущения и не остановил бы тем успеха, послали тотчас Сухинова схватить Ланга и привести его. Сухинов поймал жандармского поручика недалеко от дома, но из человеколюбия не решившись вести ненавистного жандарма к своим товарищам, он оставил его в доме священника и посадил в погреб, намереваясь его взять оттуда, когда умы успокоются и когда можно будет содержать его под арестом, не подвергая опасности его жизнь. Возвратившись, он объявил своим товарищам, что жандарма не нашел; в пылу негодования Щепилло и Кузьмин настоятельно требовали от Сухинова, чтобы он привел беглеца. Сухинов послушался и поспешил в дом священника, но, к удивлению своему, не нашел там своего узника, который во время его отсутствия в самом деле бежал и почти первый донес в дивизионную квартиру о начале возмущения.

Между тем, подполковник Гебель, разговаривая с Муравьéвым, ничего не знал, что происходило в сенях. Не видя долгое время поручика Ланга и скучая долгим приготовлением лошадей, он начал звать его громким голосом. Не имея никакого ответа, он с досадою выбежал из комнаты и бросился прямо в караульную, чтобы послать вестового отыскивать Ланга, но, встретив там Щепиллу и Кузьмина, который отдавал приказания своему фельдфебелю, он забыл свое намерение, пришел снова в бешенство и начал осыпать выговорами и укоризнами офицеров, которые на этот раз не были так снисходительны, как прежде. Щепилло отвечал Гебелю на его выговоры сильным ударом штыка в брюхо. Почувствовав тяжелую рану, командир Черниговского полка хотел выскочить вон из комнаты, но в дверях его встретил Соловьев и ухватив обеими руками за волосы, повалил на землю. Кузьмин и Щепилло бросились на упавшего Гебеля и начали его колоть и бить. Соловьев, оставя Гебеля в руках своих товарищей, спешил освободить арестованных Муравьевых, которые, пользуясь отсутствием полкового командира и жандарма и, заметя движение офицеров и шум, происходивший в сенях, выбили окошко и выскочили из комнаты. Часовой, не зная ничего, хотел было воспрепятствовать мнимому побегу, но прибежавший на его крик ефрейтор заставил его молчать пощечиною *. Соловьев вбежал в комнату и, не нашед в оной Муравьевых (Сергея и

* Этот самый часовой после был в походе с Муравьевым и был один из лучших солдат во время оного [31].— *Прим. Горбачевского.*

брата его Матвея), бросился к выбитому окошку, из коего к крайнему удивлению увидел С. Муравьева на дворе, наносившего тяжелые удары ружейным прикладом по голове Гебелю, который после побоев Щепилло и Кузьмина собрал последние силы и, поднявшись на ноги, вынес их, так сказать, на своих плечах из сеней и был остановлен в дверях С. Муравьевым.

Вид окровавленного Гебеля, прислонившегося к стене и закрывающего голову руками, в надежде тем защитить себя от наносимых ему ударов, заставил Соловьева содрогнуться. Он немедленно выскочил в окно и, желая как можно скорее кончить сию отвратительную сцену, схватил ружье и сильным ударом штыка в живот повергнул Гебеля на землю. Обратясь потом к С. Муравьеву, начал его просить, чтобы он прекратил бесполезные жестокости над человеком, лишенным возможности не только им вредить, но даже защищать свою собственную жизнь. Сии просьбы имели свое действие. С. Муравьев оставил Гебеля и только в это время почувствовал, что ознобил себе пальцы от прикосновения ружейного ствола. Едва С. Муравьев оставил полумертвого Гебеля, как сей несчастный пришел в себя, приподнялся на ноги и в беспамятстве пошел, шатаясь, сам не зная куда. К несчастью он попал на глаза к Кузьмину, который подбежал к нему, ударом по шее сшиб его с ног и, в исступлении, нанес ему еще восемь тяжелых ран; удары были так сильны, что за каждым разом Кузьмин должен был употреблять силу, чтобы выдернуть свою шпагу из костей Гебеля. Может быть Кузьмин прекратил бы страдания Гебеля, если бы не подбежал к нему Соловьев и не уговорил оставить изувеченного человека, представляя его совершенно им безвредным и едва дышущим. Кузьмин удалился, но жизнь не оставила Гебеля. Ослабленный истечением крови, с разбитою головою, покрытый ранами, он снова собрал силы, поднялся на ноги и, шатаясь, вышел за ворота, сделал там несколько шагов и упал без чувств посреди улицы. Один рядовой роты Кузьмина остановил ехавшего по улице крестьянина, положил Гебеля на сани и повез его в дом управителя.

С. Муравьев, узнав об этом, впал в некоторый род неистовства; требовал, чтобы офицеры отыскали Гебеля и непременно лишили его жизни, а сам побежал по переулку с намерением перехватить сани, на которых солдат вез своего полкового командира. Не догнав его, С. Муравьев поручил Сухинову непременно остановить Гебеля, вывезти его за деревню и бросить в снег. Видя ярость и бешенство С. Муравьева, Сухинов притворился согласным исполнить его приказание и побежал вслед за санями, но возвратившись, объявил Муравьеву, что солдат отдал уже Гебеля управителю, и что сей последний собрал к себе множество вооруженных крестьян *. Между тем С. Муравьев приказал Кузьмину собрать роту и идти в

* Покажется странным, что после стольких полученных ран Гебель мог еще остаться в живых. Но обратно сему способствовало его крепкое здоровое сложение, ско-

Ковалевку, а сам, взяв с собой Соловьева и Щепиллу, поехал вперед в сию деревню. Когда они подъехали к управительскому дому, Щепилло, находясь еще в сильном раздражении, предложил С. Муравьеву заехать к управителю и убить там Гебеля. С. Муравьев тотчас согласился и приказал кучеру прямо туда ехать, но Соловьев всеми силами воспротивился сему, как бесполезному, так и ничтожному покушению, просил Муравьева оставить его намерение и, не ожидая его согласия, он крикнул грозно на кучера:

— Пошел, прямо!

Кучер послушался Соловьева, ударил по лошадям и пронесся мимо дома. Муравьев и Щепилло противились. Соловьев их не слушал и тем отвратил их от сего бесполезного действия. Щепилло и Соловьев, оставив С. Муравьева в деревне Ковалевке, где квартировала 2-я гренадерская рота под командою поручика Петина, поехали к своим ротам через Васильков.

9

Меры майора Трухина в Василькове.— С. Муравьев в Ковалевке.— Поездки Башмакова, Фурмана, Какаурова и Бестужева.— Вступление Муравьева в Васильков.— Арест Трухина, захват знамен и полкового ящика.— Приход Шутова с частью 5-й роты.— Арест жандармов

Все, случившееся в Трилесах, было уже известно в городе. Ужас распространился между жителями, а местное начальство старалось взять меры, могущие остановить успех Муравьева. Трухин, старший майор после С. Муравьева, удвоил городской караул и отправил приказание во все роты непременно собраться в город. Узнав, что Соловьев и Щепилло приехали в Васильков и остановились у полкового квартирмейстера, поручика Войниловича, майор Трухин тотчас взял роту внутренней стражи, городничего и дежурного по караулам, поручика Быстрицкого, пошел на квартиру офицера и там арестовал Соловьева и его товарищей, в то время как они отдыхали, ожидая свежих лошадей. Потом приказал поручику Быстрицкому ехать в деревню, принять роту Соловьева и привести ее в Васильков. На главной гауптвахте, где содержались арестованные офицеры, было отдано строжайшее приказание от майора никого к ним не впускать, не говорить ни слова с мятежниками и если они вздумают подговорить караульных, то стрелять по ним без всякого сожаления. Однако, несмотря на сей строгий приказ, Щепилло и Соловьев не только принимали посещения других офицеров, говорили с солдатами, но даже рассказали им подробно о всем случившемся в Трилесах и просили их не оставлять своих то-

---

рая помощь лекаря, а может быть от исступления и ярости офицеров неверно наносимые удары. Однако же, за всем тем, он был четыре месяца в постели, лишился нескольких пальцев на обеих руках, которые ему отбил С. Муравьев ружейным прикладом, и получил тринадцать тяжких ран острым оружием.— *Прим. Горбачевского:*

варищей в столь трудных обстоятельствах. Как караульные солдаты, так и офицеры, посещавшие арестантов, обещали непременно присоединиться к восставшим ротам.

В скором времени майор Трухин, вероятно из предосторожности, разлучил Соловьева и Щепиллу, приказав перевести сего последнего на квартиру и содержать там под таким же строгим присмотром, как и на гауптвахте. Бедный майор не замечал, что над его приказаниями явно смеялись не только офицеры, но и солдаты, хотя, по-видимому, приводили их в исполнение.

С. Муравьев в деревне Ковалевке позвал тотчас к себе фельдфебеля и унтер-офицеров 2-й гренадерской роты, чтобы узнать их мнение относительно замышляемого возмущения. Видя, что они готовы разделить с ним все опасности предприятия, он приказал фельдфебелю собрать роту. Гренадеры собрались против квартиры своего ротного командира, с которым Муравьев вышел к ним и после обыкновенных приветствий объявил о деле в коротких словах. Потом спросил их, чувствуют ли они довольно мужества, чтобы отважиться на столь смелый и великий подвиг. Гренадеры единодушно изъявили свое согласие и отвечали положительно. Распустив их по квартирам, С. Муравьев приказал им готовиться к походу.

Для успеха восстания, начатого без всякого предварительного плана, необходимо было скорое и единодушное содействие всех членов тайного общества. С. Муравьев был уверен в преданности к общему делу членов Славянской управы и потому спешил их уведомить о восстании Черниговского полка. С сим намерением он послал Башмакова известить о сем членов 8-й артиллерийской бригады и пригласить их к поднятию оружия. Кроме сего, Башмаков должен был заехать к капитану Черниговского полка Фурману и отправить его с таким же поручением к членам 8-й пехотной дивизии. Вслед за Башмаковым Муравьев послал в 17-й егерский полк, к подпоручикам Вадковскому и Молчанову, унтер-офицера Какаурова с запискою, в которой просил одного из них приехать в Васильков для совещания *. От скорого исполнения подобных приказаний, может быть, зависел жребий С. Муравьева и его товарищей, но, к несчастью, сии приказания не были исполнены с надлежащею скоростью и точностью. Унтерофицер Какауров выполнил возложенную на него обязанность как следовало умному и расторопному солдату; но поведение Башмакова и Фурмана заслуживает самое строгое порицание [32]. Вместо того, чтобы спешить в назначенные им места, они теряли время за картами и вином. В 25 верстах

---

* Вместо того, чтобы послать Какаурова в 1-й егерский полк с приказанием, дабы члены, там находящиеся, взбунтовали тотчас полк и шли бы к черниговцам на помощь, С. Муравьев приказал приехать в Васильков одному члену и тогда дал ему оное поручение. От всего произошла неудача и потеря времени, которое так дорого в сих случаях.— *Прим. Горбачевского.*

от Василькова они были арестованы земским исправником, который взял их за карточным столом весьма не в трезвом виде.

Бестужев-Рюмин приехал в Ковалевку и тут узнал о происшествиях, случившихся во время его поездки. Положительно неизвестно, где он был, но, вероятно, сколько можно догадываться по обстоятельствам, он ездил в ближайшие полки и приглашал к действию командиров оных *. Почти вслед за ним пришел Кузьмин с частию своей роты. Опасаясь оставить С. Муравьева без прикрытия, он дожидался, пока соберется вся рота, разбросанная по деревням, и препоручил своему фельдфебелю Шутову привести остальную команду в город Васильков.

На другой день (30 декабря), рано по утру, С. Муравьев, с 1-й гренадерской ротою и большею частию 5-й мушкетерской, выступил из Ковалевки, намереваясь в один переход сделать 35 верст и придти в Васильков. Майор Трухин, узнав о сем движении, приказал в городе бить тревогу, а 4-й мушкетерской роте, занимавшей караулы, приготовиться к бою. Сии приготовления навели на городских жителей ужас: думали, что чрез несколько минут Васильков будет театром кровавой битвы, но вышло совершенно противное.

В 3 часа пополудни авангард С. Муравьева, под командою Сухинова, спокойно вошел в город, достиг городской площади без всякого сопротивления и не обнаружил никаких неприязненных расположений против жителей. Миролюбивый вид мятежников ободрил майора Трухина. Надеясь обезоружить их одними словами, в сопровождении нескольких солдат и барабанщика, он подошел к авангарду и начал еще издалека приводить его в повиновение угрозами и обещаниями, но, когда он подошел поближе, его схватили Бестужев и Сухинов, которые, смеясь над его витийством, толкнули его в средину колонны. Мгновенно исчезло миролюбие солдат: они бросились с бешенством на ненавистного для них майора, сорвали с него эполеты, разорвали на нем в куски мундир, осыпали его ругательствами, насмешками и, наконец, побоями [34]. В сие время С. Муравьев, подошедши с своею колонною на площадь избавил Трухина от дальнейших неприятностей, приказав солдатам не трогать его и отвести на гауптвахту под арест. Почти в то же самое время 4-я мушкетерская рота, стоявшая в карауле, и 6-я, пришедшая к ней на смену, под предводительством арестованного Соловьева, при радостных восклицаниях присоединились к

---

* Положительно известно, что Бестужев приезжал в Радомысль к Швейковскому, и тот от него спрятался. С огорчением он уехал оттудова, но неизвестно, где он еще был. Станционный писарь г. Радомысля после разбития С. Муравьева доставил начальству записку, писанную на французском языке к Швейковскому, где он приглашал его к восстанию. Из сего видно намерение Бестужева и его неудача; вероятно, он был и у других полковых командиров. По возвращении своем, он очень скрывал от черниговских офицеров, куда он ездил, где был и зачем [33].— *Прим. Горбачевского.*

С. Муравьеву. Вскоре потом пришел на площадь Щепилло, командуя караулом, содержавшим его под арестом.

Столь счастливое начало оживило новою надеждою сердца черниговских офицеров. Они не сомневались в будущих успехах своего оружия и уже мечтали об окончании трудного подвига. Приезд 17-го егерского полка подпоручика Вадковского усилил еще более их надежды. Он обещал С. Муравьеву, с помощью (своего) товарища Молчанова, взбунтовать если не весь егерский полк, то, по крайней мере, батальон, и в ту же минуту отправился с площади в Белую Церковь для приведения в действие своего намерения. Но, по приезде туда, на заставе был арестован, закован в кандалы и тотчас отправлен в главную квартиру 4-й армии.

Когда все роты собрались на площадь и Муравьев увидел, что город в его власти, он приказал Сухинову и Мозалевскому идти на квартиру Гебеля (которого уже привезли из г. Трилесов) за знаменами и полковым ящиком. При сем случае произошел беспорядок, о котором нельзя не упомянуть. При входе в дом, занимаемый Гебелем, Мозалевский заметил, что на левом фланге взвода, назначенного под знамена, недостает нескольких рядов; тут же услышал в комнатах шум и крик. Он тотчас же догадался, что солдаты, оставив ряды, ворвались во внутренность дома и предаются там бесчинству. Догадки свои он сообщил Сухинову, который, обнажив саблю, бросился в комнаты и увидел пред собою толпу разъяренных солдат, готовых принести Гебеля в жертву их мщению. Они оскорбляли несчастную жену своего командира, а некоторые даже предлагали убить ее, вместе с малолетними ее детьми. Просьбы и ласковые слова были в сем случае бесполезны. Одна твердость характера, смелость и решительность могли укротить буйство солдат. Сначала Сухинов угрожал наказать смертью тех, которые, забыв военную дисциплину, оставили ряды без приказания офицера, осмелились нарушить спокойствие бедной женщины, оскорбляют ее и даже замышляют гнусное убийство. Но видя, что его слова не производят никакого действия, он решил подтвердить оные делом и наказать немедленно первого виновного. Раздраженные солдаты вздумали обороняться, отводя штыками сабельные удары и показывали явно, что даже готовы покуситься на жизнь своего любимого офицера. Сухинов, не теряя духа, бросился на штыки, осыпал сабельными ударами угрожавших ему убийц и выгнал их из дому. Остальные солдаты, стоявшие в это самое время на дворе под командою Мозалевского, хотели было идти на помощь к своим товарищам, но Мозалевский встал впереди и с саблею в руках сказал им, что кто первый осмелится и пошевелится, тот ляжет на месте. Мужеством и твердостью сих двух офицеров спасена жизнь Гебелю, его жене и детям и дом избавился от конечного разграбления[35].

По возвращении на площадь со знаменами Мозалевский получил от С. Муравьева приказание отыскать непременно скрывшегося полкового адъютанта Павлова, отобрать от него архив, полковую печать и посадить

его самого под арест. Щепилле дано было такое же повеление, и, взявши солдат, они отправились вместе с Мозалевским отыскивать Павлова, который, как известно было, скрывался в городе. Поиски были бесполезны. Павлов был спрятан в постели между перинами у жены городничего, где он пробыл до самого выступления С. Муравьева из Василькова, и тогда только оставил свою роскошную темницу и поспешил уведомить киевское начальство о возмущении в Черниговском полку. Сии поиски, коих цель была известна всем в городе, послужили, однако же, к сплетению гнусной клеветы, которой недоброжелатели всякого нововведения старались очернить С. Муравьева и его сподвижников, и выдумали, что будто бы, по приказанию его, уголовные преступники были выпущены из тюрьмы, а уездное казначейство разграблено. Но, по произведенному самим правительством следствию, сии обвинения оказались ложными, к стыду самих клеветников *. С. Муравьев оставался на городской площади и пока не делал последних распоряжений. Заметя беспокойство городских властей и желая уничтожить их опасения, он призвал к себе почетных граждан, объявил им цель возмущения, которое нимало не угрожало личной и вещественной их безопасности, просил их не предаваться напрасному страху и уверил, что порядок и тишина будут строжайше наблюдены. Потом просил он доставить под квитанцию нижним чинам съестные припасы и водку. Ласковое и благородное обращение Муравьева не осталось без действия. Успокоенные жители доставили все припасы, удовольствованные солдаты были помещены на тесных квартирах, город окружен военною цепью, а Богуславская и Киевская заставы были заняты сильным караулом. На первую был назначен Мозалевский, на вторую — Рыбаковский. В 8 часов вечера пришел в Васильков 5-й мушкетерской роты фельдфебель Шутов с рядовыми, оставленными поручиком Кузьминым. Не доходя 7 верст до Василькова, около корчмы, называемой Мытницы, встретил его командир 9-й дивизии генерал Тихановский и на его вопрос, куда он идет с командою? — Шутилов отвечал:

— К своей роте в Васильков.

— Знаешь ли ты, что делается в полку? — спросил генерал.

* Офицеры, посланные Муравьевым для отыскания адъютанта Павлова и утомленные долгими и безуспешными поисками, начали расспрашивать городских жителей о беглеце. Мозалевскому какой-то канцелярист сказал, что Павлов скрывается в уездном казначействе. Он прямо туда пошел с находящимися при нем рядовыми, которых, однако ж, оставил на дворе присутственного места, вошел в оное один и, узнав от служащих приказных, что никого другого из посторонних не находилось и не находится в том месте, он вышел обратно и спешил продолжать свои розыски в других местах города. При сем должно заметить, что на этом же дворе находилась городская тюрьма, в коей содержались разного рода уголовные преступники. Сии два обстоятельства подали повод выдумать, будто бы Муравьев послал солдат и офицеров в уездное казначейство с приказанием завладеть государственною казною и, кроме того, разбить тюрьму и освободить оттудова всех преступников. Кто первый выдумал столь унизительную ложь — неизвестно [36].— *Прим. Горбачевского.*

— Знаю, и затем именно туда иду,— отвечал смело Шутов.

Генерал Тихановский, услышав сие, приказывал ему идти с командою в дивизионную квартиру или обратно на ротный двор. Шутов отвечал, что не может ему повиноваться и нарушить обещания, данного ротному командиру поручику Кузьмину и батальонному командиру С. И. Муравьеву; что ежели его команда оставит, то он один пойдет в Васильков. Генерал Тихановский, видя твердость Шутова, оставил его и, подошедши к солдатам, стал их уговаривать отстать от своего фельдфебеля и идти не в Васильков, а в Белую Церковь; грозил им жестоким наказанием за непослушание, а в противном случае обещал им большие награды. Но слова и убеждения его не действовали; солдаты остались так же верны, как и их фельдфебель, все до одного пришли под командою Шутова в Васильков и явились к своему ротному командиру. Шутов, донося при вечернем рапорте С. Муравьеву о встрече с генералом Тихановским, сказал ему:

— Я хотел было, ваше высокоблагородие, арестовать его, но не смел этого сделать, не имея на сие никакого приказания *. Полагая, что Тихановский может быть приедет в Васильков, С. Муравьев приказал Мозалевскому арестовать его на заставе и привести тотчас к нему. Сего, однако ж, не случилось, но вместо Тихановского в 9 часов вечера на Богуславскую заставу прискакал жандармский поручик Несмеянов. Часовые остановили повозку и вызвали офицера. Мозалевский потребовал от жандарма его бумаги и объявил ему, что он арестован. Жандарм не хотел ничего слушать и показывал вид, что он намерен защищаться, вынимая пистолеты. Мозалевский приказал караульным окружить повозку и скомандовал: «на руку». Нечего было делать: жандарм выдал свои бумаги и был отвезен на главную гауптвахту. В скором времени другой жандармский офицер Скоков, приехавший с повелением арестовать Матвея Муравьева, подвергся той же участи, как и первый, который должен был арестовать Сергея Муравьева.

10

Приготовления к походу.— Сбор мятежных рот на площади утром 31 декабря.— Молебен и чтение Катехизиса.— Выступление на Мотовиловку.— Приезд Ипполита Муравьева

Между тем офицеры Черниговского полка не теряли времени. Ночь с 30 на 31 декабря была проведена в приготовлениях к походу. Каждый занимался своим делом, забывая опасность; деятельность и усердие членов Общества были беспримерны; они старались одушевить солдат новым

* Такая верность и преданность солдат достойна всякого замечания. Шутов знал, что он произведен в офицеры, что приказ об оном находится в дивизионной квартире, также знал, какая его ожидает награда и какое наказание.— Он прогнан сквозь строй и сослан в Сибирь на каторгу [37].— *Прим. Горбачевского.*

мужеством и поддержать бодрость их духа. Чтобы успешнее действовать на них, они всеми силами старались обеспечить их продовольствие. Сами солдаты в приготовлении к походу показывали не менее ревности: ружья, патроны и вся амуниция были осмотрены с величайшим тщанием и все недостатки были исправлены. Посреди общей деятельности один С. Муравьев не принимал участия в приготовлениях: он оставался уединенным, писал целую ночь, но куда? и к кому? — никто даже из близких ему не мог узнать.

В вечернем приказе С. Муравьева было сказано, что все роты, находящиеся налицо, должны собраться на площадь на другой день (31 декабря) в 9 часов утра. В назначенное время пять рот, а именно: 1-го батальона 3-я мушкетерская, 2-го батальона — 2-я гренадерская, 4-я, 5-я и 6-я мушкетерские роты пришли на сборное место в полной походной амуниции. Музыканты без всякого приказания явились сами и 60 человек, оставя инструменты, взяли оружие из полкового цейхгауза и стали в ряды своих товарищей. 1-й гренадерской и 1-й мушкетерской рот не было на площади, потому что по приезде в Васильков С. Муравьев тотчас послал приказание в сии роты собраться им в деревню Мотовиловку и там ожидать его прихода. 3-я мушкетерская рота, за которой был отправлен поручик Быстрицкий майором Трухиным, не успела еще прийти. При собравшихся ротах находились следующие офицеры, командиры рот: 3-й мушкетерской — поручик Щепилло; 2-й гренадерской — поручик Петин; 4-й мушкетерской — поручик Маевский; 5-й — поручик Кузьмин; 6-й — поручик Сухинов, вместо откомандированного Фурмана. Командир 2-й мушкетерской роты, штабс-капитан барон Соловьев, тут же находился, хотя рота его еще в то время не пришла. В сих ротах офицеры: Апостол-Кегич, Рыбаковский, князь Мещерский, Мозалевский, Белелюбский, Кондырев, Сизиневский, Войнилович. Сверх того находились тут и Полтавского полка поручик Бестужев-Рюмин, отставной полковник Матвей Муравьев-Апостол и приехавший на время сбора полка на площадь свиты е. в. подпоручик Ипполит Муравьев-Апостол. Ротные командиры и офицеры проверили людей, осмотрели амуницию и с нетерпением ожидали С. Муравьева, который долго не выходил из своего кабинета, проведши там около часу времени с Мозалевским. Никто не знал, зачем Мозалевский был у Муравьева и какое получил поручение.

Вышедши в залу, он приказал позвать полкового священника и, объяснив ему цель восстания и свои намерения, просил его содействовать в сем благом деле молитвою и крестом.

— Русское духовенство,— сказал ему, наконец, С. Муравьев,— всегда было на стороне народа, оно всегда, во времена бедствий нашего отечества, являлось смелым и бескорыстным защитником прав народных.

Священник, человек молодой и довольно просвещенный, постигнул возвышенные и благородные чувства С. Муравьева.

— Я согласен на ваше предложение,— сказал он ему,— и готов умереть с вами для общей пользы; но... я имею жену, детей,— прибавил он после некоторого молчания,— если ваше предприятие не удастся, что будет с ними? Бедность, нищета и даже позор ожидают мою жену и моих сирот [38]. Супружеская и родительская любовь мгновенно поколебали в нем первый порыв любви к отечеству, он готов был отказаться от прежних слов своих, но Муравьев снова успел возбудить в душе его благородное самоотвержение. Желая успокоить справедливое опасение священника на счет его семейства, он дал ему 200 руб.

— Вручите сии деньги вашему семейству,— сказал С. Муравьев,— они будут необходимы для него во время вашего отсутствия, между тем будьте уверены, что ни Россия, ни я никогда не забудем ваших услуг.

Священник, не возражая более, пошел вместе с Муравьевым на площадь.

Собравшиеся роты были построены в густую колонну. Подошед к ней, С. Муравьев приветствовал солдат дружелюбно и потом, в коротких словах, изложил им цель восстания и представил, сколь благородно и возвышенно пожертвовать жизнью за свободу. Восторг был всеобщий; офицеры и солдаты изъявили готовность следовать всюду, куда поведет их любимый и уважаемый начальник. Тогда С. Муравьев обратился к священнику, просил его прочитать Политический катехизис, который состоял из чистых республиканских правил, приноровленных к понятиям каждого [39]. Священник читал громким и внятным голосом правила и обязанности свободных граждан.

— Наше дело,— сказал Муравьев по окончании чтения, обратясь снова к солдатам,— наше дело так велико и благородно, что не должно быть запятнано никаким принуждением, и потому кто из вас, и офицеры, и рядовые, чувствует себя неспособным к такому предприятию, тот пускай немедленно оставит ряды, он может без страха остаться в городе, если только совесть его позволит ему быть спокойным и не будет его упрекать за то, что он оставил своих товарищей на столь трудном и славном поприще, и в то время как отечество требует помощи каждого из сынов своих.

Громкие восклицания заглушили последние слова С. Муравьева. Никто не оставил рядов и каждый ожидал с нетерпением минуты лететь за славою или смертью.

Между тем священник приступил к совершению молебна. Сей религиозный обряд произвел сильное впечатление. Души, возвышенные опасностью предприятия, были готовы принять священные и таинственные чувства религии, которые проникли даже в самые нечувствительные сердца. Действие сей драматической сцены было усугублено неожиданным приездом свитского офицера, который с восторгом бросился в объятия С. Муравьева. Это был младший брат его — Ипполит. Надежда получить от него благоприятные известия о готовности других членов заблистала

на всех лицах. Каждый думал видеть в его приезде неоспоримое доказательство всеобщего восстания и все заранее радовались счастливому окончанию предпринятого подвига.

Среди сих надежд колонна, получив благословение священника, с криком: ура! — двинулась по дороге в деревню Мотовиловку. Городские жители, теснившиеся вокруг, провожали воинов, желая им успеха.

— Да поможет вам бог! — раздавалось повсюду.

Солдаты были бодры; мужество блистало в их взорах; веселые песни выражали спокойствие их душ. Для удержания порядка и отвращения внезапного нападения войско шло в боевом порядке. Авангардом командовал Войнилович; арьергардом — Сухинов. Деятельность и бдительность сего последнего оправдали вполне доверенность Муравьева и его товарищей. Несмотря на благородное чувство, одушевлявшее большую часть солдат, в столь значительном числе оных неминуемо находились такие, которые думали, что при подобных случаях можно позволить себе без упрека совести разного рода шалости и бесчинства и безнаказанно нарушать дисциплину. Сухинов благоразумною осторожностью и строгим соблюдением военных правил укрощал их буйство и поддерживал порядок. Некоторые из них притворялись пьяными с намерением отстать от полка и предаться беспорядкам. Подобные хитрости не ушли от бдительности Сухинова: он уничтожал все их замыслы. При самом начале один рядовой, сорвавший платок с женщины, провожавшей его как доброго постояльца, был немедленно строго наказан, при всех его товарищах. Войнилович, по распоряжению С. Муравьева, приближаясь к каждой корчме, посылал туда унтер-офицера и двух рядовых с строгим приказанием ставить у дверей корчмы часовых и никого не впускать в оную. Таким образом прекращались все беспорядки, почти неизбежные при движении полка.

Во время дороги к Мотовиловке Ипполит Муравьев рассказал офицерам Черниговского полка, что он выехал из Петербурга 13 декабря, с поручением от членов Северного общества уведомить членов Южного о намерении начать возмущение в столице и пригласить их к содействию. Тут же он сказал, что московские члены разделяют мнение петербургских и обещают помогать успехам восстания, где бы оно ни началось. И, наконец, он прибавил, что дорогою узнал о печальном событии 14 декабря.

— Мой приезд к вам в торжественную минуту молебна,— говорил он,— заставил меня забыть все прошедшее. Может быть ваше предприятие удастся, но если я обманулся в своих надеждах, то не переживу второй неудачи и клянусь честию пасть мертвым на роковом месте.

Сии слова тронули всех.

— Клянусь, что меня живого не возьмут! — вскричал с жаром поручик Кузьмин.— Я давно сказал: «Свобода или смерть!»

Ипполит Муравьев бросился к нему на шею: они обнялись, поменялись пистолетами и оба исполнили клятву.

11

Поездка Мозалевского в Киев.— Мозалевский у неизвестного генерала и у подполковника Крупенникова.— Распространение катехизиса.— Тревога в городе.— Арест Мозалевского.— Князь Щербатов

Прервем рассказ о Черниговском полку, который уже выступил из Василькова, и займемся отправлением и поездкой Мозалевского в Киев. Сие отступление отчасти объяснит нам намерения, действия и надежды С. Муравьева.

31 декабря, в день выступления полка из Василькова, в 8 часов утра Мозалевский был с рапортом у С. Муравьева, который после некоторых вопросов о приготовлении полка к походу сказал ему, что намерен откомандировать его с важными поручениями, и потому просил его приготовиться скорее к дороге и запастись партикулярным платьем.

— О времени вашего отправления,— прибавил он,— вы узнаете, когда все к тому нужное будет готово.

В 10 часов Мозалевский узнал от Щепиллы, что Муравьев желает с ним видеться. Он сейчас пошел к нему и нашел там Бестужева-Рюмина и Матвея Муравьева, которые, впрочем, кажется ничего не знали о намерении С. Муравьева. Едва Мозалевский успел войти в комнату, как С. Муравьев взял его за руку, повел в свой кабинет и запер за собою дверь. Потом сказал ему, что он должен ехать в Киев с письмами к тамошним членам тайного общества:

— Вы должны,— говорил он,— спешить в сей город; постарайтесь как можно скорее кончить порученное вам дело и немедленно возвратиться ко мне. Будьте осторожны, старайтесь всеми средствами скрыть ваш приезд, как от киевских жителей, так и от тамошнего местного начальства.

По поручению Муравьева Мозалевский должен был вручить письмо трем членам тайного общества и распустить в народе несколько списков Политического катехизиса. Содержание сих писем неизвестно, но из наставлений, данных Муравьевым Мозалевскому, можно догадываться, чего он желал и чего надеялся. Вручая ему письмо на имя одного генерала (которого фамилия неизвестна), Муравьев просил Мозалевского пересказать ему о всем случившемся в Черниговском полку, узнать от него, что думают другие члены о происшествии 14 декабря и о восстании Черниговского полка, и расспросить его о мерах, какие они со своей стороны думают принять; объявить ему о надеждах С. Муравьева на Киев, где находится так много членов русского и польского Обществ, и, наконец, просить на все письменного или словесного ответа. Отдавая другое письмо к подполковнику Крупенникову, Муравьев сказал:

— Объявить ему, что представляется удобный случай присоединиться ему с своим полком к нашему, скажите, что я надеюсь на его патриотизм и усердие к общему делу и ожидаю от него положительного ответа. Сверх

того, не забудьте узнать от сих членов о мерах, принятых правительством против нас, и какие именно полки назначены воспрепятствовать нашим успехам и кто ими будет командовать. Но более всего требуйте от них ответов,— повторил он Мозалевскому несколько раз.

Наконец отдал ему третье письмо, адресованное на имя одного поляка. Тут же вручил он Мозалевскому большой пакет, заключающий в себе несколько списков Политического катехизиса, приказав выбрать из своего полка надежных и расторопных двух рядовых и одного унтер-офицера, одеть их в простое платье или, по крайней мере, срезать с шинелей погоны, взять их с собою в Киев и по приезде туда поручить им пустить в народ сии катехизисы, снабдив для сего необходимыми наставлениями.

На вопрос Мозалевского: когда он должен ехать и где, по исполнении поручения, догнать полк? — Муравьев отвечал:

— Чтобы отвлечь всякое подозрение о вашей поездке, вы должны быть во время молебна на площади и выйти из города вместе с полком, пройти с ним до первой корчмы, Малой Мытницы, и оттуда вы можете уже ехать проселочными дорогами, миновав Васильков. Когда же кончите все ваши дела в Киеве, то приезжайте в Брусилов и дожидайтесь меня там у командира Кременчугского полка полковника Набокова; ежели вы не застанете меня там, то, узнавши где, немедленно приезжайте ко мне *.

По окончании разговора С. Муравьев вместе с Мозалевским пошел на площадь, где были собраны восставшие роты Черниговского полка. Нам уже известно, что там происходило. Мозалевский с большим затруднением мог нанять лошадей. Узнав о времени своего отправления незадолго до выступления полка и не имея возможности отлучиться в продолжение молебна и чтения катехизиса, он двинулся вместе с полком и тогда только забежал на свою квартиру, когда полк проходил мимо ее. Он приказал своим людям отыскать непременно две тройки лошадей, дать за наем все, что хозяева потребуют, и стараться как можно скорее догнать его. Лошади были отысканы и наняты. Они догнали полк за полверсты от Малой Мытницы. Муравьев, узнав о сем, тотчас приказал Мозалевскому взять с собою назначенных солдат и отправиться куда следует. Мозалевский воротился, проехал глухими переулками Васильков, поворотил вправо, на деревню Бугаевку, лежащую в стороне от большой дороги, и проселками доехал до деревни, находящейся близ Киева. Тут он должен был взять свежих лошадей, встретил новые затруднения, однако ж, после некоторой остановки, нашел извозчика и выехал на большую Васильковскую дорогу под самым Киевом. Здесь отдав унтер-офицеру Николаеву и одному из рядовых по ровному числу списков Политического катехизиса, приказал им по приезде

---

* Не выходя еще из Василькова, С. Муравьев хотел идти через Фастов в Брусилов; взявши там Кременчугский полк, следовать в Радомысль, соединиться там с Алексопольским полком и оттуда идти на Житомир.— *Прим. Горбачевского.*

в город оставить лошадей в каком-нибудь скрытом месте, разойтись в разные стороны по Подолу и Печерску, и там раздавать сии списки встречающимся людям, подбрасывать их в дома или оставлять в местах более посещаемых; когда же все списки таким образом будут сбыты с рук, то немедленно сойтись и ожидать его близ заставы на Подоле.

В полночь с 31 декабря на 1 января Мозалевский приехал в Киев, миновав заставу на Печерске позади госпиталей. В городе все было тихо; кажется, никто не знал еще о восстании Черниговского полка и никто не думал, что спокойствие города скоро будет нарушено. Зная квартиру того генерала, к которому имел письмо, Мозалевский прямо поехал к нему (он жил на Печерске). Оставив в недальнем расстоянии своих лошадей и при них бывшего с ним солдата, он вошел в дом и просил доложить о себе, не упоминая, однако, ни своего звания, ни своей фамилии. По прошествии нескольких минут его просили войти. После обыкновенных приветствий Мозалевский вручил генералу письмо, объявив, что он офицер восставшего Черниговского полка, присланный с поручением от С. Муравьева. Замешательство генерала было чрезвычайно. Прочитав письмо, он сказал Мозалевскому дрожащим голосом:

— Я не буду отвечать: скоро сам с ним увижусь.

Потом начал просить Мозалевского оставить скорее его дом и спешить выехать из Киева. Когда же Мозалевский спросил его: что сказать Муравьеву на словесные его поручения? — генерал отвечал ему еще с большим замешательством:

— Я ничего не знаю.

Мозалевский, несмотря на это, повторил несколько раз вопросы, которые поручил ему сделать С. Муравьев, и на которые, вместо всякого ответа, генерал повторил:

— Ничего не знаю, прошу оставить меня.

Мозалевский, видя его страх и опасение, и не получая от него никакого ответа, решился, наконец, удалиться. От него он не мог уже уехать, а пошел пешком, потому что должен был отыскать квартиру подполковника Крупенникова, которую нашел, шедши с Печерска на Подол. Мозалевский вошел к нему и, отдавая письмо, начал рассказывать о восстании Черниговского полка.

— Знаю, знаю,— сказал Крупенников с радостью,— и желаю вам успеха от всего сердца.

Потом, прочитав письмо и узнав от Мозалевского некоторые подробности, спросил:

— Куда намерен идти С. Муравьев и надеется ли на помощь других членов?

Мозалевский отвечал, что Муравьев идет на Брусилов, хотя сего не знает он наверное, что все зависит от обстоятельств, но что С. Муравьев положительно более всего надеется на Киев.

— Я уверен,— возразил Крупенников,— что братья Александр и Артамон Муравьевы первые пристанут к нему со своими гусарскими полками. За четверть часа до вашего прихода здешнее начальство,— продолжал он,— получило известие о вашем восстании, и приказано бить тревогу: все войска, находящиеся здесь, будут собраны и пойдут в Васильков для усмирения вспыхнувшего мятежа; посему, если вы имеете еще какое-либо поручение, то исполняйте его как можно скорее и спешите выехать из Киева: я думаю, впрочем, вы не успеете уведомить Сергея Муравьева; правительство везде берёт против него сильные меры. Чтобы не задерживать вас,— продолжал Крупенников,— я не стану отвечать письменно, но скажите С. Муравьеву, что из Киева идут против него три батальона. Я иду с ними и буду иметь случай соединиться с вами, исполнить данное обещание и разделить общую опасность.

При выходе Мозалевского от него, Крупенников прибавил:

— Я не могу уведомить С. Муравьева, что думают другие члены, находящиеся в Киеве, насчет восстания, на что они решились и что намерены делать, но, вероятно, Воронежскому и Витебскому полкам также дано повеление идти против Муравьева, и, конечно, члены, находящиеся в сих полках, воспользуются случаем исполнить принятую ими обязанность и соединиться с Черниговским полком для общего дела.

Едва Мозалевский вышел от Крупенникова, как уже во всех частях города били тревогу [40]. Это было второй час ночи. Смятение беспрестанно увеличивалось, испуганные жители выбегали из домов, толпились на улицах или бежали, сами не зная куда и зачем. Солдаты в полной походной амуниции пробегали улицы, не зная также, что означает всеобщая тревога. Темнота, вопли жителей, крики солдат, барабанный бой и звук оружия увеличивали ужас сей ночи. Мозалевский, видя предстоящую для него опасность, спешил оставить Киев, не видавши третьего члена тайного общества, решился как можно поскорее уведомить обо всем С. Муравьева, для сего старался отыскать приехавших с ним унтер-офицера Николаева и рядовых, которые, исполнивши в точности данное им поручение, ожидали своего офицера в назначенном месте *. Не имея возможности достигнуть Радомысльской заставы большими улицами, в которых толпился народ и войско, Мозалевский, чтобы избежать задержки, хотел выехать в ближайшую от Подола заставу и предместием Кореневкою пробраться на большую дорогу в Брусилов. Но, не доезжая до заставы, он услышал позади себя лошадиный топот и смешанные голоса. Вскоре громкие крики: «Стой, стой!» убедили его, что за ним гонятся. Надежда миновать опасность не оставила его и в сию критическую минуту. Он приказал ямщику не жалеть лошадей, обещая большие деньги, но все усилия усерд-

* Они несколько списков подбросили в публичные места, много раздали в трактирах; прочие по рукам на улицах, большею частью во время тревоги.— *Прим. Горбачевского.*

ного извозчика были тщетны: толпы народа стремились им навстречу и беспрестанно останавливали повозку. Тогда Мозалевский, видя невозможность спастись от рук правительства, разорвал письмо, которого не успел вручить по адресу и начал глотать куски бумаги. Между тем извозчик с усилием пробирался сквозь толпу народа, и едва Мозалевский успел проглотить изорванное письмо, как обе повозки были окружены взводом жандармов, при которых находились начальник штаба 4-го корпуса генерал Красовский, старший адъютант Малецкий и киевский полицмейстер полковник Дуров. Мозалевский был отвезен в дежурство 4-го корпуса, откуда, не снимая с него допроса, отправили его на главную гауптвахту. По прошествии нескольких минут его повели к командиру 4-го корпуса князю Щербатову, где, к удивлению, он увидел черниговского полка майора Трухина, полкового адъютанта Павлова и двух жандармских офицеров — Несмеянова и Скокова. Князь Щербатов позвал Мозалевского в кабинет и, оставшись с ним наедине, с душевным прискорбием сказал ему:

— Вы начали действовать слишком рано. Я знаю лично С. И. Муравьева, уважаю его и жалею от искреннего сердца, что такой человек должен погибнуть вместе с теми, которые участвовали в его бесполезном предприятии. Очень жалко вас: вы молодой человек и должны также погибнуть.

Слезы катились у доброго генерала. Потом князь Щербатов вместе с Мозалевским вышел в ту комнату, где находились помянутые лица и с ними начальник штаба. Тут начал он спрашивать Мозалевского, к кому он приезжал в Киев и с какими именно поручениями. Мозалевский отвечал:

— Я убежал из восставшего полка с намерением явиться к вашему сиятельству.

— Это несправедливо,— возразил майор Трухин, обращаясь к князю.— Он приехал сюда с поручением от С. Муравьева, но к кому и зачем — я не знаю. Он участвовал в бунте и, вместе с Сухиновым, хотел убить меня, когда я содержался на гауптвахте *. Адъютант Павлов, с своей стороны.

* Мозалевский арестованного последнего жандарма сам отводил к С. Муравьеву, который приказал ему отвести его на главную гауптвахту. Идя туда, он встретился на улице с Сухиновым, который с ним тоже пошел на гауптвахту за каким-то делом. Там содержался под арестом майор Трухин. При входе в комнату Трухин при всех солдатах упал на колени пред ними и начал просить помилования, говоря, что он ни в чем не виноват. Мозалевский и Сухинов удивились, видя в сем положении майора, начали уверять, что они не за тем пришли на гауптвахту, чтобы что-нибудь с ним сделать, но за своим делом, и просили его встать, говоря, что неприлично для майора это положение,— и с сими словами они его подняли на ноги. Трухин не переставал просить помилования. Сухинов, видя его подлость, начал ему говорить о развратном его поведении, укорял в низости перед начальством, в тиранстве с солдатами, и потом советовал ему оставить военную службу, чтобы перестал он носить мундир, который марал своим поведением. Трухин во всем согласился с Сухиновым, признавал во всем себя виновным и клялся ему, что он оставит службу, в которой

уверял князя, что Мозалевский искал его в Василькове с намерением лишить его жизни. Жандармские офицеры говорили, что они были арестованы Мозалевским, стоявшим тогда с мятежниками в карауле, на выезде. Князь Щербатов приказал обыскать Мозалевского; майор Трухин взял на себя исполнить сию обязанность, но ничего не нашел. Не взирая на то, что Мозалевский отрицал все сделанные на него показания, он был отправлен в главную квартиру 1-й армии в 3 часа утра с жандармским офицером Скоковым.

Таким образом кончилась неудачная поездка Мозалевского, которая, конечно, было бы успешнее, если бы С. Муравьев послал его тотчас по восстании полка. Мозалевский со своей стороны сделал все, что мог; доказательство, что он приехал в Киев получасом раньше майора Трухина и жандармских офицеров, которые, будучи освобождены из-под ареста Муравьевым в корчме Мытнице, тотчас возвратились в Васильков, взяли с собою адъютанта Павлова и поскакали прямо в Киев, на почтовых лошадях. Они первые известили местное начальство обо всем, что могли узнать или слышать.

12

Поход С. Муравьева.— Вступление в Мотовиловку.— Отказ от участия в восстании 1-й гренадерской роты.— Дневка.— Крестьяне.— Присоединение Быстрицкого.— Решимость унтер-офицеров и фельдфебелей.— Бегство офицеров.— Выступление на Пологи.— Разведка Сухинова

Возвратимся опять к Черниговскому полку, который мы оставили на пути в Мотовилов, и посмотрим, что происходило в сей деревне по прибытии туда восставших черниговцев.

недостоин служить; но вдруг упал на колени и начал жалобным тоном просить, повторяя:

— Батюшка, Иван Иванович (имя Сухинова), сделайте милость!

Сухинов и Мозалевский бросились к нему с поспешностью и начали ему опять повторять, чтобы он ничего не боялся, чтобы он был покоен, и что скоро выпустят его на волю. Трухин не вставал, продолжал просить. Сухинов долго не мог понять, чего он просил, и, наконец, как-то нечаянно спросил: чего он хочет?

— Батюшка, Иван Иванович, сделайте милость, пришлите мне бутылку рому,— ответил Трухин.

При сих словах хохот раздался, как гром, во всей гауптвахте. Сухинов закричал:

— Унтер-офицер, пошли ко мне на квартиру за бутылкою рому для майора, и ежели он вперед захочет хоть целую бочку водки привезти к себе на гауптвахту, то позволить ему это, для утешения его.

Караульные солдаты, арестованные жандармы громко смеялись, а Мозалевский и Сухинов тотчас оставили этого майора. Кузьмин из жалости послал ему на гауптвахту 100 руб. на водку и на ром. После этого майор донес в Киев на Сухинова и Мозалевского, что они приезжали на гауптвахту убить его.— *Прим. Горбачевского.*

31 декабря 1825 г. в 2 часа пополудни роты Черниговского полка, под командою С. Муравьева, вступили в Мотовиловку, где уже были собраны 1-я гренадерская рота и часть 1-й мушкетерской и ожидали его прибытия. Как скоро Муравьев увидел солдат помянутых рот, подошел к ним * и начал говорить о цели восстания и дальнейших своих намерениях.

— Я надеюсь,— сказал он,— что вы не оставите своих товарищей и готовы или умереть или победить с ними; однако ж, если вы чувствуете себя неспособными разделить наши труды, я не принуждаю вас следовать за полком: это зависит от вашей воли.

Солдаты молчали и ни один из них не изъявил готовности повиноваться своему подполковнику.

— Я отгадываю ваши мысли,— воскликнул С. Муравьев после некоторого молчания.— Вы не можете быть нашими товарищами. Итак, возвратитесь на свои квартиры.

Гренадеры немедленно пошли обратно в деревню Снетинку; взвод же мушкетеров 1-й роты, квартировавший в Мотовиловке, хотя разошелся по квартирам, однако ж после соединился с полком.

С. Муравьев, не распустив еще полка, отдал приказ, что 1 января будет дневка, поручил ротным командирам иметь попечение о продовольствии нижних чинов, так и о снабжении их теплою одеждою и стараться более всего поддерживать бодрость духа солдат. Роты по его приказанию были размещены по тесным квартирам; на всех входах и выходах из деревни и в деревню были поставлены посты, всем отдано было приказание быть в готовности во всякое время к защите и были назначены дежурные по полку и ротам. На дневке С. Муравьев осматривал все караулы, был во всех ротах, разговаривал с солдатами, ободрял их и более всего заботился о их нуждах.

Объезжая караулы, Муравьев был окружен народом, возвращающимся из церкви. Добрые крестьяне радостно приветствовали его с новым годом, желали ему счастья, повторяли беспрестанно:

— Да поможет тебе бог, добрый наш полковник, избавитель наш [42].

С. Муравьев тронут был до слез, благодарил крестьян, говорил им, что он радостно умрет за малейшее для них облегчение, что солдаты и офицеры готовы за них жертвовать собою и не требуют от них никакой награды, кроме их любви, которую постараются заслужить. Казалось, крестьяне, при всей их необразованности, понимали, какие выгоды могут иметь

---

* Носились слухи, что будто бы 1-й гренадерской роты капитан Козлов скрылся от С. Муравьева, переодетый в солдатское платье. Это совершенная ложь. Когда С. Муравьев подходил к сей роте, то капитан Козлов был тут же и даже рапортовал С. Муравьеву о благополучии своей команды. И когда С. Муравьев увидел, что гренадеры молчат и не хотят за ним идти, то он, обратясь к капитану Козлову, приказал их вести по квартирам [41].— *Прим. Горбачевского.*

от успехов Муравьева; они радушно принимали его солдат, заботились о них и снабжали их всем в избытке, видя в них не постояльцев, а защитников. Чувства сих грубых людей, искаженных рабством, утешали С. Муравьева. Впоследствии он несколько раз говорил, что на новый год он имел счастливейшие минуты в жизни, которые одна смерть может изгнать из его памяти.

В тот же день прибыл в Мотовиловку со 2-ю мушкетерскою ротою подпоручик Быстрицкий. Получив приказание от майора Трухина принять означенную роту, он немедленно отправился в деревню Германовку, где, собрав оную, выступил с нею в Васильков. В Василькове узнал он, что С. Муравьев с полком уже вышел в поход и тотчас решился догнать его, но перед тем хотел убедиться в расположении солдат. Для сего спросил их: хотят ли они следовать за товарищами и намерены ли действовать с ними заодно? Они все объявили готовность, однако Быстрицкий сим еще не удовольствовался. Взяв в сторону фельдфебеля, всем полком любимого и уважаемого унтер-офицера Аврамова, спросил его, как он думает: можно ли решиться на сие дело?

— Не только можно, но должно,— отвечал храбрый и честный Аврамов,— нам будет стыдно отставать от своих товарищей. Как я, так и вся рота, знаем цель Сергея Ивановича Муравьева; я ручаюсь за солдат [43].

Уверясь таким образом в единодушии всей роты, Быстрицкий тотчас выступил из Василькова и на другой день в 12-м часу прибыл в Мотовиловку, переночевавши в деревне Салтановке. Быстрицкий построил роту на небольшой площадке сей деревни, поблагодарил солдат за их усердие, за сохранение порядка и тишины во время похода и в заключение сказал:

— Я уже не ваш командир: вы здесь найдете любимого вашего капитана,— и, простившись с ними, пошел к Муравьеву.

Отдадим должную похвалу обдуманному и решительному действию подпоручика Быстрицкого, который до самого конца не изменил своему характеру. Когда после разбития он и товарищи его были привезены в Могилев к начальнику штаба, и когда генерал Толь сказал ему:

— Вы могли бы удержать роту и тем заслужить награду,— он отвечал ему:

— Ваше превосходительство, я, может быть, сделал глупость, но подлости никогда...

Между тем Соловьев, узнав о прибытии своей роты, спешил к своим мушкетерам. Солдаты бросились навстречу к своему командиру, обнимали, целовали его; искренняя радость изливалась из сердец непринужденно. Тут унтер-офицер Кучков при всей роте спросил Соловьева, куда Муравьев хочет идти и в каком месте соединятся они с другими полками. Услышав от Соловьева, что Муравьев идет на Житомир и соединится на пути к сему городу с другими полками, Кучков возразил с радостью, которая выражала некоторое нетерпение:

— Что нам медлить, зачем еще дневка, лучше бы без отдыха идти до Житомира.

Солдаты одобряли слова Кучкова. Проницательность и опытность старого служивого внушили ему сие здоровое размышление. Слова его смутили Соловьева, он чувствовал всю справедливость сего замечания, но, желая успокоить солдат, хладнокровно сказал:

— Подполковник лучше нас знает, что делать: надобно подождать, а тем временем проведать, какие полки идут против нас.

Отдав некоторые приказания фельдфебелю, Соловьев велел разместить роту по квартирам.

Наблюдая действия 2-й мушкетерской роты и других восставших рот Черниговского полка, с невольным удивлением спрашиваешь себя: откуда Шутов, Николаев, Абрамов и другие взяли сию твердость и решимость? Каким образом во всех нижних чинах явилось столь постоянное усердие и столь высокое самоотвержение? Преданность к ротным командирам и любовь к С. Муравьеву одни не могли сего произвести. К сим побуждениям присоединялись другие двигатели. Кузьмин, Щепилло, Соловьев и другие офицеры часто беседовали между собой о делах Общества в присутствии своих фельдфебелей, и таким образом знакомили их со своим образом мыслей, который заставлял сих простодушных, но благородных людей обдумывать свое поведение и готовиться оправдать доверенность своих начальников. Фельдфебели, со своей стороны, были откровенны с солдатами, и сии последние, невольным образом, сколько могли, привыкли разделять их желания и цель. Присоединим к сему действию благородное поведение офицеров, кроткое обращение с подчиненными, бескорыстную заботливость о их нуждах, тогда это вместе нам покажет, каким образом они умели найти верное и неизменное содействие людей, решившихся с ними погибнуть.

Вечером 1 января был отдан приказ о выступлении в поход, и на другой день в 8 часов утра роты были уже на сборном месте. Уныние и какая-то боязнь изображались на всех лицах. Щепилло, Кузьмин, Соловьев и Быстрицкий, заметя в солдатах внезапную перемену и полагая, что на их нравственное состояние имело влияние бегство многих офицеров, которые ночью уехали в Васильков, тотчас пошли уведомить о сем С. Муравьева и просили его взять против сего меры *. При сем известии С. Муравьев не мог скрыть своего замешательства, но успокоив верных ему офицеров, пошел с ними к собравшимся ротам.

— Не страшитесь ничего,— сказал он солдатам,— может ли вас опечалить бегство подлых людей, которые не в силах сдержать своего обещания и которые чувствуют себя не только неспособными, но даже недостой-

* Бежавшие офицеры в первый раз были: Рыбаковский, Белелюбский, Кондырев, кн. Мещерский, Войнилович и Кегич-Апостол.— *Прим. Горбачевского.*

ными разделить с нами труды и участвовать в наших благородных предприятиях. Если кто-нибудь из вас столь малодушен, что из бегства ничтожных людей делает невыгодные заключения о нашем деле и желает покинуть своих товарищей, пусть тот сейчас оставит роты и, покрытый негодованием, идет куда хочет; его никто не будет удерживать, ни уговаривать.

Важность, внушающая уважение, смелость, громкий и твердый голос С. Муравьева возвратили ему прежнюю доверенность его подчиненных. Его слова видимо ободрили солдат, слушавших его со вниманием, прежнее спокойствие опять заблистало на всех лицах, и никто не думал воспользоваться позволением удалиться.

В 9 часов полк выступил из Мотовиловки и двинулся по дороге, которая чрез деревню Марьяновку ведет к деревне Пологам, лежащей в 12 верстах от Белой Церкви. Сим движением Муравьев надеялся соединиться с 17-м егерским полком, квартировавшим тогда в сем местечке. В 4 часа пополудни (2 января) С. Муравьев занял деревню Пологи. Не получая никакого известия о 17-м егерском полку, на который он имел большую надежду, С. Муравьев препоручил Сухинову разведать, где находится сей полк и чего можно ожидать от находящихся в сем полку членов. При наступлении вечера Сухинов взял несколько надежных солдат и, составив из них конный отряд, отправился к Белой Церкви. За полторы версты от сего местечка он встретил казаков графини Браницкой, посланных для развертывания и охранения ее имения от так называемых бунтовщиков. Сухинов воспользовался встречею. Подъехав на довольно близкое расстояние к казачьему отряду, он обнажил саблю и бросился на них, с громким криком: — Вперед! Испуганные нечаянным и смелым нападением казаки рассеялись. Один из них, пойманный самим Сухиновым, хотел было сопротивляться, но Сухинов ударом сабли сшиб его с лошади и начал расспрашивать. Хотя, по-видимому, казак чистосердечно говорил, что 17-й егерский полк уже другой день как вышел из Белой Церкви неизвестно куда, но Сухинов, желая удостовериться в истине его показания, сам подъехал к местечку и старался узнать от некоторых жителей все, касающееся до выхода сего полка. Ответы жителей, с которыми говорил Сухинов, подтвердили высказанное казаком[44]. В самом деле, полковой командир, арестовав Вадковского, в ту же ночь выступил с полком из Белой Церкви в противоположную сторону от Василькова, не сказав никому, куда идет.

Разведывание Сухинова о 17-м егерском полку послужило поводом к сплетению гнусной лжи, будто бы С. Муравьев, возмутив Черниговский полк, пошел к Белой Церкви с намерением завладеть несметными сокровищами, хранящимися у богатой и скупой графини Браницкой. Конечно, никто из благоразумных людей не верил и не поверит сей клевете, но, может быть, нашлись люди, которые почитали возможным столь бесчестное

действие. Привязанность их к старому порядку вещей, выгоды, получаемые от злоупотреблений, внушают им ненависть ко всякой перемене и заставляют думать, что каждое нововведение есть уже начало анархии, что желающий улучшения есть более нежели анархист, и потому способен быть убийцею, грабителем, одним словом,— противуобщественным человеком.

13

Поворот на Поволочь и Житомир.— Бегство второй группы офицеров.— Силы Муравьева.— Встреча с отрядом Гейсмара и поражение.— Потери

Известие о выходе 17-го егерского полка заставило С. Муравьева переменить план действия. На другой день, т. е. 3 января, он оставил Пологи и вознамерился идти через Ковалевку и Трилесы на Поволочь, а оттуда в Житомир, для соединения со славянами. В Паволоче квартировала 5-я конная рота. С. Муравьев думал, что командир сей роты и офицеры, принадлежа к Обществу, тотчас соединятся с Черниговским полком. Нет сомнения, что с артиллерией дело Муравьева приняло бы иной вид, тем более, что пехотные солдаты смотрят на орудия с некоторым благоговением и ожидают от них почти сверхъестественной помощи; к тому же присоединение конной роты придало бы новые силы солдатам и обновило бы их надежду на другие полки.

В деревне Пологах ночью со 2 на 3 января несколько гусар подъехали к самым часовым. Часовые хотели стрелять, и потому гусары, не отваживаясь на дальнейшие покушения, скрывались немедленно. Замечательно, что в это время гусарский офицер высокого роста и довольно плотный, подъехав на близкое расстояние к одному из постов, начал разговаривать с солдатами, хвалил их решительность, одобрял восстание, удивлялся пожертвованиям и обещал помощь. На другой день офицеры Черниговского полка, услышав о сем обстоятельстве от солдат, занимавших сей пост, полагали, что приезжавший офицер был командир Ахтырского полка, и радовались нечаянной помощи от человека, на которого перестали считать. Но, вероятно, это было не что иное, как хитрость: гусарам нужно было только узнать расположение и дух черниговских солдат, ибо прежде рассвета они все скрылись и до самого разбития С. Муравьева ни один солдат не видал ни одного гусара.

3 января, когда полк собрался для выступления из Полог, Муравьев увидел, что и в сию ночь много офицеров оставили свои места и скрылись неизвестно куда, между тем как ни один солдат в продолжение всего сего несчастного восстания даже и не думал покинуть своих товарищей *. Сергей Муравьев, как и все оставшиеся с ним офицеры, скрыли свое неудо-

* Бежавшие во второй раз из деревни Пологи были: Петин, Маевский и Сизи-

вольствие и, по возможности, старались поддерживать бодрость солдат, обещая скорую помощь и несомненный успех в предприятии.

В 4 часа утра Черниговский полк выступил из Полог и в исходе 11-го часа вступил в деревню Ковалевку, где Муравьев дал солдатам роздых, остановясь на площади, против управительского дома. Он потребовал под квитанцию хлеба и водки для нижних чинов. Управитель доставил солдатам всего в изобилии; во время привала пригласил С. Муравьева и офицеров к себе на обед и угощал их радушно. Тотчас после обеда С. Муравьев, вместе с офицерами, пересматривал бумаги, взятые у него Гебелем в Василькове и опять отнятые в Трилесах. Как бы предчувствуя ожидавшее его поражение, он сжег все письма, полученные от членов тайных обществ, и некоторые из бумаг, относящиеся к сим делам. Те же, которые он, неизвестно почему, оставил, были впоследствии захвачены правительством.

В полдень Муравьев вышел из Ковалевки к Трилесам. Прежде, нежели расскажем встречу его с отрядами Гейсмара, необходимо показать (сколько нам известно), в каких силах он сошелся с неприятелем. Полагая, круглым счетом, в роте по 140 человек с унтер-офицерами, в 6-ти ротах было 840 человек. К сему должно прибавить взвод мушкетеров 1-й роты, которые в числе 70 человек соединились в Мотовиловке с полком, и 60 музыкантов, ставших в роты своих товарищей по собственному желанию. Следовательно, вся сила С. Муравьева состояла из 970 человек нижних чинов и пяти офицеров, а именно: барона Соловьева, Щепиллы, Кузьмина, Сухинова и Быстрицкого. Кроме сих офицеров, находились при нем Бестужев-Рюмин, Матвей и Ипполит Муравьевы-Апостолы.

С. Муравьев со своим отрядом, оставив вправо и влево дороги, идущие из Ковалевки в Трилесы, чрез деревни, для сокращения пути избрал дорогу, проложенную прямо через степь *. Полк, сомкнутый в полувзводную команду, медленно двигался вперед; не выходя из околицы ** и прошедши от Ковалевки не более 6 верст, между солдатами распространился слух, будто бы пушечное ядро убило в обозе крестьянина с лошадью. Никто не слыхал выстрела, нигде не было видно не только орудий, но даже ни одного неприятельского солдата, между тем в колонне произошло волнение и солдаты начали толковать, спорить, теряясь в догадках. Офицеры

невский; большая часть из них были увлечены Муравьевым во время восстания.— *Прим. Горбачевского.*

* Дорога, лежащая вправо, из Ковалевки в Трилесы идет через деревни Пилипичинцы, Фаменовку и Королевку; они соединяются между собою и составляют как бы одно селение до самых Трилес, влево дорога лежит через деревню Устиновку.— *Прим. Горбачевского.*

** В Киевской губернии, загороженные около деревни на большое пространство пастбищные места, назывались «околицами».— *Прим. Горбачевского.*

старались их успокоить, уверяя, что сии новости не что иное, как выдумка какого-нибудь труса или лгуна. Однако ж С. Муравьев построил взводы, сомкнул полк в густую колонну справа, вызвал стрелков по местам взводов и продолжал идти.

Едва колонна вышла и сделала не более четверти версты, как пушечный выстрел поразил слух изумленных солдат, которые увидели в довольно значительном расстоянии орудия, прикрытые гусарами. За сим выстрелом вскоре последовало несколько других, но ни один из оных не причинил ни малейшего вреда колонне — может быть стреляли холостыми зарядами [45]. Полк шел вперед. Муравьев приказал осмотреть ружья и приготовиться к бою; приказание сие ободрило солдат, но сей порыв оживленного мужества был остановлен действительными пушечными выстрелами.

Первый картечный выстрел ранил и убил несколько человек. С. Муравьев хотел вызвать стрелков; новый выстрел ранил его в голову; поручик Щепилло и несколько рядовых пали на землю мертвыми. С. Муравьев стоял как бы оглушенный; кровь текла по его лицу; он собрал все силы и хотел сделать нужные распоряжения, но солдаты, видя его окровавленным, поколебались: первый взвод бросил ружья и рассыпался по полю; второй следовал его примеру; прочие, остановясь сами собою, кажется, готовились дорого продать свою жизнь. Несколько метких картечных выстрелов переменили сие намерение. Действие их было убийственно: множество солдат умерли в рядах своих товарищей. Кузьмин, Ипполит Муравьев были ранены, Быстрицкий получил сильную контузию, от которой едва мог держаться на ногах. Мужество солдат колебалось: Сухинов, Кузьмин и Соловьев употребляли все усилия к возбуждению в них прежних надежд и бодрости. Последний, желая подать собою пример и одушевить их своей храбростью, показывал явное презрение к жизни, становился под самые картечные выстрелы и звал их вперед, но все было тщетно. Вид убитых и раненых, отсутствие С. Муравьева нанесли решительный удар мужеству восставших черниговцев: они, бросив ружья, побежали в разные стороны. Один эскадрон гусар преследовал рассыпавшихся по полю беглецов, другой окружил офицеров, оставшихся на месте, занимаемом прежде колонною, между ранеными и убитыми. В это самое время Соловьев, увидя недалеко от себя С. Муравьева, идущего тихими шагами к обозу, подбежал к нему, чтобы подать ему помощь. С. Муравьев был в некотором роде помешательства: он не узнавал Соловьева и на все вопросы отвечал:

— Где мой брат, где брат?

Взяв его за руку, Соловьев хотел его вести к офицерам, оставшимся еще на прежнем месте. Но едва он сделал это движение, как Бестужев-Рюмин подошел к ним и, бросясь на шею к С. Муравьеву, начал осыпать его поцелуями и утешениями. Вместе с Бестужевым приблизился к ним один рядовой первой мушкетерской роты. Отчаяние изображалось на его

лице, вид Муравьева привел его в исступление, ругательные слова полились из дрожащих от ярости уст его.

— Обманщик! — вскричал он, наконец,— и с сим словом хотел заколоть С. Муравьева штыком. Изумленный таковым покушением, Соловьев закрыл собою Муравьева.

— Оставь нас, спасайся! — закричал он мушкетеру,— или ты дорого заплатишь за свою дерзость.

Сделав несколько шагов назад, солдат прицелился в Соловьева, грозя застрелить его, если он не откроет С. Муравьева. Соловьев схватил на земле лежавшее ружье и сделал наступательное движение, которое заставило опомниться бешеного солдата: он удалился, не сказав ни слова *. Когда надежды успеха исчезли, Ипполит Муравьев, раненый, истекая кровью, отошел несколько шагов от рокового места и, почти в то же самое время, когда гусар наскочил на него, он прострелил себе череп и упал мертвый к ногам лошади гусара. По приказанию генерала Гейсмара, гусары окружили офицеров и раненых солдат и отобрали от них оружие **.

Таким образом кончилось пагубное для многих восстание Черниговского полка. Около 60 человек и 12 крестьян, находившихся в обозе, были убиты или тяжело ранены. Поручик Щепилло умер в рядах; С. Муравьев был ранен в голову; Ипполит Муравьев в левую руку; Кузьмин — в плечо навылет; все трое картечами. Быстрицкий получил сильную контузию в правую ногу; шинель Бестужева была прострелена в нескольких местах. Это служит доказательством, под каким убийственным огнем стоял Черниговский полк и сколь мало думали офицеры о своей жизни. Носились слухи, будто бы гусары сделали атаки на безоружных черниговцев и рубили их без пощады. Долг истины заставляет сказать, что сие вовсе не справедливо. Они, догнавши некоторых, окружили, других, разбежавшихся, собирали в одно место. Один только вахмистр начал ругать черниговских офицеров. Соловьев, обратясь к гусарскому поручику, сказал:

— Господин офицер, прикажите этому глупцу молчать.

Офицер полновесною пощечиною заставил вахмистра быть учтивее.

---

* При допросе сей солдат показал, будто бы С. Муравьев бежал, что он его удержал, грозя ему за сие смертью. Эта презрительная ложь недостойна никакого опровержения. Состояние Муравьева само за себя говорит. Говорили, что сего солдата произвели в унтер-офицеры в Полтавский полк.— *Прим. Горбачевского.*

** В «Annuaire historique» за 1826 г. напечатано показание самого С. Муравьева, который объясняет сие дело таким образом: «Je fis ranger mes compagnis en bataille; je leur commandai de se porter sur les canons etc.» ‹«Я привел мои роты в состояние боевой готовности; я им приказал наступать на пушки, и т. д.»› Неизвестно, почему так написал С. Муравьев. Двояким образом можно объяснить сие: или — он нехорошо помнил все подробности, происходившие вокруг него; или — желание облегчить наказание солдат, которых он увлек за собою, заставило его объяснить сие дело, оправдывая более солдат и обвиняя себя.— Быстрицкий, Сухинов и Соловьев говорят, что ничего подобного не происходило, и они не слыхали сих распоряжений от С. Муравьева.— *Прим. Горбачевского.*

14

Черниговцы под стражей в Трилесах.— Самоубийство Кузьмина.— Отправка пленных в Белую Церковь.— Начало следствия над солдатами.— Отправка офицеров в Могилев.— Планы киевских членов Общества об освобождении Муравьева.— Аресты

В 5 часов вечера 3 января пленные офицеры и солдаты были привезены, под сильным конвоем, в дер. Трилесы. С. Муравьев, брат его Матвей, Соловьев, Кузьмин, Быстрицкий, Бестужев-Рюмин и солдаты, разжалованные из офицеров — Грохольский и Ракуза — были все вместе помещены в корчме, в одной большой комнате, а за перегородкою находились караульные. Внутри и около корчмы были расставлены часовые. Нижние чины были размещены по разным крестьянским избам под строгим караулом. Вскоре после приезда в Трилесы умер Кузьмин истинно геройской смертью. При самом начале дела он был ранен картечною пулею в правое плечо навылет, но рана сия не помешала ему ободрять солдат словами и личным своим примером. Будучи прежде всех окружен гусарами, он сдался без сопротивления. Тут же в душе его возродилась мысль кончить добровольно бесполезные страдания, избегнуть позора и наказания. Когда с места сражения отправили их в Трилесы, Кузьмин сел в одни сани с Соловьевым. В продолжение дороги он был спокоен, весел, даже шутил и смеялся. Недалеко от Трилес Соловьев почувствовал холод, встал из саней и прошел около версты пешком; садившись опять в сани, он нечаянно облокотился на плечо Кузьмина. При сем движении болезненное выражение изобразилось на лице его товарища. Соловьев, заметя сие и не подозревая вовсе, что он ранен, спросил его:

— Что с тобою? Вероятно, я крепко придавил тебе плечо: извини меня.

Кузьмин ему отвечал:

— Я ранен, но сделай милость, не сказывай о сем никому.

— По крайней мере, — возразил Соловьев, — приехав в Трилесы, позволь мне перевязать твою рану.

— Это лишние хлопоты, рана моя легкая, — сказал, улыбаясь, Кузьмин, — я вылечусь без перевязки и пластыря.

Веселость Кузьмина действительно заставила Соловьева думать, что рана не опасна: он замолчал, ожидая приезда на место. В корчме раненого С. Муравьева положили в углу комнаты, в которой было ужасно холодно. Он лежал там около часу, но, почувствовав сильную знобь, встал и пошел отогреться к камину. Кузьмин с самого приезда все ходил тихими, но твердыми шагами по комнате, но, вероятно, ослабевши от истечения крови и чувствуя маленькую лихорадку, присел на лавку, подозвал к себе Соловьева, которого просил придвинуть его поближе к стене. В ту самую минуту как Соловьев, взяв его под руки, потихоньку приподнимал, чтобы хорошенько посадить, С. Муравьев — от теплоты ли огня, горевшего в камине, или от другой какой-либо причины упал без

чувств. Нечаянность его падения встревожила всех: все, исключая Кузьмина, бросились к нему на помощь, — как вдруг пистолетный выстрел привлек общее внимание в другую сторону комнаты. Часовые выбежали вон, крича:

— Стреляют, стреляют! — и дом почти остался без караула.

Удивление и горесть поразили сердца пленников. На скамье лежал окровавленный Кузьмин без черепа; большой, еще дымящийся пистолет был крепко сжат левою омертвевшею его рукою. Когда же с Кузьмина сняли шинель и мундир, то увидели, что правое плечо раздроблено картечною пулею, которая вышла ниже лопатки, — все нижнее платье было в крови. Тут товарищи его увидели явно, что он, получивши рану во время сражения, несмотря на жестокую боль, скрывал ее, с намерением лишить себя жизни пистолетом, спрятанным в рукаве его шинели, и выжидал удобную минуту прибегнуть к роковой его помощи. Таким образом кончил жизнь один из злополучных и отважнейших сподвижников С. Муравьева. Сила воли, твердость души были отличительными чертами его характера. Будучи столь же пылок и решителен, как Ипполит Муравьев, Кузьмин присовокуплял к сему постоянство в стремлении к цели: ни время, ни препятствия не могли отвратить его от предпринятого им однажды намерения. «Свобода или смерть», — часто говаривал он с душевным движением, и смертию своею доказал, что чувствовал и говорил одно. Ипполит Муравьев и Кузьмин покоятся в одной могиле с Щепиллою, близ деревни Трилесы *.

На другой день, 4 января 1826 года, в 9 часов утра, всех пленных офицеров и рядовых отправили в город Белую Церковь. Дорогою, в 15-ти верстах от Трилес, по распоряжению эскадронного командира приготовлен был для всех арестантов обед. Тут гусары, находившиеся в конвое, старались разведать тайно от пленных офицеров, что было причиною восстания С. Муравьева, и когда узнали его цель и намерения, тотчас начали лучше обращаться с арестантами и жалели, что не знали сего прежде, говоря, что их уверили, будто бы Черниговский полк взбунтовался для того, чтобы грабить безнаказанно. Из их рассказов стало известно, что при выступлении гусар против Черниговского полка все эскадронные командиры были переменены и все русские офицеры замещены немцами. Нечаянный сей поход чрезвычайно был изнурительный для гусар, и они уверяли простодушно, что при малейшем сопротивлении Муравьева, при первом ружейном залпе обратились бы назад и не стали бы действовать против него.

В 4 часа пополудни пленные пришли в Белую Церковь и были сданы 18-му егерскому полку, который к тому времени пришел в сие местечко из гор. Богуславля. С. Муравьев и Бестужев-Рюмин были аресто-

* Ипполит Муравьев, Кузьмин и Щепилло брошены 4 января 1826 года в одну могилу, вырытую в поле, близ Трилес.— *Прим. Горбачевского.*

ваны порознь, а Матвей Муравьев и другие офицеры остались вместе. Нижние чины содержались в крестьянских избах и были тут закованы в кандалы, сделанные из 100 пудов железа, пожертвованного графинею Браницкою, которая на сей раз забыла свою скупость. 5 января началось следствие, порученное генерал-майору Курносову, в продолжение коего, в ночь с 11 на 12 число, С. Муравьев и прочие офицеры в кандалах были направлены в г. Могилев.

Между тем, члены Общества, находившиеся в Киеве, по приезде к ним Андреевича и Борисова 1-го намеревались там произвести восстание, надеясь на содействие пехотной дивизии. Среди сих начинаний они узнали о разбитии С. Муравьева, тотчас решились освободить его и Бестужева, и нашли еврея, который за 2000 руб. брался доставить арестованных из Белой Церкви в Киев. Не найдя сей суммы, офицеры начали закладывать вещи. Но прежде нежели они успели собрать нужные деньги, неожиданно Андреевич и Борисов 1-й были арестованы и тем самым осталось без исполнения покушение возвратить свободу С. Муравьеву, которого, впрочем, по словам Соловьева, легко было увезти чрез заднее окошко того дома, где он содержался: оно примыкало к жидовской корчме и близко оного не было поставлено часового.

15

Общий взгляд на восстание.— Ошибка С. Муравьева.— Его нерешительность.— Его нравственное состояние.— Влияние Матвея Муравьева.— Офицеры и С. Муравьев.— Планы С. Муравьева и малодушие ряда видных членов Общества.— Решительные меры правительства.— Возможность успеха

Мы описали восстание Черниговского полка, видели плачевный конец этого подвига на юге, который, при других обстоятельствах, мог иметь благодетельное влияние на судьбу России. Взглянем теперь на совокупность происшествий и рассмотрим внимательно, но беспристрастно действия С. Муравьева.

Медленность и какая-то неопределенность в движениях поражают при первом взгляде. Спрашивается, что заставляло его после столь смелого начала ограничиться движениями около Василькова, делать небольшие переходы и дневать в Мотовиловке, между тем как солдаты, так и офицеры только того и желали, чтобы действовать наступательно. Сии жалобы не могли скрыться от начальника. Если бы С. Муравьев, не дожидая помощи, сам искал оную; если бы движения Черниговского полка были быстры, внезапны, то, кроме существенной выгоды, сии движения укрепляли бы дух подчиненных и поддерживали их надеждою успеха. С. Муравьеву должно было собрать полк как можно скорее, избрать какой-либо один или два пункта и действовать с быстротою молнии. Киев,

Брусилов, Белая Церковь, Паволочь, потом Житомир,— вот места, куда он должен был броситься и увлечь за собою находившиеся там полки, в коих или командиры или офицеры, будучи членами тайного общества, верно бы соединились с ним, тем более, что один усиленный переход достаточен был для занятия которого-нибудь из сих мест *. В Киеве он мог бы надеяться на присоединение Курского пехотного полка и даже других полков, стоявших в окрестностях города. Кроме того артиллерийские офицеры, находившиеся при арсенале, вероятно, сдержали бы слово, данное ими Андреевичу, и занятие такого города, как Киев, имело бы большое влияние на умы. В Паволочи командир конной роты артиллерийской и офицеры, принадлежа к Обществу, конечно, не упустили бы случая оправдать при появлении С. Муравьева делом все, что говорилось ими при других членах. Брусилов и Белая Церковь представляли ему более или менее подобных выгод. Если же он не имел намерения воспользоваться сими выгодами и надеялся более на 8-ю, нежели на 9-ю дивизию, то и в таком случае ему должно было устремиться к ее квартирам и занять Житомир быстрым, неожиданным движением.

Во время самого похода из Василькова до деревни Полог и далее С. Муравьев на каждом шагу делал ошибки и непростительные упущения; кроме того, он не принимал никаких предосторожностей. Когда он находился в Пологах и его уведомили, что ночью гусары подъехали к самым постам, он оставил сие донесение без внимания. Совет Сухинова сделать сильную рекогносцировку также был отвергнут. Вместо того, чтобы по предложению Сухинова идти из Ковалевки в Трилесы которою-нибудь из дорог, лежащих чрез деревни, он пошел степью, не защищенною ничем и весьма удобную как для кавалерийской атаки, так и для действия артиллерии. Идя же в Трилесы чрез деревни: Пилиничинцы, Филипповку и Королевку, которые соединяясь между собою, составляют как бы одно селение, при нападении на него отряда Гейсмара он мог бы защищаться против гусар стрелками, тем более, что тогда артиллерия не вредила бы ему картечью, и может быть Гейсмар не решился бы сжечь селения. Даже при выстрелах в него, сделанных конной артиллерией, он мог бы переменить направление и послать одну или две роты в деревню Королевку, которые, обойдя гусарский полк, могли бы ударить его во фланг или грозить ему сим движением **. Конечно, гусары не стали бы оспаривать поле сражения, ибо, по-видимому, они были посланы только для наблюдения за движением Черниговского полка, в ожидании войск, шедших против оного. Кроме сего, гусары неохотно действовали и, может быть, некоторые из них присоединились бы, если

* От Василькова до Киева — 35 верст, прочие места более или менее на такое же расстояние отстают от Василькова.— *Прим. Горбачевского.*

** Он мог держаться в деревнях и ночью продолжать путь, как солдаты сами желали того.— *Прим. Горбачевского*

б сии последние одержали верх в сем деле. С. Муравьев должен был употребить всю деятельность и расторопность, чтобы непременно в первом деле иметь хоть малый успех над неприятелем: это придало бы более нравственной силы его подчиненным и, может быть, слухи о его успехе привлекли бы к нему людей нерешительных, но готовых действовать.

При этом случае нельзя не упомянуть и о нравственном состоянии самого С. Муравьева. Кажется, он вовсе не приготовлялся к восстанию и не думал об оном, оно было произведено обстоятельствами. Решительное действие четырех офицеров, когда он был арестован, поставило его в необходимость принять команду[46]. Насильственное начало, ужасная и жестокая сцена с Гебелем сильно поразили его душу. Во все время похода он был задумчив и мрачен, действовал без обдуманного плана и, как-будто, предавая себя и своих подчиненных на произвол судьбы. Веселость появлялась на его лице только в кругу офицеров, которые всегда были одушевлены надеждами: тут он опять находил в себе твердость и решительность, и когда выходил с ними к фронту, всегда являлся со свойственною ему привлекательностью и важностью, одушевлял солдат сильным, кратким красноречием, которое овладевало всеми умами. Но сие действие было непродолжительно: его брат Матвей много вредил ему. Не имея ни твердости в характере, ни желания жертвовать всем для достижения цели, этот человек, со своею детскою боязнью, своими опасениями, смущал С. Муравьева и отнимал у него твердость духа. После каждого разговора с братом С. Муравьев впадал в глубокую задумчивость и даже терялся совершенно. Офицеры, заметя сие, старались не оставлять Матвея наедине с братом и даже хотели просить С. Муравьева, чтобы он удалил его от полка. Он дорогою упрекал С. Муравьева в неумеренной жестокости с Гебелем до того, что С. Муравьев хотел в Василькове идти просить у него прощения, но офицеры его не допустили[47]. По его же совету С. Муравьев выпустил из-под ареста майора Трухина и жандармских офицеров. При первых выстрелах он спрятался в обозе. Вообще поведение его было таково, что офицеры раскаивались, что, из уважения к С. Муравьеву, не настояли на том, чтобы удалить его от отряда. Тягостно иногда говорить прямую истину, но уважение к памяти погибших людей и уважение к самому себе требует исполнения сих обязанностей.

Мы сказали, в чем можно упрекнуть С. Муравьева; скажем теперь и то, что может служить к его оправданию.

Может быть, он держался близ Василькова с каким-либо намерением: вероятно, надежда, что посланные против него полки соединятся с ним, была причиною медленности его движений (это подтверждается наставлениями, данными Мозалевскому при отправлении его в Киев, а именно — узнать, какие полки будут посланы против него, кто ими бу-

дет командовать и пр.). Высокие чувства и благородная душа С. Муравьева не позволяли ему сомневаться в обещании других членов; он надеялся, что те, которые ручались честию за свои полки и роты, не оставят его в трудные минуты восстания. Он верил всем, не воображая, что в этом случае люди, известные своею храбростью и честностью, сыграют роль трусов и обманщиков. Обещания их набросили на его шею веревочную петлю, за уверенность в их мужестве и правдивости он заплатил жизнью.

Приготовительные действия членов Южного общества не имели никакой определенной цели[48]. Раздор членов, обманчивые надежды на помощь людей, с коими они не имели никаких сношений, преувеличение сил своих, слабость характеров, боязнь междоусобия, желание достигнуть своей цели без трудов и опасностей, — заранее уничтожили всякую уверенность в успехе. В таких обстоятельствах борьба горсти людей с исполинскими силами правительства была верх безрассудства; чтобы выйти победителем, нужно было чудо. Без сомнения, никто не станет обвинять С. Муравьева в легковерии. Можно ли было полагать, что средством к разбитию Черниговского полка будет употреблена конная артиллерийская рота, в которой не только командир, но все без исключения офицеры принадлежали к Южному тайному обществу*. Если медленность Муравьева и робость некоторых членов Общества вредили успехам переворота, то, с другой стороны, и решительные меры, принятые местным начальством для усмирения мятежа, делали оные невозможными. Командиры 3-го и 4-го корпусов действовали с необычайной скоростью. Положительно известно, что все повеления в полки о выступлении в поход были посланы от них; не известно, имели ли они прежде какие-либо предписания от высшего начальства, или сами собою действовали. Не станем теряться в догадках; сближая время восстания Черниговского полка и движения войск против него со времени разбития С. Муравьева, можно предполагать, что корпусные командиры лично от себя распоряжались.

Как скоро слух о восстании Черниговского полка дошел до командиров 3-го и 4-го корпусов, то все квартировавшие недалеко от Василькова пехотные и кавалерийские полки поднялись с быстротою молнии и шли для укрощения возникшего мятежа[50]. Жандармский офицер Ланг, бежавший из Трилес, дал первый знать в дивизионную квартиру 9-й дивизии (в Белую Церковь) о случившемся там происшествии 29 декабря 1825 г. Курьеры ту же минуту были отправлены к высшему начальству. По получении известия генерал Рот тотчас поехал в Бердичев и Паволочь за гусарскими полками и артиллерией. Должно думать, что местные на-

* Генерал Рот, узнав о восстании Черниговского полка, поехал в расположение квартир гусарской бригады и конной артиллерии. Пыхачев мог бы его там арестовать, но он потерял в сем случае, как говорят, голову[49].— *Прим. Горбачевского.*

чальства не имели настоящего понятия о силе Общества. Боязнь и подозрительность увеличивали в их глазах опасность. Из распоряжений генерала Рота можно видеть, что Мариупольский полк и 5-я конная рота были посланы только для наблюдения за движениями Черниговского полка, а не для усмирения оного, ибо, разделив помянутый полк на три отряда, он приказал им занять те дороги, по которым мог следовать С. Муравьев, единственно с тем, чтобы сии конные отряды действовали по обстоятельствам в ожидании других войск. Сии отряды были расположены следующим образом: первый — под командою самого генерала Рота — находился между Белою Церковью и Паволочью; второй — в деревне Пологах, под командою генерала Гейсмара, который отыскал С. Муравьева и потом разбил его; третий неизвестно где стоял, по всей вероятности, он занимал такой пункт, из которого мог, в случае нужды, подать скорую помощь как первому, так и второму отряду. Кроме того, генерал Рот приказал двинуться в Паволочи гусарским полкам, а именно: Принца Оранского, Александрийскому и Ахтырскому.

Еще с большею скоростью действовало военное начальство города Киева. Узнав от майора Трухина и жандармских офицеров о восстании Черниговского полка, там все пришло в движение. В ту же ночь высланы были против С. Муравьева стоявшие в карауле: 8-й дивизии — Курский пехотный полк и 7-й дивизии— батальон Муромского полка. Кроме того, в $1^1/_2$ не более часа было отправлено множество курьеров в полки с повелениями выступить немедленно в г. Васильков *, а к разным начальствам — с уведомлением о происшествии **. Вследствие сих повелений, полки 10-й дивизии: Витебский, Полоцкий, 19-й и 20-й егерские полки; вся 11-я дивизия, полки 12-й дивизии: Воронежский, Рыльский, Старооскольский, — выступили из своих квартир еще до разбития С. Муравьева и двинулись против Черниговского полка. 4-я драгунская дивизия следовала к Василькову, а некоторые полки оной дивизии, 3 января, уже дошли до города Козельска. Кроме сего, 2-й армии драгунская дивизия была на подходе и находилась уже близ Василькова. 25-я пехотная дивизия Литовского корпуса была собрана в городе Дубнах и ожидала только вторичного повеления выступить в поход. Утверждают, будто границы Галиции занял 30-ти тысячный корпус австрийцев. Генерал Рот, подозревая, что офицеры 3-го корпуса должны быть в связях с С. Муравьевым, не послал против него ни одного пехотного полка вве-

* Мозалевский был в ту же ночь отправлен с курьером в г. Могилев и уже на первой станции ни одной тройки не нашли лошадей. Курьеры, разосланные из Киева с известиями о восстании Черниговского полка, забрали всех лошадей.— *Прим. Горбачевского.*

** Между прочими курьерами князем Щербатовым были посланы два курьера в Полтавскую губернию: один — прямо в имение С. Муравьева, село Хомутец, неизвестно зачем; другой — к полтавскому генерал-губернатору с сообщением наложить запрещение на имение С. Муравьева [51].— *Прим. Горбачевского.*

ренного ему корпуса и отрядил только 3-ю гренадерскую дивизию и Конную артиллерию *. Вероятно, он предоставил действовать пехотою против С. Муравьева командиру 4-го корпуса князю Щербатову, который двинул почти все полки своего корпуса **. Но и здесь генерал Рот и князь Щербатов могли жестоко обмануться; полки Курский, Витебский, Воронежский, Старооскольский, где были члены Общества подполковники Крупенников, Хотяинцев, Капнист и, вероятно, много других штаб- и обер-офицеров, могли соединиться с Черниговским полком и подать помощь С. Муравьеву. Можно было также надеяться на часть 4-й драгунской дивизии. Кроме сего, к С. Муравьеву могли присоединиться множество членов тайного общества, рассеянных в разных полках, которые при малейшем успехе, лично или со своей частию войск пристали бы к нему и тем увеличили его силу. Если бы С. Муравьев был подкреплен артиллерией и несколькими пехотными или конными полками и имел некоторый успех; если бы полки и жители западных губерний приняли участие в сем деле, то правительство встретило бы большие затруднения в усмирении мятежа. Неизвестно, чем бы все это кончилось: может быть, ничтожное восстание С. Муравьева с Черниговским полком было бы новою эпохою жизни русского народа.

16

Бегство Сухинова.— Сухинов в Пилиничинцах, Гребенках, у Зинькевича в Каменке.— Арест Сухинова в Кишиневе.— Отправка его в главную квартиру

Оставим догадки и предположения и возвратимся к печальной существенности — к нашему повествованию. Мы оставили поручика Сухинова на месте сражения: скажем теперь, каким образом он избег на некоторое время преследования правительства и по какому случаю подвергся потом одной участи со своими товарищами.

Сухинов, видя невозможность остановить и собрать рассеянных солдат, решился сам искать спасения в бегстве и пустился вслед за ними к деревне Пилиничинцам, отделенной от поля сражения глубоким оврагом. Преследуемый гусарами, он добежал до сего оврага и прямо бросился в оный. Снег был глубок и вязок; Сухинов никак не мог выйти и уже думал, что тут кончилось его предприятие при самом начале. Но солдаты Черниговского полка, увидя любимого ими офицера, с опасностью жизни бросились к нему на помощь и, вытащив его из снега, пере-

* С. Муравьев не принял в соображение сего обстоятельства и для того ему должно было не дожидать помощи, но самому стремиться на те полки, где находятся члены.— *Прим. Горбачевского.*

** 3-го корпуса 7-й дивизии батальон Муромского полка, стоявший в Киеве, один из целого корпуса был послан против С. Муравьева и то князем Щербатовым.— *Прим. Горбачевского.*

несли на другую сторону оврага. Тщетно гусары, стоя на краю пропасти, приказывали им схватить офицера и привести назад — солдаты не повиновались сему приказанию; переправив Сухинова, они воротились и сдались гусарам. Часть преследовавших гусар окружила сдавшихся солдат и повела их к сборному месту; другая поскакала кругом, с намерением перехватить Сухинова, который между тем перебежал поле, отделяющее овраг от деревни, и достиг безопасно одной крестьянской избы.

Увидя хозяина, он просил убежища. Добрый крестьянин спрятал его в погребе. Положение Сухинова было ужасно: вообразите человека в глубоком, холодном погребе, терзаемого горестными мыслями о несчастии своих товарищей и лишенного всех надежд и ожиданий. Крики гусар, обыскивающих ближние домы, беспрестанно напоминали ему об угрожающей опасности и ожидающей его участи. В таком положении Сухинов пробыл до наступления ночи. Жизнь казалась ему тяжким бременем, от коего он желал освободиться как можно скорее. При свидании с товарищами, рассказывая им свои приключения, он чистосердечно признавался, что в эти тягостные минуты он дорого бы заплатил за вечный, беспробудный сон.

— Сидя в холодном погребе, — говорил он, — слыша лошадиный топот и крики гусар, я решился умереть. Со мною был заряженный пистолет: два раза я клал оный себе в рот, и два раза кремень осекался. Бросив, наконец, убийственное оружие, я подумал, что мне должно жить и ожидать другой участи.

Вскоре после сего пришел к нему крестьянин и простым малороссийским наречием сказал:

— Идыте, пане, до хаты; не чутко никого; москали побігли далі.

Пришед в избу, Сухинов подкрепил истощенные свои силы ужином, надел крестьянскую одежду хозяина и собрался в дорогу. Прощаясь с добрым крестьянином, который, провожая, благословил нечаянного своего гостя, он отдал ему последние шесть рублей серебром. Простодушный малороссиянин долго не хотел принять сих денег, но усиленные просьбы Сухинова победили, наконец, его бескорыстие.

Уже было около 10 часов ночи, как Сухинов пошел прямо в Гребенки, где жил знакомый ему поляк, как постучал в окно и просил приюта. Поляк, узнав Сухинова по голосу, вышел к нему навстречу, повел в комнату и, расспрося о всем случившемся, благословлял небо за спасение его приятеля. Как он, так и его жена осыпали Сухинова ласками, стараясь помочь ему во всем, чем только могли. Они приняли все предосторожности для отвращения всякого подозрения; старались даже, чтобы дворовые люди не знали о приходе Сухинова. Хозяйка сама согрела воды и приготовила чай, между тем как хозяин пошел тихонько в конюшню, запряг лошадь в сани и, одев Сухинова в свое платье, снабдил его 10 рублями на дорогу и отправил в путь с истинным желанием счастия.

Благородный поступок поляка и его жены выше всяких похвал: он сам за себя говорит; за достоверность оного ручается каждое благородное сердце. Прискорбно, что имя и фамилия сего великодушного человека останутся неизвестными, но он щедро награжден своею совестью.

Оставив деревню Гребенки, наш странник выехал на Богуславскую дорогу и в первый ров бросил свое военное платье. Чрез несколько дней он добрался до селения Каменки, принадлежащего полковнику Василию Львовичу Давыдову. У Давыдова был штаб-лекарь Зинькевич, прежде служивший в Черниговском полку и потому знакомый Сухинову. Зинькевич, увидя его, тотчас догадался, что он участвовал в возмущении и ищет убежища. Сухинов с откровенностью рассказал Зинькевичу все случившееся:

— Я надеюсь, — сказал он, кончив свой рассказ, — что вы будете великодушны и дадите мне способ скрыться от поисков правительства.

Зинькевич отвечал почти положительно, но был прерван приходом Давыдова, который, поговорив с Зинькевичем, вывел его тотчас в другую комнату. Через несколько минут Зинькевич возвратился один и объявил Сухинову, что правительство ищет его повсюду и что он должен, не теряя времени, уехать туда, где думает обмануть деятельность полиции...

— Я вам советую, — говорил он, — прошу вас, требую, чтобы вы не оставались ни секунды не только здесь, но даже в имении Давыдова; поезжайте скорее и куда хотите: я не хочу отвечать за вас, — бог с вами!

Пораженный как громовым ударом, Сухинов не мог произнести ни одного слова; он никак не думал найти такого приема в деревне, принадлежавшей одному из главных членов Южного общества; никогда не полагал, чтобы прежний товарищ Зинькевич таким образом его принял. Штаб-лекарь, заметя смущение Сухинова, смешался и начал извиняться.

— Я не волен ни в одном из своих поступков, — сказал он между прочими извинениями. — Я служу у помещика и потому нахожусь в зависимости, не могу ничего сделать для вас без его согласия, но рад вам пособить всем, чем могу и что принадлежит собственно мне. Я еще повторяю вам, что вы не найдете у меня убежища; скрывайтесь, если можете, в другом месте и поезжайте поскорее.

Может быть, опасение навлечь на себя подозрение правительства заставило Зинькевича принять таким образом несчастного своего товарища; но Сухинов всегда думал и впоследствии говорил своим товарищам, что Зинькевич может быть и не сделал бы сего без особенного внушения со стороны Давыдова [52].

Огорченный Сухинов запряг свою лошадь и, простившись с Зинькевичем, собрался в дорогу. Когда он уже сел в сани, Зинькевич подошел к нему, дал ему несколько рублей серебром и, прощаясь, просил Сухинова убедительно не открывать правительству своего пребывания в Каменке,

если, по несчастию, он не успеет уехать за границу. Сухинов, поблагодарив своего товарища за денежное вспоможение, сказал:

— Относительно моей скромности, я вас уверяю, что никогда не вспомню ни о Каменке, ни о ее владельце.

Таким образом он выехал из деревни днем, пробыв в ней не более часа. Между тем правительство разослало повсюду объявление о бежавшем Сухинове, с описанием его примет и с строгим повелением доставить его в руки начальства, везде производились розыски. Приехав в Александрию Херсонской губернии, Сухинов отыскал своего родного брата, служившего там в гражданской службе, и был принят им с братским участием; но, как человек недостаточный, он ничем не мог ему помочь и, живя в наемном доме, не решался долго скрывать его у себя. Посему Сухинов, пробыв в Александрии несколько дней, написал себе паспорт отставного офицера и поехал в Кишинев с намерением пробраться оттуда в турецкие владения. Путь его к Кишиневу был весьма труден и опасен, очень часто он думал, что его узнают; часто он читал объявления правительства о бежавшем мятежнике Сухинове. Иногда ему случалось ночевать вместе с отыскивавшими его чиновниками; и несколько раз спрашивали его, не случалось ли ему встретить где-нибудь человека с такими-то приметами, прозываемого Сухинов? — Наконец, после долгого и трудного странствования, он приехал в Кишинев в феврале 1826 года и остановился у одного мещанина. Расспросив в городе у разных людей дорогу и место переправы через Прут и узнавши, что очень легко сие исполнить, он решился, наконец, оставить Кишинев и вместе с ним — отечество.

— Горестно было расставание с родиною,— говорил он после с сильным чувством своим товарищам, — я прощался с Россиею, как с родною матерью, плакал и беспрестанно бросал взоры свои назад, чтобы взглянуть еще раз на русскую землю. Когда я подошел к границе, мне было очень легко переправиться через Прут и быть вне опасности, но увидя перед собою реку, я остановился... Товарищи, обремененные цепями и брошенные в темницы, представились моему воображению... Какой-то внутренний голос говорил мне: ты будешь свободен, когда их жизнь пройдет среди бедствий и позора. Я чувствовал, что румянец покрыл мои щеки; лицо мое горело, я стыдился намерения спасти себя, я упрекал себя за то, что хочу быть свободным... И возвратился назад в Кишинев!.. Пробыв несколько дней в городе у прежнего своего хозяина, я снова намерился бежать. Опять на берегу Прута та же тяжесть расставанья с родиною, опять тот же упрек совести, и я опять возвратился снова в Кишинев.

Когда он возвратился второй раз в Кишинев, он был уже без денег; тут он продал лошадь, подаренную ему в Гребенках поляком, решился остаться в России и не укрываться от поисков правительства. Без всякой предосторожности написал к своему отцу, где подробно изобразил

свое положение, место своего пребывания и отослал сие письмо на почту. Между тем, хозяин дома начал подозревать своего постояльца. 15 февраля Сухинов сидел один в дальней комнате, преданный самым мрачным мыслям, как вдруг увидел перед собою полицеймейстера, который, посмотрев на него пристально, вышел вон, не сказав ни слова. Нельзя было не догадаться, что его узнали, но Сухинов спокойно ожидал своей участи. Вскоре после сего приехал генерал Желтухин с помянутым полицеймейстером. На вопрос: кто он таков? — Сухинов отвечал смело:

— Офицер Черниговского полка; после разбития С. Муравьева я бежал, скрывался до сих пор в Кишиневе и других местах, я с радостью отдаюсь в руки правительства; мне тягостно мое положение [53].

По приказанию Желтухина его тотчас повели на гауптвахту, где заковали ему руки и ноги. На другой день он был отправлен в Одессу. Дорога из Кишинева в Одессу была весьма тягостна для Сухинова: цепи, обременявшие его руки и ноги, были столь тесны, что железо впилось в тело. Холодная и сырая погода, трудный путь, боль, производимая цепями, — расстроили его здоровье; раны, полученные им в Отечественную войну, открылись и он чувствовал лихорадку. (Сухинов служил в Отечественную войну в Лубенском гусарском полку, получил в разных сражениях против французов семь ран; левая рука была сильно разрублена и в другой раз прострелена пулею).

В Одессе он бы представлен немедленно графу Воронцову, который принял его очень ласково и оказал величайшее соболезнование. Цепи с Сухинова были сняты, по приказанию графа. Ему была отведена особенная комната в доме генерал-губернатора, дано новое белье, предложен обед и ужин. На другой день поутру на Сухинова набили те же самые железа и под присмотром частного пристава отправили в Главную квартиру, в город Могилев. Обхождение полицейского чиновника было грубо и даже жестоко. Сухинов переносил оное с терпением. Приехав в Житомир, частный пристав остановился в трактире обедать. Сухинов, пользуясь сим, просил позволения отдохнуть несколько времени, представляя ему, что открывшиеся раны и расстройство здоровья лишают его возможности продолжать по прежнему дорогу. Грубости были ответом на его просьбу. Сухинов, выведенный из терпения и раздраженный жестокостями частного пристава, схватил нож, лежавший на столе и, бросившись на него, вскричал в бешенстве:

— Я тебя, каналью, положу с одного удара, мне один раз отвечать, но твоя смерть послужит примером другим мошенникам, подобным тебе.

Испуганный полицейский чиновник упал на колени и, дрожа весь от страха, просил прощения во всех оскорблениях, нанесенных им Сухинову; обещал впредь быть вежливым и делать все, что от него будет зависеть. Частный пристав сдержал свое слово, от Житомира до Могилева заботился о Сухинове как о своем родном. Позволял ему отды-

хать, сам перевязывал ему раны, был учтив и вежлив. Угрозы сделали его совсем другим человеком. Поступок Сухинова, во всяком случае достойный порицания, который мог даже усугубить его положение, был ему на этот раз полезен. Страх заставил испорченное и грубое сердце вспомнить о том, что требует от нас несчастный, изнемогающий под бременем судьбы. В конце февраля Сухинов прибыл в главную квартиру 1-й армии, где уже по величайшему повелению производилось следствие.

17

Действия славян в Полтавском полку.— Попытка Трусова и Троцкого поднять восстание в Бобруйске.— Отступничество Тизенгаузена

Для полноты рассказа упомянем о действии славян, служивших в Полтавском пехотном полку: оно в тесной связи с восстанием С. Муравьева.

Мы уже видели, что оно случилось неожиданно для большей части членов тайных обществ; что некоторые узнали о сем происшествии вместе с разбитием, а иные, хотя узнали прежде, но не хотели или не могли содействовать оному. Другие же, напротив, полагая, что Черниговский полк восстал по предварительному намерению, и будучи уверены, что сие восстание есть и исполнение заранее обдуманного плана, — только что услышав о происшествии 29 и 30 декабря, решились сами действовать. Таким образом члены Славянского общества, служившие в Полтавском полку, почитая священною обязанностью исполнить слово, данное во время присоединения к Южному обществу, и думая, что возмущение Черниговского полка есть знак ко всеобщему восстанию, хотели немедленно следовать влечению сих чувств, но встретили препятствие в своем полковом командире Тизенгаузене, члене Южного общества. Расскажем подробно сие происшествие; оно резко обозначивает характер лиц, участвовавших в сем деле, и представляет полезные наблюдения изучающему человеческое сердце.

В 1824 году был принят в Славянское общество юнкер Драгоманов, молодой человек, получивший хорошее воспитание. Природные его дарования были развиты занятиями, деятельною жизнию и желанием образовать себя еще более. Вступив в Общество, он был ревностнейшим членом оного, участвовал во всех совещаниях в лагере под Лещиным и знал условия, на коих соединились два Общества. Хотя он был недоверчив и не полагал, что можно так скоро освободить Россию, однако ж верил силе Южного общества и надеялся на успех замышляемого переворота. Будучи убежден, что для возмущения полка необходимо принять в Общество ротных командиров, способных действовать на солдат, и зная, что в Полтавском полку, кроме полкового командира Тизенгаузена,

поручика Усовского и Бестужева-Рюмина, нет ни одного члена,— он решился тотчас после Лещинского лагеря увеличить число оных. Вследствие сего намерения он принял в Общество двух ротных командиров: поручика Троцкого и подпоручика Трусова, пылких и решительных молодых людей, сообщил им все известное о делах и намерениях тайного общества, взял обещание действовать по общему плану и поднять знамя свободы при первом знаке к восстанию.

За три месяца до восстания Черниговского полка Тизенгаузен со своим полком занял крепость Бобруйск для содержания в оной караула. Драгоманов, Усовский, Троцкий и Трусов, будучи отделены от своей дивизии, не знали, что происходит в оной. От Бестужева-Рюмина, который никогда не жил в полку, они не имели никакого известия; он их не уведомил даже, что намерены предпринять члены тайного общества после смерти государя: по сему они следовали правилам, положенным в Лещине, действовать медленно на солдат и офицеров, но быть в готовности на все. С. Муравьев не заботился о них и вероятно, забыл, что они существуют. Он видел одного Тизенгаузена и всю надежду полагал на него. Тизенгаузен же, со своей стороны, не имея в душе намерения способствовать к восстанию и показывая себя свободолюбивым из каких-то личных по службе неудовольствий, никогда не заботился об офицерах и солдатах и с первыми не имел никакого сношения по делам Общества. Обхождение Тизенгаузена с офицерами было в полном смысле предосудительно. При каждом случае он обнаруживал деспотический и мстительный характер, лучшие офицеры вышли из его полка, другие намеревались оставить оный. Обращение его с солдатами было еще хуже: на него жаловались как на грабителя и притеснителя подчиненных *.

В начале января 1826 года в Бобруйске Полтавский полк вступил в свою очередь в караул. За несколько часов до развода разнесся слух о восстании Черниговского полка. Трусов и Троцкий, думая воспользоваться случайным сбором полка, немедля ни мало положили взбунтовать полк и завладеть крепостью Бобруйском. Пылая рвением подражать черниговцам и полагаясь на содействие Тизенгаузена, как ревностного члена Южного общества, сии офицеры при вступлении полка в развод обнажили шпаги и, выбежав вперед, закричали:

— Товарищи, солдаты, за нами! Черниговцы восстали: стыдно нам от них отстать! Они сражаются за вашу свободу, за свободу России; они надеются на нашу помощь. Пособим им, — вперед, ура!

Все офицеры были поражены поступком Троцкого и Трусова. Нечаянность сего поступка навела на всех какую-то неподвижность и оцепе-

---

* Сие мнение было общим в 3-м корпусе, а особливо в 9-й дивизии Положительно можно сказать, что Тизенгаузена офицеры и солдаты ненавидели. На счет его характера деспотического и мстительного можно было бы множество примеров привести. Кто служил в 3-м корпусе, то все знают их.— *Прим Горбачевского.*

нение. Солдаты поколебались, в рядах раздался гул, и если б хотя один из них выбежал вперед, без сомнения, он увлек бы многих. Может быть, нужно было одного человека, одной минуты, и Бобруйск был бы в руках Общества, но какая-то невидимая сила держала солдат и офицеров, как прикованных к одному месту. Троцкий и Трусов, пробегая ряды, продолжали убеждать солдат, но Тизенгаузен, стоявший с начала сего действия в отдалении, тотчас догадался, о чем идет дело. Подбежав к Троцкому и Трусову, он приказал их схватить и связать, как негодных бунтовщиков. Ему повиновались немедленно: их схватили и тут же перед полком связали. Троцкого и Трусова сей час отвели на гауптвахту, где Тизенгаузен приказал им набить кандалы на руки и ноги. Потом написал рапорт о сем происшествии к главнокомандующему 1-й армией и при сем рапорте отправил Троцкого и Трусова через час в г. Могилев. Те, которые читали сей рапорт, говорят, что полковник Тизенгаузен не позабыл ничего, могущего очернить сих офицеров; он был, так сказать, наполнен словами: пьяницы, разбойники, бунтовщики, развратники, грабители и прочее. По приезде в Могилев Троцкий и Трусов в тот же день были отправлены в Петербург, из коего, по прошествии суток, были снова отосланы в Главную квартиру с повелением кончить дело в 24 часа. По прошествии сего времени была прочтена военносудною комиссиею сентенция, коей были приговорены к смерти; но конфирмациею главнокомандующего сие наказание смягчено и переменено в вечно-крепостную работу.

Они подверглись своему наказанию на месте преступления: через два дня их отправили в крепость Бобруйск. Когда Троцкого и Трусова представили коменданту сей крепости генералу Безаку, который их лично знал, он им сказал:

— Вы меня простите, я нисколько не могу смягчить вашей участи: вы по такому делу сосланы сюда, что я ничего не в состоянии для вас сделать.

Им тут же выбрили головы, надели каторжное платье и отослали тотчас на работу[54].



III. СУДЬБА УЧАСТНИКОВ

1

Военный суд в Могилеве.— Исполнение сентенции над офицерами.— Приговор над солдатами.— Участь Грохольского и Ракузы

Описав восстание Черниговского полка и горестный конец сего предприятия, мы почитаем необходимым сказать, какой жребий постиг всех участвовавших в оном.

Все офицеры Черниговского полка были привезены в Могилев и там преданы военному суду при Главной квартире, исключая капитана Фурмана и С. Муравьева, которые судились в Петербурге. Мы не будем говорить, каким образом производилось дело, о чем подсудимых спрашивали и что они показывали. Мы только скажем, что в Могилеве было две комиссии военного суда, из коих одна разбирала дело о 40 человек, служивших в разных пехотных и кавалерийских полках и артиллерийских ротах, и взятых по подозрениям и показаниям; а во второй судились 13 человек офицеров Черниговского полка и еще 17-го егерского полка подпоручик Дмитрий Молчанов [55]. Каждый из офицеров Черниговского полка содержался в особой комнате. Соловьев, Сухинов, Быстрицкий и Мозалевский были закованы во все время суда в железа. Монастырь, принадлежащий прежде иезуитам, служил темницею сим офицерам. Суд был кончен в конце мая месяца — и 13 июля в Могилеве были прочтены сентенции офицерам, бежавшим из полка во время восстания, а именно — Рыбаковскому, Кондыреву, князю Мещерскому, Апостол-Кегичу и Белелюбскому, кои были приговорены к шестимесячному заключению в крепости и, по истечении сего срока, к зачислению в полки теми же чинами. Петин, Войнилович, Сизиневский и Маевский были лишены чинов и дворянского достоинства и сосланы рядовыми в дальние сибирские гарнизоны. Соловьеву, Сухинову, Мозалевскому и Быстрицкому в Могилеве не читали конфирмированных сентенций: они 18 июня были отправлены в город Острог, где квартировал новосформированный Черниговский полк. 22 или 23 июля, на другой день их приезда в помянутый город, новый Черниговский полк был собран на городской площади под

командою излечившегося от ран полковника Гебеля *. Для исполнения сентенции назначен был начальник штаба 3-го корпуса князь Горчаков. Первые были выведены перед полком — Соловьев и Быстрицкий, которым ** на квартире сняли железа. Соловьеву прочли сентенцию, в коей, между прочим, сказано было: переломить шпагу перед полком; с имения взыскать деньги за растраченные казенные вещи во время бунта. подвесть на месте преступления, в городе Василькове, под виселицу, и прочее; Быстрицкого же, разжаловав и переломив шпагу перед полком, послать навечно в каторжную работу. По исполнении сего их тут же на площади заковали в железа; Быстрицкого прямо отвели в городскую тюрьму для отсылки в Сибирь, а Соловьева посадили в приготовленную кибитку и отправили в Житомир. Потом привели пред полком Сухинова и Мозалевского. Им была прочтена сентенция та же самая, что и Соловьеву. Когда Сухинов услышал слова «сослать в вечно-каторжную работу в Сибирь», то громко сказал:

— И в Сибири есть солнце...

Но князь Горчаков не дал ему докончить, закричав с бешенством, чтобы он молчал и грозя, что будет за это непременно во второй раз отдан под суд. Говорят даже, что начальник штаба хотел привести в исполнение сию угрозу, но генерал Рот не согласился.

Соловьев, Сухинов и Мозалевский, привезенные из города Острога, содержались в Житомире целый месяц и потом отправлены были в город Васильков. 23 августа, на другой день их приезда в сей город, они были выведены на городскую площадь, на которой собран был Тамбовский пехотный полк, занимавший в сие время прежние квартиры старого Черниговского полка, и батальон, составленный из солдат, выбранных из всех рот каждого полка 9-й дивизии. На площади стояла огромная виселица; народ теснился кругом площади как бы в ожидании какого-нибудь необыкновенного зрелища. Помещики, не только киевские, но из Полтавской и Черниговской губерний, приехали в Васильков со своими семействами единственно для того, чтобы увидеть, каким образом повесят бунтовщиков. Кровли домов и заборы — все было унизано зрителями.

По вторичном прочтении читанной уже сентенции палач каждого из них обводил кругом виселицы и оставил всех трех некоторое время под оною. Тут же к виселице прибили доску с именами Щепиллы, Кузьмина и Ипполита Муравьева. По окончании сей церемонии Соловьев и его

---

* Гебель в сие время назначен уже был комендантом в город Киев, но за неприбытием нового полкового командира продолжал командовать Черниговским полком.— *Прим. Горбачевского.*

** Соловьев был в одной рубашке и халате. Генерал прислал ему сюртук и рейтузы, чтобы одеться для церемонии. Соловьев не принял сего и пошел к слушанию сентенции в том, в чем был прежде, и в этом же самом платье дошел с партией до Москвы.— *Прим. Горбачевского.*

товарищи были сданы офицеру инвалидной команды, который их отвел в городскую тюрьму.

Из всех нижних чинов, участвовавших в восстании Черниговского полка и бывших в походе с С. Муравьевым, военным судом приговорено было к наказанию 120 человек, из коих несколько были осуждены к прогнанию сквозь строй чрез 12 тысяч и к сосланию в Сибирь в каторжную работу; прочие через 8, 6, 5, 2 и 1000 человек; некоторые только к 500 и 200 ударов палками пред полком и с сосланием в Грузию на службу[56]. Те из солдат, которые не были наказаны, отправились в Грузию все вместе; наказанные же отправлены туда по 12 человек в партии, под конвоем. Сии приговоры приведены были в исполнение в Белой Церкви генерал-майором Вреде. Тамбовский и Саратовский полки назначены были к экзекуции. Человеколюбие генерал-майора Вреде заслуживает особенной похвалы. Он просил солдат щадить своих товарищей, говоря, что их поступок есть следствие заблуждения, а не злого умысла. Его просьбы не остались тщетными: все нижние чины были наказываемы весьма легко. Но в числе сих несчастных находились разжалованные прежде из офицеров Грохольский и Ракуза и были приговорены к наказанию шпицрутеном через шесть тысяч человек. Незадолго до экзекуции между солдатами пронесся слух, что Грохольский и Ракуза лишены офицерского звания за восстание Черниговского полка и, не взирая на сие, приговорены судом к телесному наказанию. Мщение и негодование возродилось в сердцах солдат; они радовались случаю отомстить своими руками за притеснения и несправедливости, испытанные более или менее каждым из них от дворян. Не разбирая, на кого падет их мщение, они ожидали минуты с нетерпением; ни просьбы генерала Вреде, ни его угрозы, ни просьбы офицеров — ничто не могло остановить ярости бешеных солдат; удары сыпались градом; они не били сих несчастных, но рвали кусками мясо с каким-то наслаждением; Грохольского и Ракузу вынесли из линии почти мертвыми.

Отец Грохольского, богатый помещик Смоленской губернии, дал своему сыну весьма хорошее воспитание и определил его в Полтавский полк, где в скором времени он дослужился до капитанского чина, но, не взирая на то, что кротость и благородство души составляли отличительные черты его характера и внушали любовь и уважение каждого, Грохольский, оскорбленный батальонным командиром, имел несчастие ударить его в щеку. За сей поступок он был лишен всего и записан в рядовые в Черниговский полк. Мы не знаем, где и когда он познакомился с одной благородною девицею, но любил ее и был любим взаимно. Родители сей девицы согласились на их брак, Грохольский был уже обручен и ожидал только перемены своей участи, чтобы назвать ее своею, но восстание С. Муравьева разрушило счастие двух любовников. Услыша об аресте Грохольского, его невеста приехала в Белую Церковь и просила

тамошнее начальство о дозволении видеться с Грохольским; ей было дозволено и она, воспользовавшись этим, каждый день по нескольку часов проводила в тюрьме с злополучным женихом своим. Ее родители и сам Грохольский просили ее оставить Белую Церковь и возвратиться домой, но все просьбы были напрасны. В роковой день экзекуции невеста Грохольского прибежала на лобное место; вид ее жениха, терзаемого бесчеловечными палачами, его невольные стоны смутили ее рассудок: в беспамятстве бросилась она на солдат, хотевши исторгнуть из их рук несчастного страдальца; ее остановили от сего бесполезного предприятия и отнесли домой. Сильная нервическая горячка была следствием сего последнего свидания. Во все продолжение краткой своей болезни она слышала стон своего друга, видела кровь его и старалась остановить свирепых его мучителей: искусство врачей было бесполезно,— и в тот же самый вечер смерть прекратила ее страдания.

Ракуза был из польских дворян, служил в Пензенском полку поручиком, и за такую же вину, как Грохольский, был разжалован в солдаты в Черниговский полк. Во время суда он помешался в уме, но сие помешательство не спасло его от жестокого телесного наказания. Бывший командир 17-й артиллерийской бригады полковник Башмаков, известный в армии своею храбростью и разжалованный в 1820 году в солдаты с зачислением в Черниговский полк за растрату артельных сумм, по участию его в делах тайного общества был приговорен к наказанию шпицрутеном чрез 12 тысяч человек и к сосланию в Сибирь в каторжную работу. Неизвестно, был ли он наказан или нет, но только известно, что впоследствии он был сослан на поселение Тобольской губернии в город Тару.

2

Соловьев, Сухинов, Мозалевский и Быстрицкий в тюрьме после приговора.— Их путь в Сибирь.— Встреча в московской тюрьме с Шутовым, Николаевым и Никитиным.— Встреча в Сибири со ссылаемыми товарищами.— Встреча в Чите с женами декабристов

Участь, постигшая С. Муравьева как начальника восстания и Бестужева-Рюмина как ревностнейшего члена Общества, всем известна. Петербург видел позорную и между тем высокую смерть сих мучеников свободы.

Итак — возвратимся к Соловьеву, Сухинову, Мозалевскому и Быстрицкому, которых мы — трех первых — оставили в городе Василькове, а последнего — в г. Остроге, и для которых, с сего времени, началась новая эпоха жизни и бедствий.

В тот же день, когда они стояли под виселицею, они были отправлены чрез внутреннюю стражу в Киев. В сем городе они нашли больного

горячкою Быстрицкого; его болезнь помешала немедленному их отправлению в Сибирь, и они пробыли в Киеве с 23 августа по 5 сентября в ожидании выздоровления их товарища. Во все это время с них не снимали железы. Однажды полковник Дуров, киевский полицеймейстер, приехал в тюрьму, в которой содержались бывшие черниговские офицеры, и объявил им, что некоторые жители Киева, зная их бедность и нужду, прислали через него некоторую сумму денег и просят их принять оные не как подаяние, но как пособие из человеколюбия и участия соотечественников. Соловьев и его товарищи благодарили добрых киевлян, но не приняли предложенных им денег, хотя нуждались как в деньгах, так и в платье. При переводе в гусарский полк Сухинов заказал киевскому портному полную офицерскую обмундировку, но не успел взять сшитого платья до несчастного восстания Черниговского полка. По прибытии своем в Киев он вознамерился продать оное и употребить вырученные деньги на содержание свое и своих товарищей во время дороги в Сибирь, почему и просил полицеймейстера взять сие платье у портного и продать оное хоть за 1000 рублей. Охотно на сие согласился Дуров, но на другой день начал отговариваться от взятого на себя обязательства. Предлоги сего отказа были самые ничтожные: между прочим он говорил, что невозможно продать платье до их отправления и советовал Сухинову для избежания бесполезных хлопот, отдать свои вещи на церковь. Услышав таковой совет, Сухинов не мог удержаться от смеха.

— Ваше предложение кажется мне странным,— сказал он полицеймейстеру,— ужели вы не знаете, что я и трое моих товарищей должны идти 7000 верст без платья и денег?

Дуров не противоречил, но с сего времени до самого отправления Сухинов не видал в глаза ни полицеймейстера, ни платья, ни денег.

Легко представить себе положение черниговских офицеров без всякого пособия, без родных, без знакомых,— оставленных и забытых всеми. Они отправились в Москву полуодетые, имея при себе 2 рубля серебром. Наготу Соловьева прикрывала рубашка и старый халат. При отправлении своем из Киева они виделись в канцелярии с 12 человеками своего полка солдат и с 14-летним разжалованным юнкером, назначенным в Грузию. Их свидание было трогательно; нечаянная встреча заставила их на минуту забыть свое несчастие. Слезы катились из глаз добрых солдат, видя бедственное положение своих офицеров; они хотели утешать их, но их утешения обращались в простые, но сильные выражения горести. Соловьев и его товарищи отдали своим сослуживцам последние два рубля серебром и не иначе могли их заставить принять оные, как обманом, уверяя, что они имеют деньги и ожидают еще скорой помощи от родных; сами же пошли на кормовых, которых полагается по 12 коп. в сутки.

5 сентября 1826 года с партиею арестантов они отправились в Москву через города Козелец, Нежин, Глухов, Орел и Калугу. Не станем описы-

вать трудностей сей дороги: никакое перо не может изобразить оных и, может быть, самое пламенное и самое мрачное воображение не в состоянии представить себе страданий, испытанных нашими изгнанниками. Без одежды, без денег, оставленные на произвол судьбы, преданные самовластию каждого командира инвалидной команды, они испытывали все физические и нравственные мучения. Днем они подвергались всем переменам осенней погоды и не имели средств защитить себя от холода и дождя; ночью — смрадная и тесная тюрьма вместо отдыха была для них новым истязанием. Сообщество воров, разбойников, бродяг и распутных женщин внушало отвращение к жизни и презрение к человечеству. В городе Кромах Орловской губернии тюрьма, в коей они провели ночь, была настоящею пыткою и сделалась почти губительною для них. В двух маленьких комнатах набито было полно арестантов, между коими находилось несколько больных женщин, которые из религиозного фанатизма отрезали себе груди и были оставлены без всякого пособия; тела их были почти полусгнившие; смрад был такой, что к ним близко никто не подступал. Кроме сего, теснота, жар и дурной запах делали сию тюрьму нестерпимою. Соловьев провел всю ночь у маленького тюремного окошка; его товарищи спали под нарами, на сыром и нечистом полу, но и в сем успокоении они должны были чередоваться по причине чрезмерной тесноты: когда один лежал, другие двое стояли. На другой день после сего ночлега Соловьев и Мозалевский заболели; смрадные и тесные тюрьмы совершенно расстроили их здоровье; с железами на руках и на ногах они не могли даже переменить рубашку (у них были на руках так называемые наручники, т. е. железная палка, не имеющая посредине ни одного кольца). С ними сделалась сильная горячка, так что они ничего не помнят о случившемся с ними во время их дороги от Калуги до Москвы. Когда в Москву входила партия, они до того были слабы, что лежавши на подводах своих арестантских вещей, были привязаны веревками к повозке. Сухинов и Быстрицкий кое-как еще держались на ногах, но по пришествии в Москву также заболели горячкою и были, все четверо, помещены в госпиталь, в московском замке находящийся.

По прошествии некоторого времени, здоровье их начало поправляться. С ними вместе в тюремном замке содержались под арестом прапорщик конно-пионерского эскадрона Молчанов и гвардейского конно-егерского полка капитан Алексеев,— за стихи, написанные ими на смерть С. Муравьева, Рылеева, Пестеля, Бестужева-Рюмина и Каховского. Соловьев и его товарищи познакомились с сими офицерами и проводили с ними время, как обыкновенно проводят время в тюрьмах. Одна твердость характера спасала их; хладнокровие, терпение, презрение ко всем гонениям рока, беспечность и беззаботливость о будущем были единственными средствами спасения их от уныния,— самой ужасной из нравственных болезней в сем положении.

Однажды однообразная их жизнь была прервана приходом в московский замок бывших Черниговского полка фельдфебеля Шутова, унтер-офицера Николаева и рядового Никитина,— прежних их сослуживцев. Это нечаянное свидание было величайшей радостью для всех: дело, за которое они погибли, уничтожило между ними различие чинов и сословий; общее несчастие сделало их искренними друзьями. Ни один упрек не сорвался с языка благородных солдат; напротив, утешения и заботы о прежних их офицерах казалось заставили их забывать свои собственные бедствия и были источником чистых удовольствий. Вскоре их разлучили: Шутов и его товарищи были отправлены в Сибирь.

Соловьев виделся в замке с родным своим братом, который, узнав о его прибытии в Москву, тотчас к нему приехал и потом часто у него бывал, он помогал несчастному брату всем, чем только мог. Положение Соловьева и его товарищей поправилось, но это продолжалось недолго, ибо деньги, полученные ими, частью были розданы несчастным, находившимся в совершенной нищете; 200 рублей из под подушки у больного Соловьева украли; прочие они издержали на пищу и на покупку самых необходимых вещей. Московское начальство имело намерение отправлять Соловьева и его товарищей по мере их выздоровления, но нисходя к убедительным их просьбам, все откладывало их отправление. К несчастию, Быстрицкий снова заболел горячкою. Его товарищи снова прибегнули к новым просьбам, но на сей раз их просьбы были бесполезны, и 1 января 1827 года Соловьев, Сухинов и Мозалевский, закованные в кандалы, отправились из Москвы, оставив в оной бедного Быстрицкого. Вьюги, метели и жестокие морозы встречали и провожали их на пути. Те же бедствия начались снова и не раз заставляли их вспомнить тюремное заключение в московском замке. Однако, по мере того как они удалялись от границ Европейской России, их положение, видимо, улучшалось, несмотря на то, что они нуждались во всем по-прежнему. Известно, что до границы Азиатской России нет этапов; тюрьмы, наполненные всегда арестованными, тесны, нечисты и смрадны; в Сибири же, напротив, построены довольно просторные этапы, в которых можно провести ночь утомленному трудною дорогою арестанту с некоторым удобством. Разумеется, это улучшение есть относительное к тому состоянию, в котором они находились, но такая дальняя и медленная дорога, сообщество развратных и порочных людей, нужда, холод, лишение всякого пособия, неизвестность о родных и друзьях, мысль никогда не видеть родины и мрачная, страшная будущность — все это может поколебать человека с самою твердою душою, и все это было предоставлено испытать нашим изгнанникам.

Сенатор князь Куракин, бывший в Западной Сибири ревизором, при проезде чрез Тобольск, виделся там с Соловьевым и его товарищами. Он спросил, не может ли им быть чем-нибудь полезным. Но когда Соловьев, Мозалевский и Сухинов представили страшную картину их жизни и про-



Читинская тюрьма. Вид Большого каземата
С рисунка Н. П. Репина. 1829 г. (ГИМ)

сили, чтобы он приказал — или отправить их поскорее к месту назначения, или — снять с рук и ног обременяющие их железа, то князь, тронутый их бедственным положением, соболезновал и, в заключение всех утешений и состраданий, объявил, что в сем отношении не может им ни в чем помочь и не имеет права удовлетворить их просьбам.

Но судьба бывает столь же непостижима в своих гонениях, как и в своих дарах, и человек, преследуемый ею, нередко, когда менее всего ожидает, встречает минуты утешения. Наши путешественники-страдальцы не один раз забывали свои несчастия, не раз слезы радости текли из впадших их глаз. Две станции за Тобольском догнала их Елизавета Петровна Нарышкина, которая ехала к своему мужу, сосланному в каторжную работу за участие в делах тайного общества; но на почтовом дворе она узнала, что Черниговского полка офицеры следуют в Нерчинск в партии арестантов и остановилась нарочно для ночлега. Не медля ни мало, она пришла в острог и провела с ними более двух часов. Не нужно говорить, что ощущала сия добродетельная женщина при сем свидании: ее муж

страдал подобно тем, которых она видела перед своими глазами; она рассказала им об участи их товарищей, сосланных в Сибирь и содержащихся в Чите, также и других знакомых нашим странникам; она простилась с ними и просила их принять на дорогу 300 руб. денег, обещая увидеться с ними в помянутом селении и доставить им все нужное.

Недалеко от Томска они видели Сутгофа, Щепина-Ростовского и Панова; в одном селении Иркутской губернии их догнали двое Бестужевых, Горбачевский и Барятинский, которых тогда везли в Читу. Они хотели видеться с ними, но офицер позволил разменяться только несколькими словами через окошко. Сии свидания были кратки, но в их положении приносили чистое удовольствие и в скучной и долгой тюрьме доставляли им минуты, несказанно приятные и утешительные.

После свидания с Нарышкиной им оставалось еще пройти 4000 верст. Истративши деньги, которыми она их наделила, они подверглись снова всем бедствиям нищеты; они всегда нуждались в одежде и здоровой пище; но в сем трудном положении как будто было назначено, среди долгих страданий, чувствовать всю цену добродетельных сердец и получать внезапно утешения в своих бедствиях. Неисповедимое провидение посылало им по временам ангелов-хранителей, как бы для поддержания в сем суровом испытании.

12 февраля 1828 года Соловьев и его товарищи пришли в Читу. Княгиня Трубецкая, княгиня Волконская, Ентальцова и Александра Григорьевна Муравьева не замедлили увидеться с ними (в сие время Нарышкина была сильно больна и не могла с ними видеться). Невозможно себе представить участие, которое принимали сии добродетельные женщины в наших страдальцах; каждая из них как бы хотела превзойти других в великодушии, между тем как они все с искренним сердцем и беспримерною попечительностью заботились о несчастных жертвах. Своею внимательностью они старались удалить от них мысль, что они забыты и оставлены своими родными; их утешения и заботливость о состоянии несчастных были целительным бальзамом для растерзанных сердец Соловьева, Сухинова и Мозалевского, и видя живое участие, принимаемое сими женщинами в их положении, они в сие время забыли прошедшие свои бедствия и не думали о будущих. Партия, с которой они шли, имела дневку в Чите. Дамы старались сколько возможно более облегчить их участь, проводили с ними целые часы; сильный мороз не мог воспрепятствовать им оставаться вне или внутри тюремной ограды. Княгиня Волконская и княгиня Трубецкая посещали их чаще и оставались с ними долее других. Заметя в Сухинове озлобление против правительства и желание отомстить ему каким-то ни было образом, они употребляли все средства, могущие успокоить его и отвратить от всяких намерений, говорили ему о терпении и надеждах и пр. Потом просили Соловьева и Мозалевского беречь своего

товарища и иметь о нем попечение. Наконец, снабдив их деньгами и платьем, они расстались с ними, оставив в признательных сердцах Соловьева, Мозалевского и Сухинова вечную благодарность и утешительные воспоминания.

3

Сухинов в Нерчинском заводе.— Его непримиримость.— План восстания и освобождения членов тайного общества.— Заговор.— Нравы и качества ссыльных.— Опасения Соловьева и Мозалевского

14 февраля партия вышла из Читы и 16 марта 1828 года наши странники прибыли в большой Нерчинский завод, лежащий между Нерчинскими рудниками, в 270 верстах за Нерчинском и в 20 верстах от Китайской границы. По прошествии двух дней их отправили в Горную контору, находящуюся от большого завода в 15 верстах и от границы в 9 верстах и по прибытии в оную они были на другой день посланы в глубокие рудники на работу.

Так кончилось их долгое путешествие до Китайской границы, продолжавшееся 1 год 6 месяцев и 11 дней. Сие время казалось им вечностью; однообразие, порождающее нестерпимую скуку, было уже адским мучением; но, присоединив к сему бедность и крайнюю нищету, железа, обременяющие руки и ноги, сообщество людей, оподленных преступлениями и развратом,— и вы будете иметь понятие о бедствиях, испытанных нашими изгнанниками.

Но сим не кончились их страдания. Им было суждено *еще раз испытать* все ужасы их баззащитного положения и оплакать смерть своего товарища, который по своему сердцу и по своим качествам заслуживал лучшей участи. Нельзя не упомянуть о сем происшествии. Характер лиц, участвовавших в оном, и трагическая их смерть не только любопытны, но даже наставительны.

Сухинов, человек пылкого и решительного характера, раздраженный неудачей восстания и своими несчастиями, поклялся всеми средствами вредить правительству.

— Наше правительство,— говорил он часто,— не наказывает нас, но мстит нам; цель всех его гонений не есть наше исправление, не пример другим, но личное мщение робкой души.

Сия мысль укрепляла и увеличивала его озлобление: вредить правительству чем бы то ни было сделалось для него потребностью; освободить себя и всех было его любимою мыслью. Он жил только для того, чтобы до последней минуты своей жизни быть вредным правительству. Любовь к отечеству, составлявшая всегда отличительную черту его характера, не погасла, но, по словам самого Сухинова ,она как бы превратилась в ненависть к торжествующему ⟨правительству⟩ [57]. Сухинов и его товарищи жили

в Горной конторе в доме, принадлежавшем одному солдату Семеновского полка, сосланному по известному делу полковника Шварца[58]. Зная, что Соловьев и Мозалевский не согласятся участвовать в каком-нибудь предприятии, Сухинов таил от них свои намерения, но не скрывал своей злобы против правительства.

Решившись на что-либо однажды для исполнения предпринятого им дела, он не видел уже никаких препятствий, его деятельности не было границ; он шел прямо к цели, не думая ни о чем более, кроме того, чтобы скорее достигнуть оной. Его характер, твердый и настойчивый, не терпел отлагательства; предаться на произвол судьбы и ожидать спокойно от нее одной — было для него величайшим несчастием. В бедствии и в неволе он считал не только правом, но долгом искать собственными силами свободы и счастия; к тому же его душа искала всегда сильных потрясений; посреди опасности только он находился в своей сфере.

Намерение Сухинова было освободить всех членов тайного общества, содержавшихся в Читинском остроге, и бежать с ними за границу. Он замыслил составить заговор и посредством доверенных людей взбунтовать всех ссыльных, находившихся в семи нерчинских заводах и в 20 рудниках, вооружить их по возможности, идти с ними на Читу и привести в исполнение свое намерение. Освободив же государственных преступников,— или тотчас бежать за границу,— или действовать по их согласию для достижения какой-либо цели.

Чтобы исполнить сие предприятие, Сухинов вверился двум ссыльным, которые ему казались способными ко всему, и сделал их главными своими агентами. Голиков, разжалованный и наказанный кнутом фельдфебель какого-то карабинерского полка, и Бочаров, сын одного богатого астраханского (кажется) купца, подвергнувшийся тому же наказанию,— были люди им избранные. Они действовали на других по наставлениям Сухинова и открыли свои замыслы Михаилу Васильеву, также бывшему фельдфебелем в одном гвардейском полку, и еще двум другим ссыльным, которых имена нам неизвестны.

Голиков, Бочаров и трое их товарищей были, каждый в своем роде, весьма замечательные люди и отличались от презренной толпы обыкновенных воров и разбойников. Ни страх наказания, ни видимая опасность, не могли удержать их ни в каких замыслах; будучи доведены до крайней нищеты и унижения, не имея никакой надежды к избавлению, испытывая беспрерывно несправедливости, они были ожесточены против всяких начальств. Ненависть, злоба и мщение наполняли их сердца; разврат погасил в их сердцах чувствование своего достоинства; однако ж, при всем своем унижении, они отличались от всех других ссыльных каким-то особенным над ними влиянием — и видимо брали везде над своими товарищами поверхность. Голиков поражал всех диким и независимым своим нравом: какая-то душевная сила возвышала его над всеми другими и при-

водила в трепет самых закоснелых, отчаянных воров и разбойников. Тонкий и хитрый ум Бочарова и некоторая степень образованности покоряла ему развращенную и необузданную толпу его товарищей. Михайло Васильев и двое других сообщников более или менее походили на Голикова и Бочарова.

Составив между собою род некоторого совета, во главе коего был Сухинов, Голиков и его сообщники приступили к действию. Они сообщили свои замыслы еще некоторым из ссыльных и начали распространять оные с удивительною скоростью между менее значительными по своим качествам негодяями. Удрученные бедствиями, без цели в жизни, без надежды лучшего жребия, развращенные и ожесточенные долговременными страданиями, ссыльные принимали с радостью предложения Бочарова и Голикова. Они не думали ни о каких важных предприятиях; не думали об улучшении своей участи: для них довольно было и того, чтобы освободиться на некоторое время от работ и от тягостной подчиненности, грабить и провести несколько веселых дней в пьянстве и различного рода буйствах: вот их цель.

Сначала Соловьев и Мозалевский ни в чем не подозревали Сухинова и не обращали никакого внимания на его сношения с ссыльными. Они часто разговаривали с ним о своем положении, и когда Сухинов начинал говорить о возможности освобождения, они старались доказать ему нелепость такого предприятия. Несогласие их мнения происходило особенно оттого, что Соловьев и Мозалевский смотрели на ссыльных без всякого пристрастия; напротив чего Сухинов видел в них качества, каких они никогда не имели. В его глазах сии люди были способны ко всяким предприятиям, были храбры, отчаянны, тверды и настойчивы в своих намерениях и потому не чужды благородных чувствований; — разврат же их происходил только от унижения и бедности. Это заблуждение погубило Сухинова и внушило ему недоверчивость к советам его товарищей, которые употребляли все средства, могущие отвратить его от обманчивых надежд и разрушить ложное мнение о качестве ссыльных.

Нельзя сказать, чтобы между ссыльными не было людей, не заслуживающих имени человека. Если бы начальство обратило внимание на сих несчастных и если бы оно обеспечило их нужды, занялось исправлением пороков, удалило молодых, еще неопытных, от старых закоснелых мошенников и дало им надежду на изменение их состояния, то нет никакого сомнения, что многие из них возвратились бы снова на путь добра и честности и, узнав гнусность и тягость порока, имели бы более возможности оценить добродетель. Но состояние ссыльных в каторжной работе, обращение с ними, препятствует всякой спасительной перемене их нравов. Кажется, что те, которые избрали сей род наказания, имели целью оподлить и развратить преступников, а не исправить их. Дальний поход в партии, составленной из людей разного возраста и пола, содержание их в

одной тюрьме, в одних казармах, нужды, жестокие и несправедливые наказания,— одним словом, всё служит к тому, чтобы низвести их на самую последнюю степень нравственного существования.

Если бы предмет сего сочинения позволил нам подробно изложить все причины развращения ссыльных, показать все пагубные следствия наказания подобной ссылки, то каждое сердце, не чуждое человеколюбия, облилось бы кровью при чтении сего описания. Но как наш труд имеет вовсе иную цель, то мы скажем только, что сосланные в Сибирь преступники ни сколько не походят ни на испанских или германских разбойников. Между русскими разбойниками нет никакого сообщества; их выгоды одинаковы, но они не понимают сего и никогда не действуют согласно; на каждом шагу обман, измена и предательство; часто составляют заговоры и сами доносят на тех, которым предлагали разделить свои замыслы. Штоф водки есть такая цена, за которую почти каждый ссыльный продаст под кнут себя и своих товарищей, не колеблясь ни минуты. Воровство у своих товарищей, картежная игра, пьянство и разврат,— суть главные и единственные их занятия. Если ссыльные предпринимают частые побеги, то целью их побегов бывает только одна надежда уклониться на некоторое время от работ и на воле предаться пьянству, грабительству и убийствам. Сколько есть примеров (и это все знают, которые жили в заводах), что за штоф водки, за рубль, два или пять, ссыльные берут на себя преступления, а за сии деньги, которые бывают тотчас пропиты на водку или проиграны в карты, выдерживают по 100, 150 и более ударов кнутом. Кто между ними подвергается часто сему наказанию, тот почитается героем. Вот с какими людьми Сухинов думал освободить всех государственных преступников и, может быть, что-нибудь сделать более. Не удивительно, что его товарищи не приняли в этом никакого участия.

По прошествии некоторого времени частые посещения Голикова и Бочарова, тайные их переговоры с Сухиновым начали беспокоить Соловьева и Мозалевского. Справедливое подозрение побудило их к решительному поступку. Они вознамерились узнать от самого Сухинова о его предприятиях и употребить все силы к уничтожению вредных замыслов и к спасению своего ослепленного товарища. При первом удобном случае они спросили Сухинова, в чем состоят его сношения с Голиковым и что значат частые посещения сего ссыльного и его товарища Бочарова. Ответ Сухинова был холоден и двусмыслен:

— Я имею свои цели,— вы напрасно беспокоитесь; будьте уверены, что мои поступки не причинят зла ни вам, ни мне.

Эти слова не успокоили Соловьева и Мозалевского; напротив того — увеличили их подозрение. Они старались удержать своего товарища от сношений с ссыльными и употребили все, что могли для отвращения от предприятия, в коем начали его подозревать. Но ни дружба, ни любовь к нему Соловьева и Мозалевского, ничто не могло поколебать Сухинова

в замышленном плане. На все их увещания, советы и просьбы был один ответ:

— Ничего не бойтесь; будьте спокойны.

Видя упорство своего товарища, Соловьев и Мозалевский запретили Голикову и другим ссыльным ходить в свой дом без надобности. Сухинов сердился, негодовал; а Голиков и другие его товарищи продолжали видеться с Сухиновым по-прежнему.

Несчастие соединило черниговских офицеров еще теснейшими узами дружбы, нежели совместная служба. Различие между твоим и моим сделалось им неизвестно; вещи и деньги — все было общее, но каждый из них сообщал своим товарищам, куда он истратил деньги и кому отдал какую вещь. Поэтому Соловьев и Мозалевский, видя недостаток в некоторых вещах и зная, что Сухинов издерживает много денег, не говоря им для чего, еще более утвердились в своих подозрениях относительно его сношений и замыслов с Голиковым и Бочаровым и старались узнать о сем, чтобы принять против оных какие-нибудь меры. Упрекать Сухинова в расточительности не позволяла им деликатность, а угрожавшая бедность и, может быть, ужасное наказание, рождало в них сильное беспокойство. Положение было тягостное: они предвидели гибель Сухинова и не имели средства спасти его. 17 мая они купили дом с огородом и другими хозяйственными заведениями, а 24 числа перешли с нанимаемой ими квартиры и думали вполне заняться хозяйством.

4

Заговор Сухинова (продолжение).— Предательство и гибель Козакова.— Открытие заговора.— Следствие.— Попытки Сухинова отравиться.— Приговор.— Самоубийство Сухинова.— Казнь

Между тем как Соловьев и Мозалевский тщетно искали средства отвратить своего товарища от сношений с Голиковым и Бочаровым, шайка заговорщиков час от часу увеличивалась. Тут же находился один негодяй, по прозванию Козаков; большая часть дурных его качеств, кажется, не была известна его соумышленникам, ибо они слепо вверили ему свои предприятия и наименовали ему Сухинова в тот же самый день, как он, со своими товарищами, перешел в купленный ими дом. В этот же самый день (24 мая) Голиков и Бочаров, со многими из своих соумышленников, пьянствовали в кабаке и когда, прогуляв назначенные для сего деньги, начали расходиться по домам, то пьяный Козаков, проходя мимо управляющего рудниками маркштейгера г. Черниговцова и увидя его близь окна, вздумал сделать донос на своих товарищей. Не колеблясь ни мало, он тотчас подошел к нему и объявил, что ссыльные составили заговор для освобождения своего и что главные участники оного суть «секретные» (так называли всех государственных преступников). Управляющий,

видя Козакова пьяным, отослал его в казарму, сказав, что он потребует его к себе через несколько времени. Сообщники Голикова, жившие в доме управляющего, тотчас узнали о доносе Козакова и уведомили о сем его и Бочарова. Сведав об угрожающей им опасности, сии отчаянные разбойники бросились в казарму и предложили Козакову распить штоф вина вместе с другими товарищами на свободе, в маленьком леску, недалеко от завода. Развратный Козаков, несмотря на то, что едва держался на ногах, принял с радостью предложение новой попойки и, шатаясь, пошел вслед за Голиковым. Достигнув назначенного места, Бочаров и его товарищи бросились на пьяного Козакова, не дав ему придти в себя от нечаянного нападения, убили его. Тело сего жалкого негодяя было разрублено ими на части и закопано в разных местах.

Но роковой час ударил для сих злодеев. Кажется, что какая-то невидимая сила старалась разрушить их замыслы и ускорить трагическую развязку. Между тем как они думали избегнуть преследования, спасти себя и своих соумышленников убийством изменника, другой из сообщников явился к Черниговцову с доносом и подтвердил сказанное Козаковым. Сей вторичный донос обратил внимание управляющего заводом и породил в нем справедливое подозрение. Не медля ни мало, он приказал схватить заговорщиков и заковать их в кандалы. Голиков был в числе схваченных, Бочарову удалось бежать.

Подозреваемые в заговоре тотчас были приведены к допро́су. Известно, каким образом в Сибири производятся допросы: плети, палки и розги почитаются в сем случае лучшими путеводителями к истине. Телесные истязания заставили Голикова признаться и по его показанию ввечеру 24 мая Сухинов и его товарищи были взяты под стражу.

Голиков не сказал ни слова об участи Козакова, почему и думали, что сей негодяй бежал вместе с Бочаровым. По прошествии нескольких недель голодная собака, вырыв из земли руку убитого человека, принесла в завод. Этот случай заставил сделать розыски и открыто было разрубленное на части тело Козакова. Однако ж его смерть оставалось загадкою до тех пор, пока пойманный Бочаров не сознался в своем преступлении.

Вскоре после сего началось формальное следствие: ссыльные несколько раз показывали на Сухинова и несколько раз отрицали свои показания. Но удары плетьми снова заставляли их именовать Сухинова главным заговорщиком. Сухинов отрицал все решительно и не признавался ни в чем.

Меж тем как Горная экспедиция разбирала сие дело, управляющий г. Черниговцев рапортовал об открытом заговоре в С.-Петербург. В сентябре месяце Горная экспедиция и комендант горных заводов генерал Лепарский получили повеление из Петербурга отдать всех замешанных по делу Голикова и Бочарова под военный суд. В конце сего же месяца Сухинов и все участвовавшие в сем деле были перевезены из Горной кон-

торы в большой Нерчинский завод и преданы военному суду. Всех подсудимых было 22 человека.

Мозалевский и Соловьев оставались в Горной конторе, но во время производства дела их требовали пред военный суд для снятия допросов. Они отвечали на все вопросы отрицательно, но не могли отклонить от себя подозрений судей, которые знали, что Соловьев и Мозалевский жили вместе с Сухиновым и были соединены с ним узами дружбы, укрепленной еще более несчастиями. Невозможно себе представить положение Соловьева и Мозалевского: кроме явной гибели их товарища, к которому они питали искреннюю любовь, ужасное наказание носилось над их несчастными головами. Невинные, подозреваемые, они ожидали каждую минуту несправедливого решения судей-невежд, развращенных и бесчувственных. Не было никакого средства доказать свою невинность. Они молчали и покорились судьбе, — уже решаясь погибнуть с Сухиновым, — как одно показание при допросе Голикова и Бочарова переменило вид их дела и спасло их от явной погибели. Голиков и Бочаров показали пред военным судом, что однажды они спрашивали у Сухинова, знают ли о его намерениях Соловьев и Мозалевский? Можно ли о сем говорить с ними? И пойдут ли они?

— Мои товарищи — отвечал Сухинов, — не знают ничего и не должны вовсе знать: вы должны таить от них все, что я вам говорю.

Когда же Голиков и Бочаров, удивленные сим ответом, старались узнать, по какой причине он скрывает свои замыслы от своих товарищей, с которыми живет дружно и разделяет все, что имеет, то Сухинов сказал им:

— Если Соловьев и Мозалевский узнают о нашем предприятии, то они помешают нам. Когда все будет готово к исполнению нашего намерения, то мы откроем им оное, и если они не захотят следовать за нами, то мы заставим их идти за собою; если же они станут противиться и захотят нам препятствовать, то наше мщение упадет на них и они сделаются первыми жертвами нашего праведного гнева.

Сухинов, закованный в железа, содержался особенно от других под строгим караулом. Упорствуя в прежних своих показаниях, он отвергал все улики ссыльных, оправдывал Соловьева и Мозалевского и совершенно отрицал существование заговора. Не взирая на это, он знал, что, по свидетельству других, он подвергается позорному наказанию и дабы предупредить оное, он вознамерился лишить себя жизни, которая давно уже сделалась для него тяжким бременем. Неизвестно, каким образом он достал мышьяку и при первом удобном случае принял часть оного. Вероятно, прием был очень слаб относительно физического его сложения, ибо яд произвел только рвоту. Сухинов скрыл это от часовых и на другой день, усилив прием, проглотил вторично; и тут яд не имел надлежащего действия. Сильная рвота, которою Сухинов страдал от сего приема, обратила

внимание часовых, они спрашивали у него причину болезни и предлагали ему разные средства прекратить оную, Сухинов старался отклонить от себя все подозрения и успел в этом. Наконец, через несколько времени, выпил третий прием и через несколько минут ужасные конвульсии обнаружили действие яда. Сначала он скрывал боль, но вскоре природа восторжествовала над твердостью его души и он упал без памяти на землю в сильных конвульсиях и невольным стоном обнаружил свои страдания. Испуганные часовые дали тотчас о сем знать; прибежал лекарь, которого искусство, сверх всякого чаяния, спасло жизнь несчастному страдальцу, — и следствием покушения на свою жизнь была одна долговременная, тяжкая болезнь. Сухинов был сильно огорчен, когда узнал от лекаря, что действие яда уничтожено. Смерть составляла для него единственное благо; он жаждал ее пламенно, как вечного спокойствия, в коем он надеялся найти конец всем своим страданиям, но всякий раз, как он думал достигнуть сей счастливой для себя пристани, враждебные силы снова бросали его в бурный океан жизни.

Комендант Нерчинских рудников, находившийся в Чите при государственных преступниках, торопил военно-судную комиссию кончить дело Сухинова как можно поскорее. Он предписал сей комиссии решить оное непременно в последних числах ноября. объявляя при сем, что в исходе сего месяца он сам приедет в большой завод для кон ирмования и приведения в исполнение приговора. Повеление, полученное из С.-Петербурга в самом начале ноября месяца, побудило коменданта сделать сие предписание. Ему было повелено конфирмировать военно-судное дело,— главных участников в открытом заговоре — расстрелять, а их соумышленников наказать кнутом и плетьми, по собственному усмотрению.

В последних числах ноября военно-судная комиссия кончила дело. Сухинов, не по собственному признанию, а по свидетельству других, и главные его сообщники были приговорены к позорному и тяжкому наказанию 400 ударами кнутом. Сей приговор не был им объявлен, вероятно, потому, что для подтверждения оного нужно было прибытие генерала Лепарского. В конце ноября месяца приехал комендант в большой завод.

Тот же день неизвестно кто уведомил Сухинова, что он приговорен к 400 ударам кнута и что генерал Лепарский приехал в завод. Повеление правительства наказать главных виновников смертною казнию было для всех глубокою тайною, и даже никто не полагал возможности такого наказания, вышедшего из употребления с давнего времени и почти никогда не существовавшего для ссыльных.

Сухинов, будучи уверен, что комендант утвердит приговор военно-судной комиссии, решился во что бы то ни стало избавиться от позора: самоубийство было единственным средством. За несколько дней до приезда Лепарского Сухинова перевели из особенной тюрьмы, где он один содер-

жался. Намерение лишить себя жизни гнездилось в его душе; он тщательно осматривал все углы и стены тюремные и, увидя большой гвоздь, вбитый в стену недалеко от печки, над нарами, решил привести свою мысль в исполнение. В роковую ночь, по пробитии зари, когда в тюрьме погасили огни и когда беззаботные преступники, не думая, что ожидает их завтра, предались сну, — Сухинов отвязал ремень, на котором поддерживал свои железа, прикрепил оный к помянутому гвоздю, набросил на свою шею петлю и, спустив ноги с нар, — повесился. Чрез несколько минут один из арестантов, проснувшись, пошел зачем-то к дверям и задел за ноги Сухинова; ему показалось это странным; он хотел узнать, что это такое, стал искать около себя ощупью и дотронулся до тела Сухинова. Испуганный арестант начал кричать:

— Спасайте, кто-то из наших повесился!

Сей неожиданный крик поднял всех на ноги, принесли тотчас огонь, и первый предмет, который представился — это было бездушное тело Сухинова. Ремень был снят с его шеи; привели лекаря, который тотчас заметил в теле признаки жизни. Можно думать, что для возвращения оной не нужно было употребить больших усилий искусства, ибо гвоздь был вбит довольно низко, и Сухинов, желая затянуть как можно крепче петлю, спустивши ноги с нар, еще коленами касался оных. Нет сомнения, что лекарь сообразил все сии обстоятельства, но, вероятно, не зная приговора правительства и не решаясь из сострадания предать бедного Сухинова позорному наказанию кнутом, он не старался возвратить к жизни несчастного страдальца, но приказал тело его положить на телегу и отвезти в лазарет шагом, как можно тише, как будто бы для того, чтобы не произвести в нем ни малейшего сотрясения, могущего возбудить кругообращение остановившейся крови. Тотчас по привозе в лазарет тело было спущено в погреб и положено на лед. Если сии причины, а не невежество и равнодушие побудили лекаря оставить без внимания все средства, которые могли возвратить жизнь Сухинову, то поступок его достоин уважения и самое бесчеловечие было великодушно.

Таким образом несчастный Сухинов кончил свою бедственную жизнь. Заговор не делает пятна его чести, желание получить утраченную свободу и возвратить ее своим товарищам ослепили пылкий ум его и заставили унизиться предосудительною связью с презрительными людьми. Ошибка сия омыта его страданиями и его кровью [59].

На другой день после смерти Сухинова начались приготовления к наказанию Голикова, Бочарова и его сообщников. Рыли глубокую яму, ставили столбы, шили саваны, делали новые и поправляли старые кнуты и плети. Соловьев и Мозалевский были привезены из Горной конторы, закованные в железа, и содержались в полиции. 2 или 3 декабря, на третий день после приезда Лепарского и смерти Сухинова, приступили к исполнению приговора. Генерал присутствовал сам и распоряжался экзекуциею.

Он приказал производить вдруг все роды наказаний, вероятно для сокращения времени.

Все преступники были приведены на лобное место и охладевшее тело Сухинова между ними видимо было, которое тотчас бросили в приготовленную яму. На приговоренных к смерти надели белые саваны и первый Голиков был привязан к столбу у самого края вырытой ямы. Он был весьма спокоен и просил убедительно оставить его глаза незавязанными, но его просьбы не были уважены. Незадолго до выстрелов он начал что-то говорить:

— Я не виноват,— были последние слова, как ружейный залп вырвал у него жизнь с быстротою молнии. Бездушное тело спустилось вниз по столбу, сейчас было отвязано и брошено в яму.

Потом расстреливали Бочарова. Должно думать, что сия необыкновенная сцена подействовала на самых исполнителей приговора, ибо солдаты потеряли меткость. Бочаров был только ранен; унтер-офицер подошел к нему, вонзил штык в грудь и сим кончил мучения бедного страдальца. Михайло Васильев выдержал залп и остался невредим. Солдаты укоротили дистанцию и начали поодиночке стрелять. Генерал Лепарский сердился, кричал, бранил офицера и батальонного командира, за то, что подчиненные их не умеют стрелять и приказал скорее, как-нибудь, сию трагическую сцену кончить. Солдаты ранили Васильева несколькими пулями, но не убили; наконец, подскочили к нему и прикололи его штыками. С двумя последними сообщниками Голикова и Бочарова почти то же самое случилось, что и с Михаилом Васильевым.

В одно и то же время, когда одних расстреливали, три палача наказывали кнутом и плетьми других приговоренных к сим наказаниям. Невозможно представить себе всех ужасов сей кровавой сцены. Вопли трех жертв, терзаемых палачами, командные слова, неправильная пальба, стон умирающих и раненых — все это делало какое-то адское представление, которое никто не в силах передать и которое приводило в содрогание самого бесчувственного человека. Всякий может вообразить себе, какое действие произвело сие наказание на зрителей, но никто не станет утверждать, что оно улучшило их нравственность и ⟨что⟩ перестали производиться злодейства в заводах.

Из судившихся военным судом пятеро было расстреляно (шестой, Сухинов, избегнул сей участи самоубийством). Из остальных многие получили от 400 до 150 ударов кнутом; прочие были наказаны жестоко плетьми. По окончании сей кровавой сцены Соловьеву и Мозалевскому в полиции прочитали приговор, конфирмованный комендантом Нерчинских рудников. Решение их участи заключалось в следующем: Соловьев и Мозалевский, найденные военно-судною комиссиею непричастными к делу Голикова, Бочарова и других, освобождались от суда, но горному начальству предписывается (сия мера, вероятно, взята Лепарским) удалить их

из Горной конторы и сослать в отдаленные рудники порознь. Через два дня они были отправлены из завода: Соловьев — в рудник Култуму, а Мозалевский — в Акатуй, лежавшие один от другого на расстоянии 200 верст.

В сей новой ссылке они провели два месяца в скуке и бедности. Пс прошествии сего времени горное начальство получило повеление от коменданта Лепарского прислать государственных преступников Соловьева и Мозалевского в Читинский острог. В начале февраля 1830 года они были отправлены в Читу и скоро прибыли к месту назначения, где нашли прежнего товарища своего Быстрицкого, которого комендант оставил в Чите, когда он следовал с партиею чрез сие селение в Нерчинские рудники. В 1830 году Соловьев, Мозалевский и Быстрицкий вместе с другими государственными преступниками были переведены из Читинского острога в государственную тюрьму, вновь построенную при Петровском Заводе, находящемся в Верхнеудинском округе на реке Баляге.



ПИСЬМА

1. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

5 августа 1839 г. Завод Петровский

Дважды от тебя получал уже известия, мой любезный Евгений Петрович. Мы тебя все благодарим за твою память и интересные новости для нас: собрался и я к тебе писать, но не знаю, с чего начать. У нас все по-старому, т. е. скука и грусть, грусть и скука. Ты очень справедливо говоришь, что мы только в разлуке узнаем цену наших товарищей, в разлуке только узнаем потерю их; я прежде тебя это почувствовал и до сих пор не могу еще опомниться[1]. У нас все здоровы и все благополучно. Крашенинникова[2] родила сына Степана, но все-таки не могла следовать за мужем, хотя уже и на ногах. Лошадь я твою видел, и все говорят, что ты недорого заплатил. Не могу тебе нахвалиться Ждановым и Арбузовым[3]; они такое принимают во мне участие, что как будто я их родной или какой-нибудь их бывший благодетель. Хотя я еще ничего не предпринимаю, хотя я еще ничего не делаю по их советам, но не менее того я им очень благодарен за их готовность всем для меня быть полезным. Меня это трогает чрезвычайно. Они приказали тебе кланяться. К отцу Поликарпу[4] я еще не хожу часто: он или на покосе, или мне нет времени; я у него однажды только был и то ненадолго. Громов[5] сегодня уезжает отсюда в Иркутск и продал все выгодно: я с Бахмутовым[6] пополам купили у него сено.

6 августа

Рота уже собирается, и я спешу к тебе кончить письмо, мой любезный Оболенский. Громов еще здесь, и я скоро к нему пойду провожать его. Меня ужасно тронуло положение Якова. Бедный человек; я просил здешних солдат и у⟨ездного⟩ о⟨кружного⟩, чтобы его там берегли, в Удинске, и они обещали мне это сделать[7]. Ты, может быть, удивляешься, почему я ничем не занимаюсь; причина тому именно та, что я еще не уверен, что здесь в Петровском останусь; боюсь истратиться, боюсь завестись, а потом,

когда переведут в другое место, придется в половину цены все продавать. Подожду утверждения, а потом начну действовать.

Здесь был окружной, и я его не видал; мне очень жаль; Александр Ильич [8] забыл за мной послать, хотя с ним обо мне говорили. Окружной говорил, что мне отведут землю в ближних деревнях. Не знаю, где и как это будет, но мне бы хотелось более сенокосов и поближе к Петровскому. Мозалевский [9] тебе кланяется; ему было хуже немножко, но теперь все по-старому. У него я часто бываю. Все здоровы и все благополучно. Катерина Дмитриевна [10] кланяется тебе и жалеет очень, что тебе будет скучно в Итанце [11]. Александр Ильич тоже кланяется тебе и говорит, лучше бы ты остался здесь, нежели в деревне жить. Мы почти все думаем, что ты будешь проситься в окрестности Иркутска — и лучше: там тебе будет веселее.

Насонов [12] тебе кланяется и спрашивает, не надо ли тебе чего-нибудь починить; он у меня теперь; приходит ко мне всякое утро и говорит, что никак не может расстаться со мною; ему скучно дома сидеть. Сенька Грузин [13] часто тебя вспоминает и просит тебя к себе, в Петровский; они думают, что ты им опять жалованье будешь давать и платить за каждую безделицу.

Бедный наш Булыч совсем пропал; Трофим, который оставлен в каземате сторожем, говорит, что он хлеба в рот не берет, скучает, и думает что Булыч издохнет.

Прощай, мой Евгений Петрович! Целую тебя мысленно, желаю тебе от всей души всякого счастия и благополучия. Прошу тебя, пиши ко мне, не забывай

любящего тебя *И. Горбачевского*

Вчера и сегодня я писал к Поджио и к Пущину. Как мне было утешительно слышать благословения здешнего народа и благодарность его за благодеяния Трубецкого, Пущина и твои, мой любезный Оболенский, — ужасно меня это трогало и утешало. Вы по себе трое здесь оставили такую память, что, дай бог, чтобы мои дети до того дожили и были бы так счастливы [14].

Прощай, друг мой, еще прощай; буду к тебе писать все подробно и не упускать ни одной оказии; пиши ко мне, не забывай твоего навсегда

Горбачевского

2. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

⟨Петровский Завод.⟩ 19 августа ⟨1839 г.⟩

Мой милый, любезный Евгений!

Не могу вспомнить без горести о тебе: Итанца твоя, чтобы она пропала, так я об ней наслышался! Твоя участь, я думаю, не хуже ли всех на-

ших товарищей? Что будет с тобой зимой? Эти бесконечные холода и зимние вечера — я об них вспомнить не могу без ужаса. Я имел несчастье видеть Хареуз, когда вас провожал, да еще после с Ждановым ездил в Кули, деревню отсюда 20 верст, на Хилке; тогда я представил все положение тех, которые в деревнях будут жить: — беда, да и только.

Я уговорил Крашенинникова жену, чтобы ехала в Удинск на нанятых лошадях; расчет прямой: она бы проехала на казенных подводах восемь дней, как говорят, а теперь будет там в три дня, и покойно с детьми, без всяких хлопот и перекладов по прямой дороге доедет скоро за 10 рублей.

Я получил от 4 августа твою записку, также и прежние все твои записки. Благодарю тебя за твою память и любовь: твои записки принесли мне много утешения, говорю тебе правду, потому что, хотя я и не скучаю, хотя имею развлечение, но все я вижу, что я между чужими и нигде не нахожу того отголоска, к которому мы все привыкли.

Я получил известие о Петре Борисове; он ко мне не пишет, но Морозов, который оттуда приехал, говорит, что он никуда не выходит, никто его и брата в деревне еще не видал, прислуги никакой не имеют и не могут сыскать, и, как говорит Морозов, что хотят перепроситься в другое место. Петру везде будет худо — ты понимаешь, вероятно, ежели он не выходит никуда, то причиною этому брат, который боится один в доме остаться, чтоб его не убили [1]. Ежели он хочет перепрашиваться, то тоже — брат, который хочет все в Иркутск. Сегодня Ильинский [2] едет к нему нарочно и хочет посмотреть и сам увидеть, что с ним там делается; добрейший человек, он так же болеет за нас всех, как будто он с нами сидел в тюрьме, горюет и скучает. Он переведен лекарем в Кайдалово на этап, за Читой две станции; скоро поедет туда налегке, чтобы там прожить до отставки.

Я живу все по-прежнему: ничем не занимаюсь и ничего не делаю; не думай, друг мой, чтобы это происходило от лености или нерадения; нет — так советуют все те, которые обо мне заботятся. Бахмутов, Арбузов и Жданов, как будто гении-хранители мои, меня стерегут, обо мне заботятся и хлопочут; я без их совета ничего не делаю и не буду делать: видя их усердие, я не знаю, как их благодарить.

Вообрази, я письмо к тебе пишу, как повозка подъезжает к моим воротам. Это Крашенинникова с детьми едет к тебе. Спешу: она меня гонит; я к тебе еще буду писать через Морозова. Я получил от Бечаснова, от Трубецкого письма; они переехали уже Байкал, все здоровы. Пущин, Поджио с комендантом 2 августа уехали на открытой лодке в Иркутск и уже давно там.

Прощай, мой любезный, прощай, мой Евгений, целую тебя в душе моей; пиши ко мне.

Твой навсегда *И. Г.*

Приписка П. Сизых:

Весть или сам у вас, Е. П., вторник, четверток и я отправляюсь и намереваюсь быть в Итанце, сим извещая, остаюсь с истинным почтением и преданностью.

П. Сизых[3]

Евгений просит благословения, а семейство от малого до великого свидетельствуют почтение.

Люди все возвратились в Завод, кроме француза Жана и Ислама; говорят, все здоровы, поехали уже чрез море[4], 10 числа отправились. Прощай Евгений, пиши ко мне. Крашенинникова все тебе расскажет. Поручения делай мне, какие хочешь. Все будет исполнено.

3. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

⟨Петровский Завод.⟩ 9-го сентября ⟨1839 г.⟩

Жданов застал меня врасплох, объявив, что он едет в Удинск,— спешу, любезный Оболенский, хоть что-нибудь к тебе написать. Благодарю тебя сердечно за твое письмо, от которого числа неизвестно, ибо ты забыл его написать. Ты жалуешься, что ни Пущин, ни Трубецкой к тебе не пишут. Я получил много писем даже от тех, от которых не ожидал, а от Пущина и Поджио ни строчки, ни слова, ни полслова. Непонятно, непостижимо, тем более, что пятьсот казаков возвратились назад. Я собрал все письма и посылаю к тебе для прочтения; пожалуйста, при верной оказии пришли мне обратно — я их пошлю к Петру Ивановичу Борисову, который в незавидном положении.

Ты очень справедливо пишешь насчет производительного капитала; я сам вижу и знаю, что без действия пропадешь. Но ты не поверишь, как трудно приступить к этому, тем более не имевши своего дома. Говорю тебе, без своего дому невозможно ничего начать, невозможно ничего делать а, купивши дом, хотя самый дешевый, — делается расстройство в моем капитале. Ты, я думаю, знаешь, что у меня при выезде вашем осталось всего 700 руб.; что будешь делать с этими деньгами — подумай сам; и нанять квартиру или купить дом, взять работников, лошадей, повозки, сбрую, надобно пищу еще и для себя, к тому, у меня нет для себя и зимнего платья — сосчитай, что все это надобно купить, что ж останется капитала для оборотов? Больше ничего не остается делать, как надеть на себя армяк, кожух и сравняться со всеми торговцами-мошенниками. Истинно так, любезный мой, дорогой Евгений! Что делать, я и сам не знаю; положение трудное, скользкое для самолюбия и для чести, положение, которому я подобного не встречал в моей жизни. Не знаю, что дальше будет; поверишь ли, что в Петровском нет никакого продажного дома, а без

дому, повторяю тебе, невозможно не только заниматься хозяйством, даже просто жить.

Я купил сена на 120 руб. Ты спросишь, для чего, я и сам не знаю, по правде тебе сказать, но мысль моя состоит в том, что ежели соберусь лошадей купить, то сено будет готово; ежели же их не в состоянии буду купить (т. е. 4 лошади со сбруей и с повозками), то его весной продам. Здесь все говорят, и это правда, что иметь одну, две лошади не стоит того, чтобы и хлопотать об возке угля, бревен и проч.

Я был сейчас у жены отца Поликарпа; она из Чертовкиной от мужа получила письмо. Чудак Поликарп пишет, что он у тебя был, а как ты живешь и что делаешь ни слова. Пиши ко мне, Евгений, читай письма, тебе будет это хоть маленьким развлечением; пришли чрез верную оказию их назад ко мне. Целую тебя в душе моей, будь здоров.

Твой навсегда *И. Горбачевский*

У нас все здоровы и кланяются тебе. Насонов в восхищении от того, что ты хочешь его взять к себе.

4. Н. А. БЕСТУЖЕВУ

⟨Петровский Завод.⟩ 23-го сентября ⟨1839 г.⟩

Добрейший мой, любезнейший Николай Александрович!

Напрасно ты меня упрекаешь за то, что до сих пор к вам не писал, — ты сам знаешь, это первая оказия с тех пор, как вы находитесь в Ливийских степях и песках [1]. Ваши письма я все получил, за которые вас благодарю и тысячу раз еще благодарю, они мне много принесли удовольствия и утешения (сию минуту пришел ко мне Грузин и спрашивает, к кому я пишу — я отвечаю к Николаю Александровичу, он тотчас закричал тебе: здравия желаем) — с тех пор как вы уехали, наше препровождение времени одинаково — едим, пьем, ничего не делаем, совершенно так же, как и вы. Без своего дому, милый мой Николай, плохо, и очень плохо, ни за что нельзя взяться, ничего невозможно купить, ничем нельзя завестись. Но за всем тем я кое-что сделал и даже приобрел; купил 140 копен сена и лошадь. Александр Ильич дал мне железа, я его уже продал и вышло мне барыша 123 серебром, так что сено и лошадь остались у меня в барышах. Хочу непременно купить лошадей еще и возить бревна и камни и буду стараться таким образом, чтобы они мне окупились в продолжении зимы. Земли мне еще не отвели. Не знаю, получили ли вы. Пожалуйста, уведомь меня, какая существует форма, чтобы дали мне 15 десятин [2]. Я не знаю, что делать с этим. Михайло, или ты, напишите ко мне подробно, чем вы хотите, так сказать, промышлять и какие ваши планы и надеж-

ды, добрый мой Николай. Это не одно любопытство заставляет меня об этом спрашивать, это есть как бы живая потребность души знать обо всем об тех, которых любишь душевно. Пишите, пожалуйста, ко мне подробно; что вы делаете, или что хотите делать. Я бы на вас смотрел и сам бы то же делал; разумеется, все от личности зависит, но однако же как посмотришь на людей все-таки лучше. Вообрази, мой добрый Николай, я от Поджио[3] до сей минуты не только ни одного письма не получил, но даже ни одной строчки. Посылаю вам разные письма, пожалуйста, не потеряйте их и перешлите все к Петру[4] в Подлопатино для прочтения, а потом пусть он или вы ко мне назад пришлите, на некоторые надобно мне отвечать. Смотрите, не бросайте и не потеряйте.

Вещи ваши в будущий вторник отправляются к вам. Они мне столько хлопот наделали, что я очень рад с ними развязаться. Дважды их переносили с места на место, что стоит 7 ⟨руб.⟩ Пусть тебе это не покажется странным, здесь людей даром не дают; второе самое главное то, что никто не брался их перевозить, — как посмотрят на эти громады, так и назад, или очень дорого просят. Насилу мне отыскал человека Дмитрий Захарович.

Вчера я получил письмо от Дельсаны[5], она пишет, что сколько ни пишут в Тифлис о высылке вещей и денег брата моего[6], никто ни слова не отвечает, и черт знает, что об этом думать. Сестра[7] говорит и наверное полагает, что эти вещи и деньги должны пропасть, ибо что думать, когда пишут, просят и не отвечают. Одного оружия осталось на 800 ⟨руб.⟩ серебром и какой-то кубок, поднесенный брату жителями Ленкарана дорогой цены,— все это в неизвестности. Сестра пишет и спрашивает меня, не писал ли кто-нибудь ко мне из Тифлиса об этих вещах. Глупость и невежество да и только, что будешь делать с этими бабами.

Бечасный меня морит и бесит своим французским языком,— вот француз проявился в Сибири — вот настоящий доморощенный француз. Что будешь с ним делать! И черт знает, что у него за планы! Я к нему напишу, что я его письмо получил запечатанное, следовательно никто его не читал. Эффект французского языка пропал,— и лучше бы прямо по-русски писал бы,— это немножко и приличнее и умнее. Я посылаю к тебе два его письма, посмотри, как он противуречит сам себе.

Тебе интересно знать о моей квартире, наследником О. А.[8] я не хочу быть, ибо не стóит того,— но тебе скажу, Николай, жаль, очень жаль, что тебя здесь со мной нет. Я тебя несколько раз вспоминал, я теперь узнал, что перемены во всем хороши, не в одном кушанье, но даже...[9], и что за прелесть жить в Петровском, чего душа хочет — все есть. Все хорошо, все прекрасно, только одно худое ты дело сделал, — не остался в Петровском на поселении; что ты нашел в Селенгинске, песок да и только. Не хочу тебя раздражать, не хочу голодному говорить о хлебе, — ты сам виноват, так и терпи, — поделом тебе. Я могу тебе на это отвечать так,

как ты ко мне пишешь: «Я вас всех приглашал остаться в Петровском и тебя тоже, а ты, ты,— ты рожа, и в добавок морской цитрон». Бедный Михайло, как бы я его теперь угостил, вот задал бы я ему праздник, был бы тут и стар и млад, и твердое, и мягкое, и сладкое, и кислое. А теперь, что он терпит, бедный, мне его очень жаль — он видит только пред собой песок да Селенгу. Удивительное наслаждение.

Я к нему напишу особенно, или лучше сказать, я к тебе, Миша, не пишу особенно, но тут же целую тебя в душе моей, благодарю тебя за письма, посылаю Бечасного, читай и узнаешь из них старого своего знакомого. Кроме шуток, что за наслаждение было бы нам, ежели б ты с братом здесь быть пожелал. Какой демон вас научил проситься в другое место, а не в Петровский. Когда буду посылать к вам вещи, тогда еще напишу, теперь 10-й час, а в 11-м часу едет Сахаров [10].

Вчера Александр Ильич получил от Артамона [11] письмо, в котором он пишет, что он слышал и ему самому говорил Мевиус, что Арсеньев переведен в Грузию, — Александр Ильич рад этому, — дай бог ему всего хорошего. Не знаю, что со мной тогда будет, я лишусь многого. Кажется, он к вам сам хочет писать. Я здесь не буду на весы класть ваши вещи, просто их положу на возы, а вы там сами сосчитаете пуды, — весы, говорят, у вас там есть. Это я не буду делать для того, чтобы ломки избавиться. Прощай, мой Миша, буду к тебе во вторник еще писать. Целую тебя тысячу раз, пиши и помни.

Твой по гроб *И. Горбачевский*

Прощай, мой друг, мой милый добрый Николай. Как бы я тебя горячо теперь обнял и прижал бы к своей груди. Пиши ко мне — сделай милость. Клянусь тебе, одно утешение осталось — получать от друзей известия; все глупость, все дрянь, эти хозяйства, эта промышленность, эти заботы, одно осталось нам утешение вспоминать и поминать своих друзей и товарищей общего нашего несчастья.

Обнимаю тебя, целую тебя, мой Николай.

Твой навсегда *И. Горбачевский*

Извините беспорядку этого письма, спешу.

5. М. А. БЕСТУЖЕВУ

⟨Петровский Завод.⟩ 3-го октября ⟨1839 г.⟩

Любезный мой дружок Мишель!

Твою записочку я получил и комиссия исполнена, но только дожидаю оказии переслать тебе железо и такой <*1 нрзб.*>, что в скорости надеюсь к вам послать. Николай ко мне пишет, что вы живете припеваючи —

счастливая ваша доля, а я суечусь, как черт перед обедней, и не знаю, что выйдет. Ей-богу, в каземате лучше было, то ли дело, ноги задравши лежать на кровати и читать книги, — суетись, проси, хлопочи, досада, горе и для какой цели, что я могу видеть впереди, что за будущность. Все дрянь, все то же горе, те же хлопоты, а там и умирай в Сибири.

Вот тебе предисловие к моему письму,— ты, верно, скажешь, что я в хандре, и не ошибешься. Третьего дня мои лошади в первый раз пустились на заработки и сейчас только возвратились. Александр Ильич дал мне 700 пуд камня перевозить отсюда слишком 50 верст по 30 копеек с пуда. Ты сам не можешь представить, сколько хлопот, сборы, покупки сена, упряжь, люди, все это снарядить надобно было.

Ты скажешь, что без труда и хлопот ничего не достается,— согласен и знаю это, но черт возьми все, не все ли равно немножко лучше, немножко хуже жить, да при том скажи сам, легко ли переходить из умственной жизни к трудам и хлопотам самым глупым, не дающим пищи ни сердцу, ни разуму. Скажи моему милому, доброму, решительно моему, которого я люблю всею душою, Николаю, что этого черта Егорова не могу еще никак поймать, сам несколько раз к нему ходил, посылал за ним двадцать раз, все обещал придти и не приходил. Но пусть он не отчаивается, я его из-под земли вырою и сделаю все то, что Николай приказывал. Что вам столик не прислали, был ты сам виноват, или Николай — при сдаче вещей мне вы не сказали, что столик стоит в комнате у Александра Ильича. Александр Ильич перешел на другую квартиру и оставил его там и он теперь у Иванова. Александр Ильич обещал его вытребовать и я вместе с канапе Николая вам пришлю.

Я получил от Дельсаны письмо, где она говорит, чтобы я написал письмо в Тифлис потому, что дожидаются там моего отзыва, и я на прошедшей почте писал коменданту тифлисскому к полковнику Евстратову, душеприказчику брата, о высылке лишь моей доли — что будет с этого — не знаю. Брат оставил еще после себя 400 книг. Я просил, чтобы выбрали лучшие сочинения и прислали бы мне, ежели это возможно. Сестра Квист пишет, что от братнего оружия, которое было оценено в 800 руб. серебром, осталось только два ружья и два пистолета,— прочее, черт знает где девалось,— надобно дожидать объяснение. Между тем эти господа оставили нам на память от вещей брата старые штаны и мундиры, да еще крест 2-й степени Анны, как будто я могу в Петровском повесить Анну и ходить по заводу — мне даже и здешние Анны надоели, а он еще присылает из Тифлиса.

Эта статья прочь, но вот к тебе, Мишель, моя просьба. С тех пор, как вы уехали из Петровского, я ничего не читаю политического и не знаю, что делается в Европе. Сделай милость, прошу тебя усерднейше, пришли мне старые «Московские ведомости» с июля месяца 1839 года и «Сына отечества», а за то к вам посылаем «Библиотеку для чтения». Смотри,

Мишель, исполни мою просьбу, ты себе представить не можешь, как я жажду читать политическое.

Прощай, мой любезный Мишель, целую Николая, твой по навсегда

И. Горбачевский

Я прошу от себя Дмитрия Дмитриевича [1], которому посылаю мой нижайший поклон, просить его Александра Ильича дать нам «Московские ведомости» и «Сына отечества», а ему и вам взамен посылаем «Библиотеку». Постарайтесь поскорее прислать.

Прощайте, мои дружечки. Да, я и забыл сказать, что Борисов в Подлопатино и уверен, и уверяет всех, что брат его в полном разуме.

6. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

⟨Петровский Завод.⟩ 5-го октября ⟨1839 г.⟩

Душевно благодарю тебя, Евгений Петрович, за твое письмо последнее, но не благодарю за то, что ты никогда не пишешь на своем письме числа, месяца и года. Твое письмо меня утешило, но, признаюсь тебе, я удивился, прочитавши твое приглашение о переходе к тебе в Итанцу. Скажи, пожалуйста, Итанцу променять на Петровский! Это все равно променять Петербург на Акатуй. Дело в том, я согласен, что в Сибири везде скверно, худо и гадко, но взявши места поселения относительно, то будь уверен, что завод всегда предпочтительнее и лучше, нежели каждая деревня.

Ты пишешь, что хлебопашество дает независимость; заблуждение, заблуждение и заблуждение. Независимость, по-моему, дает независимое состояние, но коль скоро надобно приобретать кусок хлеба, кончено: подвергайся всем неприятностям; счастлив тот, кто сохранит при этом честность или, лучше сказать, честь свою.

Неужто ты сам хочешь пахать землю? Не думаю. Но когда ты пошлешь своего работника в поле, разве ты уверен в нем, что он так сделает, как должно? Будешь ли ты уверен, что он сохранит твою лошадь и проч.? Почему же ты говоришь, что я зависеть буду от своего работника, которого пошлю за угольем или за бревнами? Все равно, мой любезный Евгений, мы опутаны, мы связаны, а еще к этому злу мы должны себе приобретать кусок хлеба, следовательно, подвержены как физическому, так — что еще хуже — и нравственному злу [1]. Мне Александр Ильич дал на 1 000 руб. железа; я его продал Дмитрию Захаровичу, и мне пришлось барыша 123 руб. Тяжкий для меня был этот день. Я не знал, куда глаза спрятать; я был огорчен своим положением более, ⟨чем⟩ когда-либо. Они смеются над моею совестливостью, а мне больно, горько. Я спрашиваю тебя, что будет с тобою, когда ты продашь первый пуд хлеба? Смот-



Петровский завод. Внутренний вид одного из дворов каземата
С рисунка Н. А. Бестужева. 1832 г. (ГИМ)

ри, не скрывай от меня своих чувств. Когда ты возьмешь барыш — попробуй — тогда узнаешь, каково это. Любезный мой Оболенский, таково наше положение, молчать и терпеть, больше ничего не остается делать.

Теперь опишу тебе мои занятия и мои будущие планы и надежды. Я купил сена почти 200 копен. Это стоит мне около 140 руб. Купил я еще четыре лошади, куплю еще две, и буду стараться так, чтобы заработать на них в зиму, по крайней мере, 500 рублей. Разумеется, так должно делать, чтобы лошади окупились. Все это заведение мне будет стоить около 500 руб., когда не больше. Теперь я взял у Арбузова 1 000 руб. и отдал Бахмутову на битье скота; здесь, по уверению его, я буду иметь барыша, по крайней мере, 350 руб. У меня теперь осталось на руках чистых денег всего 300 руб.; из этих денег я должен еще взять на покупку двух лошадей и проч., остальные употребить на разные разности. Вот тебе мой отчет: думай обо мне что хочешь, но знай, что я без совета опытных (только не плутов) ничего не делаю и не предпринимаю. Большой был бы я дурак, ежели б я, имевши состояние, стал бы здесь в Сибири в нашем положении заниматься торговлею. Но так как судьбой мне не дано этого, то и покориться надобно необходимости

Вчера я получил известие, что Андрея Борисова взяли в больницу в Удинск, а Петр остался в Подлопатках. Признаюсь тебе, я рад этому: Петр теперь спасен от сумасшествия. Ты себе представить не можешь, что Андрей с ним делал; довольно будет сказать, что ворота и двери были всегда на запорах, а окна днем закрыты оконницами. Дело обошлось без шума и крику; они оба попрощались, Андрея увезли, а Петр остался и приказал мне сказать, что хотя ему и жаль брата, но он, по крайней мере, первую ночь спокойно спал, ибо не видал уже мучений брата; обещал ко мне подробно написать и, когда я получу от него письмо, то при оказии и тебе его пришлю.

Где девался отец Поликарп? Он нас в отчаяние приводит: жена и дети его скучают, мы тоже скучаем, надеясь получить чрез него письма. Гони его, пожалуйста, скорее в Петровский; непонятно, как он долго ездит. Нового у нас ничего нет. Прощай, мой Евгений, целую тебя в душе моей.

Твой И. Горбачевский

Пожалуйста, полученные письма уничтожай.

7. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

⟨Петровский Завод.⟩ 2-го декабря ⟨1839 г.⟩

Твои письма, любезный Евгений, от 30 октября, 9, 20 и 21 ноября я получил. Не могу тебе на каждое отвечать; благодарю тебя за память и твою любовь ко мне. Извини, дружок мой, что не часто к тебе пишу, и то смотри, как я пишу: ни пера, ни чернил порядочных у меня нет. Писем я не получал ни от кого из наших; от сестер своих я получил; они пишут, чтобы я отзыв о себе дал коменданту тифлисскому [1], и я на прошедшей почте писал к нему. Что будет, не знаю.

У меня с третьего дня работа началась — я взялся за возку камня в казну с пуда 30 коп.— 700 пудов. На семи лошадях возят, но только далеко — верст 50 слишком. Теперь моя очередь звать тебя к себе: — брось Итанцу, переезжай куда-нибудь, но там не оставайся.

Посылаю тебе сани чрез Ахшарова казака; за привоз в Удинск ты ему должен заплатить 5 руб.; никто не берется везти их — тяжелы очень. Московский насилу их отдал. Александр Ильич тебе кланяется. Мы посмеялись довольно над твоим барышем за орехи: — что значит 60 коп. с расходом, который ты сумел составить? Мне кажется, ты не чистосердечно сказал, что тебе было получить барыш и приятно, и полезно; не знаю, но мне было и больно, и стыдно, ну не так (ежели хочешь), стыдно, по крайней мере, совестно.

Пиши, пожалуйста, ко мне только чрез верные руки; письма мои и всякие уничтожай,— это лучше и безопаснее для всех. Насонов работает в казне и живет бедно; я его приглашал к себе с женою, но она беременна, и не хочет с домом расстаться. Все то, что тебе сказали об Андрее Борисове, мне не верится. Недавно я получил от Петра записку, и податель ее сказал мне, что Петру горе, горе да и горе: брат его не выпускает в полном смысле сего слова за порог, не позволяет ему нанять ни мальчика, ни стряпки, боится, что его убьют. Что за жизнь, что за мученье! И кто виноват? Он решился терпеть,— прекрасно; но благоразумно ли это? Прощай, мой Евгений, обнимаю тебя и целую в душе моей.

Твой по гроб *И. Горбачевский*

Дмитрий Прокофьевич кланяется тебе; Жданова нет еще из Иркутска.

8. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

⟨Петровский Завод.⟩ 18 декабря ⟨1839 г.⟩

Любезный мой Евгений!

Кудрявцов [1] сидит у меня и просит что-нибудь к тебе написать.

Ты, я думаю, удивлен, что он в Петровском? Он сюда от моря приехал за долгами. Что мне тебе сказать? У нас все по-старому. Сегодня я кончил работу — мои лошади должны быть вечером с последним камнем, перевезли 700 пудов, но расходы неимоверные; не знаю, будет ли какая-нибудь выгода. Насонов тебе кланяется и просит тебя прислать ему хоть не 10, но 5 руб. на праздники; в бедности живет, казенная работа ему не по нутру; просит тебя не забывать его; это его слова я пишу.

Писем я от своих не получил; Жданова еще нет. Сестра ко мне пишет из Петербурга, что Ребиндер [2] у нее был и рассказал ей, где я живу; он у нее был 22 октября. Мои капиталы грузинские молчат, и слуху про них нет; сестра пишет, что писала в Тифлис, но ей не отвечают. Не знаю, что думать, а между тем ее уведомили, что у брата осталось еще 400 книг, и просят разрешения, продать ли их или нет. Не надобно ли тебе 30 пудов расковки (железа) по 3 р. 50 к. пуд с твоею доставкою? Я тебе пришлю. Посоветуйся со знающими людьми и уведомь меня; меня просили об этом тебе написать. Прощай, мой Евгений, целую и обнимаю тебя в душе моей; будь здоров и невредим; пиши ко мне, что ты делаешь, чем занимаешься. Поликарп, Александр Ильич, Дмитрий Захарович и Катерина Дмитриевна тебе кланяются. Прощай, мой дружок.

Твой навсегда *И. Горбачевский*

Письма мои уничтожай, чтобы они не попались в руки кому-нибудь или не затерялись бы.

9. М. А. БЕСТУЖЕВУ

⟨Петровский Завод.⟩ 21 декабря ⟨1839 г.⟩

Сегодня получил только, мой милый Михайло, твое письмо от 9 декабря — я очень обрадовался этому, но не спасибо тебе за журнал «Сына отечества»,— мало книжек, а тем более что и Александр Ильич выписал «Библиотеку», досада да и только, и как ты не вздумал прежде спросить у нас, что выписывать, теперь будет у нас два экземпляра «Библиотеки», а «Сына отечества» — ни одного. За это я тебя приказываю Николаю посадить под арест на три дня,— он должен тебя три дня не выпускать в гости и ты должен повиноваться,— иначе я расстрою планы Александра Ильича, который за тебя сватает Олимпиаду Петровну, дает тебе в приданое от себя два пуда расковки и одну жонху (*1 нрзб.*), а я, со своей стороны, на хозяйство даю тебе чугунку $^1/_4$ ведерную; — приданое не маловажно,— не смейся и не шути, и ежели ты имеешь охоту и чувства, то напиши,— Александр Ильич с приданым привезет к тебе Олимпиаду в карандасе с торжеством и великолепием. Я написал от Тютчева письмо в Иркутск к нашим [1], но, вообрази, Марья Казимировна [2] не утерпела, сказала об этом Артамону,— горе с нею, но, к счастью, говорят, что он до сих пор не верит, боится подозревать, что его мистифицируют. Это выйдет история, подобно пущинской.

Меня не удивляет поступок Петра [3] с тобою, он и со мною почти то же сделал и делает — он на мои письма отвечает словами и самыми пустыми и вздорными. Я его обработаю за тебя и за себя, и перестану писать. Лучше его оставить в покое, пусть что хочет, то и делает. Новенького у нас нет ничего, мы теперь получаем *оное* из газет и журналов, которые ты прислал.

Николая поручения выполнены,— работа идет, не знаю, что будет дальше, уведомлю. На пять повозок поделок, втулок и на пять лошадей подков куплено, а у меня все лежит, только нет извозчика,— никто не берется, мало тяжести, вместе с этим железом пошлю Николаю и его диван. Столов еще не взял от Иванова. Я получил письмо от сестры Квист, она пишет, что у нас был Ребиндер, а насчет моего наследства и слуху нет.

Николай, старый цитрон, за то, что не пишет ко мне,— целую его мысленно, обнимаю моего Николая и жалею очень, что не могу придти к нему в полности. Ты спросишь мое препровождение времени,— только тогда мне и весело, когда бываю у Александра Ильича или у Дмитрия Захаровича, но дома, черт его побери, так скучно, что и глядеть нельзя на него. Прощай, мой Миша, целую тебя, будь здоров — пиши ко мне, да уведомь, прислать ли к тебе Певушку — сурьезно, ты подумай, два пуда расковки и чугунка тебя на первый раз поддержут.

Я получил от Бечаснова письмо, оно теперь у Борисова. Пришлю к тебе его, уморил меня. Я хохотал, как дурак,— вообрази, у него из слюды окошки, он видит ему сено везут, от нетерпения он бросил письмо, которое ко мне писал, и побежал к сену,— чтобы скорее добежать и сократить дорогу он махнул через чужой двор и второпях наткнулся на цепную собаку, та его и обработала, тулуп ему изорвала, штаны и колено тоже разорваны, он отскочил, зацепился и упал [4]. Умора. Прощай.

Твой *И. Горбачевский*

Бечасный пишет, что он хотел погладить лошадь свою, а она за нежность его к ней хватила его задней ногой. Он пишет: «вот приятности хозяйства». Но никак не признается в своей неловкости.

Александр Ильич целует всех вас и кланяется.

10. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

⟨Петровский Завод.⟩ 3 января ⟨1840 г.⟩

Прискорбно браться за перо, мой любезный Евгений, с тем, чтоб с тобою браниться. Ты меня совершенно забыл: давно об тебе и слуху нет, жив ли ты, что с тобой делается, мой итанцинский хлебопашец. Я слышал от Василия Игнатьевича, что ты приедешь на ярмарку в Удинск; ежели это правда, я радуюсь, но напиши мне, пожалуйста, по какому это случаю, кто позволил, просился ли ты сам, или правительство местное само тебе предложило; опиши мне все подробно.

У нас нового ничего нет. Александр Ильич в Иркутске уже другая неделя; Дмитрия Захаровича тоже здесь нет. Грустно и скучно мне здесь, тем более, что я был болен несколько дней сильной простудой: два дня лежал формально в постели. Из дому я давно письма не получал, все молчит... Бьюсь, как рыба об лед: что заработаю, то на людей и лошадей проживаю; и скучно и досадно хлопотать, и за что и к чему; цели никакой нет, выгода не известна. Оставляю эту невыгодную сторону нашего положения. Скажу тебе, что наши иркутские все здоровы — я недавно имел известия оттуда; от Спиридова я получил недавно письмо, он хвалится своею жизнью: весело, дешево, принят во всех лучших домах, одним словом, живут как нельзя лучше [1]. Давыдовы здоровы и довольны очень Красноярском. Просись туда, что тебе делать в Итанце; не понимаю, зачем ты медлишь: бросай все и поезжай туда: все вознаградишь, там живши. Прощай. Евгений Петрович, пиши ко мне.

Твой навсегда *И. Горбачевский*

11. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

7-го января 1840 года. Петровский Завод

Любезнейший мой Евгений!

Поздравляю тебе с праздниками и с новым годом, желаю тебе всякого счастия от души. Удивляюсь, что ты ко мне до сих пор не пишешь; я не знаю, что с тобой делается, как ты живешь и поживаешь. Жданов приехал накануне крещения и привез из Иркутска много для меня новостей. Наши живут иные хорошо, другие худо. Юшневские в городе живут, равно и Артамон, прочим тоже позволено ездить в Иркутск и в другие места, они этому очень рады и на праздниках были в Урике[1] все почти до одного собраны. Там они все весело время провели и проводят. Жалеют все, что тебя там нет, и зовут к себе. Брось, любезный, свою Итанцу; скажи, что тебе надобен доктор, что ты болен и проч., и будешь там; пиши к своей сестре, и она тебе все выхлопочет; говорят, это очень легко. Сестра Квист тоже ко мне пишет — ежели я хочу перейти в другое место, то она выхлопочет по моему желанию. И я тебе скажу — гораздо лучше чрез родных об этом хлопотать, нежели самому.

Что мне тебе сказать про мое житье? Возку камня я давно кончил; заработал 210 руб. и, поверишь ли, осталось у меня теперь только 25 руб. Борони тебя бог, ежели ты подумаешь, что я мотаю на свои прихоти — нет; хлеб, чай, соль, свечи, кожи, ремни, сани, сено, жалованье людям и проч.— все так и лезет из рук. Теперь я взялся вывезти из лесу 1 000 бревен по 10 коп. с вершка; в пять месяцев хочу кончить эту операцию; вывозка эта будет мне стóить, положим, 300 руб., то 350 сер. я буду иметь в барышах. Я теперь имею трех работников и стряпку. Ты себе представить не можешь, как едят; это настоящие акулы, хотя, впрочем, я им ничего не жалею: хлеб отличный, щи с говядиной, чай, а в праздники и жаркое. Поверишь ли, что отбою нет — столько охотников идут ко мне служить. Вот она выгода в Заводе, и самая важная — в людях нет никогда недостатка, но только редко хорошие; женатых невозможно брать, хотя много охотников. Насонов тебе кланяется, просит 5 руб.; все прочие хорошо живут *.

12. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

⟨Петровский Завод.⟩ 18 февраля ⟨1840 г.⟩

Любезный мой Евгений, не знаю, как мне тебя назвать: ленивым, беспечным или как ты хочешь себя называй, а я на тебя сержусь,— во-первых, за то, что ты совсем меня забыл: прислал записку, и больше ничего; пиши, пожалуйста, скорей и скажи мне подробно, что к тебе Пущин пишет, почему он ко мне ни слова до сих пор не написал.

* Конец письма не сохранился.— *Ред.*

Дмитрий Прокофьевич хочет сам быть скоро в Удинске, а там вместе с Ждановым и к тебе заехать, ежели же не поедет, то пришлет скоро деньги к тебе, это непременно; он тебе кланяется. У нас все по-старому. Поликарп здоров, и его все здесь любят и уважают за его поведение; Александра Ильича еще нет; Мозалевский лежит без ног и без рук, отчаянно болен тою же болезнью и, к несчастью, доктора нет.

Писем я не получал, и мои капиталы еще гуляют в Грузии. В Иркутске все благополучно и все здоровы. Прощай, мой итанцинский хлебопашец, хозяин и торговец орехами. Как тебе не совестно такие большие барыши брать! ты разбогатеешь скоро, или будешь без рубашки. Лобода старик третьего дня умер от простуды. Спешу к тебе писать. Прощай.

Твой *Горбачевский*

13. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

⟨Петровский Завод.⟩ 1840, 8 июля

Я тебя знать не хочу, и ты меня не знай, злой, недобрый мой Оболенский. Ты вообразил себе, что когда в Итанце надобно жить, то не надобно ни к кому писать! Скажи ты Оболенскому, что я его знать не хочу, пусть он меня не знает, я это повторяю, а между тем с одним только условием, будем, друг мой Евгений Петрович, переписываться. Я на тебя ужасно сердит за то, что ты молчишь, во-первых, за то, что ты не едешь в Петровский, и неужто ты хочешь меня уверить, что тебе нет времени, что ты хозяйством занимаешься и проч. Брось все хозяйство. Это проклятое хозяйство, которое так мне надоело, что я бы бежал даже и в Итанцу.

Кроме шуток, как тебе не стыдно не писать ко мне? Ты что себе вообразил? Не хочешь ли ты, чтобы я к тебе приехал, тогда, когда ни гроша нет в кармане? Погоди, приедут ко мне закавказские богатства, тогда не только к тебе приеду, но даже тебе еще и в долг ⟨дам⟩.

Я завожу мыльный завод. Напиши, пожалуйста, мне, каким образом продается у вас зола осиновая — здесь ее нет — бочками ли или весом? Почем? И что будет стоить бочка золы осиновой с доставкою в Петровский? Что стоить будет известка с доставкою? Напиши все мне подробно, когда будет ехать Александр Ильич на возвратном пути. Ежели хочешь, возьми у меня подряд; я тебе деньги пришлю, и бери с меня барыши; золы давай хоть тысячу бочек. Ты мне сделаешь одолжение, а я тебе буду давать деньги или какие хочешь товары. Нарышкин произведен в офицеры [1]. Наши все живы и здоровы. Соловьев уехал в Красноярскую губернию на поселение [2]. Прощай, обнимаю тебя, целую тебя, граф и князь итанцинский.

Твой навсегда *И. Горбачевский*

Поликарп здравствует и кланяется итанцинскому хлебопашцу и хозяину Оболенскому.

Объявление. У банкира Ротшильда открывается новый заем: желающие получить деньги, могут к нему адресоваться.

14. И. И. ПУЩИНУ

Петровский Завод. 1840. Июль 28 дня

Вот уже год, как мы с тобой расстались, добрейший Иван Иванович, и до сих пор я от тебя ни строчки не получил [1]. Огорчение мое превосходит всякую меру; не знаю, к чему приписать твое молчание; не хочу и думать, что ты меня забыл. Я же не писал к тебе, исполняя твою волю; помнишь ли, когда я с тобой прощался, ты мне сказал: «Не пиши ко мне, пока не получишь от меня письма». Не зная твоего намерения, я только исполнял твою волю, но не мог дальше терпеть, решил я сам к тебе писать.

Давыдов [2] ко мне писал, что ты нездоров, что ты скучен и мрачен; я и не удивляюсь, потому что это почти со мною всегда бывает; напротив того я удивляюсь тем, которым приятно и весело жить на этом свете.

Ты, может быть, хочешь знать, что со мной делалось в продолжении года, чем я занимался и как живу в Петровском? Ничего тут нет интересного, ничего в этом рассказе не будет для тебя нового; лучше об этом помолчим и оставим до другого времени. Скажу тебе только, что мои родные до сих пор не получили от душеприказчиков покойного брата своего наследства. Сестра Анна пишет, что не может до сих пор добиться толку и что она была принуждена подать просьбу; не знаю, куда и к кому она подала, и что из этого дела будет, до сих пор не известно. Все обещают выслать деньги и вот уже полтора года, как высылают.

Люди, которые служили у нас в каземате, все тебе кланяются, все живут порядочно; одна Шишкина, у которой всегда что-нибудь случается: недавно у нее украли корову, она ужасно плакала, а там заболела и родила мертвого ребенка; была очень больна и до сих пор еще не поправилась. Салин [3] пошел в Крым, он высочайше прощен; когда ему об этом объявили, целую ночь бедный старик плакал.

Андреевич, наш общий с тобой сожитель, умер в Удинске. Бестужевы живут в Селенгинске и довольны своим местом. Оболенский пашет пашню; Борисов Андрей совсем с ума сошел. Вот тебе новости наши, которые я знаю сам по слухам.

Знаешь ли, что я о тебе имел известие из Петербурга: сестра моя бывала у Анны Ивановны [4] и писала ко мне. Пиши, пожалуйста, Иван Иванович: с нетерпением ожидаю твоих писем; будь так добр, вспомни хоть однажды обо мне; я всем жалуюсь, что ты ко мне не пишешь.

Прощай, будь здоров, обнимаю тебя. Прощай еще раз.

Твой навсегда Иван *Горбачевский*

Дмитрий Насонов очень кланяется тебе; он бьет и порет дичь; у него недавно родился сын; ты был заочно крестным отцом; часто тебя вспоминает.

Скоро буду к тебе еще писать. Кланяйся от меня всем туринским [5].

15. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

Петровский Завод. 17 августа ⟨1840 г.⟩

Не помню, сколько я твоих писем получил, любезный Оболенский; кажется три, и на все тебе отвечаю одним. Извини, Мозалевскому дано 200 руб.— второе твое письмо прежде ко мне в руки попалось, чем первое, первое где-то путешествовало. Мозалевскому ты сделал большое пособие, и он тебе очень благодарен. Мой мыльный завод, над которым ты так жестоко смеешься, почти готов, и помехой служит один котел, который по милости Арсеньева до сих пор не вылит.— Ты скажешь, отчего? — забывает отдать приказание, чтобы его вылили, хотя и форма готова. Не думай, чтобы я шутил, нет,— спроси у Жданова, это истинная правда; я уже перестал и просить и говорить.— Ты говоришь, что выгоды мало будет; не знаю, будет ли большая, но не всегда же будет и убыток. Когда крестьяне соберутся по домам, пожалуйста, узнай подробно о золе осиновой и напиши мне крайнюю цену. Получил я письма от Марьи Казимировны, Бечасного и Соловьева; наши все живы и здоровы; когда-нибудь к тебе пришлю письма.

Я не получаю не только денег своих и никаких, но даже и писем от родных; плохие мои обстоятельства; так надоело жить, все занимай да занимай, что в воду бы бросился. Хочу писать о моем наследстве к графу Бенкендорфу, подожду только последнего письма от сестры. Новостей у нас нет никаких. Я думаю ты уже знаешь, что в России большой голод; в Москве уже пуд муки 6 руб.

Прощай, любезный Евгений, пиши ко мне и не думай, чтобы это были нежности, нет, это потребность души, к тебе привязанной и любящей, будь уверен в истине этих слов.

Поликарп и все семейство тебе кланяется, все здоровы и веселы.

Прощай.

Твой *Ив. Горбачевский*

Насонов тебе кланяется; не помню, писал ли я к тебе, что у него сын родился; ты и Пущин были крестными отцами.

16. И. И. ПУЩИНУ

23 августа 1840 г. Петровский Завод

Наконец, и я дождался, что ты ко мне написал, мой любезный Пущин; но все же я более прав, потому что предупредил и писал к тебе гораздо прежде получения твоего письма. Я был обрадован и сердечно благодарю за известие, которое ты о себе подал; много раз я тебя упрекал за твое молчание, и если бы ты мне перед отъездом не сказал дожидать твоего письма, то давно бы к тебе писал.

Крайне нас огорчило состояние твоего здоровья; смотри, любезный Пущин, держись и не давай разгуливаться твоей болезни, все меры употребляй к излечению и не пренебрегай своим недугом, как ты прежде это делал. Мы тебя здесь часто вспоминаем; порадовал и ты меня, сказавши, что товарищи меня помнят; поклонись всем от меня, а Барятинскому прибавь, что я ему желаю еще и скуки: он хотя и болен, но, вероятно, всегда весел. Я помню то время, когда он почти умирал: мы с ним и тогда, вздор болтая, посмеивались. Милому доброму Павлу Сергеевичу [1] особенно поклонись от меня, а Басаргину — благодари за его память и расположение ко мне.

Ты спрашиваешь, Пущин, что мои дела. Вообрази, что до сих пор сестры мои даже не могут получить и порядочного ответа на их письма, и сколько они ни пишут к душеприказчикам покойного брата, все это ни к чему не ведет. По большей части молчат, а когда и пишут, то противоречат сами себе, всегда обещают и ничего не делают. Непонятная вещь, что делается на этом свете! И по последнему письму от сестры Анны я вижу, что наследство должно пропасть; она, наверное, полагает, что душеприказчики замотают и ничего не отдадут. Я писал к ней, чтобы она обратилась с просьбой к графу [2]; не знаю, послушает ли; это по-моему — и скорее и прочнее. Я теперь остался без гроша по милости этих господ, которые так любят и так приятно владеют чужими деньгами. Я не знаю, как и существовать без домашнего пособия с моим здоровьем и с здешним климатом.

А. И. Мозалевский чувствительнейше благодарит тебя за твое обещание; он до сих пор болен: грудь болит, в боку всегда колотье; теплые воды ему не только не помогли, но даже вред сделали, он больше не мог взять — восемь ванн, и после этого кровь горлом так сильно пошла, что доктор тотчас запретил употреблять их.

Ты, вероятно, получаешь от Анны Ивановны часто письма; уведомь, прошу тебя, все ли твои родные здоровы. Что делает Малиновский [3] и где он? Засвидетельствуй им мое усердное почтение и поклонись от меня.

У нас все по-старому; живем тихо и мирно. Борисов Андрей иногда, говорят, беснуется, а Петр, бедный, через это сильно страждет. Бестужевы здоровы; Оболенский скучает, а Завалишин женился [4]. Все это я знаю по слухам и за верность не отвечаю.

Иногда я смотрю на окошко в твоей бывшей комнате; много в голове

тогда рождается воспоминаний, думая, где вы все, что с вами. Увижу ли я тебя когда-нибудь, мой любезный Иван Иванович? Долго мы были вместе, я привык к тебе. Теперь довольствуюсь тем, что посмотрю на то место, где ты жил: я и тому рад.

Прощай, Пущин, будь здоров. Сделай милость, прошу тебя, пиши ко мне; это есть единственное утешение получать известия от тех, которых любишь. Прощай еще раз.

Помни твоего навсегда преданного *Ивана Горбачевского*

Приписка другим почерком, надо полагать А. И. Арсеньева:
Кланяется А. И. и желает доброго здоровья.

17. И. И. ПУЩИНУ

Петровский Завод. 1840. Декабря 9 дня

Виноват, признаюсь, мой любезнейший, дорогой Пущин! Прости, что до сих пор на твое письмо от 10 октября еще не отвечал. Разные причины были тому помехою, а главное — нездоровье. Вот и теперь уже почти две недели я не выхожу из комнаты; холода и стужи совсем меня уничтожили; теперь, кажется, поправляюсь. Благодарю тебя за твое письмо: ничего для меня не может быть приятнее твоей беседы; ежели бы не совестно было, я просил бы тебя всякую почту ко мне писать — такое удовольствие я имею читать твои письма!

Очень рад, что ты поправляешься в своем здоровье. Ты спрашиваешь, такая ли погода у нас, как у вас: переходи к нам поближе, узнаешь. Но все-таки, я думаю, что наша сторона теплее вашей, хотя обе, правду сказать, хороши. Я ужасно зол на то, что холодно. Ты, я думаю, помнишь наши споры о тепле и холоде: теперь еще хуже боюсь стужи, она меня жмет так, что кости трещат.

Я получил от своей сестры часть денег; теперь мне покойнее, а то приходилось так, что, хоть караул кричи. Не знаю, как твои обстоятельства; по-моему лучше, что ты не имеешь хозяйства и этих мелочных забот, которые ни к чему не служат, кроме — к досаде.

Ежели ты хочешь прислать для могилы Андреевича денег, пожалуй, присылай, сколько тебе угодно; но, мне кажется, и без этого можно обойтись. Александр Иванович[1] получил деньги, 58 руб. серебром, он благодарит тебя усердно, говоря: «Вероятно, Пущин причиною этой присылки».

Наши товарищи, сколько я могу знать по слухам, все здоровы. Один Борисов сильно горюет; говорят, его брату хуже. Поджио так же ко мне,

как и к тебе, не пишет. Что мне сказать тебе о своих занятиях? Трудно об этом говорить, когда ничего не делаешь; кое-о-чем поговорить — не стòит того и не интересно.

Александр Ильич кланяется тебе; около праздника он нас оставляет: он едет в Петербург с серебром. Вот тебе новость и, как ты можешь судить, для нас очень неприятная.

Засвидетельствуй мое почтение сестре твоей Анне Ивановне и Малиновскому: я их всегда помню и память их для меня драгоценна. Две мои сестры живут в Харькове по-прежнему, а Анна уехала в Одессу на время. Ульяна выдает одну из своих дочерей замуж и очень рада, как видно из ее письма. Дмитрий Насонов тебе кланяется; все ожидает от тебя золотых гор.

Пиши ко мне, мой Пущин, прошу тебя, не отказывай мне в этом удовольствии. Кланяйся всем товарищам, а Барятинскому пожелай от меня здоровья такого, чтобы он мог кричать и спорить сильно и громко [2].

Обнимаю тебя. Прощай, будь здоров.

Твой навсегда *Ив. Горбачевский*

Дмитрий Захарович тебе усердно кланяется, равно — Катерина Дмитриевна.

18. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

⟨Петровский Завод.⟩ Декабря 23-го дня ⟨1840 г.⟩

Третьего дня вместе с известкой я получил твое письмо, мой любезный Оболенский, и, вообрази, в это время у меня сидит Жданов, который накануне твоего письма приехал к нам в Петровский.

Дело скорее надобно говорить: после — извинения об том, что я к тебе не писал. Твое письмо тотчас Жданов понес к Арбузову; он все обещает; Жданов живет за этим третий день, наконец, уезжает без денег, потому что тот не хочет дать; меня Арбузов убегает, не хочет со мной видеться и избегает со мною разговоров. Итак, ты без денег. Я бы к тебе собственных послал, ежели б была у меня копейка. Я получил 3 тысячи и все издержал, заплативши долги и купивши сало; это всем известно; но мыловара нет, и мыловарня у меня стоит без мастера.

Известки я не купил, потому что мыловара нет; не знаю, когда я его себе достану, между тем известки у меня уже есть запас. Я им дал воз сена, и они поехали по деревням продавать.

Приехавши в Итанцы, я не имел оказии писать к тебе, потом уехал в Селенгинск и вот теперь только что нашел оказию к тебе писать.

Остальное тебе все расскажет отец Гацицкий [1] и Андрей Алексеевич, который хотел с тобою видеться.

Прощай, любезный Оболенский, душа горюет, сердце разрывается, что тебе нельзя пособить; я и сам занял денег на разные расплаты. Обнимаю тебя, приезжай к нам сам,— я думаю, лучше успеешь, прощай.

Твой *Горбачевский*

19. И. И. ПУЩИНУ

Петровский Завод. 1841. Мая 20-го дня

Два письма получил от тебя, мой любезнейший Пущин! и до сих пор еще не отвечал. Совестно пред тобою и краснею за такую оплошность; прости мне: буду исправней на будущее время. Ты спросишь, что я делаю — не спрашивай о подробностях: холод, нездоровье, нерасположение, хлопоты по хозяйству, хотя все это хозяйство можно отдать за грош,— все это, повторяю, было помехою беседовать с тобою.

Первое твое письмо было от 14 ноября, второе — от 31 января; усерднейше благодарю за твои письма: ты меня не забываешь, который всегда был душевно привязан к тебе. Радуюсь, что твое здоровье поправилось. Очень жаль мне Ивашева и бедных его сирот [1]; к счастию их, что они нашли такую подпору, как ты и Басаргин. Кланяйся от меня Николаю Васильевичу [2], скажи ему, что я всегда помню и люблю его. Твое поручение насчет Якова Максимовича [3] непременно исполню и уже приступил к делу; уведомлю тебя обо всем, когда кончу.

Письма из дому довольно часто получаю. Сестра Ульяна выдала дочь свою замуж за хорошего человека и очень скучает, что давно не видала Малиновского; вероятно, он теперь не бывает в Харькове. Почему ты мне никогда не напишешь о твоих родных — здоровы ли они, каково живет Анна Ивановна и часто ли тебе пишет? Мне бы это было приятно и интересно знать.

Новенького у нас ничего нет: все по-старому. Все тебе кланяются. Крестница Марии Николаевны, Софья Михайловна [4], много-много тебе кланяется; живет в большой бедности и жалуется на плохое свое здоровье. Насонов тоже кланяется тебе и кое-как перебивается. Александр Иванович Мозалевский здесь еще живет. Дмитрий Захарович и Катерина Дмитриевна помнят тебя и всегда вспоминают. Он вышел в отставку, торгует белкою и разными разностями; иногда приезжает в завод по торговым делам; живет постоянно в Селенгинске мирно и спокойно.

Прощай, любезнейший Иван Иванович, прости мне, что мало пишу к тебе. Будь уверен в истинной преданности к тебе твоего навсегда

Ивана Горбачевского

Как слышно, все наши здешние здоровы, кроме Андрея, который всегда и беспрестанно беснуется.

20. И. И. ПУЩИНУ и Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

Петров⟨ский⟩ Зав⟨од⟩. 1842. Августа 22 дня. 12 час. ночи

Сию минуту только что пришел от Николая Ивановича и сажусь к тебе писать, мой любезнейший, добрейший Иван Иванович! Два письма я от тебя получил: первое от 20 марта, которое было прислано после того письма, которое не ко мне было писано, и от 10 июля, и на которое я к тебе еще не отвечал, дожидая приезда Н. И.[1]

Я так рад приезду твоего брата, так он на тебя похож, что, разговаривая с ним, я как будто с тобой говорил и говорил; голос даже у вас одинаков. Много я к тебе хотел писать, много ты задал таких вопросов, что я хотел сочинить целую тетрадь и навести на тебя этим такую же хандру, какой я здесь очень часто бываю подвержен, но удовольствие, радость моя, что я вижу человека близкого к нам, благодарность моя к тебе, Пущин, неизъяснима, невыразима. Я чувствую и вижу, что ты меня не забыл — этому доказательство дружеское расположение и ласки Николая Ивановича, который по приезде своем к нам в Петровский вечером тотчас прислал за мною и обещал завтра, по осмотре завода, быть у меня.

Не обвиняй меня, сделай милость, что я редко пишу. Клянусь тебе всем для меня священным, что мне отвратительно писать через руки правительства письма, где бы я хотел говорить с тобою со всею откровенностью растерзанной души. Ежели бы была часто оказия, я бы тебе отдыху не дал и надоел бы своими посланиями. Скажи, пожалуйста, что я могу писать к тебе, когда наши письма везде читаются? Меня это просто приводит в бешенство и отчаяние. И сколько бы я мог тебе новостей разных пересказать; сколько бы я мог получить от тебя утешений, наставлений и советов, ежели бы я мог с тобою откровенно говорить так, как мне бы хотелось! [2]

Ты скажешь, что мог бы это делать с жителями Иркутска. Нет, ты жестоко ошибаешься, ежели ты думаешь, что я ленюсь или ленился писать к ним. Никогда! Но, поверишь ли ты, что я с тех пор, как на поселении здесь, от Борисова получил на все мои письма одну записку, писанную карандашом в пять строк, а от Поджио — в полном смысле слова — два письма и то давно, я думаю, тому года два уже. Будь справедлив: не смеш-

но ли мне надоедать своими письмами тем людям, которые даже на мои письма не удостаивают и обратить внимание. И я перестал писать в Иркутск. Одна Мария Казимировна иногда напишет ко мне и то редко, на которые письма я всегда отвечаю.

Всякий раз, когда ты пишешь ко мне и обвиняешь меня в том, что ко мне редко пишут потому, что я сам ленюсь, мне всегда бывает прискорбно и больно, что ты так обо мне думаешь; мне бы не хотелось и я боюсь, чтобы ты обо мне худо не думал. Я так люблю и уважаю мнение моих товарищей, что кривой толк их обо мне приводит меня в содрогание.

Черт возьми, покуда это будет, что малейшая погрешность в поступке, невинная, неумышленная погрешность ставится в строку и осуждается как преступление против приличия и всяких правил! Нам каждому около 50 лет, и все-таки друг друга почитаем ветрогонами, подобно Бечасному и Михайле Бестужеву. Клянусь тебе, Пущин, это несносно! Вот тебе на деле пример Муханова. Вообрази, на днях я от него получил письмо о заказах железных вещей для него, где, между прочим, он меня всеми силами тащит и просит, чтобы я перешел к ним жить, т. е. в Урик или куда-нибудь поближе к ним; уговаривает меня и, между прочим, советует мне бросить моих детей любви, которых он насчитал около десятка. Это письмо я получил в присутствии здешнего нашего управителя, помощника его и всех здешних чиновников, которые в то время у меня сидели и пили чай. Я им прочитал это письмо вслух: они умирали от смеха и хохота, знавши мою жизнь и мое физическое состояние. А мне было так грустно и больно, что я почти расстроился в здоровьи, и так меня это огорчило, что я до сих пор не могу собраться с силами ему на эту глупость отвечать. Он тоже скажет, как и другие, что я не отвечаю на письма и редко пишу. Но, скажи сам, любезнейший Пущин, возможно ли на подобные вещи отвечать? И еще так безбожно клеветать и слушать бабских сплетней!

И поверишь ли — странную вещь я тебе скажу, что посторонние, чужие люди, но которые меня знают, со мною знакомы и знают мою жизнь, эти люди лучше обо мне думают, лучше судят и совершенно меня во всем оправдывают, нежели друзья и товарищи.

Ты скажешь, отчего же это происходит? Оттого, что мы слишком строги друг к другу, что мы слишком взыскательны, раздражительны, оттого, что судим все по слухам, оттого, что удачу, счастье или случай хороший в оборотах, в торговле, в приобретении считаем за расчетливость, аккуратность и воздержание в жизни; неудачу, местность, преграду, незнание в новой жизни, неопытность, даже доброту сердца, сострадание к ближнему, к бедности, даже характер человека — все это в другом забываем, обвиняем и сыплем укоризнами. За что, спрашиваю? За то, что не умеешь быть жидом, за то, что не обогатился, за то, что он одинок, за то, что не эгоист и скряга, за то, что обстоятельства, местность проклятая и неопытность противятся всему? Жалко, горестно говорить это, но между тем все это — сущая прав-

да. Разбери, любезный Пущин, подумай хорошенько, вникни во все, распространи все то, что я еще не досказал, и ты совершенно будешь со мной согласен.

Ужасно жаль, что Николай Иванович хочет завтра к обеду выехать отсюда; может быть, нам еще посторонние люди помешают быть наедине. Много я сказал бы обо всем, многое я бы ему объяснил и пересказал бы то, чего ты никогда не услышишь и никто к тебе об этом не напишет.

Ты просишь меня, чтобы я не хандрил, чтобы я не скучал — невозможно, мой милый Пущин! Всю жизнь мою я всегда был между товарищами; я теперь одинок. Будущности никакой, надежда всякая отринута. Мозалевский гораздо беднее меня, но он счастлив: у него одно утешение и радость — кабак. Я, к счастию моему, не могу иметь подобных утешений, но зато у меня другие душевные потребности: я страдаю за себя и других; это мой удел, и я ему покоряюсь.

Прошу тебя — не скучай моей хандрой, не думай, чтобы я не хлопотал и не действовал: все делаю — все этому свидетели — и все неудача за неудачей, потеря за потерей, расстройство за расстройством. Я прожил 4 тысячи рублей, наделал кучу вещей, думая золотые горы приобрести,— все потерял, все расстроил и только рад тому, что моя совесть чиста, что всем прямо в глаза гляжу, что не потерял доброго имени и ничего не приобрел. Конечно, в глазах других это — худо, глупо, преступно — оттого я и десять детей любви имею,— но это все ничего. Я душевно спокоен, уважаем знакомыми, любим окружающими. Меня все обвиняют, что я до глупости добр, не могу никому ни в чем отказать, не аккуратен, не хозяин, расточителен не для себя, а для других. Я все это знаю; знаю, что доброта моя не только глупа, но вредна для меня; я знаю, что скоро буду без куска хлеба,— и все это отчасти местность, обстоятельства, а главное мой глупый характер, который состоит в том, что чужое добро лучше беречь умею, чем свое. Все это меня расстроило, уничтожило физически, но не нравственно, и мне кажется, чем более я проигрываю в физическом, тем более нахожу утешения и силы в нравственном. Не думай, мой неоцененный Пущин, что ежели я тебе жалуюсь на мое положение, то это значит мое отчаяние и мой вопль на сострадание; нет, это только излияние души встревоженной, тайной горести к человеку, которого люблю и уважаю всей душою.

Вы оба [3] меня спрашиваете. как я живу, чем занимаюсь? Признаюсь,— материя скучная писать об этом, но что-нибудь скажу. Занимался я прежде по совету глупому Арсеньева извозом бревен в казну, имел 14 лошадей; потерял на этом убытку до 900 руб. — и бросил. Взялся по совету других за мыло, потерял до 2 000 руб.,— и главное, все по совету Ильинского, покойника,— и кажется, и это брошу, потому все с убытком действую. Мы с Ильинским думали чудеса делать, и он же взялся продавать все оптом; взялся в первый раз продать, и я получил убытку 600 руб.; второй раз — убытку около 400 руб., наконец, он умер. У меня теперь денег нет; губер-

натор иркутский задержал остальные 2 000 руб. до будущего года, и теперь я не знаю, что делать: без денег и калача не получишь, не только мыла сварить [4]. Буду жить целый год в долг, а что работать и делать, не знаю; придется продавать то, что в запасе. Вы скажете, зачем предпринимать то, от чего не ожидаешь выгоды. Что же мне делать, когда ошибаются в этом знатоки, местные жители, торговцы, а мне и подавно можно ошибиться. К тому же меня многие обманули: взяли деньги и пропали, в том числе и 200 руб., которые я чрез одного каналью-жида послал Борисову.

Теперь скажу в ответ вам еще на второе ваше письмо, господа туринские экономы, думая, однако же, что я уже вам наскучил своим вздором. Пущин пишет: «Не понимаю, почему ты не ищешь соединиться с близкими товарищами», и прибавляет: «С самого начала меня удивило твое намерение остаться там» и проч. Вспомни, ты, любезный Пущин, то время, когда мы собирались на поселение и когда объявили свое желание, куда быть поселенными. Скажи мне, кто меня приглашал с собой ехать и жить вместе? Никто. Близкие мне нашли других; я остался один. Я просился (кажется, с Оболенским) в Удинск, а потом в Петровский; нас в Удинск не пустили. Я сначала радовался, что меня на старом пепелище оставили; и точно, я сначала против других выигрывал своим положением. Но ты сам знаешь, все ли остались на тех местах, где были прежде поселены; все сговорились, перепросились и соединились; а я впоследствии остался один. Обстоятельства и местность довершили то, что неопытность и незнание жить одному с чужими людьми показывало начало хорошее. Просить же с другими жить теперь я ни за что не стану, потому что ко мне не пишут; а насильно милым не хочу быть; лучше буду горевать, страдать, но быть в тягость кому- либо ни за какие благополучия не соглашусь.

Все, чего не дописал, доскажу Николаю Ивановичу. Жаль только, что он у нас мало поживет. Насонов трудится в поте лица и отлично себя ведет — перестал пить и кланяется вам; у меня бывает очень часто, и у нас всегда разговор с ним о вас. София живет в бедности; Лука в казенной работе день, ночью хворает. Отец Капитон здоров, усердно кланяется обоим вам и никуда не был назначен. Отец Поликарп жив, здоров, кланяется, Анна Васильевна тоже; Хариеса чудесная и прекрасная девица,— мне кума и еще не вышла замуж, да никто и не сватался [5].

Ничего мне так не обидно, что Оболенский утверждает, будто бы я на его письма не отвечал; свидетельствуюсь отцом Поликарпом, что я писал к тебе, любезный Оболенский, но между тем этот Жданов кучу моих писем затерял и после мне при отце Поликарпе отдал назад; и ежели бы ты дал знать мне, которого числа будешь в Удинске, я бы непременно приехал бы с тобою лично проститься. Ты желаешь, чтобы я женился; мне это все говорят, все мои знакомые советуют, а сестра просит даже, чтобы я женился. По моему, мне бы самая лучшая жена была бы или бы Пущин, или бы Борисов, или ты, или бы Поджио. Вот мои жены, с которыми я готов

жить целый свой век. Что касается до женщин — не наша, брат, еда — лимоны!

Обнимаю мысленно вас, целую, мои милые, любезные, Иван Иванович и Евгений; будьте здоровы; простите, ежели письмо мое вам наскучит. Когда бы я с вами увиделся, мне кажется, я проговорил бы с вами три месяца. Много я вам еще не досказал, ни время, ни место не позволяют продолжать с вами беседу. Прощайте и пишите

к вашему навсегда *И. Горбачевскому*

Завалишин вместо поселения оставлен в работе, и в прибавок наделал грубости помощнику и теперь по приказанию генерал-губернатора сидит в кандалах и работает [6].

21. И. И. ПУЩИНУ

Петровский Завод. 1843. Октября 30-го дня

Долго я ждал твоих писем, любезнейший Иван Иванович, и, видя, что ожидания мои напрасны, решился сам к тебе писать. Не верю, чтобы ты меня забыл, может быть, болезнь или другие причины твоего молчания. Не знаю и не помню — это так давно было,— от которого числа ты писал ко мне последнее письмо. Скажи мне откровенно причину твоей ко мне немилости; странно для меня будет, неужто и ты умеешь сердиться. Было бы за что,— пожалуй, сердись и молчи; но так как, по-моему, ничего этого быть не может, что же причиной твоего молчания? Больно уже и этого утешения последнего для меня лишиться — читать письма тех, которые были некогда близки ко мне.

Описывать тебе мою жизнь не стану: она однообразна от начала до конца; тут ничего нет интересного ни для кого. Завидна ваша участь быть вместе с теми, с которыми жили прежде: моя одинокая жизнь без друга, приятеля, близкого товарища прежнего — тяжела физически и несносна нравственно.

Прошу тебя, любезный Пущин, поклонись от меня Ивану Александровичу Анненкову и скажи ему, что у меня недавно была старуха Овчинникова, бывшая нянька у них и приехавшая сюда к родным, кажется мне, еще прошлого года; просила меня написать к нему о высылке денег, которые, как она сказывает, ей принадлежат (не знаю сколько) и которые она оставила у Ивана Александровича, боявшись взять их с собою в дорогу от разбойников. Я обещал ей это сделать; остальное — не мое дело.

Кланяйся от меня всем товарищам. Оболенскому можно бы обо мне вспомнить; ему кланяется отец Поликарп с семейством, которое все живо и здорово. Крокодилов кланяется Барятинскому, Насонов — тебе: живут

вместе. Шишкины — в ужасной крайности. Кланяйся от меня и засвидетельствуй мое почтение Николаю Ивановичу. Письма редко получаю из дому: все больны и хворы — только и новостей оттуда получаю.

Прощай, Пущин; будь здоров. Пиши ко мне.

Твой *Иван Горбачевский*

22. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

⟨Петровский Завод.⟩ 10 июня 1848 г.

Очень рад оказии, добрейший Дмитрий Иринархович, написать к вам хотя несколько строк и благодарить вас за письма, которые вы уже давно ко мне писали, но которые я не забыл и, кажется, на последнее еще не отвечал. Что мне вам сказать о себе, право, трудно,— одно и то же, однообразие в жизни, утомительное и не интересное,— новостей о наших никаких не знаю, хотя доходят до меня слухи, что все живы и здоровы;— здоровье мое более хуже, нежели хорошее — ревматизм в ноге часто меня тревожит, не говоря уже о геморрое.

Несмотря на все ваши отношения к вашим родным, которые очень уважительны, я удивляюсь, однако же, вашему терпению. Жить в Чите одиноким так, как вы привыкли жить,— скажите, неужто вы навсегда там хотите остаться;— я совершенно понимаю ваши чувства и обязанности, которые вы на себя взяли, но неужто это всегда, всегда и всегда так будет [1]— я боюсь подумать об вашей Чите, и там жить до скончания века. Нет, Петровский — столица против Читы, хотя наружно, разумеется, наружно,— тут больше и ничего нет, но, по крайней мере, шум, стук, движение народа, а особливо летом. Разумеется, это все относительно к нашему положению,— и завод кажется огромным городом против деревушки [2]. Потому-то я и пишу о жертве, которую вы положили и пожертвовали и которая, как для меня кажется, велика, огромна.

Скажите мне, читаете ли вы газеты, и ежели читаете, какие именно; мне бы хотелось это знать, зная ваше любопытство и необходимость читать для мыслящего человека, интересно знать, что вы получаете?

Прощайте, будьте здоровы, с этим татарином пишите ко мне, только, пожалуйста, четко,— простите за мою просьбу и откровенность, досадую на себя, что не могу разобрать вашего почерка [3], тем более, что я сделался совершенно дряхл своими глазами,— будьте здоровы, помните, прошу вас, меня. Я очень дорожу вашей памятью, можете быть в этом уверены.

Желаю вам всего лучшего.

Ваш *Ив. Горбачевский*

23. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

Петров⟨ский⟩ Зав⟨од⟩. 1848. Августа 5-го

Не хочу упустить оказии, любезный Дмитрий Иринархович, чтобы к вам чего-нибудь не написать, чтобы с вами о чем-нибудь не поговорить. Но о чем, все и все по старому, мое здоровье так же плохо, как и прежде было — гемороидальный припадок меня замучил,— но что касается до жизни, то вам расскажет лучше всего наш добрый секретарь Филипп Андреевич Машуков — податель этого письма [1].

Что же касается до внешних моих сношений, то я недавно получил письмо от Юшневской, которая живет в Кяхте с зятем, говорит, что Ноночка, дочь Никиты Муравьева, вышла замуж за какого-то Бибикова [2], с приданым 700 тысяч, но что ее муж Бибиков не богатый человек и племянник родной Матвею Муравьеву.

В Иркутске наши все здоровы, а Сутгофа взяли в солдаты в Грузию [3],— вот и все новости,— ежели будет возвращаться Филипп Андреевич, пишите ко мне с ним, что делаете, как живете, что думаете делать и проч. и проч.

Бестужевы здоровы и живут спокойно. Прощайте, Дмитрий Иринархович, будьте здоровы, пишите ко мне непременно, только четко,— желаю вам всего лучшего.

Вам преданный *Ив. Горбачевский*

24. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

⟨Петровский Завод.⟩ 5 генваря 1849 г.

Благодарю вас, добрейший Дмитрий Иринархович, за ваше письмо чрез татарина, который еще здесь находится, но я пишу к вам через Гаврилу Алексеевича Третьякова, наш знакомый, едет к вам в Нерчинский Завод и обещал к вам непременно заехать. Гаврила Алексеевич все вам скажет, что до меня касается собственно,— но теперь я скажу вам о ваших топорах. Они посланы с Честохлыевым, т. е. с его извозчиками, но ошибка была со стороны Комиссии или Оскара Александровича [1], что об этих топорах не было написано в фактуре, оттого они и бродили, но Оскар Александрович приказал вам послать новых топоров и их доставит вам татарин, при нем будет приложено письмо или записка.

Что касается других поделок железных, то цена их обозначится тогда, когда они сделают. Механизм этой поделки расскажет вам Гаврила Алексеевич. Я вам советую прислать денег ко мне рублей 25 или 50 и написать, что вам нужно. Я все вам куплю и пришлю при первой оказии, что останется от денег, то тоже вам обратно пришлю. Это бы вам давно так надо бы было сделать, тогда бы вы ни в чем не нуждались и ежели б что у вас и лишнее осталось из железа, то вы бы в убытке не были бы. Поговорите об этом с Гаврилой Алексеевичем и сделайте то, что я вам советую,— он к вам

обратно заедет, тогда пишите с ним и пришлите денег, а я вам все сделаю. Что говорят, что здесь железа нет, то это чистая ложь и выдумка. Железа нет полосового в продаже, но железо на поделку всегда есть.

Новенького ничего нет, писем ни от кого не получаю, слышал, что все живы и здоровы,— прошу вас, Дмитрий Иринархович, напишите мне, с кем вы в переписке из наших товарищей и что они к вам пишут о своем житье-бытье.

Прошу вас полюбить Гаврила Алексеевича, человек добрый и особливо для меня, он хочет у вас отдохнуть,— ежели чего не успеете ко мне написать, скажите ему на словах откровенно, он мне все перескажет.

Советую вам переехать из Читы без всякой церемонии, скажите цель вашу оставаться там, вы скажете, как оставить семейство? Так же, как оно было и без вас, но об этом после поговорим. Прощайте, пишите, будьте здоровы.

Вам преданный *Ив. Горбачевский*

25. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

⟨Петровский Завод.⟩ 1849. Октябрь. 9 дня

Если мы будем так часто писать один к другому, любезнейший Дмитрий Иринархович, и ежели наши письма так будут скоро доходить, то что же из этого выйдет? Письмо ваше от 30 мая я получил, вообразите себе, 5 октября,— но и за это очень вам благодарен; я рад всегда получать от вас письма, всегда вам за это благодарен и всегда к вам готов писать и отвечать. Хандра и разные неприятные пустяки в жизни заставляют иногда меня, что я не в состоянии писать, тем более боюсь повторять одно и то же, которое, я думаю, нам всем надоело.

Но, впрочем, я вам скажу приятную для меня весть — вообразите, у меня в сентябре, в начале, гостил здесь в Петровском Иван Иванович Пущин; — вообразите мое удивление и мою радость, когда он ко мне вошел в комнату. Вы себе можете представить эту минуту. Жаль, что он только, можно сказать, взглянул на меня и скрылся. Он был отпущен на теплые воды Туркинские и, долго не думая, рискнул поворотить оглобли и чрез Селенгинск, Петровский Завод проехал на воды. Сделал 200, или 300 верст лишнего и без позволения, зато нас утешил, порадовал, и мы ему за эту жертву очень благодарны [1].

Вы ежели с ним в переписке, то об этом не поминайте официально; — говорил я с ним о вас и много вспоминали.

Очень вам благодарен за ваши хлопоты о точилах — и сюда татарин их привез, но я не купил, дрянь и дорого, здесь можно дешевле купить, хотя худого качества и которые не могут сравниться с вашими, только хорошими, но дряни везде много.

Бечаснов, о котором вы спрашиваете, жив и здоров и живет около Иркутска, женился и имеет троих детей, занимается хозяйством и покупает семена для масла и продает.

Николай Бестужев тоже у меня был в гостях и, вообразите, разъехался с Пущиным дорогою. Пущин очень жалел об этом.

Здоровье мое дряхлеет, как и сам я, очень часто бываю нездоров,— время и жизнь одинаковы и однообразны Я удивляюсь, что вы ничего у нас в Петровском не покупаете,— неужто вам не нужно даже топора?

Прощайте, Дмитрий Иринархович, будьте здоровы. Прошу вас писать почаще, не упускайте оказий.

С истинным к вам почтением и преданностью

остаюсь ваш *И. Горбачевский*

26. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

⟨Петровский Завод.⟩ 25 ноября 1849 г.

Не пеняйте на меня, добрейший Дмитрий Иринархович, что я к вам редко пишу,— никогда я оказий не пропускаю, но не знаю, где эти письма деваются. Я писал к вам с татарином, еще с кем-то, не помню, и всегда на ваши письма вам отвечаю — в этом вы можете быть уверены. Записку вашу тоже я получил от 14 октября. Извините, что так называю ваше письмо, потому что мне было больно, что вы мало ко мне пищите. Но не думайте, чтобы я был взыскателен — знаю ваше положение, что можно написать в такой однообразной жизни, как ваша, я по себе сужу — следовательно достаточно всегда для меня, как бы вы ни писали, но только, чтобы знать, что вы живы и здоровы.

Благодарю вас горячо и искренне за вашу обо мне память и расположение, я умею это ценить и прошу вас не оставлять меня впредь тем же расположением и вашими письмами.

Новенького у меня ничего нет — все одно и то же; но только меня удивило, что вы до сих пор не знаете, что Пущин не только давно-давным приехал в Иркутск, но даже, ехавши на воды, был у меня здесь в Петровском Заводе. Я к вам об этом писал подробно. Пущин, я думаю, уже выехал из Иркутска,— он хотел 20 ноября отправиться во-свояси [1].

Кредович был у меня, отправился дальше, и хотел опять к 1 числу декабря приехать ко мне — буду с ним тоже писать к вам, все, что нужно будет ему, и чем могу услужить, все по вашему желанию сделаю.

Здоровье мое плохое, очень часто болею, и вот недавно простудился,— грудь болит.

Прощайте, Дмитрий Иринархович, будьте здоровы, пишите ко мне при всякой возможности, хотя немножко, ежели вам время позволяет, будьте так добры, не оставляйте вам преданного

Ив. Горбачевского

27. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

⟨Петровский Завод.⟩ 19 июня 1850 г.

Любезнейший Дмитрий Иринархович!

Благодарю вас усерднейше за ваше последнее письмо, с г-ном Родкевичем посланное, я всегда радуюсь, получа об вас какие-либо известия, и то, что вы меня не забываете. Я радовался, что у вас затеивается военная жизнь в Чите [1], авось либо она вас изгонит из Читы поближе, хотя не к нам, то зато к России, переезжайте жить в Красноярске или Тобольске, но только не в Чите — жертва уже большая вами принесена. Мозалевский просился к Соловьеву и его перевели из Петровского Завода. Послезавтра едет туда,— дали ему прогоны и кормовые по 90 коп. асс. в день, не знаю, правда ли это, но он мне сегодня об этом говорил — ссылаюсь на казака, который его препровождает.

Нового ничего нет, писем не получал из Иркутска,— жаль мне очень Владимира Алексеевича, который нас оставляет,— кроме самого лучшего и благородного я от него ничего не видел. Потеря для меня важная, больно быть в таком положении, что люди мелькают пред глазами и теряешь их всегда почти навсегда.

Письмо ваше отдано по принадлежности, старик все еще болен. Пишите, Дмитрий Иринархович, иногда, ежели не всегда, у вас иногда бывают верные оказии.

Прощайте, будьте здоровы. Не забывайте вашего преданного

И. Горбачевского

28. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

⟨Петровский Завод.⟩ 8 апреля 1853

Любезнейший Дмитрий Иринархович!

Простите, что буду вас беспокоить просьбою, которая ежели вас затруднит, то вы можете ее и оставить без исполнения. Мне хочется съездить в Иркутск, на самое короткое время и есть к этому хорошая оказия (разумеется, по первому пароходу). Я в затруднении, кого об этом просить — г. генерала Запольского или г. генерала Венцеля [1], и я не знаю, могут ли они отпустить меня туда, и тоже не знаю даже, можно ли генерала Запольского об этом просить.

Будьте так добры, нельзя ли от кого-нибудь узнать об этих всех обстоятельствах и меня уведомить, что я должен буду делать. Ежели это затруднительно будет для кого бы то ни было, то я свое намерение готов и оставить. Иван Варфоломеевич Поплавский [2], бывши здесь, хотел писать

нашему доктору о гвоздях, следовательно, вы ему можете сказать о результате моей к вам просьбы, он напишет к доктору и тот мне сообщит.

Я был на свадьбе у Мих. Бестужева в Селенге, он женился на Селивановой.

Нового нет ничего, даже здесь и газет нет. Простите, спешу. Иван Игнатьевич едет, с ним едут многие наши мастеровые, в случае просят вашего покровительства, они все вам знакомы.

Будьте здоровы, ваш преданный *Иван Горбачевский*

29. И. И. ПУЩИНУ

⟨Петровский Завод.⟩ 5 июня 1854

Через час отправляется Оскар Александрович в Иркутск, пользуюсь этим случаем, мой дражайший Иван Иванович, пишу к тебе, а вместе с тем и начинаю благодарности за твое письмо, мною полученное от тебя от 16 марта; я его не читал, а пожирал, так давно мне хотелось читать твои письма, прости, что до сих пор не отвечал тебе, выжидал все случая.

Не могу тебе такими подробностями отвечать о разных разностях, потому что здесь у нас новостей мало, а о своих тоже мало знаю, ежели что и знаю, то от Сергея Петровича или от Сергея Григорьевича [1], которые, между прочим сказать, очень-очень редко когда что-нибудь мне напишут, но я и за это им много благодарен. Михайло Бестужев недавно был здесь,— весел, счастлив и доволен, но чем — этого уж я тебе не могу сказать,— вероятно, он лучше сам знает. Прочие у них все здоровы. Николай, говорят, оглох как чурбан и раздражителен стал как старая баба.

Очень рад, что Павел Андреевич [2] был у тебя, дал мне слово побывать у тебя и сдержал, молодец.

Благодарю тебя усерднейше за все подробности, за все известия, благодарю тебя за твое участие во мне, за твои теплые чувства. Не знаю, что к тебе писать и как выразить все то, что у меня на душе, когда я с тобой разговариваю, хотя бы то было на бумаге. Не говори мне о переводе на другое место,— но вместе с тем и не думай, чтобы меня тут привязало что-либо особенное,— свой угол, привычка, боязнь новых знакомых, новых хлопот,— недостаток во всем, хотя и крайности нет,— неизвестность и проч., все это заставляет меня быть решительно на своем месте, и я никогда и никогда не соглашусь переехать куда-либо. Тем еще более, что я уверен, что таких людей, какие здесь около меня, и с кем я знаком и приятель, при моих привычках и летах, трудно мне уже искать и сыскать в другом месте,— следовательно, я решился доживать, как говорят, свой век там, где меня судьба бросила. Конечно, я не на розах отдыхаю,— это я один чувствую,— потому что здоровье мое так плохо стало, что ни на что не похо-

же,— вот не далее, как неделю тому назад, я лежал больной горячкой и воспалением почек, чего у меня никогда не бывало, и теперь еще немного страдаю, но заботы, чтобы было чем жить, заставили меня выходить, несмотря на запрещение доктора. Конечно, это неприятно и раздражительно, да что же делать?

Ты говоришь, мужайся и крепись,— черт возьми, вообрази, я от этого мужества начал иметь уже седые волосы.

Мои обстоятельства теперь переменились: в двух приисках я был комиссионером,— а теперь оба эти прииска закрылись, и я теперь как рак на мели. Это не беда, что я с седыми волосами, а беда в том, что я чувствую потребность спокойствия — и душевного, и телесного, а этого-то и нет, и не могу до этого дойти какими-либо путями. Когда этого я здесь не могу найти, при всех пособиях и способах и обстоятельствах, привычкою и давностью приобретенных,— где же я найду все это в другом месте,— не говори мне о переводе.

Жму руку, обнимаю тысячу раз к груди моей Евгения Петровича, скажи ему, что я его всегда и всегда помню, желаю ему здоровья и счастья, всегда я радовался, что он женился,— он имеет теперь будочность, и в будущем, может быть, радуется; он не так поступает, как мы с тобой, Иван Иванович, советую тебе — женись,— не доживай до холостой старости, а то тебе так же будет и скучно и грустно, как и мне.

Прошу тебя, Иван Иванович, поклониться всем, кто меня помнит там у вас. Прощай, будь здоров, обнимаю тебя,— пиши хотя бы то редко было.— Оскар Александрович едет, спешу его застать. Прощай.

Твой *И. Горбачевский*

30. Н. А. БЕСТУЖЕВУ

⟨Петровский Завод.⟩ 1854. Октября 8

Николаю Александровичу

В прошедшее воскресенье Оскар Александрович приехал из Иркутска,— виделся там с генералом [1] и с Петром Васильевичем Казакевичем [2] и проч. Но не в этом дело, любезнейший Николай Александрович! Оскар Александрович сказал мне новость, сказанную ему г-ном исправником, что будто бы наших Борисовых в Разводной убили. Петра Ивановича нашли зарезанным, а Андрея повешенным,— признаюсь тебе, меня это известие крепко поразило [3]. Я с ними был очень близок и мне жаль их, так несчастно кончивших свою горестную жизнь. Вы скорее получаете из Иркутска известия,— напишите мне с первой оказией,— правда ли это и каким образом это случилось, и что за чертовщина там делается, что режут и вешают

людей, сидевших всегда дома, бедных, у которых, я думаю по нашему, и копейки никогда не бывало лишней. Сердце у меня сжимается, подумавши, ежели это правда.

Оскар Александрович приехал и будет опять делать здесь новую машину, а на Шилке пароход новый,— старый пароход, говорят, адмирал Путятин расхвалил, и он исполняет свое назначение отлично. Но в сколько сил будет новая машина — еще неизвестно, это известие привезет сюда сам Петр Васильевич и, вероятно, он и к вам заедет.

Особенного у нас ничего нет, все по-старому. Но фабрика идет вперед та, которую строил Николай Николаевич [4].

Николай Николаевич приказал сказать и просил написать к Михайле, что оси и втулки готовы,— только решетки не готовы, но скоро и они поспеют, тогда все разом пришлется.

Сестрицам твоим мое усердное почтение и поклон усердный равно и Марии Николаевне [5]. Михайлу обнимаю.

Прощай, будь здоров.

Твой *Ив. Горбачевский*

За газеты благодарю.

31. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

⟨Петровский Завод.⟩ 20 октября 1854

Добрейший Дмитрий Иринархович!

Податель этого письма, наш здешний общий знакомый и приятель Борис Васильевич Белозеров, едет к вам в Читу сдать за себя рекрута, как он, так и рекрут, во всем исправны, и последний, как все говорят, очень годный, но знаете, всякий, ехавший за этими делами, едет со страхом. Этому никто не виноват, но так уж водится,— следовательно, прошу и вас покорнейше, Дмитрий Иринархович, ежели в чем нужно будет, пособите Белозерову. Борис Васильевич добрый и честный человек и стоит всякого внимания.

На днях я получил верное известие, но не подробное, что наши Борисовы (Петр и Андрей), жившие около Иркутска, оба убиты, один (Петр) зарезан,— а Андрей повешен,— как это сделалось, мне не известно,— дожидаю уведомления. Бедный Петр, что за жизнь, что за кончина [1].

Будьте здоровы, желаю и вам всего лучшего. Прошу вас еще, пособите Борису Васильевичу и вашим советом — и ежели нужно, то и делом.

Остаюсь ваш истинно преданный

Иван Горбачевский

32. Н. А. БЕСТУЖЕВУ

⟨Петровский Завод.⟩ Декабря 27. 1854

Любезнейший Николай Александрович!

Иннокентий Васильевич обещал доставить тебе газеты. Я очень рад этой оказии, чтобы скорее вам возвратить номера прочитанные и вместе с тем просить еще новейших померов. Благодарим тебя, Михайлу и Семена Петровича за эти газеты. Это для нас величайшее одолжение и просим вас, присылайте на будущее время; вот у вас скоро будет оказия — повезут колокола, тогда с обратными ямщиками на имя Бориса Васильевича [1], вероятно, вы не откажетесь прислать сколько-нибудь номеров.

У нас все по-старому и все то же,— беспрестанно ожидают только приказа что строить — пароход или машину и проч.

Мое усердное почтение и поклон твоим сестрицам. Поздравляю всех и всех с новым будущим годом и желаю всего лучшего.

Я недавно узнал, что у Михайлы родилась дочь [2] — поздравь от меня Марию Николаевну и его с новорожденным. Михайло напрасно говорит, что он ко мне не пишет оттого, что я к нему не пишу — старая шутка и старая отговорка,— лучше бы он сказал: нечего писать, нет времени, или не хочу писать. Считаться письмами я не могу,— нужно, есть время и оказия, я тогда и пишу.

Ты обещал сюда приехать с Сергеем Петровичем и вас обоих до сих пор нет; признаюсь, я этому не очень поверил — история моего свидания продолжается несколько лет с Сергеем Петровичем. Я думаю, она продолжится и надолго.

Благодарю тебя за твое письмо. Оскар Александрович и Алекс. Петрович тебе усердно кланяются. Я вчера у них был, сказывали, что они тебе писать будут. Получили вы письмо севастопольское, которое было вам послано? [3] Прощай, будь здоров.

Твой навсегда *Горбачевский*

33. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

⟨Петровский Завод.⟩ 1855. Марта 3 дня

Дмитрий Иринархович!

Надеюсь на ваше снисхождение, а тем более зная вашу готовность пособить всякому и словом и делом, пишу к вам и прошу покорнейше, будьте так добры, не оставьте человека, о котором я к вам пишу. Бывши здесь, вероятно, вы знали Михаила Степановича Добрынина — подателя этого письма. Этот вполне уважаемый всеми человек живет здесь в отставке;

трудами и своим промыслом приобрел он несколько денег и их употребил на выкуп из работы двух сыновей,— одного записал в мещане в Читу, а другого — в Верхне-Удинск. Но ему этого мало. Как заботливый отец, он думает своих детей пристроить и устроить их будущность. Он едет к вам в Читу единственно, чтобы посмотреть и осмотреть там, что ему делать и как приступить к делу. Но ему нужны советы благонамеренного человека,— он прибегнул ко мне, чтобы вас просить об этом. И так, добрейший Дмитрий Иринархович, прошу вас не оставить Добрынина своими советами и наставлениями, расскажите ему в чем дело: то есть, что значит быть мещанином в Чите и что от этого можно надеяться, лучше ли ему разрознить своих детей, или их в одно место поселить, чтобы могли вместе торговать и прочее и прочее. Объясните, расскажите, научите, посоветуйте, ежели можно и нужно, опросите других, вот он чего от вас желает, а я вам об этом пишу.

У меня был проездом здесь Сергей Григорьевич с сестрой [1]. Я получил из Иркутска известия, что в прошлом году умерли Ник. Крюков, Вольф, Фонвизин и Спиридов,— не знаю, знаете ли вы об этом. Для всякого случая пишу к вам об этой потере. Вероятно, у вас там больше новостей, чем у нас. Я кое-как здоров, желаю вам богатырского здоровья, будьте уверены в искренном желании.

Ваш преданный *Ив. Горбачевский*

Печатаю письмо при отце Поликарпе Павловиче, он просит меня написать вам свое искреннее почтение и усердный поклон.

34. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

1856. Октября 25 дня. Петровский Завод

Письмо ваше через Колобова, любезнейший Дмитрий Иринархович, я получил и при первой почте вам отвечаю. Благодарю вас за вашу ко мне память и ваше расположение.

Очень сожалею, что я к вам долго не писал, равно и о том, что долго от вас не получал писем. Теперь почта может отчасти все исправить. Что же касается до того, что я не писал, то на это отчасти были причины, о которых могу после сказать.

Вы пишите, чтобы нам оставаться на месте и просить о пособии. Я с этим не согласен потому, чтобы не остаться без свободы выезда навсегда. Хоть не скоро, но я все-таки надеюсь где-нибудь сыскать себе место на приисках или где-нибудь в другом месте. Я уже писал к Михаилу Семеновичу г-ну Корсакову [1], чтобы мне выслал он или приказал бы кому следует выдать мне билет или вид на время или раз навсегда,— тем более я это сделал, что меня уже приглашали на службу и, получа вид или билет, тогда решусь что-нибудь, а пока осмотрюсь, что делать [2].

Я не теряю надежды когда-нибудь с вами видеться. Я получил письмо от сестры из Петербурга, она просит, чтобы я составил бы план, как и где нам повидаться, но я написал, чтобы она этот вопрос пока отложила в сторону. Мих. Бестужев здесь с сестрами остался, и они не хотят никуда ехать, о прочих еще не знаю.

Смородины теперь нигде не могу достать, она здесь не в ходу, более облепиха и моховка, но ежели случится достать, то непримену к вам доставить.

Добрынина нет долго, уехал за скотом, приедет — с ним поговорю о свечах и прочее.

Пишите ко мне, но пишите четко и большими буквами, ей-ей, не вижу ничего даже в очках,— не люблю прибегать к другим с просьбою прочитать мне письмо, которое не могу разобрать. Я и сам пишу неразборчиво и все-таки причина тому глаза, а не поспешность. Буду к вам еще писать. Прощайте, будьте здоровы. Пишите, что вам нужно, все что могу исполню.

Ваш навсегда *Иван Горбачевский*

35. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

5-го сентября 1858. Петровский Завод

Любезнейший Дмитрий Иринархович!

Давно я вам не писал, но случилась хорошая оказия — мне захотелось с вами поговорить и о себе и о других. Едет в Нерчинский завод Харлампий Алексеев [1], тот самый, который у нас учился — держать экзамен на офицерский чин, следовательно, он вам скажет что-нибудь обо мне, ежели вам это интересно.

Я получил недавно два письма, одно от Трубецкого, другое — от Марии Казимировны, оба письма из Киева. Они пишут, между прочим, что Оболенский живет в Калуге, Басаргин в Рязани, Пущин Иван Иванович под Москвою и женился на Наталии Дмитриевне Фонвизиной. Трубецкой уехал в Варшаву, Волконский — в Москве, Лорер — в Киеве, Якушкин умер в Тверской губернии. Наши же забайкальские, я думаю, вам известны,— Крюков все еще в Минусинске. Мария Казимировна уехала теперь жить в Тульчин. Давыдова в Киеве,— о прочих мне не известно, кроме того, что Быстрицкий в Киевской губернии и жалеет, что уехал из Иркутска.

Каково вы поживаете и что делаете, Дмитрий Иринархович, напишите ко мне когда-нибудь. Скажите Алексееву, чтобы на обратном пути к вам зашел.

Прощайте и будьте здоровы, желаю вам всего лучшего, с истинным моим уважением остаюсь ваш

Иван Горбачевский

36. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

30 октября 1858 г. Петровский Завод

Любезнейший Дмитрий Иринархович!

Я писал к вам с Алексеевым и этот глупец, возвращаясь с Нерчинского завода, не зашел к вам. Что будете делать с этими людьми? Теперь опять пишу к вам и в этом имею интерес, а именно, напишите мне, можно ли надеяться получить в этом году деньги, которые нам от казны всякий год высылали, от кого эта выдача зависит — не можете ли вы мне в этом пособить и там в Чите попросить и сказать, чтобы их выслали, если это можно и должно [1].

Прошу вас покорнейше, Дмитрий Иринархович, пособить мне и постарайтесь,— много меня обяжете,— напишите мне, чего можно ожидать и надеяться.

Писем я ни от кого не получал, кроме Поджио, который в Удинске живет, по делам приисков — зовет меня к себе, но я не поеду, потому что денег лишних нет на путешествие.

О Кюхельбекере слышал от одного проезжающего, что он от водки с ума почти спятил — удивительно и печально [2].

Желаю вам здоровья и всего лучшего, прошу вас, напишите мне чрез почту. С истинным моим почтением остаюсь вам преданный

Ив. Горбачевский

37. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

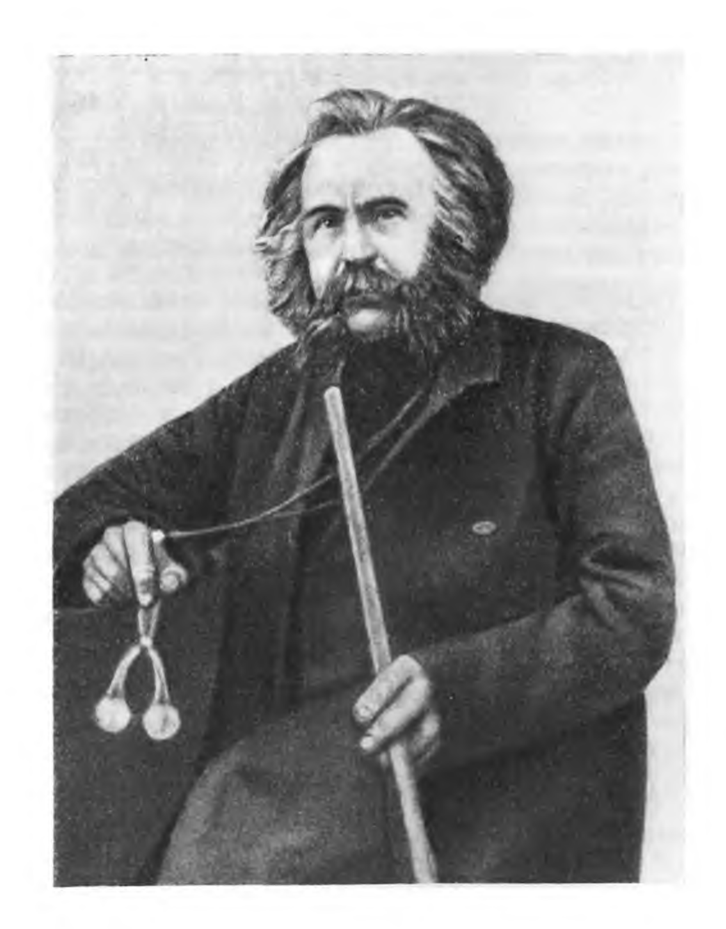
1860 г. Января 3 дня. Петровский Завод

Простите великодушно, Дмитрий Иринархович, что до сих пор к вам не писал. К почте имею отвращение, оказий хороших нет,— вот теперь едет Иван Александрович к вам, и я его задержал, чтобы к вам написать.

Не обвиняйте меня, что я у вас не был — на это были причины, которые я вас после скажу и объясню. Вместо того, чтобы вам писать обо всех, посылаю к вам письма Бобрищева-Пушкина и Натальи Дмитриевны. Я к вам послал и чрез почту первое письмо ко мне Бобрищева и вы меня не уведомили, получили ли вы его или нет,— пожалуйста, скажите,— неужто оно на почте затерялось — вот отчего не люблю писать чрез почту.

Не знаю, слышали ли вы о смерти Бечасного и Кюхельбекера,— последний, как говорят, умер на чистом воздухе, прогуливаясь вечером [1].

Прощайте, будьте здоровы, напишите хоть строчку. Да, еще к вам просьба,— я слышу о ваших статьях в журналах, слышу им похвалы и не могу нигде прочитать их [2]; у нас в Заводе бедность на журналы. Будьте



И. И. Горбачевский

С фотографии конца 1850-х годов

так добры и снисходительны, пришлите эти книги ко мне. Даю вам слово, что при первой оказии пришлю их вам обратно с величайшей благодарностью.

Ваш навсегда *Иван Горбачевский*

38. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

Петровский Завод. 1860 г., ноября 17 дня

Если бы на меня что-нибудь упало и сильно придавило, я бы, кажется, меньше был встревожен, оглушен, меньше бы был удивлен, нежели получивши твое письмо, мой дорогой, любезнейший Евгений Петрович! Вообрази, что, взявши письмо из рук почтальона, я по надписи на конверте узнал твой почерк после двадцатилетней разлуки, и пробежавши глазами письмо, я тогда только отдохнул [1]. Если бы ты знал и все там живущие, что значит для меня теперь получить письмо из России, ты бы писал бы ко мне по своему участию целые кипы писем. Я до сих пор как будто в сомнении,— там ли вы живете, и может ли это быть? Часто, глядя здесь на наше прежнее жилище, вы все для меня теперь какие-то мифы; грусть приходит не от мрачного этого свидетеля, доселе существующего, но, думая,— жившие когда-то здесь,— где они? Где их искать? Когда их увидишь? Вот вопросы, беспрестанно роящиеся в моей голове. И редко кто из вас подаст мне голос. Этот отголосок и составляет теперь единственное утешение в моей тревожной, грустной и одинокой жизни.

Благодарю тебя душевно, сердечно, мой Евгений Петрович, за твое письмо; не могу выразить словами чувство благодарности за твою память обо мне; будь уверен в искренности моих слов, и я уверен, что ты поверишь моей радости слышать о тебе и о твоем семействе,— радуюсь, что ты жив, здоров и существуешь. Думаю, что мне к тебе писать? И как отвечать на твои вопросы? Много придется писать, но возможно ли это в письме, тем более — вспомни — сколько времени прошло со дня нашей разлуки.

Ты спрашиваешь, женат-ли я? Во всех отношениях нет и нет, и — говорю тебе правду — очень сожалею, что так пришлось жить: холостая старость ужасна,— скучно и будущего нет; может быть, я избавился этим от многих тревог, но зато, что за жизнь настоящая и будущая; теперь никому не советую быть в старости неженатым. Что же касается до моей жизни собственно, то скажу тебе, что живу или сижу на одном и том же месте, как гвоздь, забитый в дерево,— не могу двинуться с места,— такие мои обстоятельства и такое положение. Куда ехать? и на какие деньги это можно сделать,— трудно выдумать, да еще при такой дороговизне; искать же оказии, просить я не могу,— для меня это тяжко, даже отвратительно. Сестра моя живет в Петербурге при детях; в Малороссии все умерли; конечно,

будь способы, поехал бы туда хоть подышать тамошним воздухом, но это «не наша еда лимоны», как некогда писал ко мне В⟨асилий⟩ Льв⟨ович⟩ Давыдов.

Твой привет отдал отцу Поликарпу, он твое письмо читал и перечитывал. Он любит тебя и очень часто вспоминает; просил меня убедительно тебе кланяться, что в семействе у него все живы, здоровы, что второй его сын Александр на Амуре, в Благовещенске старшим священником и миссионером, и твой крестник Евгений там же. Отец Поликарп хранит твои вещи — кресло, стол, шкап, и это составляет его драгоценность. Ты спрашиваешь тоже о нашем Заводе — после тебе опишу, теперь ни времени, ни места в письме нет. Читал я тоже в твоем письме о наших надеждах на улучшение крестьянского быта и начало гражданской жизни, о которой когда-то мы мечтали [2]. Прости меня великодушно, мой Евгений Петрович, за мое неверие: решительно не только сомневаюсь, но даже решительно не верю ни вашей гласности, ни вашему прогрессу, ни даже свободе крестьян от помещиков; все это, мне кажется, болтовня праздных людей, у которых нет ни желания, ни воли сделать другим добро; и что может быть из такого порядка вещей, где люди в своем деле сами и судьи.

Прощай, Евгений Петрович, желаю тебе здоровья и всего лучшего; пиши ко мне, я буду с удовольствием тебе отвечать.

Тебе преданный *Иван Горбачевский*

На-днях я получил письмо от Наталии Дмитриевны [3]. Как я ей благодарен; на следующей почте буду и к ней писать. Буду и к тебе писать,— будет о чем поговорить.

Твоей супруге — мое глубочайшее почтение и мой усердный поклон; я надеюсь, что ты меня с ней познакомил; детям твоим мой сердечный привет.

39. М. А. БЕСТУЖЕВУ

1861. Июня 7-го дня. Петровский Завод

Любезнейший Михаил Александрович!

В 8 часов утра я с тобой расстался; долго смотрел я с берега на твою сидейку, и когда ты скрылся за свои ворота, я двинулся берегом и уже в 7 часов утра сегодня был дома. Благодарю тебя за твоих лошадей; очень хорошо Никифор нас доставил до Дорофеича; тот тотчас дал хороших лошадей, и вечером я был уже в Мухор-Шибире; а этот переезд в путешествии в Селенгинск есть главное дело: прочий путь на почтовых ни почем. Сегодня утром такой был мороз, что решительно в грязи вода замерзла, поля были покрыты белым снегом, и мы все ехали в шубах,— не забудь, это — 7 июня.

Ты меня обвиняешь часто, что я редко бываю у тебя. Теперь, я думаю, еще реже буду ездить, потому что мне тяжело и грустно было покидать твоих малюток; такое они на меня произвели впечатление, что как будто совестно их огорчать разлукою; и посуди сам,— приехать на три дня, раздразнить себя воспоминаниями, равно и тебя; наделать беспокойства Марии Николаевне, а главное, детей приласкать, полюбить и потом их и себя огорчить разлукою; что ж тут хорошего? Нет, надобно ездить к тебе в 10 лет один раз.

Борис Васильевич завтра едет к вам; посылаю с ним к тебе твои книги и тетрадь. У нас все по-старому, и Николая Николаевича еще нет. Буду после почты для тебе приготовлять обещанное. Я сегодня получил письмо от Оболенского из Калуги; особенного ничего нет. Письмо от 7 февраля; удивительно, где оно лежало так долго.

Волков [1] посылает к тебе записку. Выходит, что какой-то матрос подавал прошение о возвращении из Сибири в Россию, и через это их всех простили. Волкова весною требовали в волость (в Мухор-Шибир). Спрашивали его, желает ли он возвратиться и прочее, и все до сих пор с прошлого года нет толка. Он ходил и к Жуковскому [2]; тот ему все обещал и до сих пор молчит.

Кланяйся и отдай мой сердечный привет и поклон и мое глубокое почтение Марии Николаевне; детей твоих обнимаю и целую. Саша сегодня рассказывает целый день своим родным о Коле и Леле [3].

Прощай, будь здоров. Твой навсегда

Ив. Горбачевский

Вещи для Дмитрия Дмитриевича, которому крепко поклонись, заказаны уже; также и для Федосии Дмитриевны [4] и Катерины Захарьевны.

40. М. А. БЕСТУЖЕВУ

1861 г. Июня 12-го дня. Петровский Завод

Ты меня просил, когда я был у тебя, любезнейший Михаил Александрович, чтобы я написал тебе список наших товарищей по разрядам; где и когда кто из них был арестован и где он содержался и умер; или кто жив теперь, где находится, в Сибири или в России. Сколько могу припомнить, вот тебе список.

1) Пестель. Был арестован в Тульчине или в штабе полка Вятского, не помню, но только в самый день 14 декабря 1825 г.[1] Потом содержался в Петербургской крепости, в Алексеевском равелине; как известно, повешен, но с веревки не сорвался, как другие его товарищи.

2) Рылеев. Не знаю, в какое время арестован и где. Повешен, но с веревки не сорвался. Содержался в Алексеевском равелине.

3) Сергей Муравьев-Апостол. Арестован сначала был около Василькова Киевской губ., в деревне Трилесы, в квартире поручика Кузьмина, который со своею ротою Черниговского полка в этой деревне квартировал. Кузьмина в это время дома не было; он был в Василькове с прочими членами Славянского общества, ожидая приезда Муравьева-Апостола обратно из Житомира. Но, получивши записку от Горбачевского чрез посланного им в Черниговский полк подпоручика Андреевича, они уехали из Василькова тотчас же в Трилесы по разным дорогам с тем, чтобы, встретя на дороге Муравьева, отбить его и освободить из-под ареста. Кузьмин и Соловьев поехали по одной дороге, Сухинов и Щепилло — по другой, но, не встретя Муравьева, они приехали почти в одно время в Трилесы и освободили Муравьева-Апостола с братом его Матвеем и Бестужевым-Рюминым [2]. Вследствие этого было восстание Черниговского полка. Все это происходило 29 декабря 1825 г. 30 декабря пришли с ротами в Васильков; 31 декабря 1825 г. был отдых и собирались в поход; 1 января 1826 г. был молебен на площади,— священник прочитал перед полком краткую выписку из «Русской правды» — и двинулись в поход. Под Трилесами или за Трилесами (та же самая деревня) встретились с гусарами и с артиллериею конною генерала Гейсмара (войска Гейсмара были без офицеров, тоже и артиллерия), который войска Муравьева лучше сказать расстрелял, чем разбил. Тут был арестован раненый картечью в голову, упавший с лошади Сергей Муравьев-Апостол [3]. (Числа надобно проверить после но, кажется, как помню, пишу верно).

Тут много любопытных подробностей, которые надо читать в записках, если бы удалось их написать; а это мне завещал сам Сергей Иванович Муравьев-Апостол, прощаясь со мной в последний раз ночью с 14 на 15 сентября 1825 года под Лещиным в лагере.

Странная вещь, в это время, когда мы в его балагане разговаривали, я нечаянно держал в руках его головную щетку; прощаясь, я ее положил к нему на стол; он, заметя, взял во время разговора эту щетку, начал ею мне гладить мои бакенбарды (так, как это делал часто со мною твой брат Николай), потом, поцеловавши меня горячо, сказал:

— Возьмите эту щетку себе на память от меня; — потом прибавил,— ежели кто из нас двоих останется в живых, мы должны оставить свои воспоминания на бумаге; если вы останетесь в живых, я вам и приказываю как начальник ваш по Обществу нашему, так и прошу как друга, которого я люблю почти так же, как Михайлу Бестужева-Рюмина, написать о намерениях, цели нашего Общества, о наших тайных помышлениях, о нашей преданности и любви к ближнему, о жертве нашей для России и русского народа. Смотрите, исполните мое вам завещание, если это только возможно будет для вас.

Тут он обнял меня, долго молчал и от грустной разлуки, наконец, еще обнявшись, расстались навеки.

Тут все я пропускаю, что мы говорили, и какие наши были тайные намерения, и о чем я его упрашивал,— все это, все это должно быть в записках, если они когда-либо будут написаны. Но вот еще, о чем я тебе хотел сказать: не знаю, по какому случаю, я эту щетку положил в боковой карман моей шинели (в то время, как я был у Муравьева-Апостола, я был в мундире, и шел дождь,— вот я думаю, отчего она очутилась в шинели) и она в этом кармане оставалась до самого моего ареста, потому, вероятно, что я мало на нее обращал внимания, и не до того было. Так она со мной с арестованным и приехала в Петербург; вероятно, во время дороги и от долгого времени карман разодрался, и она провалилась в самый низ полы шинели, между сукном и подкладкой. Вообрази, эта щетка сохранилась от всех обысков во дворце, в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях, в Кексгольме, в Сибири и осталась до днесь со мною и у меня и теперь. Трубецкой все силы употреблял, чтобы у меня ее выманить как-нибудь, наконец, давал мне за нее 500 рублей серебром и писал, что если я вздумаю ее продать или отдать, то, чтобы во всяком случае она ему бы досталась. Поджио, видевшись со мной в последний раз в Верхне-Удинске в 1859 году, предлагал мне 1 000 руб. серебром или отдать ее ему так, на память его дочери Варваре. Теперь у этой щетки волосы почти все выпали, сам не знаю отчего,— почти осталось одно древко; но я не могу с нею расстаться, так она мне дорога, несмотря на всех покупщиков (а их было много) и мои нужды. Но я заговорился и отступил от рассказа по случаю этой головной щетки.

Арестованного, раненого и больного Муравьева-Апостола увезли тотчас в Петербург. Говорю тебе за верное и несомненное, что я знаю его разговор во дворце с государем [4]; видел его в доме коменданта и его четырех товарищей перед тем, когда нам читали сентенцию перед Верховным уголовным судом [5]. Потом после сентенции, в ту ночь, когда его и его товарищей вели из крепости на казнь, я сидел в каземате в то время уже не в Невской куртине, а в кронверке, и их мимо моего окна провели за крепость. Надобно же так случиться, что у Бестужева-Рюмина запутались кандалы, он не мог идти далее; каре Павловского полка как раз остановилось против моего окна; унтер-офицер пока распутал ему и поправил кандалы, я, стоя на окошке, все на них глядел; ночь светлая была. Каре тронулось и, когда через час нас вызвали в каре, тоже идти на казнь, и когда мы пришли за крепость, то перед нами стояла на валу одна виселица с пятью петлями. Это было в два часа ночи с 12 на 13 июля 1826 года. Не знаю, где ты был в это время,— я не успел у тебя спросить; — кажется, вас всех гвардейских офицеров взяли в особенные каре, и вас уже казнили перед своими полками; мне так сказывал Барятинский.

Муравьев-Апостол сорвался с веревки; не знаю, лопнула ли она от тяжести, или сорвалась, но он полетел вниз, когда у них вырвали скамейку из-под ног; он сильно ушибся, кровъ лилась с его лица; с ним вместе сор-

вались, каждый со своей петли, Бестужев-Рюмин и Каховский. Когда их подняли палачи, Муравьев и Бестужев поворотились задом и пожали друг другу руки (руки были связаны назад); Каховский же в это время, пока приготовляли новые петли, ругал беспощадно исполнителя приговора, тут же бывшего генерал-губернатора петербургского Голенищева-Кутузова. Ругал так, как ни один простолюдин не ругался: «Подлец, мерзавец, у тебя и веревки крепкой нет; отдай свой аксельбант палачам вместо веревки и проч.». Их троих в скорости опять вторично повесили.

Говорили и говорят, что Пестель, Рылеев и проч. оторвались,— пустяки,— я это знаю положительно, что Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин и Каховский были так несчастны, что вытерпели такую муку; Рылеев же и Пестель сразу повисли. Об этом в нашей куртине не только рассказывал сам плац-майор Подушкин и плац-адъютанты, но еще мне рассказывал офицер Волков, бывший при самой виселице во время казни; и все рассказывали в одно и то же слово.

Все пять тел мучеников положили в один ящик и спрятали в комнате, которая была сделана в валу, где они и до смерти своей содержались, пока идти на петлю. Народу после сказали, что тела их брошены в воду Крепостного канала, и народ все смотрел в воду, говорят, целый день; одни приходили смотреть в воду, другие уходили, ничего не видавши и кивая головами. С 13 на 14 июля ящик с телами пятерых увезли на какой-то остров Финского залива и закопали в яму вместе с известкою. Работали яму и прочее, говорят, солдаты инженерной команды Петербургской крепости вместе с палачами. Одни говорят, что тела похоронены за Смоленским кладбищем на острове, другие — около завода Берда, тоже на острове. Положительно об этом последнем обстоятельстве не знаю [6].

Много бы я тебе сказал о моих сношениях с Муравьевым-Апостолом, что мы делали, что говорили, что намеревались делать, и что был он за человек. Это все теперь не пишу; это все не следует к твоим вопросам в настоящее время.

4) Михаил Бестужев-Рюмин. Был юнкером в старом Семеновском полку; за бунт в 820 г. переведен офицером в Полтавский пехотный полк и жил всегда у Муравьева-Апостола. Повешен, оторвался и опять повешен. Я многое о нем знаю.

5) Каховский. Не знаю его,— повешен и оторвался, опять повешен [7].

1 разряд

1) Трубецкой (Сергей). Арестован в доме австрийского посланника 14 декабря; после сентенции через пять дней из Петропавловской крепости увезен в Сибирь, в Нерчинский Завод; был на Благодатском руднике; потом — в Чите, в остроге; после до 1839 г. июля 13 — в Петровском Заводе в каземате. Выпущен на поселение в Оек, деревню около

Иркутска. Жил после в Иркутске. Уехал в 856 г. в Москву. Умер в Москве 1860 г. в ноябре месяце.

2) Оболенский (Евгений). Не знаю, где и когда арестован. Вместе с Трубецким увезен в Нерчинский Завод, на Благодатский рудник. Переведен в острог в Читу, потом в Петровский Завод. Выпущен на поселение в 839 году, вместе со всеми 1-го разряда. Просился на поселение в Верхне-Удинск; его поселили против его желания в Итанцинскую волость, в деревню Турутаеву; оттуда переведен по просьбе своей сестры в г. Ялуторовск. Теперь живет в Калуге.

3) Муравьев-Апостол (Матвей). Взят под Трилесами вместе с братом и арестован. Содержался в Петропавловской крепости; потом вывезен в Финляндию, кажется, в крепость Шварцгольм. Не был в каторжной работе, а послан в 1827 году прямо на поселение в Якутск. В Иркутске в остроге виделся с Горбачевским. Теперь живет в Твери. Был на поселении после Якутска в Ялуторовске — до 1856 г.

4) Борисов 2-й (Петр). Основатель Славянского общества, целью которого было освобождение всех славян в Европе и соединение их в одну федеративную республику. Арестован на квартире у Горбачевского, к которому он приехал из Новоград-Волынска, где служил в 1-й батарейной роте 8-й артиллерийской бригаде. Горбачевский в это время жил 30 верст от Новоград-Волынска в местечке графа Вашлевского в Барановке, где стояла артиллерийская, 8-й же бригады, 2-я легкая рота, куда на время был он прикомандирован. После сентенции увезен с Трубецким в Сибирь, в Нерчинский Завод, на Благодатский рудник, потом — в Читу и оттуда — в Петровский Завод. В 1839 г.— на поселение в деревню Подлопатки около Селенгинска, где жил около года с братом своим Андреем. Потом переведен под Иркутск в д. Разводную, где от удара умер. Там и похоронен. Не знаю и не помню, в каком году.

5) Борисов 1-й (Андрей). Служил с братом в 8-й арт. бригаде в 1-й батарейной роте, вместе с Горбачевским; вышел в отставку в 824 году и жил в Курской губернии. В 825 году был вытребован Горбачевским в Новоград-Волынск, после Лещинского лагеря. Был посылаем в разные места и арестован в Курской губернии. Был везде вместе с братом Петром, и когда брат умер скоропостижно в Разводной, он в отчаянии хотел зарезать себя бритвою, потом зажечь дом, но этого не мог и тотчас же повесился. Он в Петровском каземате помешался и был до смерти таким. Похоронен в одной могиле с братом в Разводной.

6) Горбачевский (Иван). Родом Черниговской губернии; служил в 8-й артиллерийской бригаде в 1-й батарейной роте; потом был в 825 году прикомандирован в ту же бригаду во 2-ю легкую роту. Служил вместе все время с Петром Борисовым; был принят в 823 году [8] в Славянское тайное общество. В 825 году, при соединении Славянского общества с Южным, был выбран членами Общества начальником Славянской упра-

вы, самой многочисленной и решительной по характеру ее членов. Был арестован вскорости после Борисова Петра *. После сентенции в пятый (кажется) день был отправлен из Петербургской крепости вместе со Спиридовым и Барятинским в крепость Кексгольм и посажен был вместе с ними в отдельную от крепости на острову башню под названием в простонародии Пугачевской башни.

И действительно, они там застали в башне двух дочерей знаменитого Пугачева, казненного в Москве в 1775 году. С тех пор содержались там эти две жертвы, и, когда привезли в башню Горбачевского, Спиридова и Барятинского, то чрез несколько времени (дней) их выпустили жить на Форштадт крепости Кексгольма, под присмотр полиции, выдавая им по 25 коп. ассигнациями в сутки. Тут же с ними с 1775 года содержалось все семейство Пугачева: казачка — законная его жена, сын и две дочери, и еще взятая им в жены во время бунта какая-то офицерская дочь, бывшая у него женою под именем императрицы Екатерины Алексеевны; до приезда новых арестантов (Горбачевского, Спиридова и Барятинского), все они прежде в разное время померли, там же остались в живых две дочери, выпущенные из башни во время приезда Горбачевского, Спиридова и Барятинского.

Из Кексгольма перевезли нас в 1827 году в апреле месяце в Шлиссельбург (крепость на Ладожском озере), где они содержались до октября месяца того же года, и оттуда Горбачевский отправлен был с фельдъегерем в Восточную Сибирь, в Читу, вместе с Барятинским, Николаем и Михаилом Александровичами Бестужевыми. Оттуда Горбачевский в 830 году переведен в Петровский Завод в каземат, где содержался и работал вместе с прочими казенную работу до половины 1839 года, потом выпущен на поселение (с запрещением выезда куда-либо — так и всем приказано было) в Петровский Завод и там оставлен на житье, хотя прежде и просился вместе с Оболенским, Быстрицким жить на поселении в городе Верхнеудинске. Теперь живет постоянно в Петровском Заводе Забайкальской области.

7) Спиридов (Матвей или Матвеевич — не помню). Арестован в Волынской губернии, в г. Старом Константинове. Из Петербургской крепости отослан был с Горбачевским и Барятинским в Кексгольм, потом — в Шлиссельбург, потом — в Читу и оттуда — в Петровский Завод. Выпущен на поселение в 839 году в деревню около Красноярска. Умер в Красноярске, не помню, в котором году.

8) Барятинский (Александр). Арестован в Тульчине 14 декабря 1825 года. Из Петербургской крепости после сентенции отправлен с Горбачевским и Спиридовым в Кексгольм; оттуда с ними в Шлиссельбург; потом в Читу; оттуда в Петровский Завод. Больной отправлен на поселение в 1839 году в Тобольск, там и умер холостым и бездетным, хотя и

---

* В Волынской губернии, Новоград-Волынского уезда, в м. Барановке.— *Прим. Горбачевского.*

было сказано после, при амнистии, что его детям возвращено княжеское достоинство: все это ложь [9].

9) Кюхельбекер (Вильгельм или, как мы его звали, Василий). Не знаю, когда арестован [10].

Из Петербургской крепости привезли его после нас в Кексгольм в августе месяце 1826 г. вместе с Александром Поджио и Вадковским. Потом — в Шлиссельбург, где и оставался в крепости 10 лет в каземате. Когда ему вышел срок на поселение, его из крепости привезли в Сибирь и поселили отдельно от брата его родного Михаила в Акше на границе Монголии; там женился, оттуда переведен был в Баргузин к брату, из Баргузина — в Курган; там ослеп и там же умер.

10) Якубович (Александр) [11], впрочем, не помню хорошо, как его звали (а как были коротко знакомы!). Арестован в Петербурге 14 декабря 1825 г. Из крепости Петербургской с Трубецким, Оболенским и Артамоном Муравьевым отправлен был прямо в Сибирь, в Нерчинский Завод, в Благодатский рудник. Потом — в Читу, в Петровский Завод. В 1839 г. со всеми вместе первого разряда отправлен на поселение; был поселен около Иркутска [12]; потом, перепросившись на житье в Красноярскую губернию по просьбе и совету какого-то золотопромышленника [13], который обещал ему золотые горы и после обманул кругом, что называется. Сильно простудился и умер бедный Якубович в глуши и без всякого пособия в какой-то деревушке.

1) Поджио (Александр). Родился в Киевской губернии. Арестован в своем имении в Чигирнском уезде; из Петропавловской крепости вместе с Кюхельбекером и Вадковским в августе привезен в Кексгольм, где были уже Горбачевский, Спиридов и Барятинский, и содержался до апреля месяца в Пугачевской башне (там было 6 казематов вверху). Потом — в Шлиссельбург, в Читу, в Петровский Завод; оттуда — на поселение, отдельно от брата родного, около Иркутска; потом жил вместе с братом своим Осипом; жил после в Иркутске, уехал в Россию к родным, которые его вызвали и обманули; переселился в Воскресенск около Москвы, в имение Дарагана. Пишет Горбачевскому (от апреля 1-го 1861 г.), что простудился в вагоне на железной дороге, провожая графа Амурского, и получил водяную болезнь; — вероятно, умрет.

12) Муравьев (Артамон). Арестован в Бердичеве; из крепости Петербургской увезен вместе с Якубовичем и Давыдовым в Сибирь, в Нерчинский Завод, на Благодатский рудник. Потом в Читу, в Петровский Завод; в 1839 г. на поселение отправлен в Елань, около Иркутска; переведен оттуда в Разводную, там и умер.

13) Вадковский (имя забыл). Арестован в Курской губернии в одно время с Пестелем и Барятинским. Из Курска привезен был чрез Архангельск (для чего все это было — неизвестно) в Шлиссельбург; потом — в Петропавловскую крепость; оттуда — в Кексгольм с Поджио и Кюхель-

бекером; оттуда в Шлиссельбург опять; потом — в Читу, в Петровский Завод. 1839 г.— на поселение в Оек, Иркутской губ. Там и умер.

14) Бечаснов (Владимир). Арестован в Барановке, где жил, служивши в 8 арт. бригаде во 2-й легкой роте. Из Петропавловской крепости был отвезен в Финляндию (не помню крепости); оттуда в Читу, в Петровский Завод. В 1839 г.— на поселение около Иркутска [14]. Умер в Иркутске.

15) Давыдов (Василий). Не знаю, где арестован. Из Петропавловской крепости увезен с Якубовичем в Сибирь, в Нерчинский Завод, на Благодатский рудник; оттуда — в Читу, в Петровский Завод. В 1839 — на поселение в Красноярскую губернию; умер в гор. Красноярске.

16) Юшневский (Алексей). Арестован в Тульчине. Из Петропавловской крепости перевезен в Шлиссельбург, оттуда — в Читу, в Петровский Завод. В 1839 г.— на поселение в Разводную около Иркутска. Во время похорон Вадковского в церкви упал и мгновенно умер [15].

17) Бестужев (Александр). Не знаю, где и когда арестован. Из Петропавловской крепости увезен вместе с Муравьевым-Апостолом в Финляндию; откуда [16] — прямо на поселение в Якутск. (Проездом чрез Иркутск в Иркутском остроге виделся тайно и ночью с братьями своими Николаем и Михаилом); откуда — в Грузию, где и убит.

18) Андреевич 2-й (Яков). Арестован в Киеве. Из Петропавловской крепости отправлен в Шлиссельбург; откуда — в Читу, в Петровский Завод. В 1839 г. больной отправлен на поселение, но только доехал до Верхнеудинска; там в скорости умер в больнице.

19) Муравьев (Никита). Где арестован, не знаю. Из Петропавловской крепости увезен в Сибирь, в Читу, в Петровский Завод. Не помню, в котором году увезен на поселение, только знаю, что раньше 1839 года. Умер в Урике, около Иркутска.

20) Пущин (Иван). Арестован 14 декабря 1825 г. Из Петропавловской крепости отправлен в Шлиссельбург, оттуда — в Читу; в 1830 г. со всеми вместе — в Петровский Завод; в 1839 г. на поселение в Тобольскую губ. (не знаю, куда). Потом жил в Ялуторовске; возвратился после амнистии в 1856 г. в Россию. Там женился на вдове своего товарища Фон-Визина; жил в Московской губернии около Брониц, в с. Марьиной, имении своей жены, где в скорости умер, и там же похоронен.

21) Волконский (Сергей). Арестован в Умани, Подольской губ. Из Петропавловской ⟨крепости⟩ * отправлен с Борисовым вскорости после сентенции в Сибирь, в Нерчинский Завод, на Благодатский рудник; оттуда — в Читу, потом — в Петровский Завод. Отправлен на поселение раньше 1839 года в Урик; возвращен в 1856 г. в Россию. Жил около Москвы, потом отпущен за границу. Теперь живет, как пишут Горбачевскому Поджио и Оболенский, в Биарице.

* В подлиннике явная описка: губернии.— *Ред.*

22) Якушкин (Иван). Не знаю, где арестован. Из Петропавловской крепости был в Финляндии [17], потом — в Чите, в Петровском Заводе. Был на поселении в Ялуторовске; возвратился в Россию. Больного выгнали его из Москвы; он переехал больной в Тверскую губ., где от горя и разлуки с родными вскорости умер в деревне у какого-то старого своего приятеля.

23) Пестов (Александр). Служил в 9-й артиллерийской бригаде; арестован в Житомире. Из Петропавловской крепости переведен в Шлиссельбург, оттуда в Читу — в Петровский Завод, где в каземате и умер в 1833 году; там же в Заводе и похоронен.

24) Арбузов (не помню, как звали) [18]. Арестован 14 декабря в Петербурге. Из Петропавловской крепости был в Финляндии, оттуда в Читу, в Петровский Завод. Умер в Тобольской губ., не знаю, где.

25) Завалишин (Дмитрий). Был в кругосветном путешествии; в Камчатку за ним был послан фельдъегерь; привезен был в Петербург в 1825 г.; но государь уехал в Крым, и он ожидал на счет свой решения, жил в Петербурге. 14 декабря арестован, оправдался и был выпущен, опять взят в крепость. После решения увезен в Финляндию; оттуда в Читу, в Петровский Завод. В 1839 г. выпущен на поселение прямо в Читу, где [19] до сих пор там и живет [20].

26). Повало-Швейковский (Иван). Арестован не знаю где. Из Петербургской крепости был в Финляндии (впрочем не утверждаю), потом — в Чите, в Петровском Заводе и на поселении. Умер в Тобольске.

27) Панов (имя не помню) [21], 14 декабря арестован в Петербурге. Потом был в Финляндии [22], в Чите, в Петровском Заводе. В 1839 г. — на поселении около Иркутска [23]. Умер в Иркутске.

28) Сутгоф (Александр). Арестован 14 декабря в Петербурге. Был в Финляндии (не утверждаю) [24]; потом — в Чите, в Петровском Заводе. С поселения около Иркутска взят в солдаты в Грузию, где до сих пор живет [25].

29) Щепин-Ростовский (Дмитрий). Арестован 14 декабря. Был в Финляндии после решения, потом в Чите, в Петровском Заводе; на поселении — в Тобольской губ. Возвратился в Россию и недавно умер в Ярославской губернии.

30) Дивов (не знаю, как зовут). Куда девался из Петропавловской крепости, неизвестно [26]; говорили, что он был в Бобруйской крепости в работе; жив ли он, или умер, тоже неизвестно.

31) Тургенев (не знаю, как зовут). Прежде 14 декабря уехал за границу и до сих пор там находится. Наталия Дмитриевна Пущина писала к Горбачевскому в 1861 году, что Матвей Муравьев-Апостол видел Тургенева на железной дороге в Твери в декабре 1860 г.: ехал за границу с тем, чтобы более не возвращаться в Россию.

Всего в 1 разряде 31 человек.

Вот тебе, любезный Мишель, первый разряд с сухою хроникою, которую ужасно скучно писать таким образом. Надобно бы писать и описать каждого характер, степень ума, действия в Обществе; род, откуда явился, где служил, какой губернии, где учился, что делал, что думал, что с ним приключилось в жизни и пр., и пр. Но есть ли возможность это сделать? (Признаюсь чистосердечно, я бы это и мог сделать и исполнить завещание Сергея Ивановича, сколько сил достало бы, потому что любопытствовал, у всех расспрашивал, и у меня память на это чертовская). Но, посмотри хорошенько на мое душевное и физическое положение; до того ли, чтобы писать историю или записки о всем, что я видел в жизни моей, слышал и испытал. Ведь это надобно написать целые томы, и ты этому поверишь, когда со временем я тебе сообщу только одни наименования глав, о чем надобно писать. Пожалуй, я тебе, так сказать, дам одни рамки, а ты вставляй туда, какие хочешь картины, и рисуй, как можешь, ежели ты в состоянии это сделать, т. е. я разумею, если у тебя есть память, факты и материалы. Лет не знаю сколько, но только много тому назад времени, я написал было порядочную тетрадь, не ту, что ты видел, а другую, любопытная вещь была; многие, которым я давал читать, восхищались, дорого ее ценили. Но в одно прекрасное утро мне надобно было из дому куда-то отлучиться надолго; думал, думал, что делать с такою массою бумаги написанной,— кому отдать? Кому все это поручить? Не нашел человека по нашему разумению: взял все и бросил, и побросал в печку, которая, как нарочно, тут же топилась; даже едва достало терпения у меня бросать все в огонь, такая была масса исписанной бумаги. Говори, что хочешь, а дело сделано; не ты один меня за это ругаешь,— даже есть один такой мой приятель, что за этот пожар перестал со мною переписку иметь, так рассердился на меня.

Слушай, что я тебе скажу, и ты должен мне верить, потому что мне 61-й год и стыдно бы было лгать и что-либо преувеличивать. Если бы мне удалось написать или описать свою жизнь, оно было бы очень любопытно. Начиная с 1812 года, тогда мне уже было 12 лет, когда мы бегали от французов и за французами; потом мое воспитание в гимназиях у иезуитов, потом в корпусе, описать бы все это; как нас учили, какие были учителя, понятия того времени, нравы, обычаи, начальство, которого я в это время видел, что об них говорили, и проч., и проч. Все это я помню и помню так, что могу судить справедливо и описать как следует *, потому что я по своему положению почти не имел детства; я не помню, чтобы я был ребенком, отроком, юношею,— так были развиты понятия и такая была жизнь моя; причиною всему было — тогдашние обстоятельства и обстоятельства семейства нашего. Потом вступление в тайные общества; тут широкое поле является для описания; мы, кроме того, что исполняли службу честно и аккуратно, мы еще трудились, читали, писали, работали; шныряли

---

* Это было бы хорошо.— *Карандашная вставка Горбачевского.*

везде,— забыли родных, радости и веселие... За все это попали в крепость и в Сибирь. Тут с этой эпохи опять новый мир; аресты, тюрьмы всех возможных родов (даже я сидел под арестом двое суток в церкви [27], как я тебе сказывал),— каторжная работа; потом поселение не лучше казематов и каторжной работы; потом рассеяние наше по всей русской земле, смерть товарищей, потери и проч., и проч.

Но это еще не все. Я жил и живу между русским народом, не отделяясь от него никогда; такое уже мое положение, такие обстоятельства и такое место. Тут много любопытного, замечательного, интересного; а ссыльные, что за народ любопытный,— оклеветанный, убитый, но люди умные, рассудительные, даже — скажу тебе странную вещь — люди очень добрые и честные. Многих я из них видел, говорил с ними, многим я был даже приятель; что они рассказывают — это поэзия. Что твои в журналах повести сто̀ят против рассказов и их приключений! Я никогда не читаю журнальных повестей; мне, если скучно, заведу разговор с ссыльным — вот тебе и повесть, да еще какая! Говорят, что они много врут, пускай себе врут, эта ложь основана на исторической достоверности, и на то есть у меня ум, чтобы из его рассказа взять все достоверное, хорошее и любопытное. Здесь был Максимов, писатель, он хотел все узнать в три дня и уехал [28]. Так не живут с народом, и так в короткое время нельзя его узнать; жаль, что так случилось, а он человек умный.

Как мне тоже жаль, что вы с братом Николаем приковали тебя к этой скале Селенгинской. Разве вы жили и живете между народом? — вовсе нет. Несколько купцов, казаков и офицеров, и чиновников — это не народ. Много через это вы все, все и все потеряли.

Я не могу забыть той брошюрки, которую я у тебя читал, сочинение нашего Ив. Ив. Пущина о своем воспитании лицейском и о своем Пушкине, о котором он много написал. Бедный Пущин — он того не знает, что нам от Верховной думы было даже запрещено знакомиться с поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным, когда он жил на юге [29]⟨...⟩ *.

Прочти со вниманием об их воспитании в лицее; разве из такой почвы вырастают народные поэты, республиканцы и патриоты? ** Такая ли наша жизнь в молодости была, как их? Терпели ли они те нужды, то унижение, те лишения, тот голод и холод, что мы терпели? А посмотри их нравственную сторону. Мне рассказывал Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин про Пушкина такие на юге проделки, что уши и теперь краснеют ***.

---

* Совестно было ему об этом сказать,— но знаю, он догадывался,— я часто с ним говорил о Пушкине, сидевши вместе в 3-м отделении Петровского каземата.— *Прим. Горбачевского.*

** *Сбоку Горбачевским сделана приписка:* Можно прибавить и историки? *Сверху страницы:* Спроси их и подумай, где они видели народ, где они его поняли и изучили.

*** *На полях рукой Горбачевского сделана выноска:* Его прогнал от себя Давыдов. Его прогнал от себя Воронцов; его прогнал от себя и генерал Инзов [30].

Ты скажешь, а Пущин Ив. Ив. разве худой человек? Я скорее скажу, чудо человек, что хочешь, так он хорош.

Но я тебя теперь спрошу, республиканец ли он, или нет? Заговорщик ли он, или нет? Способен ли он кверху дном все переворотить? Нет и нет,— ему надобны революции деланные, чтобы были на розовой воде. Они все хотели всё сделать переговорами, ожидая, чтобы Сенат к ним вышел и, поклонившись, спросил: «Что вам угодно — все к вашим услугам».

— Черт возьми, да вы-то что хотели сделать на своем юге,— спросишь ты у меня,— и что вы сделали там? — Вопрос твой будет очень натурален и справедлив.

Мы, славяне,— слушай — были народ очень смирный; втихомолку хотели, рано или поздно, хорошо ли или худо, соединить все славянские народы в одну федеративную республику. Дела наши шли хотя медленно, но хорошо; но черт нас попутал, или, лучше сказать, Тютчев, открывши нам Южное общество. Страсти разгорелись; собрался корпус 3-й под Лещиным на маневры, и тут-то мы упрашивали и умоляли Муравьева-Апостола начать действия; ибо мы уверены были увлечь всех и все. Но не тут-то было: Муравьев-Апостол заразился петербургскою медленностью и случай был упущен с 30-ю тысячью солдат. Потом, когда славно отбили его и вырвали из когтей, арестовавших его, эти же славяне упрашивали его и умоляли идти в один переход и упасть, как снег на голову, на Киев и взять его; тем более там была бригада в карауле с готовыми членами тайного общества, ожидавшими его. Он и тут не послушал, отговариваясь, что к нему придут войска для усмирения и к нему же они присоединятся; ходил, ходил, пока ему картечь лоб не расшибла, и все кончилось веревкою и Сибирью.

Что же хорошего после этого в умеренности, в хладнокровии, нелюбви пролития крови, в медленности, в холодном рассудке, в расчете каком-то? Все это глупость по-моему и по нашему. Однажды Кузьмин, не расслушавши на совещании одном, о чем толковали и спорили и, думая, что решили поднять весь корпус на другой день,— объявил об этом своей роте и вышел на линейку в лагере в походной амуниции. Мне дали знать об этом, я прибежал к нему и начал его упрекать в поспешности (держась методы — не спешить — Муравьева-Апостола и по своей обязанности как начальник управы), и чтобы он ожидал впредь приказаний. Он взбесился и сказал:

— Черт вас знает, о чем вы там толкуете понапрасну! Все толкуете. конституция, «Русская правда» и прочие глупости, а ничего не делаете. Скорее дело начать бы, это лучше бы было всех ваших конституций.

Муравьев-Апостол ему тоже выговаривал за такую поспешность, а тот ему отвечал:

— Если вы нас будете долее удерживать, то мы и без вас найдем дорогу и в Киев и в Москву.

И это не один Кузьмин говорил и желал. Этого требовало все общество Славянское, и Муравьев-Апостол не раз грозил мне, что он меня убьет, если что случится, приговаривая мне:

— Вы этих собак славян держите в руках; это цепные бешеные собаки, которых только тогда надобно спустить с цепей, когда придет время действовать.

Так ли должно было действовать, так ли должно было управлять людьми, для которых нет страха, нет преград, в душе которых только и было одно слово *действовать*, с исступлением каким-то бешеным и с отчаянием!

Пишу к тебе, не вставая с места, и написал много, сам не помня, что я писал в прежних листах: пишу без плана, без системы. Я тебе хотел только сказать, что если писать, так писать с начала до конца, все подробно и по порядку времени и места происшествий. Начать с французской революции; влияние ее на Европу, потом на Россию; состояние в 815 году России; историю тайных обществ в Европе и России,— все это хотя бы вкратце описать. Потом уже взяться и ⟨за⟩ происшествия с 825 года по день амнистии 856 года.

А как ты думаешь это сделать с моею малороссийскою ленью и с моим положением; ты думаешь это легко? Это правда, что я ленив, но это лень — кажущееся: лежу, ноги задравши вверх, и читаю серьезную книгу — просто наслаждаюсь; но это все до поры: если что меня расшевелит, сам черт с моею деятельностью не управится. Вот тебе перед глазами и доказательство: вместо того, чтобы тебе написать лист один, а много два, а я тебе, не вставая с места, написал десять; читай по пятницам и скучай; брани меня, что хочешь говори; а теперь не успел тебе о прочих разрядах написать; на следующей почте остальное тебе пришлю.

Кланяйся усердно Марии Николаевне. Что ваша больная? Обнимаю и целую в душе своей твоих детей. Кланяйся им от меня. Сегодня вторник, а в четверг отходит почта; мне писать надобно, по крайней мере, десять писем в разные места; оттого и тебе не успел всего написать. Прощай, будь здоров, и ожидаю твоего уведомления о получении этого письма и о твоем мнении; до тех пор и не буду к тебе писать, а только приготовлять.

Жму тебе руку.

Твой *Ив. Горбачевский*

Николай Николаевич[31] еще не приехал. Еще прошу тебе, не обвиняй меня за беспорядок письма: я набросал свои некоторые мысли, спеша и кончивши десять листов, не вставая с места. Также убеждаю тебя и прошу дружески, этого письма не посылай никому. Можешь делать выписки, какие тебе угодно, брать себе происшествия и мысли; но чтоб письмо было у тебя или уничтожено. Я надеюсь, что ты исполнишь мое желание. Ты видишь, это письмо не так написано, чтобы другому читать[32].

2-й разряд

1) Тютчев (Алексей). Арестован в Старом Константинове, Волынской губернии. Служивши прежде в старом Семеновском полку, за бунт был переведен в Пензенский пехотный полк капитаном; это он открыл славянам существование Южного общества, будучи знаком с Муравьевым-Апостолом и Бестужевым-Рюминым. Был в Финляндии[33]; оттуда перевезен в Читу; из Читы в Петровский Завод, потом на поселение в Минусинск, где и умер.

2) Громницкий (Петр). Арестован там же. Из Петербурга вывезен был в крепость Свеаборг, потом в Кексгольм, потом — в Читу, в Петровский Завод. Оттуда — на поселение раньше 839 г. вместе со вторым разрядом в Иркутской губерн., в дер. Бельское. Там умер.

3) Киреев (Иван). Арестован в местечке Искорость (древний Коростень) Волынской губ. Овручского уезда. Из Петербурга вывезен с товарищами в Свеаборг; потом — в Кексгольм, на место тех, которых увезли в Шлиссельбург; потом — в Читу, в Петровский завод. На поселение — в Минусинск. Не знаю, жив ли, или умер.

4) Крюков (Николай). Не знаю, где арестован; не знаю, был ли он в Финляндии или нет. Чита, Петровский завод; поселение — Минусинск, где и умер.

5) Лунин (Михаил). Арестован в Варшаве. Из Петербурга перевезен в Свеаборг, потом в Выборг, потом в Кексгольм, в Читу, в Петровский Завод; оттуда — на поселение в деревню Урик. По доносу за статьи и письма перевезен в Акатуй, в каземат, где и умер скоропостижно. Любопытна его жизнь в каземате, его смерть и ее последствия; но это — после когда-нибудь.

6) Свистунов (Петр). Арестован в Москве, бывши послан Рылеевым к Муравьеву-Апостолу с известием о начале 14 декабря[34].

7) Крюков 1-й (Александр). Арестован, кажется, в Тульчине. Из Петербурга — Чита, Петровский Завод; на поселение — в Минусинске. Жив.

8) Басаргин. Арестован в Тульчине. Петербург, Чита, Петровский Завод. На поселении — Туринск и Ялуторовск; потом Москва, где и умер в 1861 г.

9) Митьков[35]. Арестован в Москве. Из Петербурга — Свеаборг, Кексгольм, Чита, Петровский Завод; на поселении — Красноярск, где и умер.

10) Анненков[36]. Арестован в Петербурге, но кажется, вероятнее, где-то в провинции. Чита, Петровский Завод; на поселении в Бельске и потом — в России; теперь уехал за границу.

11) Вольф (Фердинанд). В Тульчине арестован, Петербург, Чита, Петровский Завод. На поселении — в Урике, потом — в Тобольске, где и умер.

12) Ивашев. Арестован в Тульчине. Петербург, Чита, Петровский Завод; на поселении — Туринск, где и умер.

13) Фролов[37]. Арестован в Старом Константинове, Волынской губ. Петербург, Чита, Петровский Завод. На поселении — в Красноярской губернии, не знаю, где. Теперь уехал в Севастополь, где и живет до сих пор.

14) Норов. Не знаю, где арестован и где теперь находится. Где же содержался, тоже мне неизвестно.

15) Торсон[38]. Не знаю, где арестован. Петербург, Чита, Петровский Завод. На поселении — в Акше и потом в Селенгинске, где и умер.

16) Бестужев 1-й (Николай). После 14 декабря бежал; где арестован, не знаю положительно. Петербург, Шлиссельбург, Чита, Петровский Завод. На поселении — Посольское селение около Байкала, потом Селенгинск, где и умер.

17) Бестужев (Михаил). Не знаю, где арестован: Петербург, Шлиссельбург, Чита, Петровский Завод. На поселении — Посольское селение на Байкале и потом Селенгинск, где и ныне живет.

3-й разряд

1) Штейнгель (Владимир). Не знаю, где арестован. Петербург, Финляндия — крепость не знаю. Чита, Петровский Завод. На поселении — Тобольск, Тара. Теперь живет в Петербурге.

2) Батенков. Не знаю, где арестован. Содержался во все время в разных крепостях; потом на поселении в Томске. Теперь живет в Калуге.

4-й разряд

1) Муханов. Не знаю, где арестован. Петербург, Свеаборг, Кексгольм, Чита, Петровский Завод. На поселении — Братский Острог, около Иркутска, потом в Иркутске, где и умер.

2) Фон-Визин (Михаил). Арестован в Москве. Петербург, Чита, Петровский Завод. На поселении — в Тобольске; умер — Московской губ. Бронницкого уезда село Марьино.

3) Поджио (Осип). Не знаю, где арестован. В работе в Сибири не был, но все время содержался в крепости, в каземате, 9 лет; выпущен на поселение около Иркутска, деревня..., там и умер.

4) Фаленберг. Не знаю, где арестован. Петербург, Чита, Петровский Завод. На поселении — Красноярская губ., деревня... Уехал после амнистии в Курскую губернию.

5) Иванов (Илья). Арестован в Житомире. Петербург, Чита, Петровский Завод. Поселен был около Иркутска — деревня..., там и умер.

6) Мозган. Арестован в Пензенском полку. Петербург, Чита, Петровский Завод. На поселении — в Красноярской губ. Что с ним случилось, не знаю.

7) Корнилович. Не знаю, где арестован. Из Петербурга привезен был в Читу в 827 году, и тот самый фельдъегерь, который привез в Читу Вадковского, взял с собой в Петербург Корниловича, и с тех пор никто не знает, куда он девался. Пропал без известия.

8) Лорер (Николай). Арестован в Вятском полку. Петербург, Чита, Петровский Завод. На поселение — около Байкала, Култуск, потом Курган. Уехал в Херсонскую губернию и там живет.

9) Аврамов (Павел). Арестован в Петербурге, Чита, Петровский Завод. На поселении — в Акше, где и умер.

10) Бобрищев-Пушкин 2-й (Павел). Арестован в Тульчине. Петербург, Чита, Петровский Завод. На поселении в Красноярске был, теперь живет в Тульской губ., город Алексин.

11) Шимков. Арестован в г. Остроге Волынской губ. Петербург, Чита, Петровский Завод. На поселении в Етанцинской волости Верхне-Удинского уезда, деревня..., там и умер.

12) Александр Муравьев (корнет Кавалергардского полка). Петербург, Чита, Петровский Завод. Когда ему вышло на поселение, а это было раньше двумя слишком годами, чем выйти на поселение брату его родному Никите, тот просился, чтобы его оставили жить на поселении в Петровском Заводе до тех пор, пока не кончится срок работы каторжной его брату Никите, и после ехать с ним вместе на поселение. Об этом желании Муравьева представил в Петербург комендант генерал Лепарский. Оттуда вышло повеление взять Александра Муравьева еще в работу и держать до тех пор, пока не выйдет срок Никите Муравьеву, что комендантом и исполнено.

13) Беляев 1-й (Александр). Арестован в Петербурге. Чита, Петровский Завод. На поселении — в Тобольской губернии. Потом в России; живет теперь на Волге и управляет какой-то компании пароходством.

14) Беляев (Петр) 2-й. Там же и то же.

15) Нарышкин (Михаил). Не знаю, где арестован. Чита, Петровский Завод. На поселении — Курган. Потом был в Грузии в солдатах долгое время; живет теперь около Тулы в деревне.

16) Одоевский (Александр). Петербург, Чита, Петровский Завод. На поселении — в Елани, Иркутской губернии. Потом взят в солдаты в Грузию, там и умер.

5-й разряд

1) Репин. Взят в Петербурге. Чита, Петровский Завод. На поселении около Иркутска, деревня по якутскому тракту, дерев⟨ня⟩... Не помню, в котором году фельдъегерь вез из Якутска его товарища в Грузию (Андреева или Заикина), но, кажется, Лаппу. Тот попросил фельдъегеря переночевать у Репина и у него отдохнуть; фельдъегерь согласился и ушел на другую квартиру ночевать. Хозяин квартиры Репина, поселенец,

сговорившись со своею любовницею, подперли двери и окошки квартиры Репина и зажгли дом. Оба бедные товарищи вместо радости свидания нашли смерть. Репина нашли мертвым около порога, а его товарища — около окошка от дыма задохшимся. Поселенец во всем признался. Был слух, что иркутское начальство все это скрыло.

2) Глебов (Михаил). Не знаю, где арестован. Петербург, Чита, Петровский Завод. На поселении — в Верхнеудинском уезде, деревня Кабанск; там он был отравлен сильным ядом одною женщиною со своим любовником, унтер-офицером инвалидной команды, и ими ограблен.

3) Розен (Андрей). Арестован в Петербурге. Чита, Петровский Завод. На поселении — в Кургане. Потом взяли его в солдаты в Грузию, несмотря на то, что одна нога была короче другой. Выпущен в отставку, живет теперь около Нарвы.

4) Михаил Кюхельбекер. Арестован в Петербурге. Чита, Петровский Завод. На поселении — в Баргузине. Там и умер.

5) Бодиско 2-й. Не знаю, где; в работе не был; говорят, взят в солдаты.

6-й разряд

1) Александр Муравьев. Не знаю, где арестован, но, кажется, в Москве; был прощен, но сослан сначала в Якутск; недоехавши и туда, возвращен в Верхне-Удинск на жительство; потом взят в Иркутск и сделан был там полицеймейстером. Теперь, говорят, губернатором в Нижнем Новгороде.

2) Люблинский (Юлиан). ⟨В⟩ 823 году из Варшавы был приведен в кандалах в Новоград-Волынск Волынской губернии за участие в Польском тайном обществе, под присмотром полиции. Познакомившись там с Петром Борисовым, вступил в Славянское общество. Арестован в 826 году в начале, привезен в Петербург, потом в Читу и оттуда на поселение в Иркутскую губ., в Тунку. После амнистии уехал на родину в Новоград-Волынск.

7-й разряд

1) Лихарев. Не знаю, где арестован. Петербург, Чита, потом на поселение в Тобольскую губернию. Теперь не знаю где.

2) Ентальцов. Не знаю, где арестован. Петербург, Чита, а оттуда в Тобольскую губернию. Умер, но не знаю где. Жена его жила долгое время после смерти мужа в Ялуторовске.

3) Лисовский. Арестован в Пензенском полку. Петербург, Чита; оттуда сослан на поселение в Туруханск. Там и умер.

Надобно заметить, что все те, которые вышли из работы на поселение во время управления Восточной Сибирью Лавинским, все поселены в самую даль на север, на явную погибель, как будто нарочно.

4) Тизенгаузен. Не знаю, где арестован. Петербург, Чита; оттуда на поселение в Красноярскую губернию; оттуда, кажется,— в Россию.

5) Кривцов. Арестован в Петербурге. Чита, оттуда — в Грузию, в солдаты с поселения (но где был, не знаю). Теперь живет в Москве.

6) Толстой. Не знаю, где арестован. В Читу привезен из Петербурга; на поселении — не знаю где; тоже не знаю, куда девался.

7) Чернышев (Захар). Петербург, Чита; оттуда на поселение по Якутскому тракту; оттуда взят в солдаты в Грузию. Выпущен в отставку, живет около Москвы и сошел с ума.

8) Аврамов. Арестован в Тульчине. Петербург, Чита. На поселении в Туруханске был, там и погиб.

9) Загорецкий. Арестован в Тульчине. Петербург, Чита; потом на поселении за Якутском в Вилюйске; жил в лесу далеко от Вилюйска; собака ему, запряженная в саночки, возила в лес одна хлеб и прочие припасы; он там один охотился и жил; после взят, как говорили, в солдаты; теперь живет в Тульской губернии.

10) Поливанов. Не знаю, где арестован; не знаю, где он был и теперь где находится.

11) Черкасов. Арестован в Тульчине. Петербург, Чита; потом на поселении в Березове, Тобольской губернии; где теперь, не знаю.

12) Выгодовский. Арестован в Житомире. Петербург, Чита. На поселение сослан в Нарым. Где теперь, не знаю.

13) Берстель. Арестован в Киевской губернии. Петербург; оттуда прямо послан в работу на Алданские острова; там и умер.

14) Булгари. Не знаю, где арестован, но был в Петербурге. Говорят, взят оттуда в солдаты в Грузию. Где теперь, не известно.

15) Фон-Дер-Бриген. Арестован в Петербурге. Петербург, Чита, оттуда — на поселение в Красноярскую губернию. Не знаю — где.

8-й разряд следует; остальное до следующей почты.

8-й разряд

1) Андреев 2-й. О нем ничего не знаю; даже не знаю, был ли он в Сибири.

2) Веденяпин 1-й (Аполлон). Арестован в 9-й артиллерийской бригаде ⟨в⟩ Киевской губернии. Петербург — и прямо на поселение Иркутской губернии в г. Киренск. Не знаю, теперь где находится.

3) Краснокутский. Арестован в Петербурге. Прямо послан на поселение в Красноярск, там и умер.

4) Чижов. Не знаю, где был и где находится.

5) Голицын (Валериан). Был на поселении в Киренске; потом солдатом в Грузии; потом жил около Москвы; с ума сошел.

6) Назимов. Не знаю, где был на поселении; теперь живет в Псковской губернии.

7) Бобрищев-Пушкин 1-й. Был на поселении в Красноярске. С ума сошел; потом увезен в Россию с братом своим.

8) Заикин. Говорят, был на поселении за Якутском; где теперь находится, не знаю.

9) Фурман. Был на поселении в Тобольске; с ума сошел; говорят, там и умер.

10) Шаховский. Петербург — и оттуда — прямо на поселение в Красноярск. В Петербурге еще бывши, с ума сошел и умер в Красноярске.

11) Фахт. Арестован в Вятском полку; был на поселении в Кургане; взят был в солдаты в Грузию против своего желания и не согласился присягать там на верность; его опять из Грузии привезли в Курган, где и умер.

12) Мозгалевский. Арестован в Саратовском полку; был на поселении в Красноярской губернии; где находится теперь, не знаю.

13) Шахирев. Умер в Тобольске.

14) Враницкий. Арестован в Житомире. Из Петербурга прямо на поселение был отослан в г. Березов; там и умер.

15) Бодиско 1-й. О нем ничего не знаю.

9-й разряд

1) Коновницын. Содержался в Петербургской крепости; был в солдатах в Грузии; потом в отставке и живет в Петербургской губернии.

2) Оржицкий. Прямо отослан из Петербурга после сентенции в Грузию солдатом. Не знаю, где теперь и жив ли он.

3) Кожевников. Не знаю где.

10-й разряд

1) Пущин (Михаил). Из крепости Петербургской прямо взят в солдаты в Грузию; потом жил во Пскове, Вильне и потом в Петербурге. Жив до сих пор.

11-й разряд

1) Бестужев (Петр). Из Петербургской крепости взят в Грузию в солдаты; умер в Новгородской губернии.

2) Веденяпин 2-й. Взят в солдаты в Грузию, там и погиб.

3) Вишневский. Не знаю где.

4) Мусин-Пушкин (лейтенант). Не знаю где.

5) Акулов. Не знаю где.

6) Фок. Не знаю где.
7) Цебриков. Не знаю где.
8) Лаппа. Не знаю где.
Всего 120 человек во всех разрядах.

Лица, осужденные Военным судом при Главной квартире 1-й армии в Могилеве Белорусском

I. Офицеры Черниговского полка, осужденные под виселицу (стоять) и потом в Сибирь в каторжную работу.

На виселище в Василькове были прибиты имена Кузьмина, Щепиллы, Ипполита Муравьева-Апостола и проч. убитых.

1) Соловьев (Вениамин). Содержался под арестом (арестован в поле под Трилесами)в Могилеве, для исполнения приговора суда был из Могилева перевезен в Васильков; там под виселицей исполнена сентенция военного суда. Потом перевезен в Острог Волынской губернии, где стоял на квартирах Черниговский полк; там им всем пред полком переломили шпаги (это, кажется, прежде было сделано, а потом их увезли в Васильков, под виселицу, простоять $1/2$ часа). Потом их отвезли в Киев; оттуда пешком послан до самого Нерчинского Завода; оттуда в Читу, в Петровский Завод и на поселение в 840-м году в Красноярскую губернию. После амнистии уехал в Рязанскую губернию.

2) Кузьмин. После ареста на поле под Трилесами, где был ранен картечью в правое плечо навылет, в корчме на ночлеге застрелился. Похоронен около Трилес.

3) Сухинов. После разбития Черниговского полка скрылся и бежал в Молдавию, но услыша там, что его товарищей арестовали, и ⟨что они⟩ сидят в кандалах, не мог этого перенести, возвратился в Кишинев и объявил о себе, кто он такой. Его арестовали и судили в Могилеве, сослали вместе с Соловьевым в Сибирь. Там, в Нерчинском Заводе, сделал заговор, чтобы из Читы освободить всех арестантов, освободить всех ссыльно-каторжных, находящихся в Нерчинских заводах, и бежать на Амур и далее. Но было все это открыто накануне самого исполнения. Суд присудил его и еще 5 человек заговорщиков расстрелять; но тоже накануне исполнения приговора в тюрьме на ремне около печи повесился; так и умер. Вероятно, он этого бы и не сделал, если бы ему сказали, что он будет расстрелян; ему кто-то сказал вечером, что его будут наказывать кнутом; он этого не мог перенести и сам себя умертвил.

4) Мозалевский и Быстрицкий — ту же имели участь, что и Соловьев. Мозалевский умер на поселении в Красноярской губернии. Быстрицкий же после амнистии возвратился на родину в Киевскую губернию.

II. Прочие офицеры Черниговского полка отданы были все в солдаты. Полк Черниговский был уничтожен, — вновь сформирован, дано было ему другое название [39]. Солдаты все судились военным судом в кандалах; на эти кандалы графиня Браницкая пожертвовала без денег 200 пудов железа, за что ее хвалили и превозносили ее бескорыстие.

41. М. А. БЕСТУЖЕВУ

Петровский Завод. 1861 г., июля 6 дня

Письмо твое от 19 июня я получил 1 числа июля, любезнейший Михаил Александрович! и да здравствует почта: мы, кажется, живем друг от друга 170 верст. Не буду к тебе писать много, потому что рука чертовски болит,— ревматизм, кажется, опять ко мне пожаловал. Я бы к тебе и совсем не писал сегодня по вышеписанной причине, но Сашка [1] пристал непременно к тебе послать игрушки, им сделанные для твоего Николая и Елены; ну, просто плачет почти: «Пошлем, да пошлем; что обо мне подумает Николенька, что я так долго не посылаю к нему обещанного».

Очень жаль Наталью Николаевну [2]; бедная, так молода была, и так рано умереть. Ты скажешь — чахотка была; да разве это резон — иметь в таких летах чахотку, и от чего? Что же касается до твоих молитв к Аллаху и предположений, то об этом речь впереди: дай срок, как русские говорят. А все мне жаль, что я тебе не могу пересказать и десятитысячной доли того, что мог бы тебе передать, не говоря уже о материалах; время было коротко; опять говорю: подожди, дай срок. А рука болит, и не могу более спать.

Прощай!

Твой *Ив. Горбачевский*

Марии Николаевне мой усердный поклон и мое глубокое почтение; детей твоих душевно обнимаю. Получил я письма преинтересные — одно от Наталии Дмитриевны Пущиной, другое от Оболенского.

Пожалуйста, когда будешь разбирать игрушки, разбирай со вниманием, потому что много есть мелких вещей; об этом тебя просит Саша.

42. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

Петровский Завод Забайкальской обл., 1861 г., июля 17 дня

Не умею как тебе выразить мою искреннюю и душевную благодарность, мой Евгений Петрович, за твое письмо от 7 февраля и мною полученное 3 июня. Как ни был обрадован твоим письмом, но меня тоже

удивило, что твое письмо так долго путешествовало. Да здравствует почтовое ведомство! Например, я живу от Мих. Бестужева всего 178 верст и получаю письма через две недели! Если ты не будешь свои письма надписывать — в Петровский Завод в Забайкальскую область, и то большими буквами, то твои письма пойдут в Петровск Саратовской губ., или в Петрозаводск Олонецкой губернии, или даже в Петропавловский порт, в Камчатку; это я говорю по собственному опыту: — из всех таких мест получаются здесь письма, но надписаны из России в Петровский Завод. Вот аккуратность и забота об исполнении своих обязанностей русских почтмейстеров!

У вас, говорят, идет в России какой-то прогресс, чему я плохо верю, но почему же этот прогресс не сделает, чтобы вместо нынешних почтмейстеров сидели бы на их местах люди? Ты пишешь, если бы мы встретились и проч. Если бы мы встретились и ночью, я бы, кажется, тебя узнал, так я помню всех, и мне все кажется, что вы все там в России ни чуть не переменились, хотя знаю, что я в этом ошибаюсь. Ты тоже пишешь, что по временам мы будем повещать друг друга: я готов к тебе писать целые томы,— лишь бы тебе этим не наскучить, и прошу тебя, спрашивай о чем хочешь. Вероятно, ты и держишь свое слово, пишешь ко мне, но только не так выходит: мои письма, тобою ко мне писанные, получает их какой-то Андрей Петрович, а я получаю Андрея Петровича письма, т. е. к нему тобою написанные; а жаль мне, что так случилось, — время потеряно. Посылаю к тебе обратно и письмо и конверт — в удостоверение.

Мое здесь единственное утешение — получать и писать письма к старым моим товарищам по тюрьме и по мыслям. Многих уже нет; и теперь меня беспокоит положение Александра Викторовича Поджио,— он ко мне писал, что у него водяная болезнь, и до сих пор не имею об нем никакого известия. Напиши мне, что с ним делается.

Я не помню, чтобы я писал, что будто бы я отказываюсь к тебе писать о Петровском Заводе: я, может быть, отложил это до другого времени. Если тебе интересно знать, то теперь скажу тебе кое-что. Не думай, чтобы были какие-либо перемены, перемены существенные и радикальные,— нет подобного ничего, все по-старому; не знаю, что будет вперед. И вот с 11 апреля здесь объявлена свобода труда, обязательная работа уничтожена, но все еще продолжается старое с малыми переменами, в ожидании новых правил и узаконений; вообще народ принял такую перемену очень хладнокровно, даже с каким-то сомнением, говоря: «много нам было и прежде читано, а все мы работали день и ночь, что будет, посмотрим».

Жилище наше в Заводе существует [1]; получивши твое письмо, я нарочно сходил на другой же день его посмотреть и посмотрел твой номер каземата. Долго я стоял в твоем номере и около того места, где стоял твой стол и твое кресло; многое тут я вспомнил; взял из стены гвоздик, на ко-

тором висел портрет твоей сестры, принес домой и его сохраняю; прикажешь, я тебе его пришлю. Но вообрази, выходя из твоей комнаты, мне бросился в глаза твой столик в коридоре, на котором ты всегда обедал: он до сих пор стоит. Насонов Дмитрий Иванович тут же со мной был, сказал:

— Вот столик Евгения Петровича. Я, бывало, ему принесу обедать, а вы с Иваном Ивановичем Пущиным у него все съедите.

Я чуть не лопнул от смеха, когда он мне это сказал.

— Отчего же мы у него ели, когда ты и нам приносил обедать? — спросил я нарочно.

— А вот, видите (его поговорка), вам принесу скоромное, и вам уже мясо и суп надоели; а ему принесу рыбу; вам с Пущиным в охотку — вы у него все и съедите; вот видите — да.

— А он сердился на нас, Евгений Петрович, за это, что мы его голодным оставляли?

— Может-ли быть, чтобы Евгений Петрович сердился? Евгений Петрович сердился?! Может-ли это быть? Да, бывало, я напьюсь пьяным, да и совсем ему не принесу обедать, он и за то никогда не сердился... Евгений Петрович сердился, — продолжал он ворчать про себя, — никогда.

Тут я вынул твое письмо из кармана и показал ему. Он взял его в руки, долго смотрел на него и все его переворачивал, задумавшись.

— Да вы будете писать к нему?

— Непременно, — сказал я.

— Так напишите ему от меня, — вот видите, он меня благословлял, когда я женился, он мой отец — напишите, что у меня три сына и одна дочь девочка; живу бедно и стал старик, одним глазом не вижу, и не могу на охоту ходить и стрелять, — вот видите, — все это ему напишите.

Я ему дал слово все исполнить. Тут же просил меня написать о нем и к Петру Николаевичу Свистунову, у которого он прежде служил, но я оставлю это до удобного случая.

После с ним зашли мы в каземат Пущина, мой номер и, наконец, в крайний, в котором жил Штейнгель, а потом он, Насонов, и он тут многое вспомнил. Те два отделения, которые вправо от входа ворот, теперь заняты арестантами, прочие все пусты, и все, что осталось от нас из мебели казенной, все до сих пор и стоит. Деревья, посаженные Мухановым в 11 отделении, сделались уже большие; все заросло травой; мрак и пустота, холод и развалина; все покривилось, а особливо левая сторона, стойла разбиты, одни решетки и толстые запоры железные противятся времени. Не достает тут одного, — наших кандалов. Грудь у меня всегда стесняется, когда я там бываю: сколько воспоминаний, сколько и потерь я пережил, а этот гроб и могила нашей молодости или молодой жизни существует. И все это было построено для нас, за что? И кому мы все желали зла? Вы все давно отсюда уехали, у вас все впечатления изгладились, но мое положение совсем другое, имевши всегда пред глазами этот памятник не-

жной заботливости о нас. Ты скажешь, зачем я сержусь? Я знаю, что ты всегда молишь бога и за своих врагов, но это мне не мешает высказать тебе мои чувства.

Вероятно, тебе любопытно было бы знать о тех детях, о которых ты заботился, бывши сам в тюрьме, которых ты учил, кормил, одевал; все они здравствуют и все помнят и твое имя произносят с желанием тебе счастья и здоровья. Виктор Янчуковский теперь служит помощником начальника Нерчинских заводов в чине подполковника. Балуганские, один секретарем (старший) в каком-то суде, делает большое пособие матери своей, которая жива и живет до сих пор на одном и том же месте и в том же доме, где и при тебе жила — на Итанце; другой сын служит на Амуре, тоже хорошо живет. Алексеев теперь у нас здесь в заводе секретарем в конторе, чиновник и отличный человек; о прочих скажу тебе после, теперь спешу писать.

Вообрази, — те люди, которые при нас служили, все живы и тебе усерднейше кланяются. Отец Поликарп хотел к тебе писать, а твои письма всегда берет домой, уносит от меня и там читает. — Потом тебе кланяется — «да-с, дас-» — Ив. Ив. Первоухин, дряхлый уже старик, наш страж бывший и живая хроника обо всех нас; его конек — во всех рассказах о былом времени:

— Евгений-с Петрович... комендант... веселый-с человек Петр Николаевич Свистунов-с... и Иван Иванович Пущин...

После них, конечно, следует Дмитрий Иванович Насонов; он даже знает до сих пор, сколько от кого получал денег на водку, и когда бы не пришел ко мне, всегда у нас разговор о вас.

Вот еще скажу тебе обстоятельство. Кто бы ни приехал сюда в Завод, все просят меня с собой сходить в каземат, чтобы я показал, где кто жил, что делал и проч. Эта работа для меня, признаюсь тебе, тягостна, но такое любопытство у этих господ, что говоришь им и рассказываешь по целым часам, и все им мало. Какой-то джентельмен петербургский все подобрал перья в твоем номере, вероятно, тобою брошенные, подобрал потом все бумажки и все их положил в свой бумажник; какой-то генерал, сослуживец Якубовича, вырвал все гвоздики из стен в его каземате; один чиновник выкопал из земли столик, поставленный в кустах на дворе 11 отделения, на котором пила чай жена Ивашева, и увез с собой. Не могу тебе всего кончить, сколько было подобных проделок и разных сцен, которые когда-нибудь тебе опишу. Последнего путешественника я водил по нашим казематам недавно, это был писатель Максимов. Мне очень жаль, что я не имел времени с ним побольше потолковать, а человек серьезный и умный; он ехал, кажется, с Амура.

В доме Александры Григорьевны Муравьевой теперь казарма солдат; в доме Давыдовой — казармы ссыльных; в доме Трубецкой — квартира управляющего заводом; в доме Анненковой — контора; в доме Волкон-

ской — школа; в доме Наталии Дмитриевны Фон-Визин живет священник о. Поликарп; дом Ивашевой занят квартирою для дьякона здешнего, который меня убедительно просил тебе кланяться, и когда я его спросил, почему он тебя знает, он сказал, что когда Евгений Петрович ездил с Итанцы в Удинск, то он всегда останавливался у моей матери на квартире, а я был в то время мальчиком и от Евгения Петровича получал иногда гостинцы. Он очень хороший человек и, против обыкновения всех дьяконов, трезвый человек. Дом⟨а⟩ Нарышкиной и Юшневской упали и развалены; в доме Барятинского, где он больной лежал и где мы около него по очереди дежурили, живет урядник.

Что забыл тебе сказать и не успел тебе написать, спрашивай: на все тебе дам ответ.

В прошлом месяце я был сильно нездоров своим всегдашним недугом — гемороем; доктор мне посоветовал дорогу на перекладных вместо всякого лекарства. Я взял подорожную, съездил в Селенгинск к Михаилу Бестужеву — и выздоровел. Нельзя себе представить, не видевши глазами своими, как он постарел: седой, морщины кругом, глаза какие-то оловянные сделались вместо бывших черных; он хочет ехать в Россию, но когда это будет, неизвестно: ожидает оттуда писем — куда именно ехать. Дети его растут, а их надобно учить, вот причина его переселения; я был у него всего четыре дня, и не умолкали — все говорили день и ночь, и еще не кончили. Завалишин Дмитрий в Чите; тоже желал бы умереть в России, но обстоятельства его худы и не может этого исполнить. Он бодр, здоров, пишет, спорит, говорит много и хорошо, но жаль одного, — что его доходы очень скудны.

Если уедут Бестужев и Завалишин в Россию, я один останусь в Восточной Сибири, по крайней мере, я больше не знаю, кто живет здесь[2]. Я останусь один и буду сидеть, как Марий на развалинах; я и сам развалина не лучше Карфагена; но и со мной бывает слабость даже непростительная: я иногда мечтаю о своей Малороссии, и тоскую по ней, и чем делаюсь старее, тем более делается одиночество мое скучнее, и грусть одолевает. Одно спасение в моей жизни настоящей, это чтение — без этого я давно бы пропал. Мне странно кажется, и иногда спрашиваю сам себя, как эти люди живут, и что им чудится после Читы, Петровского Завода, Итанцы и проч. И после всего этого жить в Москве, в Калуге и далее, и далее. Какие должны быть впечатления, воспоминания, а свидания с родными, со старыми знакомыми. Для меня все это кажется фантазия, мечта. Я бы съездил и на Амур, чудный край, отлагая в сторону тамошние порядки, но тоже не могу, на это тоже надобны средства. Что я написал, читай, если время тебе позволит.

Привет мой сердечный твоим детям, мое глубочайшее почтение твоим родным и близким, мой душевный поклон, кто с тобою меня вспомнит. Ко мне писал дважды Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин и перестал

писать. Что он делает? Не слыхал ли что-нибудь об Александре Викторовиче Поджио? Напиши мне; я от него давно не имею писем. Жму тебе руку, обнимаю тебя душевно и сердечно. Прошу тебя, пиши ко мне, только не ошибайся, когда печатаешь письма. Ваши письма, истинно говорю тебе, мое единственное здесь утешение.

Твой навсегда *Иван Горбачевский*

Вот в чем дело: написал к тебе письмо и, не доверяя исправности почт, пославши простое письмо, я решился послать тебе при письме посылку,— гвоздик, мною вынутый из стены твоего каземата, огниво мое, произведение Петровского Завода, сделанное из памятного тебе железа [3], и, когда укладывал посылку Насонов, то приложил тебе в подарок и свой кремень, вынувши из своего кармана. Мы советуем тебе: брось эти спички, употребляй огниво наше. Да еще прошу тебя убедительно, пришли мне свой портрет; у меня многих есть портреты, твоего только нет, нет нужды, что ты теперь старик.

43. П. И. ПЕРШИНУ-КАРАКСАРСКОМУ

1861 г., декабря 14 дня. Петровский Завод

Милостивый государь Петр Иванович!

Милое ваше письмо от 24 ноября я получил 2 декабря, за что вас от души благодарю. Видите я нарочно пишу, которого числа ваше письмо дошло до меня; а мы живем от Кяхты только 250 верст; да здравствует почта, доставляющая так скоро письма! Но дело уже теперь не в почте, я еще благодарю вас сердечно за вашу память обо мне и за ваши чувства.

Читая ваше письмо, я не могу всего выразить вам, как бы хотелось, и что бы хотелось. Но, любезнейший Петр Иванович! пощадите меня: я не успел заслужить перед вами то расположение, каким, вижу, я пользуюсь от вас теперь. Чем я заплачу за теплоту ваших чувств и доброту вашего сердца? Если я не сравняюсь в этом с вами, то, прошу вас, вспомните мое все прошедшее, тогда и будете великодушны и снисходительны к старому допотопному существу, у которого все уже притупилось.

Верю во всем вам и за все сердечно благодарю.

По времени получения моего письма вы увидите, что я не мог исполнить ваше желание: ваш срок был 5 декабря, письмо же получено 2 декабря да еще за огромной своей перепиской неделю пропустил и не успел отвечать вам скорее. Я много получил интересных писем и из сил выхожу, а надобно отвечать, и, поверите ли, к отправке на сегодняшнюю почту написано 16 писем. К вам пишу 17-е, и еще не все: надобно написать еще несколько.

Простите за подробности; но надеюсь на ваше снисхождение; пишу для того, чтобы вы не приписали краткости моего письма моей лени или небрежности. Буду писать к вам, но прошу, не считайтесь письмами, будьте, как всегда добры, пишите мне; такие письма, как ваши,— отрада и утешение в скорбной моей жизни. Храни вас собственное ваше достоинство от сомнения в моих чувствах и словах; повторяю вам — я говорю правду. Но душа моя растерзана сегодня, она не в силах далее продолжать; до будущего времени, а теперь будьте здоровы, берегите ваши глаза.

Ваш навсегда преданный

Иван Горбачевский

Жму крепко руку Алексею Михайловичу[1] за его для меня дорогой подарок, который передал мне Борис Васильевич, буду его хранить и с чистою любовью на него смотреть.

44. Н. П. ОБОЛЕНСКОЙ

⟨Петровский Завод. Начало января 1862 г.⟩

Милостивая государыня Наталия Петровна!

Прошло почти полтора месяца, когда я получил ваше письмо от 12 сентября, и до сих пор не мог к вам писать. Простите великодушно за такую медленность: это произошло не от лени и забывчивости, но от разных причин; и не было дня, чтобы я не помнил, что должно отвечать. Позвольте же чувствительнейше вас благодарить за ваше письмо; вы такому сибирскому дикарю, как я, неожиданно доставили радость и утешение. Вы читали мое письмо, писанное без порядка мыслей о старом времени, для нас одних имеющем цену горькую воспоминания; вы так добры, что и в моем письме нашли что-то такое, за которое подарили меня таким дорогим письмом. Я писал откровенно, просто к человеку, близкому ко мне по сердцу и чувству, вспоминая только былое и давно прошедшее, и, опять повторяю, вы были так великодушны — написали ко мне, и я, получивши ваше письмо вместе с письмом Евгения Петровича, был обрадован, и чувство благодарности за ваше расположение во мне неограничено, неизъяснимо.

Я убежден в доброте вашего сердца, что вы не усумнитесь в истине моих слов: лицемерить — не мое дело; и когда вспомните, где я живу, тогда еще более поверите, что такое письмо для меня получать есть редкий случай и необыкновенная вещь.

Со вниманием читал я ваш рассказ об обстоятельствах, вас и всех так занимающих. Все это меня интересовало, все подробности — для меня новость, но только в другом виде, как я слышал и читал разные официаль-

ные известия. Более всего также меня занимала в вашем письме ваша надежда на миролюбивый исход такого дела; но интересы затронуты, страсти возбуждены, невежество и упорство одних, желание достигнуть цели других встретились; кончить это дело любовью и кротостью — признаюсь чистосердечно — сомневаюсь, и если оно и будет так кончено, то, кажется, не надолго и не прочно. Ваши опасения, в противном случае, что доброе дело может остановиться и погибнуть, напрасны: струна была слишком натянута, чтобы пущенная стрела не пошла прямо к цели. Конечно, может быть я ошибаюсь,— мне трудно и почти невозможно передать мои мысли; я только желаю, чтобы все было кончено мирно к удовлетворению всех и каждого.

Благодарю вас искренно за все ваши известия в вашем письме; мне любопытно было знать о Розене и прочих моих знакомых и товарищах; все для меня ново и занимательно.

Я должен кончить свое письмо, чтобы не утруждать вас, но позвольте питать себя надеждою, что вы когда-нибудь вспомните о человеке, живущем в одиночестве и отдалении от людей, пожертвуете свободною минутою великодушно — написать и тем порадовать

вам преданного *Ивана Горбачевского*

Евгению Петровичу мой усердный поклон, и в скорости буду к нему писать; прошу его поклониться от меня Кирееву.

45. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

1862 г., января 18 дня. Петровский Завод

Мой любезный, дорогой мой Евгений Петрович!

Прости великодушно, что пропустил два месяца и не отвечал тебе; я твое письмо получил 18 ноября, оно было с деньгами для Дмитрия Насóнова. От 28 сентября, вместе же с твоим письмом, получил я и от княгини Наталии Петровны, и на которое с прошедшей почтой отвечал. Не знаю, как благодарить, не нахожу слов, как выразить мою благодарность за ваши письма. Вероятно, оценишь мою радость по опыту, когда вспомнишь, где я живу, и что значит в таком быту иметь такое утешение. Одно меня печалит — это молчание Александра Викторовича [1] — знавши, что он болен, не знаешь, что думать; давно я от него не получал писем. Прошу тебя, когда будешь ко мне писать, скажи мне о нем подробнее. Также не забудь мне написать о здоровье Павла Сергеевича [2]; уж если пришлось тебя просить, то напиши мне, что Киреев делает, нашел ли он своих родных и как он будет жить.

На-днях я получил из Москвы дорогую для меня посылку и вижу, что эта посылка прислана от Наталии Дмитриевны [3]. Я получил от нее книги,

но ужасно жалею, что от нее нет письма; меня это мучит и беспокоит, почему нет письма. Сколько было послано книг и какие именно, все это мне неизвестно, а между тем видно, что ящик и печать иркутские. Книги для меня очень интересные, давно я подобных серьезных не читал. Журналы русские, газеты — все это так наскучило, что теперь присланными книгами я упиваюсь и запиваюсь. Как я ей благодарен за это несказанно, а все же жалею, что письма нет. Подожду почты две, три,— не буду к ней писать, авось не получу ли письма. Не худо, если бы ты мне прислал ее адрес, куда к ней писать. Она писала ко мне, что свои имения она продала; где же теперь она живет — не знаю. Вот сколько я тебе, мой Евгений Петрович, задал вопросов, теперь буду отвечать и на твои.

Ты ко мне писал и спрашивал о состоянии памятника покойной Александры Григорьевны Муравьевой. Он стоит, и все сделано относительно его починки, по просьбе Софьи Никитичны [4]; но вот в чем дело: лампада не горит по недостатку масла, а масла нет, как мне сказал о. Поликарп, оттого, что не достает денег на покупку масла же. Не знаю, в каком банке лежат деньги, т. е. капитал, и при прежних процентах и дешевизне масла было достаточно этих процентов, чтобы лампада горела круглый год; но теперь банк уменьшил проценты, кажется, дают теперь два или три только процента, следовательно, денег не достает на покупку масла, которое теперь здесь вздорожало до неслыханной цены. Я сегодня получил от здешнего бухгалтера записку, вот тебе копия:

«К 1-му числу января 1862 года вступило суммы, принадлежащей умершей А. Г. Муравьевой, 56 руб., 56 1/2 коп. серебр.

Из этого в 1862-м году употребится:

На жалованье сторожам 6 р. 84 к.

Священникам на панихиды 7 р. 14 к.

Затем остается на освещение в 1862 г. 42 р. 58 1/2 к.»

Староста церковный, казначей, комиссар и о. Поликарп говорят, что на эти деньги нет возможности целый год освещать маслом памятник; да и посмотри счет,— бедным сторожам приходится очень мало.

Сегодня был у меня. о. Поликарп и сказал мне, чтобы лампа горела целый год беспрерывно, как этого желали завещатели, то непременно надобно лампу устроить иначе — надобно, чтобы лампа была больше, чтобы она могла вмещать в себе более масла и чтобы она могла сама собой нагреваться; от сильной стужи и морозов теперешняя лампа гаснет беспрестанно, и не может гореть зимою; следовательно, надобно будет покупать еще более масла и затем — более издержек. Вот тебе объяснение на твой вопрос; кому знаешь об этом и сообщи, если это надобно.

Также ты спрашиваешь о нашей церкви — бедная и бедная, риз порядочных даже нет, паникадила нет и проч., и проч.; к тому же ужасно холодно. Относительно веры и исполнения своего долга наш о. Поликарп очень даже редкий священник, все его хвалят, но за то — никакого по-

нятия о благолепии храма, никакого вкуса в обстановке; ему — грошевая свеча и рублевая, где надобно, риза самая простая и золотая, лучшие певчие и дьячек, который ревет, хоть уши затыкай, ему — все это равно,— удивительно! Читает беспрестанно и очень любознательный и любопытствующий, но все это на него не имеет никакого влияния, и он тот же, чем и был и тогда, когда ты здесь был. Бедный о. Поликарп! В ноябре месяце выдал старшую свою дочь замуж за Дмитрия Дмитриевича Старцова, которого ты знал, при нас здесь торговал — брат родной Ильинской Катерины Дмитриевны; и что же, ехавши с молодою женою домой к себе в Селенгинск, простудился, сделалась скоропостижная чахотка и, как пишут, умирает, уже приобщали и соборовали маслом; бедная Хариеса Поликарповна — через три месяца уже и вдова. Желательно было бы, чтобы те, которые об этом из Селенгинска пишут, ошиблись.

Признаюсь тебе чистосердечно, что я немножко посмеялся над твоими заботами с крестьянами и с уставными грамотами[5]. Что такое уставные грамоты, я не понимаю, неужто без них нельзя жить; да и как же здесь, в Сибири живут без всяких грамот крестьяне и живут не хуже ваших российских? Впрочем, мое невежество моему удивлению причиною; впрочем, я уверен, что ты всевозможные напишешь им грамоты, лишь бы они были довольны и счастливы. Но прошу тебя убедительно, пиши хотя что-нибудь об этом предмете ко мне: ведь для меня это любопытнейшая вещь, что у вас там делается.

Ты спрашиваешь о Михайле Бестужеве и Завалишине. Первый живет в Селенгинске, женат, имеет сына и двух дочерей; жена его урожденная Селиванова. Михайла Бестужев мне говорил, что хочет ехать в Россию, и именно потому, что дети растут, а их надобно же учить. Он хочет отправиться нынешним годом, но не знает, где будет жить. Хотелось бы ему куда-нибудь поближе к учебным заведениям. Завалишин — в Чите, давно уже овдовел, детей нет, но живет в том же доме, который, помнишь-ли, и при нас был, когда мы там были; вообрази, старуха Смолянинова еще жива, по крайней мере, я слышал об этом летом от того, кто ее видел. Он много нажил себе врагов чрез свои статьи об Амуре, чиновный люд на него рассердился; но что замечательно: кому не дадут награды, тот говорит, что Завалишин говорит правду; смешно смотреть на все подобные дела.

Вопрос твой о моей жизни оставлю до будущей почты,— ты мне столько вопросов сделал, что надобно десять листов писать. Поклонись от меня усердно и засвидетельствуй мое глубочайшее почтение Наталии Петровне, детей твоих обнимаю сердечно заочно; желаю тебе здоровья и всех возможных успехов по твоим делам.

Пиши ко мне, прошу тебя об этом особенно, не забывай, что я один в Сибири; скука и тоска меня одолевают, несмотря даже на привычку жить столько на одном месте. Буду к тебе писать и, ежели хочешь, буду

писать много: о многом мне хотелось бы у тебя спросить, много бы и к тебе бы написал, но не знаю, что будет вперед,— будет ли время и мне и тебе.

Прощай, мой Евгений Петрович, не ленись, пиши ко мне. Твой навсегда

Ив. Горбачевский

Насонов получил твои деньги и благодарит так, как я не умею передать, только часто слышал повторение, когда он тут же другим говорил:

— Вот-с, да-с, Евгений Петрович меня не забыл, видите-с,— и проч., и проч.

Забыл тебе написать: 30 и 31 числа декабря у нас было сильное землетрясение, у меня печь треснула, у многих двери сами собой отворились, но все это ничего в сравнении, что сделалось около Байкала — в Иркутске и в Удинске. Об этом после скажу.

46. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

Петровский Завод. 1862 г. Марта 8 дня

Любезный Дмитрий Иринархович!

Если бы было терпение на бумаге объяснить, написать, даже нарисовать и проч., и проч. мои извинения, мое раскаяние и мои просьбы, чтобы вы были велукодушны и так добры и меня простили бы за мое молчание, и за все то, чем я пред вами виноват,— то я готов бы был написать десять листов извинений,— но вы тогда бы могли подумать, что это все, пожалуй, и одни слова; но, повторяю, по чувству любви и приязни, искренно от души и сердца, что я виноват пред вами за мое молчание. Я признаюсь чистосердечно — я довольствовался и тем, что всегда у всех спрашивал о вашем здоровье и вашей жизни; я знаю, что этого мало, я чувствую, что нам нужно, так сказать, размен мыслей и известий в нашем положении,— но тоже повторяю, что писал вам и прежде, что чрез почту у меня неодолимое отвращение писать так, как бы хотелось; чрез проезжающих — тоже имею какое-то недоверие, тем более, не знавши настояще, что за люди и в каком они с вами отношении. Брун ко мне пишет и почти упрекнул меня, что я к вам не пишу,— мне стало больно, совестно, и вот я взялся за перо.

Живу по-прежнему, один в полном смысле этого слова,— одно имею утешение, что иногда получаю письма из России — вот все наслаждение в моей настоящей жизни; но чем далее, то нашего полку убывает. Того и смотри, что придется уже ни одного письма не получать от старых своих знакомых и товарищей. Вы чрез Кат. священника сказали, что старик Волконский умер [1],— а я ожидаю с часу на час такого же известия о

А. В. Поджио; он писал ко мне из Москвы, что у него сделалась водяная болезнь,— прощается со мной и с тех пор не пишет, он писал, кажется, от июня месяца прошлого года. Вообразите, пишет Поджио, бедный, что он отчаянно болен, а его полиция гонит вон из Москвы, и он принужден был бросить и лечение и докторов и уехать в деревню какую-то около Москвы.

Пишет ко мне Оболенский из Калуги, что Бобрищев-Пушкин тоже болеет отчаянно и что Басаргин умер. Получаю иногда письма от Наталии Дмитриевны, она живет в Москве и хлопочет со своими имениями,— вот все, от которых получаю иногда письма.

Скажите мне, от кого из наших вы получаете письма, что к вам пишут и что они там делают? Скажите, какие ваши намерения, и думаете ли когда-нибудь побывать в России? Меня зовут... Но вопрос, где я буду жить, приехав туда. В столицах нельзя [2], а моя сестра не может жить кроме Петербурга, потому что там ее дети служат. Бестужев Михаил в этом году собирается ехать; дети его растут, надобно учить, вот причина его поездки.

Обещаю и даю вам слово, хотя кратко иногда, но писать к вам; мир, мир и мир, Дмитрий Иринархович. Бестужев уедет и нас только двое здесь будет, как стражи на развалинах наших прежних печальных жилищ. Соберусь с мыслями, буду к вам больше писать,— знаю, что вы добры, не злопамятны,— следовательно, надеюсь и от вас получать иногда письма,— прошу вас убедительно простить и не забывать навсегда вам преданного

Ивана Горбачевского

Я сделался почти слеп, прошу вас, пишите крупными словами ко мне — мне не хочется другому поверять и просить за себя читать ваши письма.

Иван Варфоломеевич г-н Поплавский писал ко мне, что за последнюю треть 1861 г. деньги будут ко мне высланы в январе месяце, но я до сих пор их не получаю. Прошу вас, Дмитрий Иринархович, не встретитесь ли вы где-нибудь и сказать ему об этом, если вы с ним знакомы. В противном случае, прошу вас, похлопочите, если вам это возможно.

Когда-нибудь при верной оказии пришлю вам письма кое-какие, мною полученные. Это для прочтения, если вам время позволяет.

47. П. И. ПЕРШИНУ-КАРАКСАРСКОМУ

19 марта 1862 года. Петровский Завод

Милостивый государь Петр Иванович!

Знаю и помню, что я перед вами виноват и в долгу; я получил милое ваше письмо и буду вам отвечать, но теперь, когда спешу писать по

случаю скорого отъезда Бориса Васильевича, остается одно только мое желание и единственная потребность души — душевно и искренно благодарю вас за вашу присылку лекарства и за ваши хлопоты и труды; а Алексею Михайловичу — мой усердный поклон и благодарность за передачу вам моего поручения, такому исправному комиссионеру, как вы.

Когда же вы пришлете мне свою карточку с вашим портретом? Алексей Михайлович у меня уже поставлен около Пущина и Оболенского; я вас тоже в тот же кружок помещу всех близких моему сердцу. Обнимаю вас душевно и жму вашу руку.

Ваш навсегда *Иван Горбачевский*

48. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

1862 г., марта 22 дня. Петровский Завод

Мой дорогой, мой неоцененный, мой, мой и мой Евгений Петрович, пощади! Я получил твой портрет, и возможно ли быть таким стариком! Что это? На что это похоже — седой, в морщинах; что же дальше будет? Но, впрочем, дело не в том теперь. Получивши твое письмо и увидевши тебя, я не знал, что с собой делать: грудь стеснилась, ряд воспоминаний блеснул в голове, сердце замерло; все говорю тебе истинно и истину. Потом, как будто отдохнув, я начал смеяться; начал в голос тебя благодарить, ходить по комнате, и забывши и не видевши мальчика — внука о. Поликарпа, который принес твое письмо. Такое впечатление и такие переживания производят на меня и ваши письма иногда, и ваши портреты. Благодарю тебя от души и сердца за твое внимание и твою память обо мне. Не забывай моего одиночества, тогда поверишь моим словам и чувствам. Я твой портрет лучше рассмотрел, может быть, нежели ты сам. Я взял увеличивающее стекло с двух сторон выпуклое (лупу) и смотрел на тебя. Ты мне представился живым, я все у тебя пересчитал морщинки и складки на платье,— необыкновенно похож.

Мне прислали после смерти И. И. Пущина его портрет, тоже фотография, только величиною в четверть листа; он мне казался очень похожим; но недавно доставши себе лупу, и когда посмотрел на Пущина, все лицо выдалось рельефно, подвинулось как будто вперед; я не мог долго смотреть — это совершенно он, живой и прямо смотрит в глаза.

Прости мне великодушно, что давно к тебе не писал; проклятая малороссийская лень, нездоровье и разные дрязги и хлопоты были тому причиною, что за перо не хотелось взяться; впрочем, я писал к тебе и к Наталье Петровне; скажи мне, получили-ли вы эти письма. Одним словом, на каждое письмо отвечаю, хотя не тотчас по получении.

Не говори мне о вашей гласности; я не так понимаю ее, как это делается. Вероятно, я не все читаю, что пишут, и это очень натурально,

потому что здесь бедность и на книги, и на гласность. Я даже еще хорошо не понял и свободу крестьян, что это такое — шутка или серьезная вещь. Постепенность, переходное состояние, благоразумная медленность, все это для меня такая философия, которую я никогда не понимал. И я тебе говорю истину буквальную. Мать моя — из фамилии Конисских и была когда-то помещицей, была истая малороссиянка, т. е. ничего не понимала и не знала, кроме монахов и Киево-Печерской лавры, куда отдавала последнюю копейку; зато была набожна и хозяйка, т. е. много было сала и моченых яблок. Она, не знаю уже каким образом, сделала так, что имение, тоже не знаю большое или малое, передала и перешло мне и моему брату, тому слишком 40 лет, когда я вышел в офицеры в артиллерию, а брат мой вышел в полевые или военные инженеры.

Я приехал домой, проездом в бригаду, которая стояла на квартирах в Малороссии, и застал дома одного отца; мать умерла, сестры вышли замуж, он, бедный, один был, это было далеко от Малороссии. Я у него недолго гостил, потому что наш корпус пошел в поход в Италию (Неаполитанская революция), и мне не дали отпуска. Уезжая в бригаду и уже совсем собравшись, отец мой вынул какую-то связку бумаг и сказал мне:

— Ты теперь получил звание; вот тебе документы на владение имением после твоей матери; делай, что хочешь.

Я не обратил на это внимание и бросил в чемодан эту связку бумаг, которую никогда в жизни не развязывал и до сих пор не знаю, что там было написано. Но отец меня при этом просил, что если когда-либо я буду в деревне, то, чтобы я непременно побывал бы на той яблоне, на которую он, бывши мальчиком, туда лазил; она стояла на берегу ручья, особенно.

Я уехал. Приехавши в губернский город, там я нашел какого-то нашего дальнего родственника; дурак набитый и чиновник, предлагает мне, как помещику, съездить в деревню. Я сначала отказался, и какие резоны он мне ни представлял, ничего не помогало — мой ответ ему был один, что всякая деревня помещичья для меня отвратительна. Но вспомнивши, что мне надобно побывать на яблоне, исполнить волю и завещание отца, я согласился, тем более, что это было по дороге в бригаду, которая стояла в Полтавской губернии. Только что приехали, я, не входя в дом, побежал к яблоне, сбросил с себя сюртук, полез на яблоню, чуть себе шею не своротил, посмотрел кругом, опять долой и прихожу к дому; а чиновник уже собрал там народ — посмотреть на нового барина. Увидевши толпу хохлов, не знаю кому, я приказал лошадей запрягать дальше ехать: чиновник вытаращил глаза.

— Куда так скоро?

— А мне что тут делать? — сказал я ему.

— Вот ваши крестьяне.

Я, чтобы кончить развязку, подошел к толпе и сказал им речь, конечно, она не Цицерона и Демосфена, но по-своему, потому, что меня вся эта глупость взбесила.

— Я вас не знал и знать не хочу, вы меня не знали и пе знайте; убирайтесь к черту.

Сел в тележку и уехал в ту же минуту, даже не поклонившись родственнику-чиновнику, который за это после жаловался на меня отцу, а тот хохотал до упаду. Долгое время спустя вспомнил об имении, вынул из чемодана бумаги и при письме послал их в Грузию к своему брату, предлагая ему эти бумаги взять и владеть имением, говоря в письме, что я не хочу быть помещиком, что я не хозяин, что я не знаю в этом толку, и что я также отказываюсь от всего этого, как и отец, который не любил ничего подобного. Брат присылает мне обратно бумаги из Грузии и пишет, что он таких мерзостей не чтец, и что ты, брат Иван — извини — глупец.

Вот тебе, Евгений Петрович, наша с крестьянами уставная грамота... Отец мой едва больной доехал до этой деревни и положил там свои кости. Не помню хорошо, но кажется в 1835 году, будучи в отставке, написал свои записки — преоригинальная и любопытная вещь. И знаешь, ли, какая с ними история? Сестра мне их прислала сюда, в Петровский Завод,— у меня их отобрали и отослали в канцелярию III Отделения; у меня они были не более трех дней; едва я успел прочитать.

Покойница сестра моя ездила на его могилу и писала ко мне, что крестьяне поставили в своей церкви образа Иоанна Богослова и Николая Чудотворца (имя мое и брата моего) и молятся им. Сестра моя об этом писала с восхищением и умилением, а я ей отвечал, что всегда я малороссиян считал глупцами и всегда буду их таковыми почитать, и об них так думать; тем вся эта история и кончилась, и до сей минуты не знаю и никогда не спрашиваю о своей родине.

Все это я тебе сказал в кратких словах в подтверждение тех слов и мысли, что я прежде о наших крестьянских делах написал, т. е., что так делать с ними, как теперь поступают, значит, что я толку не могу дать; не понимаю, из чего хлопочу, когда в этом есть необходимость; почему себя помещики к этому не приуготовили? почему в них нет идеи и чувства и любви к ближнему? почему — почему и многое бы я мог сказать почему,— но это оставляю: пусть делают, что хотят, и им же хуже будет, если что и случится.

Что пишу другой лист, а тебе скучно читать, не жалуйся,— этому ты сам причиною, жалуясь, что я мало пишу к тебе; так терпи, и я буду продолжать и продолжаю. Помещикам сказать стоило бы только — делайте, что хотите, слушайте, кого хотите, берите свое и что вам нужно и необходимо тоже, идите, куда хотите,— ну самое меньшее хоть к черту, только оставьте нас в покое. Неужто это беспорядок и кавардак будет, если

бы так сказали, прибавя, управляйтесь сами, как знаете? Неужто не нашлись бы добрые люди, в таком случае, им помочь советом и делом, да и правительству легче было бы достичь цели освобождения, без всяких положений, уставов и ужасающей огромной переписки. Ты мне скажешь, я не философ, не политик и не администратор, если с людьми так думаю поступить; с ними надобно так поступать, чтобы они ничего не понимали и не знали, что с ними хотят делать; они не умеют себя сделать счастливыми, а мы их такими сделаем; они не умеют управлять, мы знаем все и можем управлять; мы все сделаем, мы все знаем, пусть только землю пашут, а писать уставы мы будем.

Коль скоро все это правда, коль скоро так все надобно и необходимо — тогда поговорим о другом чем-нибудь...

Места мало осталось писать, почта скоро отходить будет, а я все болтаю. Скажу лучше тебе что-нибудь о себе: здоровье мое хорошо бы было, если бы не проклятый мой недуг, о котором ты слыхивал когда-то; спина здорова, и мало хожу и двигаюсь, не так, как ты — поспеваешь во все концы своей Калуги... Если бы не нужно было хлопотать о своем поганом существовании, я бы обложил себя книгами, перьями и тогда на свет глаз не показал бы. Я бы, как зверь, погрузился бы в летаргию и был бы счастлив.

Бестужев Михайла писал ко мне — приехать к нему проститься — он ехать хочет в Россию. Может, после, когда будет тепло, побываю у него. Завалишин здоров. Прошу тебя, напиши мне что-нибудь об Александре Викторовиче Поджио; почему он перестал ко мне писать, что все это значит?

Да, забыл тебе сказать и ответить на твои вопросы. В письме твоем ты спрашиваешь, что мой парик, что мои бакенбарды; бодр ли я и крепок ли на ногах и проч. Ты знаешь ли, я себе дал слово жить сто лет, следовательно, чтобы такую программу исполнить, по-моему рано еще иметь седые волосы — их у меня нет; здоровье такое же большое, как и мои бакенбарды, если бы только не одна болезнь, которая от сидячей жизни бывает. Бываю часто нездоров, но это проходящее, но главная у меня болезнь — скука и тоска — я бы их отдал любому помещику, который не хочет расстаться с крестьянами своими,— тоска, когда вспомню, сколько вас там осталось. Жалею, почему мои бывшие товарищи не бессмертны, хотя бы на сто лет, пока я буду жить.

Твое поручение исполнено — старику Насонову тотчас же деньги были отданы. Конечно, не буду тебе описывать, что было при этом сказано, сколько благодарности тебе и сколько вылилось из уст старика на тебя благословений. Когда я ему показал твой портрет, он очень радовался, делал свои замечания, и когда я ему дал стекло еще на тебя посмотреть хорошенько, он заметил, что у тебя сапоги ваксой вычищены, и что сюртук у тебя не серого сукна.

Поклонись от меня усерднейше, искренно, от всей души и теплых чувств Петру Николаевичу [1]; желаю ему здоровья и всего лучшего, я помню хорошо, как мы прежде жили вместе в трущобе и там хохотали, смеялись, несмотря ни на какие замки, дежурных и часовых. Попроси его прислать мне свою карточку с портретом, уверь его, что это для меня будет утешение и знак его памяти обо мне.

Но, однако ж, Евгений Петрович, пора же мне с тобой перестать говорить. Я бы желал — и могу это сделать — говорить с тобой три дня, три года, пожалуй, беспрестанно и без конца, но боюсь тебе наскучить. Прошу покорнейше тебя, засвидетельствуй мое глубочайшее почтение и отдай мой усерднейший поклон Наталии Петровне, и пусть меня простит, что адресую к тебе письма на ее имя. Боюсь посылать на твое имя, пожалуй, при твоей движимости, тебя не будет и в Калуге. Я бы и не прочь от того, что желал бы и радовался бы получить и от нее когда-нибудь письмо, но боюсь об этом не только просить, но и думать; беспокоить других не могу, но прошу тебя еще раз пожелать от меня здоровья и всякого благополучия.

Писал бы еще к тебе, и много бы мне надобно еще тебе сказать,— но теперь я устал, и тебе надобно дать покой и избавить тебя от своей болтовни, дикой и беспорядочной. Прощай, жму тебе крепко руку — мало мне,— обнимаю мысленно и душевно тебя, желаю тебе всего спокойного, лучшего и утешительного. Пиши ко мне; я один — мне грустно и скучно. Прощай. Твой навсегда.

Иван Горбачевский

Так спешу на почту, что не успею прочитать, что я к тебе написал не вставая с места; извини за поспешность.

49. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

1862 г. Мая 10 дня. Петровский Завод

Письмо ваше от 28 апреля, любезнейший Дмитрий Иринархович, меня обрадовало; душевно вас благодарю; благодарю также за ваши заботы о моих деньгах, я их получил; что я о них писал и беспокоил людей, то это от того произошло, что, во-первых, я их долго не получал, а, во-вторых, потому, что бывали случаи они вовсе терялись; мне г-н Поплавский писал, что хорошо, если я ему напомню об них, он будет за этим следить и посылать; не знаю, что будет дальше. Вы пишете о дороговизне; здесь все то же; рубль серебром не считают за деньги, а промышленность и торговля совершенно упали.

Письмо И. И. Горбачевского Д. И. Завалишину от 10 мая 1862 г. (ГИМ)

С горечью читал я в вашем письме проделки цензуры, начальства и проч. с вами и с вашими статьями в журналах;[1] скажите, где же эта восхваляемая гласность во всех газетах, где же этот успех? Неужто это старая ложь официальная, только с переменою слов и фраз; не знаю, как об этом думаете, но я не верю никакой гласности в печати, не верю успеху ни в чем, не верю обещаемой свободе, не верю даже нашей, до нас касающейся амнистии. Но об этом после поговорим, теперь скажу вам, что получил от Михаила Бестужева недавно письмо, просит убедительно к нему приехать и, говорит,— проститься навсегда: стало быть едет в Россию, но не говорит когда; все продает, понелепому и все в убыток, как это обыкновенно бывает. Сестры его живут в Москве, и он, как говорит, хочет жить где-нибудь около железной дороги, чтобы быть поближе к детям, если они будут в учебных заведениях.

Получил тоже письмо от Александра Викторовича Поджио, живет около Москвы, болеет и, как кажется, худо болеет, чуть ли у него не водяная болезнь, которую он в утешение себе называет отеком. Зовет меня к себе, чтобы я все бросил и приехал бы к нему; удивительная вещь, как для них все это легко сделать; относительно себя я тоже скажу, что мне это легко сделать, т. е. сесть в повозку, бросить и дом и все ничтожное имущество, и уехать; но что будет там, что там я буду делать, чем жить и как жить,— ехать на неизвестное в будущем в такие лета — конечно, этого вопроса не было бы, если бы я имел деньги, хотя такие, чтобы меня обеспечивало на первых порах.

Когда соберу все письма, мною полученные, которые теперь взяты у меня, то на прииски, то в Кяхту, все просят их читать, тогда к вам пришлю их,— это я непременно сделаю и все пришлю или чрез почту, или чрез верные руки.

Отвратительна ваша Чита с вашим людом чиновников; по вашим словам, это адская жизнь; и надобно же вам такое несчастье — жить в таком месте, где этой проказы очень много.

Мне все хочется при хорошем случае, самое главное, удобном, приехать к вам, хотя бы дня на два, на три. Я бы отдохнул душевно у вас; тягостно жить одному,— поехал бы я тоже и к Бестужеву, но так все дорого, что нет возможности двинуться с места.

Желаю вам здоровья, буду писать и буду писать к вам почаще. Прошу вас, не забывайте вам преданного

Ив. Горбачевского

Пробую всеми возможными перьями писать,— и гусиными, и всякими; теперь учусь писать стальными и не могу привыкнуть.

50. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

5 июля 1862 г. Петровский Завод

Любезный Дмитрий Иринархович!

Давно я не получал от вас писем, два письма я к вам писал, но вы не пишете. Много я передумал об этом, но не жалуюсь на вас потому, что писать часто тоже имеет свои затруднения, а особливо в таком грустном положении, как наше. О чем писать,— вот всегда вопрос в голову приходит, когда живешь в глуши несколько десятков лет, все одно и то же, все по-старому.

Я получаю из России письма, хотя довольно редко, но все же о них лучше и приятнее говорить и о них сообщать, чем разные глупые известия, как здесь в Сибири говорят, новости.

Сообщу вам кое-что из последних писем: пишет ко мне из Калуги Наталия Петровна к. Оболенская, сестра нашего Евгения Петровича, которая мне отвечает вместо брата, ибо он в то время был в отлучке. «От Розена брат мой получает письма, он теперь на служебном поприще — мировым посредником в своем уезде (Изюм, Харьковской губернии), и в последнем письме он рассказывает, что, когда пришлось ему представлять императрице своих волостных, она остановилась пред ним и, видя его седую голову, сказала: „Неужели вам по силам и эта должность,— и как вы ее приняли", Розен отвечал: „Ваше величество, я принял эту должность в память отшедших и оставшихся друзей и товарищей моих и теперь счастлив, что осуществляются их святые цели"». Потом она прибавляет, что, высказав это, взглянул на нее и видел все, как она тронута была. На другой день губернатор объявил Розену, что императрица с восторгом повторила и повторяет разговор свой с ним. Вот видите, Дмитрий Иринархович, с Розеном всегда приключения делаются, я и сам удивляюсь, что он взялся быть посредником; какое тут может быть посредничество между притеснителями и притесненными [1]. Но дело теперь не в том, вот еще что пишет калека Евгений из Калуги,— это письмо я получил на последней почте — что Киреев наш приехал в Тулу, и в то время тульские дворяне были в сборе по случаю выборов; узнавши об этом и видевши недостаток и бедность Киреева, который все потерял, бывши в Сибири, они сложились и, все участвуя, купили ему каменный дом, и так распорядились, чтобы половину дома сам занимал Киреев, а другую отдали под наем, за которую половину Киреев будет получать каждый год 1200 р. серебр. по самую смерть и потом все это переходит его жене и детям.

Вот еще пишет Оболенский — Александр Беляев управлял какой-то компанией на Волге по пароходству, и так как много было плутовства, не знаю уже от кого, он на все плюнул и бросил этим заниматься, опре-

делился он к какому-то помещику Нарышкину управлять его имением в Саратовской губернии — управлял два с половиной года и так хорошо, и так отчетливо, что Нарышкин, увидевши его управление, дал ему в награду *тридцать тысяч серебром;* Оболенский пишет, что рад он и за Беляева и за Нарышкина. Беляев пишет к Евгению, что он женат уже на второй жене, так и брат его женат. Пишет Оболенский, что из письма видно Беляева, что он тот же, во все влюблен, даже в свою жену.

Бобрищев-Пушкин наш меряет землю для крестьян и помещиков, сам своими руками сделал себе планшет, деревенский кузнец ему сделал алидад с двумя отверстиями и волоском, совершенно верный и пригодный для межевания; помещики и крестьяне ему платят за десятину 15 коп. серебром и дали ему отмерить более 15 тысяч десятин. Оболенский все это сам видел, как он и пишет ко мне.

Все это я к вам пишу без коментарии — дело говорит само за себя. Я мог к вам многое написать, но лучше сделаю, если когда-нибудь пошлю к вам письма для прочтения — всего переписать невозможно.

Скажу вам про себя: здоровье плохо, а особливо глаза; не знаю, употребляете ли вы очки, а мне уже и очки почти не служат; — пера не могу поправить, стальными не умею писать, придется взять карандаш и им письма писать. Денег ни гроша не имею, а что следует, то и того не посылают. Писать же об этом не хочется — писал прежде, обещали быть аккуратными и до сих пор ничего нет.

Намерены ли вы ехать в Россию?

Меня зовет Поджио, меня зовут туда сестры, но пошел бы и пешком, если бы была возможность; как ехать без денег и не имея ничего в будущем. Все это для меня фантазия, а между тем, душно жить и грустно так время убивать.

Прощайте, буду ожидать от вас хоть несколько строчек.

Ваш навсегда *И. Горбачевский*

51. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

Петровский Завод Забайкальской обл., 1862, июля 12 дня

Любезнейший Евгений Петрович!

Получил твое письмо от 22 апреля в конце прошлого месяца и благодарю от всей души тебя за твою обо мне память; но не жалуйся, что так долго не отвечал; да и возможно ли иметь часто переписку между собою, если так всегда твои письма будут ходить по всем углам России. Прилагаю, и посмотри на свой конверт и адрес ко мне — все верно написано, а между тем твое письмо из Калуги было послано в Петрозаводск в Олонецкую губ., потом в какой-то Петропавловск, и потом уже в Петровский Завод. Что скажешь, если у вас там в России такой же прогресс

и успех во всех делах, как и в почтовом ведомстве? Я однажды получил письмо, на конверте адрес был сделан очень правильно, но почтовое ведомство зачеркнуло слова Забайкальской обл., а написало в Амурскую область, и письмо туда и оттуда было пересылаемо. Очень часто здесь получают письма из России чрез Петропавловский порт в Камчатке, туда посланные почтовым ведомством вместо Петровского Завода. Не говори, что со временем все улучшится: эту поговорку я слышу, кажется, 60 лет; скажи только, какое надобно иметь терпение, жить здесь, всего быть лишену, с прибавкою, что отнимают последнее утешение и самое дорогое — это письма, которые должны получать по милости почтового ведомства через целый месяц и ожидать месяцы.

Благодарю душевно за твое письмо и за все для меня приятные известия; радуюсь за Киреева, за Беляева и Павла Сергеевича; кланяйся всем от меня. Я писал к тебе несколько писем — прошу, упоминай в своих ответах, от которого числа получены тобою мои письма; может быть, почтовое ведомство выдумывает другую Калугу и туда посылать будет письма. Я писал к Поджио, я писал к Наталии Дмитриевне, и все до сих пор нет ответа — не знаю, живы ли они; что значит, что не пишут? От Наталии Дмитриевны было ко мне письмо еще зимою, с тех пор ни слова не получаю. Писал к ним, но перестал; теперь жду от них писем и ничего не получаю.

Не удивляйся, что я не женат и не имею семьи — не такая моя жизнь была, чтобы об этом было время думать, не такие были мои обстоятельства, чтобы об этом позаботиться. Характер у меня такой, что мало думаю о себе; всегда я воображал и думал, что живу на месте только временно; заботы о себе и приобретение на будущее чего-нибудь — всегда у меня на втором плане жизни моей; всегда у меня мысли и чувства были обращены на другое дело, давно прошедшее; всегда я жалел о проигранном и этого никогда не мог забыть. Ни женщина, ни семья никогда бы не могли меня заставить забыть, о чем я прежде помышлял, что намеревался сделать и за что пожертвовал собой. Конечно, теперь вижу и сам, как ужасна жизнь старого холостяка; скучно, грустно и будущего нет, но одно еще меня поддерживает — это вера в какое-то будущее хорошее, в идею, которую только тогда покину, когда перестану дышать. И истину тебе скажу — несмотря на частое мое нездоровье, несмотря на все расстройства по делам моим и на все неудачи; несмотря на дороговизну неслыханную здесь, а с нею и лишения всевозможные, которые испытываю и терплю,— я все еще держусь, креплюсь, чего-то надеюсь, все еще люблю людей, делюсь с ними последним, желаю им добра и всего лучшего. И все это происходит от идеи, очень хорошо тебе знакомой, которой я живу, и не допускает меня покуда еще прийти в отчаяние. Но я почти одичал, например, меня удивляет, как это так сделалось, как у вас у всех достало уменья устроить себя так, что живете спокойно, умели завестись семьями,

рассуждаете хладнокровно, смотрите на дела людские спокойно, чего-то от них ожидаете хорошего и проч. Какое спокойствие можно иметь при таком порядке вещей, чего можно надеяться от людей, что можно приобрести для себя без хитрости и эгоизма, ожидая на каждом шагу обман и всякого рода затруднения? Услышавши от меня все это, я не думаю, чтобы ты подумал, что я боюсь труда, и что у меня голова не на своем месте. Нет, сердце у меня поганое и для меня вредное — оно всегда у меня берет верх над рассудком — вот и вся причина. Но полно об этом. С любопытством читал в твоем письме о крестьянах; одному удивляюсь: чтобы сделать людям добро, надобно для этого время и формалистика какая-то. Конечно, говорят, это нужно для порядка и устройства; пускай так, но за что же им-то навязывать, что им не нравится? Я вижу, что ты надеешься на будущее гражданское устройство по обещаниям; завидую тебе в этом, если оно тебе доставляет утешение. Я перестал верить и обещаниям людским, и в хорошую будущность — опекунство и благодеяния тяжелая вещь.

Поликарп Павлович тебе усерднейше кланяется; был вчера у меня и мы, глядя на твой портрет, много говорили о вас всех, близких к нашему сердцу. Получаю иногда письма от Дмитрия Завалишина; бедный, не на розах отдыхает; от Мих. Бестужева давно не получал писем, но знаю, что здоров и спокоен; занят своей семьей, следовательно, все и всех забыл. Литератор пишет, что ездил к Кяхту, увидел там новые мостовые и тротуары, и в восхищении от такого прогресса. У нас все еще продолжаются землетрясения, а особливо около Байкала, но на это никто уже внимания не обращает.

Прошу покорнейше тебя засвидетельствовать мое глубочайшее почтение твоей семье и мой сердечный привет твоим детям; Наталии Петровне тоже мой усерднейший поклон и мое почтение; желаю всем здоровья и всего лучшего; жму тебе руку,— всякий день гляжу на тебя и с тобою мысленно беседую.

Прошу тебя, умоляю, пиши ко мне; кланяйся от меня усерднейше Петру Николаевичу, пусть пришлет мне свой портрет. Прощай, мой Евгений Петрович, обнимаю тебя

Твой навсегда *Иван Горбачевский*

Уведомь меня, что Поджио делает, где Наталия Дмитриевна; почему не пишут, скажи мне.

52. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

1862 г. Августа 23 дня. Петровский Завод

Долго не отвечал вам, любезнейший Дмитрий Иринархович, на ваше письмо от 15 июля; но это делал я с намерением, ожидая писем из России, чтоб, получивши их, вам что-нибудь сообщить; кроме того, две недели

был так нездоров, что не только не выходил из дому, но даже ни слова ни к кому не мог писать и что-либо делать. Благодарю вас душевно за ваше письмо, благодарю вас за все известия и подробности, о которых вы пишете; но горько было слушать и читать о том, что вы перенесли и переносите в вашей жизни; когда кончатся все эти неприятности и страдания; — и за что? и для какой цели,— все эти гонения, вся эта злоба? Буду теперь отвечать вам на ваши вопросы. Чехович был у меня, но не более, как, может быть, час, т. к. он же ехал не в Читу, мне и в голову не пришло к вам послать с ним некоторые письма.

Вы говорите, что я иногда отлучаюсь из Завода,— это правда, иногда, т. е. раз в год и то не всякий, и то не на долго; я бы ездил и непременно к вам приехал бы, если бы были деньги сколько-нибудь лишние; нужда заставляет быть дома и скучать. Прежде мои дела года два-три шли хорошо, потому что была комиссия, а теперь вот уже год никто комиссий не поручает, и оттого, что все припасы сделались чрезвычайно дороги; гораздо дешевле золотопромышленникам выписывать вещи из Екатеринбурга, чем здесь покупать; по крайней мере, они так все говорят.

Относительно нашей переписки насчет разных вопросов и прошедших и будущих ваши мысли совершенно справедливы; совершенно я с вами согласен — но каково их исполнение при таких горьких обстоятельствах, в которых вы и я находимся, что может в голову придти, когда и то надобно и другое что сделать, и о разных дрязгах, чтобы не остаться без всего. О Бестужеве нечего и говорить, он только других обвиняет в лени, сам же зарылся как крот в свою нору, обеспечив себя на зиму, и спит себе летаргическим сном. Я в третьем году или в начале прошлого видел его и был у него, он кое-что писал, не знаю для кого и показал мне, но я удивился, как он все забыл, как он все переиначил, он не пишет истину, но какие-то романы и повести, подобно тому, как некогда писал подобное брат его Николай и Иван Иванович Пущин, если вы что-либо читали из их сочинений [1]. Я полагаю, причиной тому — это их семейное положение, дети, хозяйство — все это их заставляет забыть прошедшее, будущее, родину, отечество, Россию. Я не так жил и живу не так теперь, я не так думал и думаю; я не мог привыкнуть к Сибири и думать, что все кончено; всегда я жил и живу надеждою — следовательно, я жил, как в тюрьме, т. е. думал всегда, что в ней живу временно, не мог никогда помириться с мыслью, что надобно подумать и о себе, и о будущей своей жизни и чем-нибудь себя обеспечить; все к черту, ничего не надобно, лишь бы осуществилась идея. С одной стороны, всегда бывши этим занят, головою и сердцем стремившись туда, с другой, терпя нужду, огорчения, разлуку, безнадежность, одиночество,— скажите, что можно порядочное что-нибудь сделать; стóят ли люди того, чтобы им передать что-либо; вы скажете — потомство; потомство те же люди будут, как и настоящие, т. е.

скоты. Я это говорю потому, что слышу часто и прежде слышал и читал и читаю, как относятся нынешние писатели и прочие о тех людях, которые пожертвовали собой за истину и любовь к ближнему. Возьмите себя, чиновники относительно вас, все это потомство, а что они делают с вами и какое зло причиняют и как вредят.

Вы полагаете, что я нахожусь не в затруднительном положении,— напротив, очень в затруднительном. О маленькой артели я только теперь слышу и слышал, но кому она принадлежит — не знаю; нынешнего года я даже писем относительно ее не получал. О ней писал когда-то ко мне Иван Иванович, но он теперь, как вы знаете, умер, следовательно, я думаю все прекратилось.

Получил я письмо Оболенского из Калуги; он здоров и все его семейство; радуется, что сыновья поступили в гимназию, радуется прогрессу (?!), какой нынче в России; надеется на многое и все ему представляется в розовом цвете. Все надеется на будущее, а сам забывает, что ему скоро 70 лет будет. Получил тоже от Киреева Ивана Васильевича, если вы его помните,— тоже приехал в Тулу с семейством, живет теперь лучше, нежели в Сибири как было, потому что его обеспечили и домом и доходом. Пишет, что то же самое нашел, что было за 40 лет. Пишет ко мне Поджио; на последней почте я получил от него письмо — он теперь живет в Черниговской губернии в г. Козельце или около него в имении граф. Елены Сергеевны Кочубей. Там же с ним вместе живет и Сергей Григорьевич и Мария Николаевна[2]; она очень больна и слаба; Сергей Григорьевич, пишет Поджио, и стар и дряхл и, конечно, еще глупее стал. Одним словом, кого ни спроси,— все переженились, завелись семействами, детьми, и все это под старость,— все сделались добрыми, честными семьянинами, а как посмотришь поближе, то это только название, семья есть только покрышка эгоизма, забвения всего прошлого, забвение и приязни, и дружбы, и страданий. Вы скажите, что я преувеличиваю, так посмотрите хоть на Михаила Бестужева, он ближе всех живет к вам,— посмотрите. Я не сержусь на всех их, а досадно, что они Россию променяли на семью,— я так на всех смотрю.

Прощайте же, буду к вам писать. Можно вам написать, что знаешь, что помнишь, что чувствуешь и что надобно написать; на это надобно целые томы бумаги употребить. Прощайте, желаю вам здоровья.

Ваш *Ив. Горбачевский*

Не могу привыкнуть писать стальным пером: и мажет бумагу, и почерк иной, и мысль останавливает это перо.

53. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

1862 г., августа 27-го дня. Петровский Завод

Если бы ты мог видеть мою радость, мой Евгений Петрович, когда я получу твое письмо; если бы ты мог в то время взглянуть на меня и мог бы пересказать все то, что в это время чувствую,— тогда бы я только был доволен тем, что мог передать на письме, если бы это возможно было. Не знаю уже, как и благодарить за твое письмо от 2 июня, полученное мною 21 июня, за письмо милое, любезное, утешительное для меня. Не пеняй за долгое молчание мое — много к тому было причин, особенно мое нездоровье,— две недели не выходил из комнаты и ничего не мог делать.

Я еще был обрадован и нечаянно, получивши письмо от Ивана Васильевича Киреева из Тулы. Вот, кажется, уже около 30 лет, как мы не говорили друг с другом, и теперь я узнал, что он жив, здоров и устроился. На этой почте буду ему отвечать. Получил тоже два письма от Александра Викторовича Поджио из Черниговской губернии; он уже там, вероятно, тебе известно; но что наиболее порадовало меня, что его здоровье поправилось, и он живет покуда вместе с Сергеем Григорьевичем. Но что меня сильно печалит, это то, что я не получаю писем от Наталии Дмитриевны, несмотря что писал в этом году к ней три письма; не знаю, что думать об этом. Последнее ее письмо ко мне было от ноября месяца прошлого года, которое я получил 12 января, и с тех пор ни слова не получаю. Если можно, объясни мне, что за причина, что она ко мне перестала писать. Твое последнее письмо было в Чите и оттуда ко мне прислано, и мне объяснили почтовые причину, которая очень глупа, но все же для них отговорка. На твоих конвертах не написано Верхне-Удинского округа, а прямо Забайкальская область, в Петровский Завод; вот письмо и путешествовало в Читу, лишних 500 верст и обратно. Надобно надписывать: Забайкальская область Верхне-Удинского округа, в Петровский Завод.

С большим любопытством я читал в твоем письме разные курьезные дела, происходящие в ваших странах. Признаюсь тебе — и радовался и смеялся. И что за детская игра: почему бы, кажется, не кончить одним разом; что бояться? Что за страшилище такое — порядок, и видеть в другом не животное, а человека? Конечно, скажу на это — привычка, понятия старые и проч. Да где же разум и чувство теплое к ближнему? Ты говоришь, что со временем все устроится. Слово «со временем» я худо понимаю. Много, мне кажется, происходит зла от этого слова; зачем то делать завтра, что можно сделать сегодня. Пиши, прошу тебя, об этих делах, они меня очень занимают; мы тут ничего не видим и ничего не знаем, кроме пустых газет, благодаря хваленой гласности. Ты пишешь ко мне о Гавриле Степановиче, но я не знаю, кто это Гаврил Степанович, напиши мне, что это за особа [1]. Грешно, может быть, в этом

случае завидовать, а завидую ему, что он может, когда ему вздумается, ехать и в Петербург, и в Варшаву, и в деревню. Я бы хотел съездить и к Бестужеву, и к Завалишину, хотя бы у них отдохнуть и поговорить; это не очень далеко, да — не наша еда лимоны!!! — как говорят русские.

Очень рад, что ты вздумал перестать пить спиртные напитки: эту всякую мерзость я до сих пор не беру в рот, несмотря на то, что даже иногда доктор советует мне выпить чего-нибудь рюмку; но я его не слушаю. Я бы тебе советовал и квас бросить употреблять. Эту русскую привычку оставь, я на него глядеть не могу, и радовался всегда вашему ворчанию в каземате, когда я вам делал скверный квас, чтобы вас отучить от такой гадости; но вижу из твоего письма, что вы все не исправились, как и русские помещики, от дурных привычек. Я ем в целый день одного цыпленка, да пью чай, который у нас теперь хорош и дешев; ужин мой всегда состоит из базарной грошевой булки и куска сахару, иногда, если деньги лишние есть, куплю банку варенья и две-три ложки варенья с булкой — вот и весь ужин. Но дело не в том, любезнейший мой Евгений Петрович: часто мое воображение играет, ну, что бы, если бы случилось так, мы бы с тобой в Калуге пошли бы к Петру Николаевичу ужинать? Он бы нам дал макаронов с сыром и бульоном, как мы часто с ним у него в каземате ужинали. О! Тогда бы я не только выпил с ним спиртного и вместе, конечно, с тобою, несмотря на то, что оно тебе теперь вредно,— но я готов тогда бы выпить яду, что ты называешь квасом. А сколько бы воспоминаний, разговору, рассказов о былом — прошедшем, которым я только и живу, не зная настоящего и не имея никакого будущего и даже решительно — не веря ему в хорошем.

Прошу тебя убедительно, пиши ко мне; я буду к тебе писать, не ожидая твоих писем. Писал (бы) теперь к тебе больше, но не совсем здоров; да я и расстроен немножко: засуха у нас ужасная, неслыханная, сена почти нет и не будет, а это по-заводскому — первый продукт для заработка; теперь уже маленькую копну сена продают по 1 руб. сер., что же будет дальше? Прошу также засвидетельствовать мое глубокое почтение и мой усерднейший поклон передать твоей супруге (и мой душевный и сердечный привет твоим детям), также равно и добрейшей Наталии Петровне; тебя же заочно обнимаю, жму тебе руку и навсегда остаюсь твой

Ив. Горбачевский

54. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

1862 г. Сентября 27 дня. Петровский Завод

Очень был рад, когда получил вашу карточку и при ней ваше письмо, любезнейший Дмитрий Иринархович! Благодарю душевно и искренно за вашу память обо мне, за ваш, дорогой для меня, подарок и обещание

писать ко мне. Простите меня, что, пославши карточку, я не написал к вам, время не было, а ее получил пред самым отходом почты.

Если правда, если написали к вам истину о гласном суде, и что это не предположение в будущем, то я думаю, что оно скоро распространится по России, а не ограничится только столицами; и для меня удивительно, что за мера, куда ведет такая осторожность, зачем? Что тут такого замысловатого и опасного, чтобы одним дать, а другие ожидай. Не знаю, как вы думаете об этом, а я не знаю, что думать,— бравши за правило не верить русскому прогрессу, не верить ничему, что там делается. Смешной этот прогресс; все переиначивает только, а гарантий никаких, и даже никто об этом, как кажется, и не думает.

Я получил из Москвы письмо от Наталии Дмитриевны — оно в этом году первое; извиняется, что так долго не писала, что трудные дела с крестьянами тому были причиною, что в крестьянах мало развито чувство справедливости (?), но что они в том не виноваты — прежнее рабство тому причиною.

Что же касается до артели, то я не знаю, что это такое и где находится. Я получил с этим письмом от нее 150 руб. серебром, но она не пишет теперь, от кого это и какие деньги. Только извиняется, что поздно посылает. Я очень ей благодарен за все; она пишет с таким теплым чувством и зовет к себе в Москву; пишет, что, если я захочу ехать, то она тотчас пришлет мне 300 на прогоны. Все это прекрасно, только подумайте сами, как я могу ехать в Россию на неизвестное, когда у меня нет, так сказать, родины. В Малороссии все родные поумирали, сестра только одна живет с детьми в Петербурге, куда, как вы знаете, нельзя нам ехать. Пустившись туда, что ж дальше? Что там один я буду делать и как жить, и как мне здесь все бросить? Бросить свой угол, да, он мой, это значит разорить себя, ехать с нуждою, не имея ничего в будущем.

Наталия Дмитриевна ни об ком из наших не упоминает в этом письме, но вот, что странно, я вам сделаю выписку из ее письма: «Я вам должна еще моим портретом, непременно представлюсь вам какая есть. Вы вероятно меня не очень помните, у меня здесь в Марьиной есть ваш портрет, знаете ли, что всех наших, или почти всех, в Петербурге и в Москве продают портреты — фотографическими карточками, преимущественно с коллекции Н. А. Бестужева, какими были во *время оны* [1]; это дань юного поколения и благомыслящих союзников наших, как называл мой jean всех любящих нас и умеющих ценить наше изгнание» и проч.

Все это хорошо до первого случая, пока другой не попадется с этими карточками в тюрьму. Можно бы многое сказать об этих jean'а союзниках и посмеяться над ними — а прежде как они думали о нас, что они делали и делают; что писали и говорили. Хорошо смотреть на карточку и восхищаться; оно легко и безопасно. Эти союзники что делали и делают теперь с вами, каково жить вам, да и всем; теперь отнимают ваше достоя-

ние, теперь, после 35-летних страданий; вы пишете, трудитесь, вы бы чрез это имели бы обеспечение и в настоящем и будущем — вам запрещают! О, русский прогресс, есть еще люди, которые еще верят во что-нибудь лучшее! Жаль мне одного, что не имею денег к вам приехать, хотя дня на два; многое можно бы передать друг другу — писать все нет возможности.

Вы желали бы знать, как я живу,— не стоит об этом говорить. Знаете ли, что я не женат, ни законно, ни беззаконно, следовательно, живу с работниками, ну, настоящая казарма ссыльных; заболей я так, чтобы не двигался, и все рушится; можете представить об удобстве такой жизни — хлопочешь из-за пустяков, тяжесть душевная невыносимая, скука, одиночество, ничего в будущем — вот жизнь моя.

Бестужев еще остается жить в Селенгинске, но сколько проживет — сам не знает. Не помню, писал ли я к вам, что Поджио переехал жить в Черниговскую губернию из Московской, он там живет вместе с фамилией Волконских, в деревне Елены Сергеевны Кочубей. Сергей Григорьевич жив, но дряхл, пишет Поджио. От Оболенского не имею писем.

Прощайте, Дмитрий Иринархович. Желаю вам здоровья, будьте добры, пишите ко мне, жму вам руку.

Ваш навсегда *Ив. Горбачевский*

И смешно, и грустно, и досадно — ко мне писал когда-то г-н Поплавский, что я буду аккуратно получать деньги каждую треть, и ничего не бывало. Как видно, его казначей, или кто-либо другой обманывает; я получил за одну треть 1862 г. деньги; но вторая треть давно прошла и ничего не получаю, вероятно, пришлют в декабре, а за третью треть не пришлют. Это верно — так новый год будет, так и пройдет.

55. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

1862 г. Ноября 15 дня. Петрозский Завод

Письмо ваше от 24 октября я имел удовольствие получить, любезнейший Дмитрий Иринархович, 29 октября. Подождал отвечать вам единственно от того, что ожидал писем из России и тогда и вам что-нибудь сообщить: и вот получил только два письма от Оболенского; одно посылаю вам, как самое интересное, второе — краткое — оставляю у себя, оно только написано для того, что при нем посылает ко мне карточку Петра Николаевича Свистунова, который живет там же с ним в Калуге.

Читавши ваше письмо, я ужасно был огорчен вашим положением. Что за беда навалилась на вас со всех сторон! Удивляюсь вашему терпению и вашему здоровью, чтобы все это перенести.

Ко мне никто не посылал фотографических портретов, я слышал, что их продают, но до сих пор не видел их и не имею. Ни один журнал здесь не получается из тех, о которых вы пишете, т. е. ни «Акционер», ни «Наше время». Пожалуйста, прошу вас, пришлите мне ваши статьи, хотя бы печатные, я с большой благодарностью в целости к вам обратно отошлю.

Читать здесь нечего, и я какие были у меня старые книги, все несколько раз перечитал. Газеты и журналы русские надоели, где кроме лжи и болтовни ничего нет порядочного. Глаза у меня тоже не дают по вечерам читать. Сижу целые дни один дома, можете представить, какая скука и как тянутся дни, а особливо ночи длинные и несносные; даже грудь болит от тоски...

Бруну поклонитесь и можете ему сказать, что он если любит ездить, может ко мне приехать, но я не поеду в Читу. Я бы поехал именно туда, чтобы только с вами повидаться, и то на один, два много дня, а не для того, чтобы в Чите веселиться. Желаю вам здоровья. Да, забыл сказать вам о пароходе; он готов совершенно, сделан очень хорошо. Теперь вопрос, как будет ходить: т. е. будет за собою вверх Селенги таскать баржи; невозможно было сделать опять, так вода была мала; все оставлено до будущей весны. При случае возвратите мне Оболенского письмо чрез верную оказию или чрез почту.

Приехал вчера сюда один священник и был у меня с поклоном от Бестужева; Бестужев получил письмо от Семевского, литератора; тот пишет, что Владимир Иванович Штейнгель умер. Это и не удивительно, бывши 82-х лет. Но вот что удивительно, Семевский пишет, что все дети его бросили, даже не были при его смерти и даже, что всего удивительнее, не были на похоронах [1]. Семевский написал его биографию в «Московские ведомости», но пишет, что тут цензура половину вычеркнула [2].

Прощайте.

Ваш навсегда *Ив. Горбачевский*

Есть еще у меня к вам просьба: вы живете на месте управления краем, там скорее все известно. У меня живут в работниках люди, которые есть ссыльные и в казенной работе, но они урочники и я за них плачу в казну. Но дело в том, говорят, заводы и наш завод отдают в аренду, и это скоро будет; вот вопрос: что будут делать тогда с ссыльно-каторжными; тут ли их оставят или они будут отсюда взяты? Прошу вас убедительно и покорнейше, нельзя ли узнать, что с этими людьми будут делать, какое предположение, скоро ли и проч. Не делайте это гласным, но спросите и узнайте от себя и скажите мне. Я тоже буду скромен, если это секрет.

56. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

1862 г., ноября 15 дня. Петровский Завод

Два письма твоих у меня, любезнейший мой Евгений Петрович! И как утешительно благодарить тебя за память обо мне, за твою готовность писать ко мне и за все известия и подробности, самые интересные для меня. Вспомни мою жизнь — я один в моей казарме, ибо в ней, кроме меня и работников, никого нет; нет знакомых здесь по мысли, ни друзей по сердцу — тогда будешь хорошо знать, что значит для меня получать письма. Благодарю тебя за все, еще более за присылку портрета Петра Николаевича, от которого я до сих пор не могу глаз своих отвести, так он хорош, так он мне знаком; пожми руку ему за меня, поклонись и скажи, что память его для меня и дорога и приятна. Смотря на вас обоих, я забылся на несколько часов, легко мне стало, сколько возродилось воспоминаний! Поздравляю тебя с прибылью в твоем семействе, желаю искренно и от души утешения тебе в будущем от детей твоих, а про себя думаю, может быть, будет и для меня время, когда я увижусь и познакомлюсь и с твоим Михаилом. Первое твое письмо было от 8 сентября, второе от 23 того же месяца; читал и читаю их со вниманием. Желал бы иметь твою веру в прекрасную будущность России; желал бы твоими глазами и твоими чувствами глядеть на людей и верить им.

Не сокрушайся от наших сомнений: это в порядке вещей, всмотревшись в нашу жизнь. Что вы там делаете, что там происходит — мы здесь ничего подобного не ощущаем, ничего нового не видим, ничем новым не пользуемся. Ты скажешь, а 19 февраля ничего вам не принесло? — Ничего: прочитали в церкви, разошлись в раздумьи, потупя головы в землю. Стариков отпустили с работы в отставку, и все опять осталось по-прежнему. Отставным приказано составить общество и управление, а они сами не знают, что с собою делать; их учат, им говорят, они ничему не верят — для них будущего нет. Одни пошли нищенствовать по деревням, другие бросились с отчаяния на золотые прииски, т. е. из огня в воду, чтобы там и утонуть навсегда; остальные работают до срока, беспощадно воруют и пьют мертвую. Вот тебе наш прогресс, вот народные школы, наши права: пей сколько хочешь! Вот единственное улучшение по части искусства и ремесел! Ты пишешь, что у вас есть общественные дела: здесь это слово непонятно, и нигде его не услышишь. Здесь — кто в лес, кто по дрова — это истина в буквальном смысле. Все я говорю вкратце; невозможно в письме все высказать. Скажу только, что сочувствую и сердцем и душой твоим мыслям и желаниям родной стране, но — не знаю, почему — не могу разделить твоих надежд: все в тебе хорошо, прекрасно, кроме твоей надежды.

Недавно я получил от Дмитрия Иринарховича письмо из Читы; жалуется на свое тяжелое положение; обременен семейством, хотя своих детей нет; но у него на руках старуха мать Фелицата Осиповна, его покойницы жены, которая до сих пор жива, и еще двое сестер бывшей его жены. Его не печатают статей, от которых он надеялся получать доход, и на это жалуется на Муравьева. Бестужев живет в Селенгинске, жив и здоров и обеспечен хорошо.

О нигилистах, о которых ты пишешь и которые представлены в роли Базарова,— они меня не удивляют, и их явление не есть по-моему новость; мне кажется, они всегда были и будут при таком порядке вещей; конечно, они являются в разные периоды, под разными названиями. А что они доходят даже до смешного — и это в порядке вещей, и они в этом почти не виноваты: где неопытность, молодость, там и крайность.

Поклонись от меня Киреезу, и очень сожалею о его горе; поклонись от меня Павлу Сергеевичу, я его очень помню и до сих пор люблю его сердечно. От Поджио из Черниговской губернии давно не получал писем; от Наталии Дмитриевны, наконец, получил письмо. Очень рад я был, узнавши, что она здорова; я от нее и не требую частых писем — сам тоже редко к ней пишу, но скучаю, когда не получаю долго писем,— такая уж моя доля в Сибири.

Живу я теперь хуже даже противу прежнего — работы нет никакой и ни от кого; все дорого так, что выписывают железо из Томска уральское, гораздо дешевле продается, нежели здешнее; здесь на месте пуд полосового 2 р. 96 к. серебром, и относительно все дорого; к тому же сено, как главный продукт для здешних работ, уже теперь 40 и 50 к. сер. за пуд — неслыханная вещь; работник в месяц стоит, кроме пищи и некоторой одежды, 8 руб. сер. в месяц, а иногда и 10 р. Что после этого можно приобрести при таком состоянии цен?

Все меня просили тебе усердно кланяться — и Поликарп Павлович, и Дмитрий Иванович, да еще прибавил свой поклон и почтение старик Добрынин[1]. Прошу также от меня отдать твоему семейству, и старому и малому, и всем — мое глубокое почтение и мой усердный поклон. Чувствительнейше благодарю Наталию Петровну за память обо мне; желаю ей здоровья и всего в мире лучшего и доброго; свидетельствую ей мое глубочайшее почтение.

Обещаю к тебе почаще писать, но прошу, не считайся моими письмами, пиши, потому что есть о чем писать тебе: живешь не там, где мы; у нас все одно и то же — скука, горе, безнадежность. Обнимаю тебя мысленно и сердечно.

Твой навсегда *Ив. Горбачевский*

57. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

Петровский Завод. 1863. Февраля 28 дня

Любезный Дмитрий Иринархович!

Вчера только вечером возвратился с Гремучки (с Чиков) от Ивана Францевича[1] и вот причина, что до сих пор к вам и ни к кому не писал, теперь же только и взялся за перо, чтобы вас уведомить, что обоз Мунхо мы встретили под Опинской станцией, что идет другой транспорт и ваши вещи с ним будут посланы. Заказ ваш для Фелицити Осиповны уже готов и у меня лежит, ожидаю оказии, но нет и не заказал, потому что дорого просят — три рубля серебром, ни на что не похоже, а Аристархов говорит, что в Иркутске можно дешевле гораздо купить.

Писем ни от кого из России не получаю.

Вчера ко мне привезли на квартиру Обручева; бедный больной молодой человек, немного у меня побыл, перешел на квартиру; ни с кем не хочет быть знаком и только обещал ко мне одному ходить и то тогда, когда у меня не будет кого-либо из посторонних, что будет дальше, вас о нем уведомлю — он сюда прислан по приказанию, полученному в Иркутске[2].

Иван Францевич вам усердно кланяется, буду к вам писать, теперь прошу только вас усерднейше поклониться от меня вашему семейству и поблагодарить всех за их обо мне попечения. Я это всегда буду помнить; моему приятелю Леонтию мой сердечный привет.

Желаю вам здоровья.

Ваш навсегда *Иван Горбачевский*

Просили меня узнать о памятнике Соколовскому,— так, кажется; я спрашивал, хотели дать ответ, но до сих пор не получил; с следующей почтой уведомлю об этом сказать Ивану Варфоломеевичу, или г-ну Педашенко.

Также уведомляю и о Камине.

58. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

Петровский Завод. 1863 г., апреля 15 дня

Письмо, писанное тобою, мой дорогой, любезнейший Евгений Петрович, 30 января, я получил 25 марта, а сегодня 15 апреля — вот сколько времени я пропустил, не отвечая на твое письмо.

Но грустное для меня было твое письмо; дыхание почти у меня остановилось, читавши о таких для нас потерях безвозвратных, какие ты сосчитал; и сколько, и какие люди! Для меня, для моего сердца мало, что-

бы помянуть их, как ты пишешь, добрым словом, нет, повторяю, что для меня этого мало: живши здесь одиноким, я живо, больно, грустно чувствую потерю таких людей, одно об них воспоминание и сведение, что они живы, здоровы — меня всегда утешало; я заочно, в отдалении всегда был с ними вместе, несмотря на всегдашнюю разлуку и потерю надежды когда-либо с ними увидеться. Надобно здесь жить, чтобы чувствовать и понимать всю эту потерю в таких людях. Не говори мне о новом поколении: не могу к нему ни привыкнуть, ни ему сочувствовать ни в мыслях, ни в понятиях его; одно говорить, другое делать — вот главный, выдающийся вперед его характер.

Прошу тебя убедительно, пришли мне биографию Михаила Михайловича, написанную не знаю кем,— но ты мне обещаешь, не забудь прислать, если можно, поскорее [1]; также, если у тебя есть, и других. Если также можешь и знаешь, напиши мне, сколько осталось еще в живых наших бывших сибиряков. Здесь, за Байкалом, нас — трое, но, кажется, уже в Сибири из наших же более никого нет. Завалишин пишет ко мне довольно часто, и когда-нибудь пришлю к тебе копию с его последнего письма ко мне; оно любопытно во многих отношениях. Бестужев пишет редко; он углубился в свою семью, и интересы *мира сего* его мало занимают.

Мое положение гадкое, безвыходное, скучное, мрачное; я без всякой семьи, один, и эту тяжесть чувствую в полноте — такого неестественного порядка. Но я почти в этом не виноват: я всегда жил как будто надеясь чего-нибудь, не забывая старого; мои мысли всегда были направлены в другую сторону; я о будущем — относительно себя — и не думал никогда.

Ты спрашиваешь, как я живу, чем занимаюсь, и проч. Тяжко об этом говорить; отвратительно мне стало хозяйство, ни к чему не ведущее, к тому же я часто бываю нездоров, следовательно, при нравственности здешних рабочих, это — не хозяйство, а мучение и убыток всегдашний; прежде это было еще сносно, потому что я занимался кое-где по комиссиям золотопромышленников, но теперь, вот уже другой год, ничего они здесь не покупают по дороговизне заводских изделий, которые гораздо дороже уральских. Шутка сказать, у нас здесь на месте, без провоза, пуд полосового железа 2 р. 96 к. серебр., а уральское в Иркутске 3 руб. серебр. и лучшее; такое отношение приложи ко всем припасам и изделиям. Кто же себе враг, и кто, следовательно, будет здесь покупать. Поверишь ли, вот уже второй год, и мне не было поручено ни на копейку чего-либо здесь купить: или сделано худо или дорого — что-нибудь одно; будь этот завод не в казне, но в частных руках, другое было бы.

Теперь у меня одно занятие, что беру иногда подряд возить уголь; но тут никакой выгоды, напротив, всегда убыток, взявши в расчет содержание людей, лошадей и ремонт. Но, скажешь, зачем же брать не-

выгодный подряд? — и этот вопрос очень натурален; но для нас, бедняков, он очень не натурален. Если денег нет в кармане ни копейки, а надобно купить, заплатить, сделать, приготовить, где тогда взять денег? Один источник — взять подряд в казне, а там, что будет — о том один бог ведает; и это так убыточно, так бестолково, что бежал бы за тридевять земель, лишь бы избавиться под старость таких забот, по своему роду самых тяжких для души и мысли.

Если бы я был на сколько-нибудь обеспечен вперед, чего очень бы желал для своего спокойствия, я взялся бы кое-что писать; тем более это надобно бы сделать, что я из южных остался только один, решительно один, который бы мог собрать в одно все прошедшее. Меня многие об этом просят, но только просят; между тем забывают, что для этого надобно спокойствие и материальное и душевное.

Очень любопытно для меня твое описание заседаний по общественному делу; мы здесь ничего подобного не видим и не слышим; вот теперь все до одного отпущены служители на волю, но никакого до сих пор между ними нет устройства, никому как будто до этого дела нет; кто они такие, что значит, что будет с ними, никто сюда не едет, ничего не пишут; школы нет, приюта нет, ничего нет в полном смысле слова; но зато у нас в заводе 18 кабаков буквально. Кажется, по всем правилам выделка железа должна бы быть больше при вольном труде, но так идет казенное управление, что при обязательной работе выделывали в лето 30 000 пудов железа, а теперь составлен расчет только на 10 000 пудов. Это факты тебе самые верные; рассуждения оставим в стороне, для них здесь мало места, ты угадаешь, в чем дело.

Прошу покорнейше отдать мой усерднейший поклон Петру Николаевичу, желаю ему всего лучшего; Поликарп Павлович кланяется тебе усердно, часто меня посещает, и всегда у меня с ним о тебе разговор. Поклон от меня Кирееву, Павлу Сергеевичу; сегодня же пишу и к Наталии Дмитриевне; не пишет ли к тебе Поджио, я от него давно не имею писем. Прощай, мой Евгений Петрович, пиши ко мне: твои письма и всех вас — одно мое здесь утешение; будь так добр, не забывай

твоего навсегда *Ивана Горбачевского*

Засвидетельствуй мое глубочайшее почтение и мой усердный поклон твоей сестрице Наталии Петровне, супруге и всему твоему семейству, а особенно малым — мой сердечный привет. Пиши мне о них всех в своих письмах, также пиши, от которого числа мои письма получаешь. Буду к тебе писать, спрашивай, о чем хочешь — отвечать буду.

59. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

1863 г. Июня 20 дня. Петровский Завод

Что значит, любезнейший Дмитрий Иринархович, что вы ко мне ни слова не напишите; ожидаю, и вот третья почта мне от вас не приносит никакой вести. Что значит ваше молчание? Знаю, что вы озабочены, знаю, что вам нет времени, но две-три строчки что-нибудь сказать о себе, о ваших намерениях и предположениях — все это не много бы времени у вас взяло бы. Сделайте такое удовольствие мне, пишите что-нибудь, пишите, когда вы намерены ехать, с кем и как?

Что я не могу, и не могу приехать к вам, это всякий видит и знает мою возможность и мое положение, мою горесть, мое рвение, но ничем не могу все это поправить, ничего не могу ни выдумать, ни исполнить, ни осуществить. Так время уходит и так я скучаю, так все пусто и так все безнадежно, что даже это действует на мое здоровье и лекарства не помогают.

Мне позволено ехать в Петербург, родные об этом хлопотали, но они спохватились немножко поздно; я и не думаю об этом, все предоставлю времени; ехать на неверное, на неизвестное, зависеть от других,— все это для меня противно, тем более быть еще предметом холодного бесчувственного любопытства наших русских людей.

Из России ничего особенного не получил.

Прошу вас, напишите ко мне; для меня это необходимо; я все же не теряю надежды с вами увидеться — все у меня роится в сердце какая-то надежда. Прошу вас засвидетельствовать мое глубочайшее почтение вашему семейству; пишите — прошу вас.

Ваш навсегда *Ив. Горбачевский*

60. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

1863 г. Июля 4-го дня. Петровский Завод

Письмо твое, мой дорогой Евгений Петрович, от 14 апреля меня обрадовало; я уж не знал, что и думать о твоем молчании, сам же боялся писать, полагая, что тебя нет дома, вероятно, куда-нибудь уехал. Письмое твое, странное дело, мною здесь получено 3 июня; где оно так долго ходило, это только одному почтовому департаменту известно, а не нам смертным; но все же спасибо, мой любезнейший Евгений Петрович, за твою память и теплые чувства ко мне. Не можешь себе представить, что значат для меня ваши письма из России. Желал бы я, чтобы ты взглянул тогда на меня, что со мною тогда делается, получивши из России письма;

ведь это все равно, что кто бы мне отворил бы окошки, сидевши в темной комнате несколько месяцев; я все ожидал и теперь ожидаю обещанной тобою некрологии Михаила Михайловича; что же не посылаешь, да еще лучше было, если бы ты к этому и приложил бы карточку покойника.

Несколько времени я был крепко болен — ревматизм в правой ноге свалил меня в постель; такая жестокая боль была, что я почти кричал, но опиум с каломелем утишили этот приступ боли, и хотя не совсем, но все же теперь с костылем по комнате двигаюсь.

Все твои известия так для меня любопытны, что я их и чувством и умом пожираю, так сказать. Это не то для меня, что в газетах пишут: там я ничему не верю; мы там всегда и победили и правы; все виноваты, кроме нас; народ — шайка, начальники — разбойники. Я это приписываю бедности нашего русского языка: на нем иначе нельзя выражаться, другие слова еще не усвоены им.

Ты спрашиваешь моего мнения насчет несчастной этой Польши, говоришь, что это у вас там вопрос жизненный. Я бы сказал тебе мое мнение, но боюсь быть пристрастным. Ты знаешь, что я малоросс; мой отец покойник рассказывал мне, что он, бывши большим уже мальчиком, помнит, когда наши церкви были на откупу у жидов, говаривал, что он бывал за границею в молодых летах, т. е. за Днепром, и был иногда свидетелем, как иногда католические студенты били православных священников и их всячески оскорбляли. При имени ляха он дрожал и эту дрожь передал нам, своим детям, рассказывая о бедствиях своей любезной Малороссии. Я хотя и теперь дрожу при имени ляха, но у меня в голове уже не то, что у наших было стариков. Я помню слезы моей матери, когда она нам рассказывала, что хотя церкви и были свободны от откупов, но все же по какому-то влиянию жида они ему платили и льстили, чтоб он с ляхом не ворчал, что они часто в церкву ходят, рассказывала (и при этом всегда плакала), как они прятались, чтобы тихонько от ляха и жида учиться русской или славянской грамоте и читать на славянском языке молитвы. Но, сохрани боже, об этом узнает лях, или ксендз или жид — беда, разорение целому дому. Я бы мог томы написать подобных рассказов моих стариков, но время ли теперь такое, чтобы русским мстить за старое; в том ли теперь вопрос? Жаль мне крепко, что не имею времени все написать, и рассказы наших стариков; передать их дрожь от имени ляха, их ненависть к ним и описать наше поколение и их взгляд на вещи.

Так, мой Евгений Петрович, оставим все эти вопросы: они мутят мои мысли и коробят мое сердце. Скажу тебе, что нечаянно для меня я получил позволение жить в Петербурге и в Москве [1]. Я бы этому обрадовался, если бы была возможность мне ехать; но ехать на неизвестное, жить с людьми, которых не знаю, хотя и считаются родными, что я буду там делать и проч., бросить свой угол, все это меня удерживает; что будет

дальше — не знаю, после тебе скажу. Конечно, если мне удалось бы поехать, я бы хотя на несколько часов свернул бы на Калугу, в этом нет сомнения.

Завалишина из Читы, против его желания, перевели в Казань, и его туда, как говорят, везут. Он не хотел ехать до смерти своей тещи, которой 85 лет, но теперь должен ехать; ожидаю от него письма. Поверишь ли, у нас здесь все так по-старому, что как при тебе было, так и до сих пор все идет; так ли это у вас? Вы этим не хвалитесь, как мы.

Мое глубочайшее почтение и мой искренний поклон всему твоему родному; обнимаю и жму руку твою.

Твой навсегда *Ив. Горбачевский*

Прошу тебя, упоминай, какие письма, т. е. от которого числа мои письма получаешь.

Петру Николаевичу мое глубочайшее почтение и мой сердечный привет и поклон.

Прошу тебя, напиши мне когда-нибудь о своих детях подробнее, ведь по чувству они мне близкие.

61. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

1863 г. Июля 26 дня. Петровский Завод

Любезнейший Дмитрий Иринархович!

Не знаю, что думать, не знаю, к чему приписать ваше молчание, но ко мне от вас писем нет и их не получаю. Скажите, неужто тому причиною, что я к вам не приехал? Но спросите, кто знает мою жизнь и мои обстоятельства, мог ли я это сделать? Можно не сомневаться в том, чтобы я не пожертвовал для этого возможным всем, если бы это позволяли обстановка моя, обстоятельства — можно сказать несчастные, проклятые, и когда же — под старость и при всех нравственных и физических страданиях.

Будьте же снисходительны ко мне и напишите ко мне, что с вами делают, что ваше семейство, какие ваши намерения и что вы хотите с ними и с собой делать?

Это такие вопросы, которые нас всех касаются и всех интересуют; что же вы молчите и не поделитесь с нами вашими горестями; за что вы лишаете сочувствовать вам и себя отделяете от нас, и за что?

Это письмо к вам доставит Алексей Васильевич г-н Белозеров, здесь в заводе торгующий, он скоро же возвратится. Прошу вас убедительно, пишите с ним ко мне; скажите мне что-нибудь и будьте уверены в искренности моих желаний, а также и привязанности вашего

Ивана Горбачевского

С этим же Белозеровым посылаю обратно книги г-ну к. Кропоткину [1], которые я взял у него для прочтения. Если вы его увидите, поблагодарите его за меня усерднейше; я виноват пред ним, что задержал их немного, но боялся посылать чрез неверную оказию.

Я хоть и хожу по комнате, но так не здоров, что боюсь к кровати подойти, а то лягу и долго, думаю, не встану. Что делать с моим недугом — уже не придумаю ничего, все было сделано, а легче нет.

Если будете писать, скажите, как зовут г-на Кропоткина по имени и отчеству — совестно, а не у кого спросить.

62. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

1863 г., сентября 19-го дня. Петровский Завод

Мир и мне прощение, мой дорогой Евгений Петрович! Я получил давным давно твое письмо и до сих пор не отвечал. История моего молчания всегда почти одна и та же. Грусть, тоска и нездоровье, эти вещи иногда меня так одолевают, что рука не подымается взять перо; теперь же особенные были причины молчания, но всегда помнил и совесть меня мучила за то, что не писал к тебе.

Я получил твое письмо 15 июля: оно было от 5 июня, и, несмотря на то, что оно мне было прислано из Читы, все-таки скоро пришло ко мне. Впрочем, дело не в том. Пишу к тебе, и в душе и в сердце отзывается беспрестанно чувство моей тебе благодарности; так мне утешительно читать твои письма, так мне тогда легко и радостно думать, что меня помнишь и говоришь со мною; да сохранит тебя все доброе и разумное от сомнений в правде, что пишу и говорю. Еще не писал и потому, что дважды был болен. Я купался, и ветер был очень сильный и холодный; получил от того и горячку и сильный ревматизм в правой ноге. С этим я возился почти месяц; потом повторилось от нетерпения и неосторожности; после ездил в Селенгинск и на Хилок по разным делам, можно сказать, пустым. Видел Бестужева, пробыл у него сутки, воротился домой.

Михайла Александрович живет спокойно — сидит дома и тоже окружен детьми, которых у него теперь четверо; собирался в Россию, но теперь покуда остался, чтобы подросли дети. Приехавши от Бестужева, я получил письмо из Верхне-Удинска, что там проездом Дмитрий Иринархович Завалишин. Я тотчас же взял подорожную и туда уехал. Застал его еще в городе и узнал от него, что ему вышел от высшего начальства приказ уехать из Читы в Казань на жительство [1], его это очень огорчило; бросил в Чите безо всего свое семейство, покуда не напишет и не пришлет денег, чтобы его перевезти туда же, где он сам будет жить. Все это печально, и нас осталось теперь только двое за Байкалом, я

думаю, и в целой Сибири: я да Михайла Бестужев. Журнальные статьи и переписка с начальством, все это, как кажется, заставило начальство удалить «с сих прекрасных мест» Дмитрия Иринарховича. Он решительно убит, так его эта нечаянность поразила; ему жаль семейства, с которым жил с 39 года; насчет всего другого он спокоен. Бывши в Чите, ты, я думаю, слышал от наших дам о Фелицате Осиповне; это — теща Дмитрия Иринарховича; ей теперь 85 лет, и ей надобно ехать в Казань. Завалишин просил меня, когда пришлет денег, провезти ее чрез Байкал до Иркутска; я обещал, но как это сделать? Каким образом такую дряхлость довезти до Иркутска, не только до Казани, этого я не знаю; все осталось до будущего. При ней еще две дочери и те больные. Дмитрий Иринархович с ними простился, как с мертвыми; они в это время, как ему ехать, были в обмороке.

С большим удовольствием читал я в твоем письме о ваших посредниках, о ваших крестьянах — все это прекрасно, все это хорошо; видно движение во всем; даже нам, здесь жившим, странно читать, видя здешний застой. Мы не знаем никакого передвижения, у нас, как кажется, все постарому. Правду сказать, и у нас есть маленькое движение — ведь надобно же другому обойти в день 23 кабака, это не шутка,— все же надобно двигаться. Но мало этого бедствия: у нас с начала весны не было ни капли дождя, а теперь в сентябре месяце пошли такие проливные дожди, потом снег до колена, и все это вдруг обратилось в воду, так что все реки вышли из берегов; хлеб, сено — все унесло. Можешь судить о полноводии одной Селенги, что дом Курбатова, который ты знаешь, решительно теперь стоит в воде, и по этой улице ездят на лодках; у нас уже теперь хлеб на базаре за пуд платят 1 рубль серебра. Что же будет дальше и каково бедным жить при такой дороговизне? Каким образом хозяйничать при таком состоянии цен и на все жизненные припасы?

Я бы с большой охотой занялся бы литературными произведениями, о которых ты пишешь. Эта охота и тяжесть на душе у меня лежат. Но как приступить к этому при моих заботах и хлопотах этого проклятого хозяйства, которое бы, если бы я был обеспечен на год, на два, чтобы ни о чем не думать и иметь одно занятие, я бы его бросил за грош, лучше сказать — не знаю, как сказать,— я бы все бросил в грязь и остался бы один спокоен и делал бы то, что необходимо нужно для многих и даже для пользы своей, гораздо выгодней этого хозяйства и разных глупых подрядов разорительных.

Не говори мне, мой Евгений Петрович, что нужно все вместе делать, нет и нет, по крайней мере, для меня; я не люблю средины и никогда не мог эту, как говорят, благоразумную вещь исполнить и исполнять; мой глупый характер — не могу ни любить хладнокровно, ни ненавидеть благоразумной срединой; не могу делать как-нибудь и что-нибудь, даже ходить не могу тихо, не могу иметь работу и чтобы быть при этом хладно-

кровну. Я спокоен тогда, как ты сам, я думаю, у меня заметил, когда мы жили вместе,— я спокоен в каземате и на своей постели с книгой в руках, и то, если она по мне. Занятие занятию не должно мешать, так я думаю, а тем более хозяйство, которого я никогда не любил и не люблю. Я хорош эконом для чужих денег, но о своих я не думаю. Тем более мне надобно переменить же род занятий; это моя необходимость; я стар стал, часто нездоров, я бы рад занятию, которое бы только говорило моему уму и сердцу — вот в чем моя дума беспрестанная, которую я не могу исполнить, потому что беден.

Но я беден только относительно других и моих намерений. Для спокойствия тоже душевного и физического желал бы иметь некоторое обеспечение для жизни; сил и способов по месту жительства на это у меня не достает; однако же я богат тоже относительно тех, которые мне работают, со мною живут, и которые, вертясь около меня, питаются, а их много для меня. Сказать им всем: подите прочь — на это не достает у меня сил, отпустить человека без ничего; если ты бедному и нищему в состоянии сказать: поди прочь, напиши мне — я попробую тебе подражать.

Я с тобою говорю откровенно, зная, что ты об этом никому не скажешь; пишу единственно все тебе так подробно для того, чтобы ты знал мое положение, мое состояние духа, и отчего я иногда бываю раздражителен и пишу иногда вздор и глупости. Ты спросишь, почему я не еду в Россию: с чем? как? куда? зачем? к кому? — разбери все эти слова по одиночке, тогда и оправдаешь меня.

Одно мое утешение — читать; одно мое спокойствие — сидеть дома; и я нигде ни у кого не бываю, редко выхожу; одно мое развлечение — если кто-нибудь ко мне придет из старых знакомых. Вот моя жизнь. Прибавь к этому дряхлого и слепого Насонова и тому подобных, которые меня часто посещают и за советом, и за лекарством, и за чем-нибудь другим. Вот заботы, приятные для души, но иногда от них и сердце болит.

Весь этот вздор не тебя, а меня касается. Ты спрашиваешь моего мнения о Польше и тех беспорядках, которые там теперь,— об этом лучше поговорить было бы, но я этого вопроса боюсь; боюсь сделать ошибку по чувству любви к ближнему; боюсь сделать тоже ошибку по рассудку, ибо не знаю причин pro и contra. Судить об этом справедливо по одним газетам, не знавши общественного мнения и настоящего дела, трудно, и для того оставляю все до будущего; только прошу тебя, продолжай так же об этом писать, как ты писал, для меня это самое лучшее.

Допотопные костяки, каковы Насонов, Первоухин и Поликарп Павлович, свидетельствуют тебе свое глубочайшее почтение и убедительно меня просили тебе кланяться. Последний часто у меня бывает, и всегда у нас разговор о тебе, глядя на твой портрет; мы заодно тоже всех тут же и вспомним. На-днях получил письмо от сына Евгения; он где-то служит на корабле в Желтом море — так пишет — по духовному ведомству.

Поджио ко мне перестал писать; я слышал от кого-то, что будто бы он уехал за границу, правда ли это? Мой усерднейший поклон, мой душевный привет Петру Николаевичу и всем, с кем ты из наших в переписке. Письмо твое от 15 июня, а я уже почти готов жаловаться, что от тебя так долго нет писем; но я еще благодарю тебя за неоставление меня своею памятью, чувствами своими, близкими мне, и все это для меня дорого и поддерживает меня переносить бодро все, что ни есть со мною.

Прощай, мой Евгений Петрович, будь здоров, пиши ко мне почаще, не смотри на меня, что редко пишу; брани меня за это, но пиши; я обещаю тебе писать тоже почаще; обнимаю тебя мысленно и — навсегда твой

Ив. Горбачевский

Само собою разумеется, домашним твоим мой усерднейший поклон, и засвидетельствуй мое глубокое почтение; детям твоим, как родного, мой поцелуй.

63. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

1863 г. Декабря 5-го дня. Петровский Завод Забайк. обл.

Мой дорогой Евгений Петрович!

Прости мне великодушно, что не писал так долго к тебе; письмо твое лежит до сих пор на моем столе и беспрестанно меня укоряет, что я до сих пор не отвечал.

Твое письмо ко мне от 14 августа, и вообрази себе его путь, я его получил 8 октября. Где оно было, не знаю, а мне кажется, оно долго путешествовало. Благодарю сердечно за твою память обо мне, благодарю за все известия, о чем пишешь, все это для меня любопытно и утешительно; все ново и интересно для нас, живущих в дикой стране. Я получил от Поджио письмо; он ко мне писал пред своим отъездом за границу. Больше в это время не получал ни от кого писем.

С получением твоего письма я успел побывать на два дня в Селенгинске у Михайла Бестужева и успел быть больным, так что около трех недель пролежал в постели, теперь выхожу, и все прошло. На-днях я услышал от верных людей, что у Михайла Бестужева недавно сын его Николай умер, жаль очень. Мальчик был красавец, здоровый и бойкий, но горло заболело, думали, что ничего,— вдруг сделалось хуже,— и не более 5 часов мучился — отправился на тот свет. Я от Михайла еще не получал писем и не знаю подробностей.

Я с жадностью читал твои известия о ваших порядках, что делается в России и в Польше; от газет много не узнаешь, я им что-то не верю: там все одно и то же, а конца нет. Пиши ко мне, прошу тебя убедитель-

но, подробнее обо всем; не считайся письмами — посуди сам, о чем я могу отсюда писать для тебя интересного и любопытного: у нас все одно и то же, по крайней мере, для меня.

С интересом и любопытством прочитал я твое слово о покойном Михаиле Михайловиче. Тысячу раз благодарил в мыслях я тебя, но жалел, что очень кратко написано.

Михайла Степанович Добрынин зашел ко мне, и я его попрекнул, что он никогда к тебе ни слова не писал. Он сейчас же потребовал пера и бумаги и написал к тебе послание. Не знаю, что он к тебе написал, а только остался доволен. Все твои знакомые старики живы и здоровы, а Поликарп Павлович особенно тебе кланяется; у него все благополучно.

Это письмо я почитаю за письмо — спешу писать; сегодня у меня большая почта, и если бы не Добрынин, то и это письмо вряд ли было написано. Буду к тебе писать скоро и побольше, а между тем не получу ли твоего письма.

Обнимаю тебя мысленно и жму руку твою.

Твой навсегда *Ив. Горбачевский*

64. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

1864 г. Февраля 13 дня. Петровский Завод

Я к вам писал из Читы, любезнейший Дмитрий Иринархович, и обещал писать к вам, приехавши домой. Вот теперь только могу исполнить свое обещание. Между прочим я ожидал тоже от вас писем, но покуда еще они не пришли сюда.

Я недавно приехал домой, после Читы я еще ездил в Удинск, от того и промедлил к вам писать. Что мне вам сказать о ваших родных читинских — их жизнь так аккуратна, так однообразна, что нет возможности что-нибудь заметить другое, что было и в вашу бытность в Чите. Был у меня разговор о продаже дома их, если бы случилось, что это надобно будет сделать. Мне кажется, они слишком дорого его ценят, нежели он стоит. Я им это говорил и они удивились. Впрочем, может быть, и я ошибаюсь, но все же, по крайней мере, не увлекаюсь ценностью.

Фелицата Осиповна показалась мне здоровее, нежели прежде была,— много со мной говорила,— и мне показалось, что даже ее голос тверже и громче и, конечно, разговор наш был о Дмитрии Иринарховиче, Москве и прочее и прочее. Они получают все ваши письма исправно и я любовался вашими портретами.

Я все ожидаю от вас писем, в которых было бы описано с кем вы встретились из наших бывших товарищей, где они, что делают, кто жив, кто отправился к своим, все бы было для меня это очень любопытно.

У нас все по-старому, все одно и то же. Перемены только начальств. К вам в Читу назначен губернатором какой-то генерал Дитмар. Кто, что он — не знаю.

Живу по-прежнему, с прибавкой болезни и старости, трудно теперь работать, тяжко переносить все дрязги жизни нашей, но что делать? Писал бы больше, но горько и тяжко, следовательно, прощайте и будьте здоровы. Пишите. Вы знаете, что значат письма здесь, что значит их здесь получать. Не считайтесь письмами, прошу вас об этом. Жму вашу руку и желаю вам всего лучшего.

Ваш навсегда *Иван Горбачевский*

65. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

Петровский Завод. 1864 г. Февраля 20-го дня

Мне совестно и стыдно, что так долго не отвечал на твое письмо от 18 ноября, любезнейший мой, дорогой Евгений Петрович! Но я медлил все, думая, авось-либо что-нибудь побольше будет, о чем написать; но такая наша здешняя доля — хоть живи сто лет, у нас все одно и то же.

Сердечно и душевно благодарю тебя, Евгений Петрович, за твои теплые, сердечные письма; сколько они мне приносят утешения и сколько я их раз читаю — это только мне одному известно. Много я скорбел о твоей потере ⟨...⟩ *. Твердость и упование на провидение мне дает надежду, что ты переносишь этот удар с терпением [1]. То же самое случилось и с Михаилом Бестужевым; пишет ко мне, что потерял 6 или 7 лет сына Николая. Я знал этого ребенка — необычайной был красоты и развития, но болезнь его положила навсегда в продолжение 5 часов только. Бестужев говорит, что это круп, и ребенок прежде, за несколько дней жаловался на боль в горле; на это не обратили должного внимания. «Все это ничего, пройдет»,— говорили, и кончилось смертью.

Михаил Александрович от этой потери в отчаянии, он до сих пор не может опомниться от горя; пишет ко мне, просит меня сделать на могилу своего Коли крест и плачет. Но удивительная вещь — наш доктор, который не был никогда в академии, который дальше Петровского Завода нигде не был, говорит, что излечить этого ребенка стоило бы всего употребить лекарства на 10 коп. серебр. Он говорит, что у меня в Заводе никогда дети от крупа не умирают; почему? — а потому, что я эту болезнь предупреждаю и предварительно ее уничтожаю. Он говорит тоже: «Спросите в Заводе у всех, кто имеет детей, и вы увидите, что ни один ребенок у меня от этой болезни не умер». Он знаком с Михаилом Бестужевым и знал лич-

---

* *Здесь автограф поврежден.— Ред.*

но этого здорового ребенка и прямо обвиняет Михайлу за его «ничего, пройдет»,— обвиняет еще более селенгинских эскулапов.

Как я благодарен тебе за твое описание жизни Гаврилы Степановича Батенкова. Что за жизнь! Что за мучения этот человек вытерпел — ужасно! Отец Поликарп Павлович читал твое письмо, и желание твое будет исполнено и уже исполняется.

Твои известия о Польше прискорбны, но я с иной точки смотрю на это дело — лучше подождем развязки, тогда увидеть, может быть, можно будет, кто прав, кто виноват; да я теперь и не знаю, что говорить, потому что, живши в таком отдалении, трудно знать все, что справедливо, что ложно. Принципы — в сторону; об них после когда-нибудь.

Неинтересно для тебя будет, если буду говорить о своей жизни; все та же обстановка ее и печальна, и грустна. Часто болею от своего недуга; часто желаю иметь спокойствие и душевное, и физическое, но хлопоты у меня отнимают и много времени и даже здоровья.

Я думаю, ты знаешь, что Дмитрий Завалишин уже в Москве, и я оттуда от него уже одно письмо получил. Нас здесь, я думаю, и в Сибири, только двое осталось — я и Михайла Бестужев. Но я, как слышу, и он хочет на будущий год ехать непременно в Россию; тогда я здесь один останусь, как свидетельство минувшего, печального и разрушительного.

О, если бы я тебе мог все передать, что я знаю, что я видел и вижу, интересно было бы тебе все это прочитать. Но что я могу сделать при такой душевной тревоге, какая у меня бывает, и при таких горьких обстоятельствах. Лучше все это оставить до случая, до лучшего порядка жизни моей. Но, если всему предопределено гибнуть,— что же делать — пусть гибнет!

Усерднейше тебе кланяется отец Поликарп. Шибко он стар стал и думает даже об отставке, но служит усердно, и им все довольны. Насонов был у меня сегодня; бедный, согнулся и почти слеп стал. Первоухин тебе усердно кланяется; тоже ходит с костылем.

Не знаю, какими словами выразить мой усерднейший поклон и мое глубочайшее почтение Наталии Петровне и всему твоему семейству; не знаю, как благодарить их за память обо мне. Прошу тебя убедительно, кланяйся всем твоим, и большим, и малым, и память их для меня драгоценна. Мысленно сердечно обнимаю тебя, Евгений Петрович; будь здоров и пиши ко мне; будь уверен, что твои письма для меня, дикого и одинокого,— одно утешение.

Твой навсегда *Ив. Горбачевский*

Твое письмо от 18 ноября я получил 15 января 1864 г. Не ожидая твоих писем, буду к тебе писать.

66. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

1864 г. Апреля 9 дня. Петровский Завод. Забайк. обл.

Не много времени прошло с тех пор, как я получил ваше письмо от 4 марта, любезнейший Дмитрий Иринархович! Однако совестно стало, чтобы поскорее не отвечать вам. Благодарю от души, что вы меня не забываете, благодарю искренно за ваши письма; знаете сами по опыту, что значит для нас здесь получать письма.

Но что же сказать вам о нашей жизни? Повторять старое — скучно; настоящее гадко; будущего для нас нет, будущее для нас не утешительно; занятия пустые, бесплодные, хлопотливые, отвратительные по своему существу и свойству, можно прибавить; следовательно, предоставляю вашему опыту, сообразите, что мы делаем, как живем и проч., и проч.

По последнему известию у вас в доме в Чите все благополучно; это мне говорил служитель, который недавно оттуда приехал. От Оскара Александровича получил одно письмо только, и он до сих пор в Нерчинском Заводе. Что же касается до разных слухов, до вас дошедших — все не правда; по крайней мере, мы здесь ничего подобного не слыхали и не знаем. Сокальский уже не в Петровском. На его место другой поступил, а он назначен чиновником особых поручений в Иркутск; здесь ничего не знают о нем, но он продолжает служить хорошо, как и прежде, все его хвалят, даже сожалеют об нем, что он уехал.

Что сказать вам о себе; жизнь так однообразна, что даже скучно об этом говорить и писать. Времени было бы у меня много для занятий другого рода, если бы не отягощали дрязги и хлопоты о себе и других, об которых не стоит писать.

Пишите ко мне чаще, описывайте вашу жизнь в Москве, не забывайте. Я уверен, что вы не забудете, что мы живем в Сибири. Писем ни от кого не получил из России, кроме вашего. Газету «День» здесь никто не получает — жаль... Пишите, в каких газетах и журналах читать ваши статьи?

Прискорбно мне, что не могу заняться тем, чем бы хотелось; нет любопытствующих, так, кажется, и не стоит хлопотать, имевши на плечах и без того много забот, хотя не стоющих гроша ни для себя, ни для других в будущем.

Желаю вам здоровья и всего лучшего. Будьте уверены в истинном этом желании

вашего навсегда *Ив. Горбачевского*

67. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

1864 г. Мая 14 дня. Петровский Завод

Пропустил весь апрель месяц, любезнейший, мой дорогой Евгений Петрович, и не отвечал на твое письмо от 16 февраля; пропустил некоторое время с намерением, думая что-нибудь более придется написать; потом был нездоров так же, как и теперь, и вот уже стало совестно не писать.

Душевно и от всего чистого сердца благодарю тебя за твои письма; я их всегда перечитываю; они для меня утешительны; такое в них сердечное, теплое чувство, что не расстаюсь с ними, и они всегда на моем столе. Желал бы тебе так же писать, если бы я не был придавлен своею жизнию. Скучное одиночество и разные разности, о которых даже тяжело говорить, к тому же нездоровье и особенно сильный ревматизм — дня и ночи нет спокойной — все это заставляет пред тобой оправдываться, но не жаловаться. Делать нечего: своей доли не переменишь, следовательно, лучше об этом не говорить.

Все ваши тамошние перемены, конечно, меня лично радуют, но для нас, сибиряков, ничего они не значат — нам здесь от них не лучше и не хуже; у нас все по-старому: те же порядки, тот же произвол, та же дичь в промышленности и во всей жизни. Может быть, говорят здесь, нужны для России улучшения, но для Сибири их не нужно — все хорошо; и если бы кто из вас приехал сюда (что, боже сохрани!), то нашел бы все так, как было в 1826 году. Это я говорю правду, для тебя особенно это должно быть и видимо и ясно.

Говорят, что от столицы до Иркутска уже давно проведен телеграф [1], но все же нам не легче; вчера здесь получено письмо из Иркутска, в котором пишут, что в эту столицу Восточной Сибири не получено пятнадцать почт, по случаю скверной дороги; это пишу к тебе для того, что я уже другой месяц ни единого слова не получаю из России; телеграф, разумеется, сделан для богатых, 50 коп. серебром за каждое слово до Петербурга положена цена.

Бестужев Михаил пишет ко мне, что сам нездоров, и дети его тоже больны; все собирается ехать в Москву, но когда это будет, не знаю; вероятно, ты когда-нибудь увидишься с Дмитрием Иринарховичем; он давно уже в Москве...

Поликарп Павлович свидетельствует тебе глубочайшее почтение. Он здоров и становится дряхлым; благодарит тебя за все и все и молит бога за твое здоровье и целого твоего семейства, которому прошу тебя покорнейше и мое отдать глубочайшее почтение, мой усерднейший поклон и большим и малым.

Не знаю, просить ли тебя, чтобы ты писал ко мне чаще; совестно мне об этом беспокоить и лучше полагаюсь на твою память и доброе твое серд-

це; вспомни, где я живу и что должны быть для меня письма тех, с которыми я связан навсегда и душевно и мысленно; у меня нет родных других, кроме вас всех; жму твою руку, обнимаю тебя мысленно, благодарю за письма и остаюсь твой навсегда.

Ив. Горбачевский

Каково здоровье Павла Сергеевича? Мой ему душевный привет, также и Ивану Васильевичу; почему бы ему когда-нибудь не написать?

68. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

1864 г. Августа 1-го дня. Петровский Завод

Письмо твое от 24 мая я получил 7 июля, любезнейший мой Евгений Петрович! Я уже не знаю и не приберу слов, каким образом, какими словами благодарить тебя за твою память и чувства ко мне. Письма твои — мне наслаждение в моей скучной жизни, известия — интересны. Чего же, как кажется, мне больше желать? Нет, все же хотелось бы, все же есть желание когда-нибудь увидеть тебя, обнять и поговорить, хотя бы несколько времени; тогда бы, мне кажется, я вздохнул легче. При всей своей решимости сидеть на одном месте, зная, что нет возможности двинуться с места, но теперь гораздо чаще, чем прежде думаю, неужто я никогда не увижу Россию, Малороссию, свою родину. Отчего это происходит, не знаю, но мне досадно и сержусь на себя — мне, кажется, это уже малодушно. А между тем, пишу об этом, а все же думаю, как бы я был счастлив увидеть кого-либо из своих. Это желание есть как-будто потребность души; мне даже кажется, мы между собою иначе говорили, как прочие люди, иначе чувствовали, иначе думали.

Все это, как видишь,— бредни старика, хотя и утешительные для меня; скажу другое — здоровье мое худо: день, два — хорошо,— три дня нездоров, а иногда и более. Недуг мой, о котором ты знаешь, не дает мне спокойствия; я ослабел от частых повторений, и не знаю уже, за какое лекарство приняться. Ты мне никогда не пишешь о своем здоровье, но видя твою деятельность с твоими милыми гимназистами, я уверен в твоей нравственной бодрости и в физическом здоровье.

Ни Завалишин из Москвы, и никто из вас не пишете ко мне о Наталии Дмитриевне; меня это удивляет, что вы все молчите о ней; я писал дважды к ней в этом году, и не только ответа нет, но даже никто о ней не говорите. Мне это больно: я люблю эту добрую женщину, я ее уважаю и много ей благодарен за ее бывшее внимание ко мне. Я не верю, чтобы она за что-либо могла на меня сердиться, потому что я за собою ничего ⟨не⟩ знаю и за других не отвечаю, если кто против моей воли что сделал; и никого ни об чем не просил и делать этого никогда не стану. Что она ко мне

не пишет, я одно полагаю, что она за границею,— другой причины ее молчанию не полагаю.

Один знакомый прислал мне из Кяхты, что будто бы Александр Викторович возвратился из-за границы [1] вместе со вдовою Кочубей [2]; но где он, жив ли он теперь, где живет, ничего не знаю, и он не пишет ко мне. Не знаешь ли об этих двух особах, близких мне, что-либо? Прошу тебя убедительно — напиши.

Прошу тебя также, поклонись от меня усерднейше всем тем из наших, с кем ты в переписке. Бестужев здоров и иногда пишет ко мне.

Любопытно мне читать в твоих письмах, что у вас там делается; для меня все кажется, что ты живешь как будто в чужом государстве. У нас же — все по-старому; одно только, что люди получают больше за работу денег, за то и кабаков считают около 25 штук. Приходят сильные партии рабочих со всего мира; это — настоящее, как говорят, вавилонское столпотворение и смешение языков; но я их не вижу и не слышу; все покрыто мраком, то есть запорами. Наше бывшее здание гнило, гнило, да и пригодилось! [3]

Буду к тебе писать в будущем: теперь — нездоров и устал. Кланяйся от меня усерднейше твоим гимназистам, кланяйся твоим близким, и мое им глубочайшее почтение. Прощай, мой Евгений Петрович; пиши ко мне, прошу тебя об этом. Будь здоров, обнимаю тебя тысячу раз.

Твой навсегда *Ив. Горбачевский*

Отец Поликарп кланяется тебе усердно, он нездоров теперь — и уже почти скоро две недели, как заболел. Дети его здоровы; просил к тебе об них написать. Александр — в Благовещенске, Евгений — в Владивостоке, двое — Павел и Илья — приехали на каникулы сюда.

69. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ

1864 г. Декабря 22 дня. Петровский Завод

Я был обрадован твоим письмом от 30 сентября, любезнейший мой Евгений Петрович, которое я получил 8 декабря; не знаю, почему оно так долго было в дороге, но все же я был рад и душевно благодарю за твои чувства и память обо мне. Не думаю, чтобы ты мог забыть то потрясающее состояние человека при получении для себя дорогого письма, живши в таком отдалении от людей близких его сердцу; желал бы все передать тебе, что происходит со мною в это время, но это невозможно; сам уж суди, как хочешь.

Твои письма я беспрестанно перечитываю, радуюсь за них; все в них для меня любопытно и ново, всегда сожалею, что не могу тебе так же отвечать, потому что живу не в той среде, в какой ты находишься; писать

же о настоящем, что здесь делают — и скучно и грустно, и почти тебе известно все. Некоторые перемены и то только, в сущности, на словах, а на деле чуть ли не выходит хуже. Скопление народу — чрезвычайное, чужое, не утвердившееся на почве; заработков мало, на прииски отказались нанимать; распространение страшное кабаков. По милости Амура у нас хлеб на базаре пуд 1 руб. сер., к весне, говорят, два будет; под каждым окошком нищий, и все дети, и взрослые. Вот тебе картина нашего быта самая слабая.

Ты пишешь, что ваше дворянство без денег; очень верю. Здесь нет его, но зато чиновники, нельзя сказать, чтобы были здесь бедны; нет, они оттого здесь без денег, что безнравственны: будущего у них нет — все надеются на жалованье и злоупотребления, которые дошли до чудовищных размеров. Все дико и отвратительно, лучше об этом молчать.

Скажу тебе, я был недавно обрадован письмом, мною полученным от Наталии Дмитриевны; тем более меня это порадовало, что я уже потерял надежду получить когда-либо письмо от ней; но я теперь рад, что она поправилась в здоровье.

Жаль мне Павла Сергеевича; жаль Александра Викторовича [1]. Что делать! вот и мое здоровье — оно мне теперь изменило: с 25 ноября не выхожу из комнаты; мой недуг меня одолел, и не могу с ним справиться; не знаю, что будет дальше.

Прошу у тебя одного: пиши ко мне почаще, пиши так, как всегда пишешь — не считайся со мною письмами. Я не могу часто писать потому, признаюсь тебе, что горе, печаль, нездоровье меня одолевают; держусь, и держусь крепко, но силы слабеют.

Конечно, всем твоим родным мой душевный и искренний привет — и большим и малым, а тебя обнимаю, благодарю еще за твои письма, которые для меня дороже всего. Будь здоров. Желаю тебе всякого утешения.

Твой навсегда *Ив. Горбачевский*

(Буду еще писать) [2].

70. В. А. ОБРУЧЕВУ

1866 г. 16 июля. Петровский Завод

Любезнейший мой Владимир Александрович!

Без всяких комплиментов, нет того дня, чтобы я вас не вспомнил,— будьте в том уверены. Как мне жаль, что вы не с нами живете,— не могу забыть об этом, не могу не жалеть.

⟨...⟩ Я так бы хотел поговорить с вами о многом, что не знаю с чего начать. Впрочем, первый мой вопрос спросить у вас — каково живете? Я слышал — что будто бы худо, что вы недовольны и проч. Правда ли это? Напишите мне хоть строчку с Андреем Николаевичем. Что с вами, что

делаете, какие надежды, все бы хотел знать, так вы мне близки. Иван Францевич в каждом письме у меня спрашивает о вас. Что слышу, то и пишу; а слышу иногда от Саши или Вани.

Я был жестоко болен и чуть-чуть не отправился к своим, не знаю, что меня спасло, но целый май месяц с постели не вставал.

Нового вам ничего не могу сказать. Вы там, в восточной столице, лучше все знаете...

Жизнь моя та же — никакой перемены, никакой надежды на улучшение быта, все то же, чтоб его черт побрал. Пишу это письмо в горной конторе, так случилось — меня дела вытащили рано из дому и я не успел дома к вам написать.

Вас все здесь помнят ⟨...⟩ Скажите мне о ваших занятиях, скажите, имеете ли деньги, спокойны ли вы с этой стороны или бедствуете — это ужасно. Обнимаю вас заочно — жму вашу руку и буду ожидать следующей оказии.

Ваш навсегда *Ив. Горбачевский*

71. В. А. ОБРУЧЕВУ

8 сентября 1866 г. ⟨Петровский Завод⟩

Я живу по-прежнему, т. е. страдаю буквально за других и через других — такая моя жизнь была и будет.

Часто вас вспоминаю, часто сожалею, что вас здесь нет. Вы были моя душевная здесь поддержка, хотя я этого вам лично не говорил, может быть.

Благодарю вас за сюргуч — обнимаю вас заочно; жму вашу руку и ваш навсегда.

Ив. Горбачевский

72. В. А. ОБРУЧЕВУ

1867 г. Апреля 20 д⟨ня⟩. Петровский Зав⟨од⟩.

Нечаянно, неожиданно я получил от вас письмо от 21 марта, мой — не знаю, как назвать,— мой Владимир Александрович! И хотя я его получил 27 марта, но медлил немного нарочно писать к вам, избавляясь скуки, горя, душевной тягости, чтобы не отвечать, будучи в раздражительном положении. Тяжко было мне читать ваше письмо — и положение ваше, и лишение отца, и все, и все подобное; к тому же, прибавьте и мое удивление, что вы получаете 15 р.!! Это шутка или мистификация со стороны вашего хозяина — и холопское невежество? Но вы пишете, что вы довольны! По-

нимаю — ведь вы довольны были, когда в триумфе ездили по Петербургу [1] и что вы в Сибири живете; вы всегда довольны. Такая философия, она утешительна для тех из посторонних, кто порядка вещей не знает; но она нас с вами не обманет. Как бы то ни было, вы прекрасно делаете, что так говорите — доволен, но не менее того (без комплиментов) я всегда удивляюсь вашему твердому характеру к перенесению всех проклятых невзгод.

Что мне сказать вам про свою жизнь; если бы я был один, тогда все бы было хорошо; но окружающие сироты и бедность других на тысячу частей рвут мое сердце. Вдова Вани [2] жалуется другим, что я к ней не хожу; это правда, но правда отрицательная — я не могу глядеть на ее детей без содрогания, а они, как нарочно, и здоровы и красавцы оба. Помощь моя им мизерная, которую я и не считаю за помощь; но что же мне делать, когда сам всегда без копейки? Бывает много у меня людей всякий день, но я один — один в буквальном смысле этого слова, я думаю, вы это поймете; нет близких мне, ни по сердцу, ни по чувствам, ни по идее; даже Бестужев, один из старых товарищей оставшийся, и тот едет к черту, т. е. в Россию, по первому пароходу на Байкале.

⟨...⟩ Меня не мало удивило, что к вам, на ваше имя можно адресовать письма. Обнимаю вас мысленно, жму вам руку крепко и крепко. Будьте здоровы и довольны ⟨?⟩. Пишите иногда, я буду отвечать. Нет того дня, чтобы я вас не вспоминал. Будьте уверены в искренности слов и чувств вашего навсегда

Ив. Горбачевского

73. В. А. ОБРУЧЕВУ

1867 г. Октября 12 д⟨ня⟩. Петровский Завод

Простите великодушно, любезнейший мой Владимир Александрович, что так долго не писал к вам ⟨...⟩, но если бы вы знали все подробности моих обстоятельств, а тем более видели состояние моего здоровья, то тысячу раз простили бы мне. От мая месяца, когда я заболел, до сих пор страдаю. Вообразите, у меня сделалась боль в боку живота, приняли это за грыжу, носил я с трудом бандаж, сделалось затвердение почти в гусиное яйцо, и вдруг оказался это нарыв гноевой, который недели две тому прорезали, и теперь вожусь с бинтами, пластырями и проч. С начала весны были лихорадка, к тому же геморoидальные припадки, все это меня мучило при самых неблагоприятных обстоятельствах.

Обнимаю вас мысленно, целую вас тысячу раз, благодарю вас без счету душевно за вашу обо мне память, за ваши милые, дорогие мне письма, которые мне приносят большое утешение в моем одиночестве. Верьте моему слову, что когда мне бывает горько, я прочитываю ваши письма, так

они дороги и так я их люблю читать ⟨...⟩ Всегда жалею, и буду жалеть, что вы не здесь живете. Конечно, здесь не рай земной, но для ссыльных спокойный угол, хотя и скучный и удаленный от людей. Знакомые вам люди — простонародье, а особливо мой Иван, Калинка [1], Ваня, всегда и всегда о вас спрашивают и интересуются о вашей жизни, что меня еще пуще раздражает и наводит уныние на душу, что вы здесь бросили нас. А девочки как без вас выросли, пополнели, что за красавицы стали, заглядение — Саша, Катя и проч. И всегда, когда соберутся у меня, только и спрашивают меня о вас, только у них и разговора о ваших письмах и забросают меня всегда вопросами о вас. Бедные, какая их будущность? Смотря на них, горесть душу раздирает, подумавши, что может быть хорошего в жизни их, вышедших замуж за пьяниц, грубиянов и скотов. Вы спрашиваете о Васе, она не хвалится своею жизнью; оно и справедливо; что может быть хорошего в их быту при таком грубом невежестве народа и при такой дороговизне. Хлеб летом был 1 р. 70 к. — меньшее — за пуд, а теперь 1 р. 10 к.; дожди уничтожили у нас сено, морозы половину хлеба. Что ж будет дальше с ценами? Страх на всех напал; бедствие да и только.

⟨...⟩ Иван Францевич, который живет теперь на Ононе, иногда в письмах спрашивает о вас. Переписка моя уменьшилась, в Россию вовсе не пишу ни к кому, а если и пишу, то только к вам, к Саше и к Ивану Францевичу.

Вчера я многих видел из ваших знакомых, меня перед почтой посещали. Все вам усерднейше кланяются. Видел Алексея, он здесь с отцом, его лечат от удара, но все благополучно кончилось.

Горько жить, мой добрый Владимир Александрович, я одинок, несмотря на привязанность ко мне людей простых, но усердных, которые меня окружают. Все в разные стороны разъехались, и вы в том числе. Но память о вас в душе моей навсегда осталась. Будьте здоровы, пишите, прошу вас, умоляю, не покидайте меня. Буду к вам писать, теперь я расстроен, но жму крепко вам руку и чувства привязанности навсегда.

Ваш *Ив. Горбачевский*

74. В. А. ОБРУЧЕВУ

1868 г. 5 января. Петровский Завод

⟨...⟩ Вы меня напугали вашим здоровьем и вашею бывшею болезнью. Дело не в том, что вы были когда-то больны, а в том, чтобы теперь его сохранить. Скажите Илье Степановичу Елину [1] прямо откровенно от меня, что он предо мною отвечает за ваше здоровье. Это обоюдно наша нравственная обязанность — быть друг другу полезным. Скажите ему прямо, он

умный человек, поймет в чем дело. Скажите ему, прошу вас, что к нему оттого не пишу, что он получает распечатанные письма. Это молчание мое ничего не доказывает. Мои теплые, искренние чувства любви к нему были и будут всегда со мною — и никогда меня не оставят, хотя бы он был за тридевять земель.

Снимите с портретов копии, и пришлите их обратно, а то с бабами не разделаешься. Да еще пришлите для меня свой портрет; давно бы вам надобно было об этом подумать ⟨...⟩

Что сказать вам о моем здоровье — ⟨...⟩ и вот до сих пор у меня рана ⟨...⟩ С октября не выхожу из комнаты; но теперь лучше и идет к лучшему, что дальше будет, не знаю. В моей жизни, кроме скуки, горя — ничего не вижу и не предвижу лучшего; никого при мне нет близкого — все это разъехалось, разлетелось, все бегут из Завода, один по охоте, другие по надобностям. Я один остаюсь на месте, как гнилой верстовой столб, мимо которого мелькают люди и происшествия. Прощайте, буду писать, вы можете быть в этом уверены, теперь спешу — торопят. Обнимаю вас заочно, жму вам руку дружески.

Ваш навсегда *Ив. Горбачевский*

75. В. А. ОБРУЧЕВУ

1868 года. Февраля 8 дня. Петровский Завод

Дорогой мой, любезнейший Владимир Александрович.

Скажите, что можно выразить и сказать на таком клочке бумаги, однако ж я решился писать к вам и уведомить, что я на-днях получил дорогую для меня посылку (табак) и вашу коротенькую записку. Главное, мне дорога ваша память, ваше внимание, ваши теплые чувства. Вы знаете, что я болен и не выхожу из комнаты с октября месяца, болезнь моя еще не прекратилась, рана не заживает, чем увеличивает мое болезненное состояние, но я повторяю слова одного человека, которые выражают настоящую истину и всю сущую правду моего положения и обстоятельств: при получении вашей посылки и записки мне принесли в одно и то же время лекарство из аптеки, я лекарства не принял, а стал читать вашу записку, закурил Лаферма — и выздоровел. Так, истинно,— выздоровел душевно и мне в тот день было легче. Знаете ли, я очень рад, что вам нет времени ни говорить с кем-либо, ни писать, лишь бы все это было ⟨не⟩ со вредом вашему здоровью. Стало быть есть занятие, есть в вас нужда. Желал бы к вам больше писать, но одно скажу без украшений и прибавлений, что сидя дома, в одиночестве, часто думая про себя, благословляю тот случай, который мне помог в моей жизни и в моем сердце заменить вами потерю моих преждебывших товарищей, которых смерть унесла и которых я любил и

высоко уважал; я в вас встретил их, я их узнал, опять их вижу и слышу, говоря с вами хотя бы заочно.

Вы подозрительны, Владимир Александрович! Я это знаю, вы сами подали мне повод так о вас думать, но я прошу одного — со мною говоря, оставить эту болезнь, не сомневаться в моих словах и чувствах.

Все у нас по-старому, все одно и то же. Получил недавно от Саши [1] письмо из Албазина, мучится, бедный, на морозе. Ничего, что он трудится, но все же мне его жаль, а главное, что не могу быть ему существенно полезным, кроме моих сухих и скучных советов.

Прощайте, мой Владимир Александрович! Благодарю вас за все ⟨...⟩ — будьте здоровы.

Ваш навсегда *Ив. Горбачевский*

76. В. А. ОБРУЧЕВУ

1868 года. Марта 28 дня. Петровский Завод

Не удивляйтесь, мой милый, добрый Владимир Александрович, что пишу карандашом: пишу лежа в постели. Кроме моей еще до сих пор существующей раны, сидевши дома, никуда не выходивши, я приобрел себе лихорадку, потом горячку; вот сегодня первый день, что могу, подпершись на подушки, кое-как писать, но не могу воздержаться, чтоб не поговорить с вами. На последней почте, т. е. 25 марта, мне принесли вашу посылку и письмо. Посылка была тотчас отослана к Саше, а письмо от 16 марта, конечно, я оставил себе. Благодарю вас за все ваши желания добрые, но даже не могу теперь воспользоваться вашим советом сидеть на солнце, на своей завалинке.

Саша хотела вам написать, но прибежала ко мне впопыхах, извиняется, что не может писать теперь, а отложила на следующую почту; что у них мытье, шитье и прочие глупые хлопоты бабские. Письмо ваше к Саше сегодня отсылаю на Амур. Бедный Саша, как видно, он там не на розах отдыхает [1].

Извините и меня, что редко пишу; кроме того, что боюсь наскучить своими письмами — тяжкая дума, боль тупая в груди, сжатое сердце, ужасная будущность, ожидающая меня, решительная бедность и проч. агременты,— вот, мой Владимир Александрович, помехи брать в руки перо, или карандаш, вот причины невольного молчания, хотя и хотел бы что-нибудь написать.

Все это печально, но что же сказать вам и утешительного, ровно ничего не могу даже выдумать. Одно всегда у меня на уме, чтобы вы хорошо жили, пока молоды, чтобы вы были здоровы все, бывшие мои, которые теперь разлетелись в разные стороны... Лаферм действует, и я для него

купил особенную трубочку небольшую. Теперь от болезни ничего не курю, все противно, даже пища, которая для меня состоит из одного чая и булки.

Душевно, искренно благодарю вас за письмо и подарок для Саши. Ей более всего нужна была сетка на голову,— она скучала, но не покупала, что денег нет (70 коп. серебр.!!!!), но вы догадались, как будто, предчувствуя горе бедной девицы; а между тем не могу не сказать, что у добрых людей всегда добрые и кстати предчувствия. Поздравляю вас с праздником, желаю весело провести и быть здоровым. Жму вам руку, обнимаю мысленно.

Ваш навсегда *Ив. Горбачевский*

77. В. А. ОБРУЧЕВУ

1868 года. Июня 27 дня. Петровский Завод

Любезнейший Владимир Александрович.

Получивши прежде известие о вашем переводе на Чикой от доброго Алексея Евграфовича [1], я только удивился — почему? — потому что думал это только одно ваше предположение; но теперь, получивши ваше письмо от 13 июня, вижу, что вы уже решились ехать в Барахаево и ожидаете только разрешения разные.

Признаюсь чистосердечно, что сердце разорвалось у меня на́ части, узнавши все это. Почему же вы прежде не посоветовались с нами, которые знают всю подноготную чикойскую? Но говорить теперь поздно, а скорее вам я и другие советуют и просят вас, перепроситесь на Хилок в Куналейскую волость, или в Мухор-Шибирскую; в какой бы вы ни были деревне, все же ближе будет вам к почтовому отделению, где получают и принимают письма, и к доктору будет ближе и к аптеке — и что этими вещами, бывши на поселении в Сибири, не должно пренебрегать. Все силы употребите, перепроситесь на Хилок; я думаю, это можно. В Барахаеве, как пишет ко мне Иван Францевич, вы встретите жидов-мошенников и пьяниц-крестьян, не уступающих в плутовстве жидам. От почты и лекарей и аптеки далеко, верст 200 или 250 — это в Кяхте или в Петровском Заводе.

Вчера был у меня Алеша. Узнавши, что вы едете в Барахаево, руками, бедный, всплеснул, просит меня скорее писать к вам. Пусть едет, говорит он, к нам в Тарбагатай, в Кули, или куда хочет, только бы не Хилок. Он просил меня вам сказать, что на будущей почте будет к вам писать непременно и пошлет вам деньги на разные для него покупки и просит вас это исполнить.

Я бы вам много написал, если бы место и время позволяли: скажу только, что когда нас в 839 году развезли на поселение, меня оставили в Петровском Заводе по приказу из Петербурга [2]. Знаете ли, ко мне писали почти все товарищи, и мне завидовали, что меня оставили в Заводе.

Почему? Кроме других многих невыгод жить в деревне — писали, что без почты, лекаря и аптеки — горе, беды, скука и проч., и проч. И что же, со временем все перепросились, хотя с трудностью. Другие, без всякого пособия и призрения погибли — умерли. Я бы вам мог много примеров показать, но что же делать мне теперь, ожидать вас и ожидаю с нетерпением; ворчу на вас и жму вам руку — мысленно обнимаю вас и ваш навсегда

Ив. Горбачевский

78. В. А. ОБРУЧЕВУ

1868 года. Июля 11 дня. Петровский Завод

Я получил ваше письмо от 2 июля 8-го числа (что, мне кажется, очень скоро), любезнейший мой Владимир Александрович! Вообще мы здесь письма получаем из Иркутска почти через две недели, но дело не в том, спешу вам отвечать и отвечаю с первой отходящей почтою.

Благодарю вас за заботы обо мне, за память и ваше внимание к больному и дряхлому старику; благодарю за уведомление, что вы думаете о Тюмени. По моему, сказать правду, но скрепя сердце — все же лучше в Тюмень ехать, чем на Чикой. Как говорят, город богат хорошими купцами и ближе к России. Что же касается до вашего желания сюда заехать, дело в том, что мы все рады будем этому, если вы приедете, но смотрите и подумайте — и далеко такой круг делать и будет вам дорого стоить, а ехавши в Западную Сибирь, иметь лишние деньги — не худая вещь (инструкция о способе пересылки предположенной мною посылки).

Прощайте, мой добрый Владимир Александрович! благодарю вас за все и все. Будьте уверены в искренности моих слов и чувств.

Ваш навсегда *Ив. Горбачевский*

Все здоровы и все вам кланяются усердно. Не посылайте эту, такую тяжелую посылку через почту, боюсь, это будет стоить очень дорого.

79. В. А. ОБРУЧЕВУ

1868 г. 18 июля. Петровский Завод

⟨...⟩ Поезжайте, куда хотите, моя душа и сердце всегда с вами, но боюсь, чтобы впоследствии опыт вам не доказал бы, что без почты, лекаря и аптеки худо жить. До свидания, если вам не отяготительно будет сюда приехать ⟨...⟩ У нас все по-старому, т. е. все живы и здоровы, вам кланяются. Я болею и вожусь со своими глазами и раною, которая до сих пор не заживает. Обнимаю вас мысленно. Будьте здоровы.

Ваш навсегда *Ив. Горбачевский*

Вчера из Удинска приехал сюда Орлов и говорит, что генерал Корсаков будет в Чите 22 числа этого месяца.

80. В. А. ОБРУЧЕВУ

1868 г. Августа 20 дня. Петровский Завод

Мой Владимир Александрович!

Вчера сюда приехал из Удинска Катышевцев и привез мне вашу посылку, и я ее получил в целости. ⟨...⟩

Теперь — какими словами и выражениями я могу вам изъяснить мою признательность; мне кажется лучше это предоставить вашему собственному сердцу, а чувство моей благодарности для меня на бумаге трудно и не в состоянии я совершенно выразить; говорю и повторяю беспрестанно — благодарю и благодарю.

Пишите, как ваше дело решилось; что вам сказали и отвечали на ваше желание. Все это для нас важно и любопытно — с нетерпением ожидаю от вас известия.

Вчерашняя почта привезла мне письмо от Саши, с Амура. Здоров и работает. С восхищением хвалится вашим подарком. Признательность эта и радость с его стороны, что вы его не забываете, меня тронула. Пишите ли вы к нему, пишет ли он к вам? Теперь почта поставлена в Албазине.

Мое здоровье одно и то же — рана не закрывается, из дому не выхожу; скука несносная. Буду к вам писать, когда получу от вас известие, где вы? Вчера был у меня Алеша, просил меня вам сказать, что он в Чертовкино на ярмарку не поедет; у него в доме много больных и ему нет времени, Здоров и кланяется вам. Все ваши знакомые кланяются усерднейше.

Лаферм курю, и ваш образ всегда предо мною, будьте уверены в моих чувствах к вам любви и привязанности, не сомневайтесь ни в чем, верьте вашему навсегда

Ив. Горбачевскому

81. В. А. ОБРУЧЕВУ

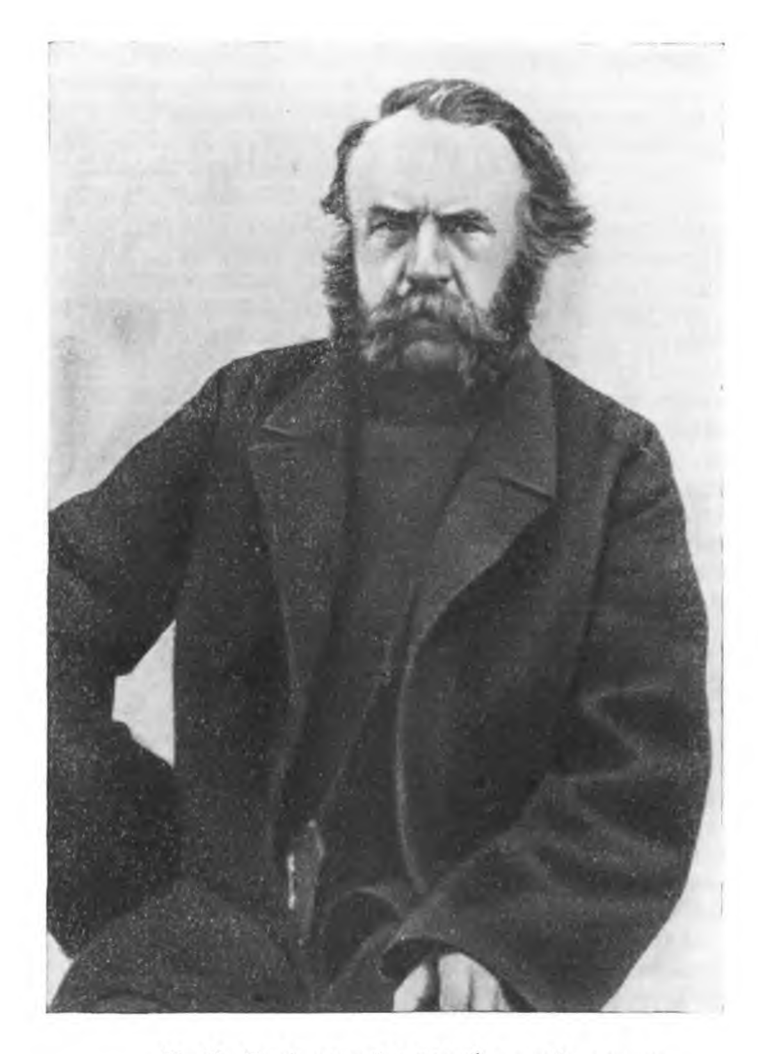
1868 г. Декабря 12 дня. Петровский Завод

Любезнейший, дорогой мой Владимир Александрович.

Посылаю вам письмо от Алеши и сам тут же пишу; Вы обещали писать ко мне, и до сих пор молчите; я еще лежу в постели, так слаб. Пишите ко мне, и будьте здоровы; спешу с почтою, после к вам ⟨буду⟩ писать подробно. Мы боимся посылать письма на ваше имя, доходят ли они к вам. От Саши с Амура нет писем. Не знаю, что значит.

Спешу писать, боюсь с почтою опоздать, пишите, ждем ваших писем. Жму вам руку.

Ваш всегда *Ив. Горбачевский*



И. И. Горбачевский в последние годы жизни

16 И. И. Горбачевский

ДОПОЛНЕНИЯ

1. ДВА РАССКАЗА ГОРБАЧЕВСКОГО

(в передаче П. И. Першина-Караксарского)

1

События 1812 года знакомы мне лично. Я двенадцатилетним мальчиком был при отце моем, состоявшем тогда при штабе Барклая де Толли, а потом Витгенштейна и Кутузова. Воспитывался я в кадетском корпусе [1], поступил на службу на 19-м году артиллеристом в 8-ю бригаду. В тайное общество Соединенных славян поступил в 1820 году [2], на 20-м году моей жизни, по предложению Борисова 2-го.

До 1825 года был деятельным членом Общества. В эти первые годы молодости не было дней, посвященных удовольствиям и юной беспечности. Труды по делу Общества, занятия по службе, труды по пополнению образования и чтение книг поглощали все время мое, тогда молодого, пылкого юноши. Балы, маскарады, все удовольствия светских людей мне были незнакомы. Утро принадлежало службе: смотрам, разводам, учениям; остальное время дня — канцелярским формальностям. Вечера были поглощены разнообразными занятиями по думе нашего Общества «славян», требовавшего деятельности, распоряжений и таких распоряжений, которые требовали осмотрительности и при том самой тщательной осторожности по сохранению тайн Общества.

Союз Славянского общества с Южным вызывал ряд бесконечных занятий и суждений. Собрание наше представляло нечто вроде палаты депутатов, где в известное время собиралось 150 членов и более. Всякая мера предстоящих действий Общества, предложенная президентом Союза, обсуждалась и решалась большинством голосов. Заседания наши представляли полную возможность и независимость в высказывании мнений, где не было подобострастия нисшего к высшему, служебные ранги не мешали равенству в делах Общества, дружеские отношения при обсуждении каких-либо мер не мешали горячим спорам в защиту своих идей, где всякая мысль проходила через критику умов всех членов и уже выходила очищенной от пристрастия и промахов. Нередко бывали и крупные разногласия по принятию каких-нибудь решительных мер, на которые более осторожные не соглашались.

Из таких спорных вопросов приведу один случай, которым решился вопреки благоразумию рискованный шаг. Поручик Х. докладывает, что ротный командир Саратовского полка не дозволяет солдатам 8-й артиллерийской бригады ходить в его роту, что, конечно, препятствовало распространению идей среди нижних чинов о предпринимаемой реформе. Предстояло избавиться от ротного командира, но как? Предложенные планы были различны и многие рискованны, на которые начальник наш Муравьев, человек осторожный и предусмотрительный, был весьма разборчив, не дозволял никаких крайних мер, которые могли бы огласить тайну. Однако же молодые люди большею частью обладали энергичным и решительным характером и были готовы на самую крутую меру, лишь бы устранить препятствие. Поручик Кузьмин вызвался взбунтовать роту Березина, и это предложение принято собранием с восторгом, с криками «ура» и «браво». Такое решение не только не одобрено Муравьевым, но привело его в бешенство, как противника крутых и опасных мер.

— Слушай, Горбачевский,— сказал он,— если ты не предупредишь этого сумасбродного намерения, я тебя убью.

Выразив повиновение начальнику, я в то же время, втайне сочувствуя намерению Кузьмина, шепнул ему, чтобы он привел свой план в исполнение, но осторожно.

Устранить Березина от командования ротою было необходимо, и с этим все были согласны, кроме Муравьева, который пришел в негодование и представил резон всей невыгоды и риска, грозящего разрушением Общества с печальными последствиями.

— Если ты, Горбачевский, не уймешь этих цепных собак, я тебя убью,— снова повторил Муравьев.

Собрание кончилось.

В четыре часа утра прискакал ко мне фейерверкер.

— Ваше благородие, третья рота Саратовского полка взбунтовалась.

— Вели поскорее оседлать мне лошадь,— сказал я.

Пока я оделся и привел себя в порядок, выйдя из дома, третью роту я нашел уже на линии.

Шеколла, один из членов Общества, рослый и дюжий мужчина, еще накануне, тотчас по окончании собрания, взял на себя взбунтовать роту и в этом успел в совершенстве. Вся рота на линии кричала: «Давайте нам другого командира: мы не хотим Березина!» Командир полка, трусливый старикашка, чтобы уладить скандал, был на все согласен, лишь бы дело не приняло серьезного оборота. Шеколла, видя благоприятный результат, пробежал по задним рядам роты со словами: «Соглашайтесь, ребята». Заявление роты было командиром принято, и Березин сменен, а вместо него назначен командовать ротой один из членов нашего Общества.

Вербовались в члены Общества большей частью молодежь с неустановившимися, невыработанными взглядами, со смутными, неясно очерчен-

ными идеалами. Молодежь жаждала подвига, деятельности. Не скажу, что это были умные все головы. Скорее это были горячие головы.

Хотя я упомянул, что в нашем «парламенте» была полная свобода в выражении мнений, но далеко не всякое мнение принималось к сведению. Горячим головам сейчас же требовалась деятельность, они не выжидали хода событий, не соображались с обстоятельствами. Из таких горячих голов был и Кузьмин. Он, как говорится, рвался к бою, ему надоело по нескольку часов сидеть в собрании и выслушивать главарей о планах и способах нового государственного устройства.

— Послушайте, Горбачевский,— раз, оставляя собрание, сказал мне Кузьмин.— Знать не знаю я ваших конституций, революций, республик, мне бунт давайте.

Таких сумасбродов был не один Кузьмин...

Известна история доноса Майбороды и Шервуда...

Надвинувшиеся события застали нас врасплох, в поход собрались в одну ночь: лошадей подковали, обоз соорудили живо...

Разбили, рассеяли нас около Белой Церкви. Многих арестовали, в числе которых был и Кузьмин. В первой стычке с императорскими войсками Кузьмин был тяжело ранен. Но всю дорогу, пока нас везли под строгим конвоем в Белую Церковь, страдал молча от тяжких ран. На одной из станций раздался выстрел: то Кузьмин покончил с собою выстрелом из пистолета, направленного в грудь, спрятанного в рукаве шинели.

2

(Нас привезли на ямских тройках в Зимний дворец. Это было глубокой ночью.) Мы стоим в оковах в огромных залах дворца, позади нас часовые, да флигель-адъютанты шныряют молча.

Вдруг распахнулись двери кабинета и вошел император Николай, быстрыми шагами подошел к нам.

— Чего вы хотели? Конституции?

— Нет, государь,— сказал Н.,— мы имели намерение образовать федерацию из всех славян...

— Я, государь, не могу справиться с такой идеей, чтобы объединить всех славян, а вы самовольно, сумасбродно задумали вершить судьбами народов...

Краткий допрос всех нас сделал сам государь, и опять завязали нам глаза и увезли...

Дальнейшую эпопею вы знаете.

2. ВОСПОМИНАНИЯ О ГОРБАЧЕВСКОМ

⟨М. И. ВЕНЮКОВА⟩

На пароходе между другими находился старичок, одетый в ваточный, суконный сюртук с поношенною, меховою оторочкою, в высокие сапоги, в которые были опущены панталоны, и в теплый плюшевый картуз с ушами. Я принял его сначала за какого-нибудь купеческого приказчика нисшего разряда. Но вот генерал-губернатор, увидев его, громко сказал:

— Здравствуйте, Иван Иванович,— и дружески пожал ему руку, а потом вступил в разговор, при котором кроткая физиономия старичка постоянно слегка улыбалась, а прекрасные глаза его сверкали.

— Кто это такой? — спросил я одного из спутников.

— А Горбачевский, один из «перворазрядных» декабристов. Он был в Иркутске, а теперь едет к себе в Петровский Завод, откуда не пожелал возвращаться в Россию после амнистии.

Впоследствии я имел случай несколько ближе узнать И. И. Горбачевского, встретившись с ним у начальника Петровского Завода капитана Дубровина. Это была чудная, светлая личность, высокой нравственной мощи, несмотря на тихий характер. В его присутствии люди не смели лгать, хотя он даже не выражал словами неодобрения лжецу. И мне говорили, что то же чародейное влияние производили некоторые другие из декабристов, даже не в Сибири, где их долго знали и им поклонялись, а в Москве, в Чернигове, кажется, даже в самом Петербурге.

⟨В. А. ОБРУЧЕВА⟩

...Меня привели к дому начальника завода, горного инженера Н. Н. Дубровина, который принял меня вполне официально, буркнул весьма немногие слова; но на вопрос мой, что ему угодно будет приказать насчет моего помещения, отвечал: «А это уже как вам самим угодно будет распорядиться». Затем я представился помощнику начальника завода, тоже горному инженеру А. Н. Таскину, и получил от него совет тотчас отправиться к И. И. Горбачевскому, который мне окажет всяческое содействие ⟨...⟩

Дом И. И. Горбачевского, куда я проехал после представления начальству, находился на главной улице и представлял из себя простую избу, но избу больших размеров, сложенную из чрезвычайно толстых бревен — не знаю, какого дерева, лиственницы или особенной сосны,— получающих от времени не наш обыкновенный серый цвет, а искрасна-бурый, очень красивый. Хозяин был крупный человек и все у него было крупное. Пе-

редняя изба, с тремя большими окнами, состояла из одной комнаты, без перегородки. Мебель самая простая — стол перед диваном, поставленным спиной к окнам, громадный. Книг довольно много. Печь голландская беленая. Соответственных размеров была и кухня в задней половине избы, где хозяйствовал старик повар-самоучка Калинка. Двор, обставленный хозяйственными постройками, был очень большой.

Ивану Ивановичу было в то время шестьдесят три года. Он был широкий мужчина, несколько выше среднего роста, с крупной, мало поседевшей головой, причесанной или растрепанной на манер генералов александровых дней, но при пушистых усах и бакенбардах. По внешности он был бы на своем месте только в обстановке корпусного командира. И говор у него был важных старцев, барский, чисто русский, без малейшего следа хохлацкого происхождения или сибирского навыка. Такой же барский, всегда благосклонный, был у него и взгляд. Во всем он был барин, и прежде всего в щедрости. Он мог не дать совсем, когда не было — и тогда он конфузился,— но дать щепоткой, отсчитать он не мог. Под львиною наружностью был он человек добрый и нежный до слабости, изысканно вежливый и деликатный. В школе, где он учился, воспитателями были иезуиты, и я его дразнил, что в нем все еще сохраняются разные, к обольщению людей направленные ухищрения. Костюм всегда был один: по утрам серый халат на белых мерлушках, рубашка красная, а затем суконная черная сюртучная пара, местного мастерства, без притязания на современность, двубортный жилет с воротником поверх высокого галстука. Дневной обиход был неизменно один: утром — чай, трубка, хозяйство, почта, посетители — и в числе их всегда плутоватый машинист, причастный к исполнению заказов, по которым Иван Иванович комиссионерствовал. И всегда облака дыма. Затем, около полудня, надев картуз с прямым козырьком и черное пальто, старик уезжал обедать к начальству в присланном за ним экипаже, который в свое время и привозил его обратно. Часика два-три спустя начальство неизменно являлось к нему беседовать и читать газеты за вечерним чаем. Карт не было. К этой компании иногда присоединялся сосед купец Белозеров; бывали и некоторые другие лица. Читал он аккуратно «Петербургские ведомости» и «Revue Britannique». Имел также множество нумеров «Revue des deux mondes», которые ему присылал наш дипломатический агент в Пекине Бюцов. Любимой книгой, которую он всего чаще брал, ложась в постель, были ламартиновские «Жирондисты», и французские книги он вообще значительно предпочитал русским. Но французской его речи я не слыхал.

Меня он принял до крайности ласково и любовно, и тотчас распорядился поместить меня в передней избе одной покровительствуемой им крестьянской, или точнее, заводской семьи. Эти добрые отношения, установленные им в первый день нашего знакомства, и с благодарной отзыв-

чивостью принятые мною, продолжались, без малейшего облачка, до последнего дня бытности моей в Заводе и поддерживались затем письменным путем до последних дней его жизни. Его последнее письмо ко мне, написанное уже ослабевшей рукой, было от 12 декабря 1868 г., а умер он, после двухлетней мучительной болезни, 9 января 1869 г.

В бытность мою в Заводе я никогда не вызывал его на рассказ о далеком прошлом; но, конечно, он не мог не касаться этого, также как и о недавней муравьевской эпохе. Показывал он мне также собранные им портреты товарищей, вошедшие в издание Зензинова, и при этом, разумеется, знакомил с более интересными личностями. Понятно, однако, что при частых, почти ежедневных отношениях, подобный архивный материал мог иметь вообще лишь весьма второстепенное значение. Горячую симпатию к личности Ивана Ивановича, любовное уважение к нему внушали прежде всего его чрезвычайная доброта, живое, участливое отношение ко всем, отсутствие всякой заботы о себе. Свой правильный, трезвый взгляд на вещи он доказал тем, что не захотел возвратиться в Россию. Ему было разрешено жить в Петербурге, куда усиленно звала его сестра (в супружестве Квист), причем ее сын, известный профессор фортификации, поддерживал ее настояния посулами, что они будут жить вместе и разговаривать. Ничего другого, конечно, и нельзя было написать; но понятно, что это не прельстило старика, который привык быть барином в своей избе и в сношениях со всеми окружающими, и близко сроднился с хорошо ему знакомым, прекрасным и в то время по-своему вольным краем. Да, в то безтелеграфное, безрельсовое время, в глухих углах Забайкалья была своего рода воля — воля чистого воздуха, на малых хотя вершинах, воля простой жизни, вдали от ненужных условностей и всего, что засоряет, гадит и принижает душу. Даже в условиях ссылки и я мог в том крае изведать эту волю, и за это навсегда его полюбил.

Иван Иванович постоянно читал мне письма, которые получал от других декабристов, а также свои ответы. Всех чаще писал кн. Евг. Оболенский — всегда очень длинные письма в елейно-религиозном духе; затем, тоже длинно, но о делах земных, писал Д. И. Завалишин. Довольно аккуратные сношения были с Н. Д. Фон-Визиной и с М. А. Бестужевым, тоже не пожелавшим покинуть свой Селенгинск. Однажды Иван Иванович ездил с ним повидаться и оттуда проехал в Кяхту, к пограничному комиссару Пфаффису. Очень заботливо снарядили и укутали старика, так как дело было уже в морозную осеннюю пору. Он восхитился кяхтинскими огородами и привез оттуда удивительных овощей, а также мороженые яблоки и очень вкусную пастилу, вроде желе или нашей мокрой клюквенной пастилы, но из разных хороших ягод.

Главным деловым корреспондентом и заказчиком Ивана Ивановича был золотопромышленник или управляющий приисками горный инженер, ка-

жется, отставной полковник, Иван Францевич Буттоц, умный, образованный человек, который оказался моим истинным благодетелем, так как он аккуратно присылал мне (конные буряты привозили в сумах) газету «The Mail» и разные хорошие английские книги, из которых одну — «О свободе» Милля — в подарок, с надписью. Номера «Mail» постоянно сопровождали меня в моих дальних поездках и поддерживали во мне живое общение с миром, от научных вопросов и парламентских прений до туалетов высокопоставленных дам включительно. С английскими политическими деятелями я перезнакомился коротко. Раз Буттоц приезжал на Завод, и мы втроем обедали и ужинали у Ивана Ивановича, причем Буттоц угощал меня портером, говоря, что и в Петербурге кислее пьют.

Иван Иванович был склонен к несправедливым пристрастиям, и я горячо возмущался этой слабостью по поводу двух следующих проявлений. В семье, где я жил, были два маленькие мальчика, трех-двух-летние, и вот старшего гораздо лучше одевали и каждодневно водили к старику, где сажали на диван к его столу и обильно кормили. Он никогда не говорил, не выражал никаких детских чувств, сидел неподвижно и только ел, упершись большим вдумчивым лбом в пространство. А бедному младшему никогда не перепадало ни одной крохи. Одинокий, часто обижаемый, он бегал по двору в затасканной рубашонке, и однажды, поймав курицу, стал ее топить в кадке, приговаривая: «Что, не любишь!» — слова, которые он, без сомнения, часто слыхивал сам. Затем была во дворе маленькая собачка, Мушка, и жила счастливо, пока не подарили ее хозяину борзого щенка, который вырос в нескладную, не чистых статей, чрезвычайно трусливую собаку. Мушка сразу все потеряла, а любимцу покупали громадные порции мяса, которое бы годилось людям. Однажды нелепая борзая вырыла перед домом громадную яму. Я указал Ивану Ивановичу на это безобразие; но он и тут нашелся: толкнул бедную Мушку ногой и сказал: «Это она его научила».

За время бытности моей в Заводе материальное положение Ивана Ивановича стало резко клониться к упадку. Завод работал плохо, как и должно все плохо идти при бедственных навыках сибирских рабочих: заказы, исполняемые дурно, с большими просрочками, стали сокращаться. Сократилась, а потом и вовсе прекратилась поставка древесного угля на Завод, которая также давала кое-что. Сначала типичные угольные повозки выезжали каждое утро со двора на нескольких лошадях, при двух-трех работниках; а под конец все это исчезло, а печать оскуднения легла на сделавшихся ненужными хозяйственных постройках. В личном обиходе все оставалось по-прежнему, только помаленьку ветшало, да меньше народа стало кормиться на кухне.

Во все время бытности на Заводе я болен не был, и личности заводского врача не помню. Говел всегда аккуратно петровским постом, когда

меньше народу, вследствие чего слышал при отпуске имена непривычных святых. Очень старый, одичалый священник неизменно спрашивал меня, не занимаюсь ли ворожбой.

Подводя итог моей заводской жизни, я должен сказать, что добродетели в ней было мало. Но в Заводе продолжались начатые в крепости и тобольском остроге старательные, чуткие чтения, по ночам в избе, днем на горе, в глухом уголку сибирского леса; там впервые я изведал далекие прогулки с мыслями, навеянными этими чтениями, сознание продолжающейся живой связи с миром, от которого я был отделен, и теплое, верующее отношение к далекому дому и другим, всегда мне дорогим лицам. Да, еще раз и от всей души помяну я добром эти заводские годы, лучшие без сравнения в моей жизни. Если живу, так только крупицами и остатками того, что тогда сказалось душе. Если бы в глухом сибирском Заводе я жил так же благонравно, но и так же тупо, как жил впоследствии, я бы давно утратил человеческое подобие. Горячие думы, когда им нет исхода или диверсии, тяжелая вещь. От них близко к могиле или сумасшествию. Возможность потери умственных сил другим путем я понял гораздо позднее, может быть, слишком поздно.

Но, помянув с таким добрым, любящим чувством мою заводскую жизнь, я должен, однако, прибавить, что мучительнейший ужас ссылки заключается именно в сознании, что всякое убогое благополучие, какое себе устроишь, ежеминутно может быть разрушено по презренному извету, по прихоти пьяного или непьяного негодяя, который знает, что ему за это простят другие мерзости и его наградят. Это сознание меня не покидало и все более давало себя знать, по мере того, как вести с запада становились мрачнее и «проклятый вопрос» озлоблял и приучал людей к зверству — на вечную пагубу озлобляемых и озверелых.

Меня продержали на Заводе дольше, чем бы по закону следовало; конечно, без намерения, а по общей административной неисправности. В силу закона, мои три года работ должны бы сократиться при условии добропорядочного поведения, до двух лет восьми месяцев (может быть, даже до двух лет четырех месяцев, не помню).

Меня привезли на Александровский завод в половине ноября 1862 года; значит, следовало бы перевести на поселение никак не позже половины июля 1865 года; а совершилось это лишь в половине сентября. Напомню по этому поводу о страшной неправде, творившейся над всеми, осужденными на каторгу, строчкой закона, в силу которой все терзания многомесячного, нередко годового и более, этапного пути не зачитывались в срок наказания и претерпевались в жестокую к нему придачу.

Итак, 13 сентября, под вечер при возвращении с двумя приятелями с большой прогулки — охоты со стороны Луниной горы, я нашел у себя

на столе бумагу о переводе на поселение с высылкой в Иркутск. Как ни привязан я был ко многому на Заводе, но тем не менее без колебания решил выехать на следующий же день, в праздник мне с тех пор навсегда памятный. Хозяйки моментально принялись за белье (вспоминаю хорошенькую хозяйскую дочь Сашу и ее подругу Катеньку); раньше, чем стемнело, я видел его уже развешанным во дворе; а с утра пошло глаженье и стряпня дорожной провизии. Со стороны благосклонного начальства препятствий не встретилось и провожатый казак был своевременно представлен в мое распоряжение. Утром я простился со всеми, с кем следовало, обошел и все ближайшие любимые мои места, которые на прощанье представились мне в полной красе, при чудной погоде. Много я тут говорил стихов и пел, вероятно,— возносился душой. Свободно дышала грудь, легки были тогда ноги. Излишне пояснять, что прощание с Иваном Ивановичем было проникнуто искреннейшим чувством. Не мог он, конечно, не иметь при этом печальных мыслей; но он об них не говорил, а только желал мне счастья. Мы выехали, когда уже совсем стемнело, в двух повозках, так как оба сына хозяйки и еще один близкий приятель проводили меня до первой станции, где мы дружески поужинали и переночевали. Утром, при той же чудной погоде, мы простились с самыми горячими выражениями чувств...

ИВАН ИВАНОВИЧ ГОРБАЧЕВСКИЙ

РАССКАЗЫ П. И. ПЕРШИНА-КАРАКСАРСКОГО

После полной амнистии в 1857 г. Иван Иванович Горбачевский остался на постоянное жительство, дотягивать свои печальные дни в той угрюмой, огороженной высокими горами и лесами котловине, что зовется Петровским Заводом.

Завод этот приютился в мрачном ущелье с протекающей речкой Балягою, впадающей в р. Хилок, в западных отрогах Яблонового хребта.

Родина, по-видимому, его не тянула, он ее редко вспоминал и только в связи с событиями 1825 года. Из родственников оставались в живых сестра его Анна Ивановна да ее сыновья, Квисты.

Последний его портрет представляет суровую наружность, обросшую большими баками и чисто малороссийскими усами и значительною растительностью на голове, мало утраченной от времени. Несмотря на суровую наружность, он сохранил почти детское добродушие и безграничную доверчивость к людям. Зато и платили ему сторицею любовью и уважением все окружающие его.

Обыденная, будничная жизнь Ивана Ивановича текла однообразно в мелких хлопотах по хозяйству, в котором первое место занимала его мельница, которая едва ли не была ему в убыток, судя по его доверчивости и добродушию. Мельничное его хозяйство носило анекдотический характер, и вся контора по его мельнице велась тут же записью на стенах мелом. Купленое зерно он размалывал и муку раздавал в долг жителям Завода и окрестным крестьянам. Долги, разумеется, собирались туго и частью совсем пропадали.

— Обождите, пожалуйста, Иван Иванович, до осени, отдам с благодарностью.

И осень прошла, и весна подошла — долг остался, да еще подоспела новая нужда и новая ссуда.

— Да, что же, матушка моя, как же это будет? Мне ведь надо самому пшеницу-то купить, где же я буду деньги брать?

Перед Иван Ивановичем был из деревни Подлапаток Сидор Евставнев, а не «матушка», но Иван Иванович привык всех мужиков называть «матушка моя». И вот «матушка моя» разжалобит разными невзгодами и снова получает мучки пудик-другой, да и крупки не забудет припросить.

Приходит новый посетитель.

— Как бы, Иван Иванович, мучкой разживиться, ребята голодны, есть просят.

— Да ты, матушка моя, за старую муку, кажись, не заплатил?

— Нет, Иван Иванович, я вам все старое уплатил, намедни последние два пуда отдал.

— Что-то не помню, Пахом. А вот у меня где-то тут записано.

И Иван Иванович идет к стенке, к своим бухгалтерским записям.

— Посторонись-ка, Пахом, вот тут где-то...— и, приложив к носу свой лорнет, похожий на ножницы, раздвигавшийся снизу, ищет запись.

Во все это время Пахом крепко терся у стены и весьма успешно сделал погашение своего долга, от которого остались лишь следы на спине, точно напудренной мукой.

Иван Иванович обошел всю стену, приставляя к самому носу свой лорнет-ножницы, внимательно рассматривая все записи, но ничего не нашел.

— Нету, матушка моя, не найду.

— Отдал, видит бог, отдал.

— Ну, коли нет записи, значит отдал.

Пахом взваливает на плечи мешок с мукой и плетется домой, не особенно заботясь о возврате.

Помимо бесплодных забот по хозяйству, так же шла и его педагогическая деятельность, так сказать, из любви к искусству. Немногочисленный кружок питомцев состоял из детей, местных жителей, служителей заводских да канцеляристов. Преподавалась первоначальная грамота по

програме уездных училищ, или же и просто ограничивалось чтением и писанием. Обращалось более внимания на тех, которые выдавались способностями. Однако ж из питомцев Ивана Ивановича выходили и много обещающие. И из них рельефно выделился и пошел далее первоначального образования Илья Степанович Елин. Окончив иркутскую гимназию, он с успехом завершил свое образование доктором в Московском университете. С. П. Боткин скоро заметил талантливого врача и пригласил его быть своим ассистентом. Но блестяще начавшаяся его карьера была очень непродолжительна: усиленные занятия подкосили его здоровье; благорастворенный мягкий климат Италии не мог помочь расшатанному организму, и угас почти юношей будущая знаменитость.

Материальные средства Горбачевского поддерживались его сестрой, Анной Ивановной Квист, и комиссионными поручениями некоторых золотопромышленников. Золотопромышленник Бутац, имея дела в чигайской тайге, давал комиссионные поручения, оплачиваемые, хотя не особенно щедро, но достаточно для того, чтобы с добавкою еще кое-каких случайных доходов, без особенных лишений можно было существовать, в особенности в Петровском Заводе, где все было дешево, не тратясь на квартиру, имея собственный домик.

Управляющие Петровским железоделательным заводом горные инженеры, как люди образованные, всегда оказывали отменное к Ивану Ивановичу расположение и косвенную поддержку, незаметную для него самого. Нравственное влияние и на правителей Завода сказывалось, так сказать, смягчающим давлением. Жестокое обращение с бесправным людом, как горнорабочие и разные служителя, даже в то бесчеловечное время не выражалось резко, как на других заводах. Горнозаводские рабочие и служащие свободно вздохнули во время управления Петровским Заводом Оскара Александровича Дейхмана, человека в высшей степени гуманного, друга Горбачевского. ⟨...⟩

Преемниками Дейхмана в Петровском Заводе были последовательно горные инженеры: Н. Н. Дубровин, Пав. Вас. Богославский, Андрей Ник. Таскин. Все прекрасные люди и друзья Горбачевского.

Общество местное составляли священник, два купца да заводские служащие. Иван Иванович не только со всеми был в ладу, но всеми уважаем, был в своем роде патриархом.

Петрозаводское общество нередко оживлялось приезжими гостями. Этот маленький горный мирок имел и свою интеллигенцию, группировавшуюся, разумеется, около Ивана Ивановича. Интересы современной литературы были не чужды кружку, а также и литературы заморской, с «Того берега», которая проникала в эти трущобы не без труда и риска. Но зрелые люди не злоупотребляли запретным плодом, не вели преступной пропаганды, свободное слово ничего не колебало, ни на что не вызывало, кроме тесно-семейных бесед втихомолку. Нельзя не сказать, что это

слово благотворно влияло и на начальствующих, на их убеждения и на поступки в отношении к их подчиненным. Даже до освобождения прикрепленных к заводам крестьян прежняя жестокость стала уступать место человечности. Кто читал Герцена, тот уже не решался гнуть в бараний рог своего раба. Дух свободы, гуманности, гражданского долга веял точно в воздухе и облагораживал поступки предержащих властей. Вспоминая эти добрые начала, сердечно радовавшие меня, я охотно их отмечаю как характеризующие горное начальство 60-х годов по сравнению с предшествовавшими...

3. ‹И. И. ГОРБАЧЕВСКИЙ. НЕКРОЛОГ›

Мы получили следующий некролог из Сибири:

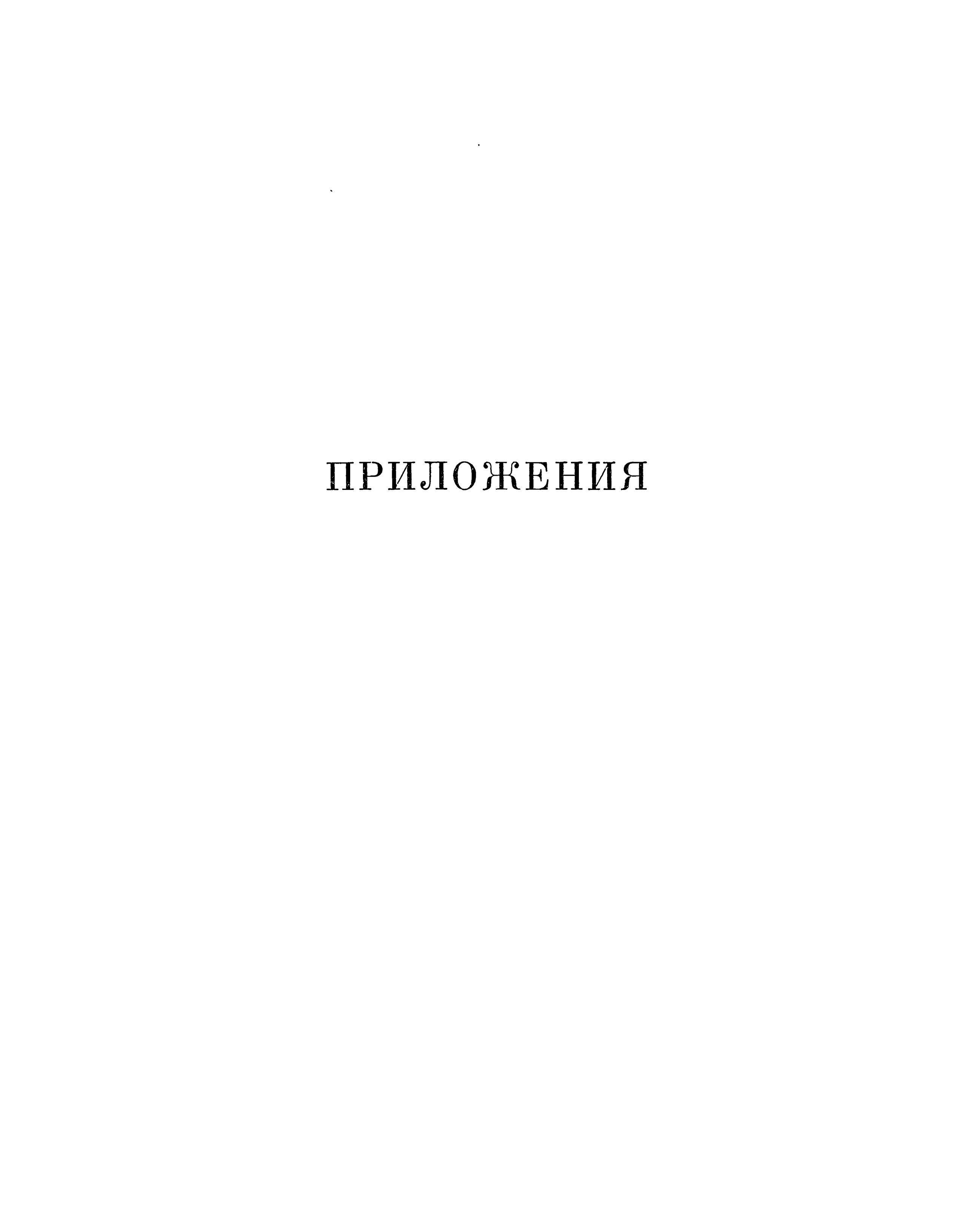
Хотя несколько поздно, но тем не менее мы считаем долгом заявить об утрате, понесенной в нынешнем году Восточной Сибирью, в лице одного замечательного обитателя этой страны и уважаемого в этом крае общественного деятеля: 20 февраля 1869 года [1] в Петровске скончался Иван Иванович Горбачевский. Малоросс по происхождению, Горбачевский в молодости своей служил подпоручиком в Черниговском полку и, будучи членом Южного общества, решением Верховного уголовного суда в 1826 г. был приговорен к смертной казни — отсечением головы. Но приговор этот был заменен пожизненною каторжною работою, которая, однако, впоследствии была заменена пятнадцатилетним сроком. По отбытии этого срока в 1840 г. в Петровском остроге, в Восточной Сибири, Горбачевский, вместо того, чтобы последовать за своими товарищами по общему с ним несчастию на поселение в какой-либо из городов Сибири, предпочел остаться поселенцем в Петровске.

Здесь он и пробыл двадцать девять лет. В 1856 году, Горбачевский, вместе с прочими декабристами, получил полное прощение и возвращение прав по происхождению. В течение этого времени он сделался известен во всей Восточной Сибири: его прекрасный характер, обширный ум и благородное сердце, направленные на бесчисленные дела благотворения, приобрели ему в крае всеобщее уважение. Ни одно филантропическое или вообще доброе предприятие в крае не оставалось без непосредственного участия в нем Горбачевского. Учреждение училищ, вопрос об улучшении положения заводских рабочих, а также разные предприятия, имевшие целью оживить местную торговлю и промышленность в видах улучшения нравственного и материального благосостояния населения,— все это находило в Горбачевском самый живой отклик и сочувствие. Все свои скудные достатки он обращал на добрые дела, причем нельзя не заметить, что мягкостью и добродушием его зачастую пользовались во зло некоторые лица.

Все, от последнего заводского рабочего до генерал-губернаторов Восточной Сибири, чтили и уважали в Горбачевском честного человека ⟨...⟩ Долго и долго имя твое будет чтиться всеми, кто только знал твою честную и благородную личность.

В лице Горбачевского скончался последний декабрист, оставшийся еще в Сибири.





ПРИЛОЖЕНИЯ

ДЕКАБРИСТ И. И. ГОРБАЧЕВСКИЙ И ЕГО «ЗАПИСКИ»

«Записки» И. И. Горбачевского, одного из первых членов Общества соединенных славян, принадлежат к наиболее замечательным произведениям в богатом литературном наследии декабристов.

Автор их вступил на опасный и тернистый путь революционной деятельности (впрочем, как и большинство декабристов) еще совсем молодым. Его привели в ряды тайной организации, пожалуй, даже не столько идейная убежденность и высокое сознание гражданского долга, сколько непосредственный протест, вызванный деспотизмом и произволом самодержавно-крепостнического режима. Политическая зрелость пришла к нему позже. Горбачевский поднялся на предельную высоту дворянской революционности под влиянием энтузиазма своих товарищей по Обществу (особенно Борисова 2-го, а также Бестужева-Рюмина) во время присоединения «славян» к Южной организации. Именно в этот момент, довольно скромный до тех пор член Славянского союза, Горбачевский становится официальным руководителем декабристской управы в 8-й артиллерийской бригаде, составленной из бывших «славян». И однако, не столько практическая деятельность посредника прочно закрепила имя Горбачевского в истории декабристского движения,— оно увековечено созданием им очень интересных «Записок». Не впадая в особое преувеличение, можно сказать, что «Записки» Горбачевского являют собой своеобразный плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». В них удивительно сочетается строгий критицизм, подчас переходящий за рамки объективности, с сердечной теплотой и дружеской приязнью. По всей видимости, эти качества «Записок» объясняются тем, что они не просто индивидуальные воспоминания, но одновременно и историческое сочинение, в котором органически слились мемуары и исследовательские приемы литературного творчества. При этом мемуарная основа «Записок» далеко выходит за рамки личных наблюдений и революционного опыта самого Горбачевского — она представляет собой коллективные воспоминания членов Славянского общества, которыми они обменивались в Читинском, а затем Петровском

казематах. Как писал Горбачевский, он в годы заточения «любопытствовал много, у всех расспрашивал» о делах минувших дней.

«Записки» Горбачевского приоткрыли для истории занавес над одной из тайных организаций дворянских революционеров в момент ее наибольшей активности, поставив вместе с тем во весь рост вопрос о различных течениях в декабристском движении.

Трудно переоценить значение «Записок» Горбачевского как исторического источника. Однако при всей их ценности в этом отношении, они требуют к себе предельно осторожного подхода. Сложность этого литературного памятника декабристского движения отражена в значительной степени в истории его создания.

1

Иван Иванович Горбачевский родился 22 сентября 1800 г. близ Нежина в семье скромного провиантского чиновника. Отец его — Иван Васильевич — во время Отечественной войны 1812 г. служил при штабах Барклая де Толли, Витгенштейна и Кутузова. «События 1812 г.,— вспоминал впоследствии Горбачевский,— знакомы мне лично. Я двенадцатилетним мальчиком был при отце» и своими глазами видел, как «мы бегали от французов и за французами».

После окончания Отечественной войны И. В. Горбачевский поступил в Витебскую казенную палату, в которой прослужил в чине надворного советника до 1818 г., когда был отставлен от должности. Ученические годы будущего декабриста прошли в Витебске. Здесь он учился сначала в народном училище (до 1813 г.), а затем в губернской гимназии. Кроме Ивана, у Горбачевских был еще сын Николай и три дочери (из них известны имена только двух — Анны и Ульяны). Семья была дружной, и ее духовной атмосфере и всему укладу позднее мемуарист склонен был приписывать большое влияние на процесс формирования его характера и убеждений.

Мать Горбачевского (урожденная Конисская) была, по словам сына, женщина набожная и хозяйка, «истая малороссиянка», которая ничего «не знала кроме монахов и Киево-Печерской лавры, куда отдавала последнюю копейку», и у которой в чуланах всегда были запасы сала и моченых яблок. Зато отец Горбачевского был, по-видимому, человек незаурядный [1]. Он не мирился с крепостным правом и различными злоупотреблениями и сумел вселить отвращение к этому своим сыновьям [2].

[1] Иван Васильевич Горбачевский оставил записки — «преоригинальная и любопытная вещь», по отзыву сына. Они были отобраны у И. И. Горбачевского в Петровском Заводе, куда прислала их ему сестра, и отправлены в канцелярию III Отделения. Дальнейшая судьба записок И. В. Горбачевского неизвестна.

[2] В связи с этим очень любопытен следующий факт, сообщенный И. И. Горбачевским Оболенскому в письме от 22 марта 1862 г. После смерти матери мемуариста ос-

Горбачевские жили бедно и детям смолоду пришлось терпеть нужду и лишения [1]. Много лет спустя И. И. Горбачевский писал М. А. Бестужеву: «...я по своему положению почти не имел детства; я не помню, чтобы я был ребенком, отроком, юношею; <...> причиною всему было — тогдашние обстоятельства и обстоятельства семейства нашего».

24 августа 1817 г. Горбачевский, после окончания курса гимназии, определился в «Дворянский полк», находившийся в Петербурге. «Дворянский полк» представлял тогда собою офицерскую школу, соответствовавшую позднейшим юнкерским училищам. В декабре 1819 г. Горбачевский выдержал выпускные экзамены и был направлен на стажировку в артиллерийскую часть. 27 июля 1820 г. Горбачевского произвели в прапорщики и назначили в 1-ю батарейную роту 8-й артиллерийской бригады, которая стояла на Украине в уездном городке Новоград-Волынске.

В 8-й артиллерийской бригаде и прошла вся недолгая служба Горбачевского, с той единственной переменой, что в сентябре 1824 г. он из 1-й батарейной был переведен во 2-ю легкую роту, стоявшую в местечке Барановке, близ Новоград-Волынска.

В кружке офицеров, к которому примкнул в 8-й бригаде Горбачевский, установился образ жизни, мало обычный для военной молодежи. Служба и учение отнимали много времени; но в свободные часы молодые люди читали, занимались, вели серьезные разговоры. Кроме Горбачевского, к этому кружку принадлежали Я. М. Андреевич, В. А. Бечаснов, Аполлон Веденяпин, А. С. Пестов и другие. Душой его были братья Петр и Андрей Борисовы, с которыми (особенно с Петром) Горбачевский близко сошелся и сдружился. Борисовы руководили идейным направлением кружка. Петр Борисов сочинял стихи и прозу и давал читать товарищам свои листочки о разных «вольнодумческих материях». Выучившись французскому языку, он стал знакомить их со своими переводами из Вольтера и Гельвеция.

Горбачевский, который еще в гимназические годы пристрастился к математике и истории, занимался в свободное от службы время алгеброй, черчением, с увлечением читал Плутарха «о жизни великих мужей, прославивших себя подвигами военными».

Общее чтение, споры и беседы на темы политические и философские привели молодых офицеров от простого товарищества к дружбе, скреплен-

---

талось небольшое именье. Отец Горбачевского — бедный отставной чиновник — не захотел стать помещиком и передал права на именье своим сыновьям. Однако последние, не задумываясь, отказались от земли, предоставив ее в полную безвозмездную собственность крестьянам, которым даровали свободу.

[1] С января 1827 г. отец Горбачевского в возрасте 65 лет проживал в Витебске в собственном «деревянном малостоящем домике». Как сообщал губернатор Хованский, И. В. Горбачевский «пропитывается сам и содержит дочь свою, вдову, собственными трудами и вспомоществованием благотворительных людей» («Красный архив», 1926, т. 2, стр. 175—176).

ной единством убеждений, а в эпоху масонских лож и конспиративных организаций от такой дружбы был один шаг к созданию самостоятельного тайного общества. Именно к этому-то и вели своих товарищей братья Борисовы, вкусившие уже запретный плод в виде конспиративной деятельности. В 1818—1819 гг. Борисовы создали дружеские кружки единомышленников под названием «Общество первого согласия» и «Общество друзей природы». Дальнейшим шагом в этом направлении явилось учреждение ими в 1823 г. в Новоград-Волынске совместно с польским политическим ссыльным Юлианом Люблинским тайного Общества соединенных славян. Первыми в Общество были приняты в конце 1823 г. Горбачевский и Бечаснов.

Содержание «Правил Соединенных славян» и «Клятвенного обещания» позволяют установить как сильные, так и слабые стороны вновь созданной организации. Конечной целью тайного общества была республиканская федерация славянских народов и уничтожение крепостного права. Однако эти высокие идеи растворялись в просветительских лозунгах и не подкреплялись конкретными тактическими установками. В начальный период Общество отличалось несколько романтическим характером. В ходу были тайны, страшные клятвы на оружии, символические знаки; от членов скорее требовалась работа над совершенствованием своего характера и умственных познаний, чем какая-либо политическая деятельность. Федеративное объединение славянских племен, а вместе с тем и ликвидация крепостничества, рисовались отвлеченно и туманно, где-то в далеком будущем, и трудно было наметить конкретные пути к их осуществлению. Мечтательная романтика вскоре перестала удовлетворять членов Союза. В «Записках» читаем о том, что Петр Борисов совместно с Горбачевским в декабре 1824 г. подготовили проект реорганизации Общества, который должен был обеспечить быстрый рост Союза и придать ему более деятельный и решительный характер. Первым шагом по пути реализации этого проекта было совещание, проведенное в марте 1825 г. в местечке Черниекове. Проект получил единогласное одобрение у всех присутствовавших «славян». Были избраны руководители организации. Президентом стал Петр Борисов, его заместителем — П. Ф. Громницкий, казначеем — И. И. Иванов. Окончательное переустройство Общества решено было провести во время сбора 3-го корпуса на маневрах близ местечка Лещина в начале сентября 1825 г. Но при самом вступлении в лагерь «славяне» узнали о существовании Южного общества, и на очередь выдвинулся вопрос о взаимоотношениях обеих организаций. В начавшихся переговорах Горбачевский играл видную роль в качестве одного из полномочных представителей «славян».

Руководители Васильковской управы выдвинули план немедленного и полного объединения Славянского союза с Южным обществом. Призыв «южан» большинство «славян» встретило с горячим сочувствием. Энтузи-

азм М. П. Бестужева-Рюмина и обаяние С. И. Муравьева-Апостола их увлекали; им импонировали высокие чины, светское воспитание и образованность членов Южного общества. Силы и связи Общества, о которых не без преувеличения им говорили, сулили осуществление в ближайшее же время заветных целей. Залогом успеха являлось наличие у «южан» уже готовой и одобренной, по словам Бестужева-Рюмина, передовыми мыслителями Запада конституции — «Русская правда». Познакомившись с ее содержанием по тексту «Государственного завета», «славяне» получили определенную политическую программу, а в лозунге С. И. Муравьева о близком восстании — конкретный и решительный ответ на свои искания реальной и действенной тактики. Их смутные стремления и чаяния в идеях и планах Южного общества обрели четкое и определенное оформление; «славяне» как бы впервые находили сами себя.

Во время переговоров не обошлось без некоторых трений и шероховатостей. Так, Борисов 2-й, уточняя планы «южан» относительно функции и состава Временного правления, высказал опасение, как бы это учреждение не свелось к личной диктатуре, чем вызвал недовольство Бестужева-Рюмина. Однако трудно поверить Горбачевскому, что Борисов 2-й и некоторые другие «славяне» составили оппозицию «южанам» в момент объединения тайных обществ. Кстати, сам же Горбачевский на следствии в ряде показаний опровергает это утверждение «Записок». Еще более категорически отводят его слова показания Борисова 2-го и его письма к брату и к Головинскому. Горбачевский неоднократно подчеркивал на следствии особую деятельность Борисова 2-го, который после вхождения «славян» в Южное общество «за меня и за всех трудился», «меня ко всему подстрекал» [1]. Борисов 2-й не отрицал своей активности и признавался, что Горбачевский «всегда старался удержать меня от безумной моей ревности действовать в пользу намерений Общества» [2]. Если бы Борисов 2-й отрицательно отнесся к объединению Обществ, он не стал бы вызывать своего брата для того, чтобы тот оформил свое членство в новой тайной организации. Письмо его Головинскому от 21 сентября 1825 г. не оставляет никакого сомнения в ошибочности утверждений автора «Записок» относительно скептической оценки Борисовым 2-м лещинских событий. Вот что писал в нем Борисов 2-й: «Любезный Павел Казимирович! На маневрах случился с нами большой переворот; однако не подумайте, чтобы он произошел в мыслях. Сего никогда не случится. Наши мысли все те же, но наши дела приняли другой вид, который не может вас опечалить. Ежели вы принимаете в нас участие, то приезжайте в Житомир, адресуйтесь к Кирееву или Пестову, они объявят вам о наших делах, кои идут как нельзя лучше» [3].

---

[1] ВД, т. V, стр. 218, 230.
[2] Там же, стр. 223.
[3] Ц Г В И А М, ф. 343, д. 220, л. 331—331 об.

Взгляды, которые Горбачевский приписывает в «Записках» Борисову 2-му относительно объединения Южного и Славянского обществ, могли высказываться некоторыми членами последнего позже 1825 г., как результат критического пересмотра последствий этого соединения. В сентябре же 1825 г. «славяне» единодушно выступили за слияние с «южанами» на основе их политической и тактической платформы. Славянское общество вошло в состав Южного, образовав в нем три управы: одну — в 8-й пехотной дивизии (посредник — майор Спиридов), вторую — в 8-й артиллерийской бригаде (посредник — подпоручик Горбачевский) и третью — в 9-й артиллерийской бригаде (посредник — подпоручик Пестов).

Заметим попутно, что назначение Бестужевым-Рюминым Горбачевского посредником не получило общего одобрения. В частности, Борисов 2-й и Пестов считали, что он не подходит к такого рода деятельности [1].

15 сентября вечером, накануне выступления из лагеря, Горбачевский вместе со Спиридовым и Пестовым был у С. И. Муравьева. В этот вечер произошел известный спор Муравьева с Горбачевским и Спиридовым относительно характера пропаганды среди солдат, о возможности и целесообразности использования религии и священного писания в этой работе. Тогда же, по предложению Бестужева-Рюмина, Горбачевский и его товарищи внесли себя в список «заговорщиков», создав «garde perdue» [2], на который падал жребий убить Александра I.

Это была последняя встреча Горбачевского с Муравьевым и Бестужевым-Рюминым. Еще раз увидел он их мельком в день объявления приговора 12 июля 1826 г. в доме коменданта Петропавловской крепости, а потом в ночь на 13 июля, когда их вместе с Пестелем, Рылеевым и Каховским вели мимо окна его каземата к виселице.

Отношения между руководителями Васильковской управы и Горбачевским, несмотря на непродолжительность их личного общения, сложились дружеские и сердечные. Видимо, скромный и добродушный Горбачевский пришелся по душе Муравьеву и Бестужеву-Рюмину. В минуту прощанья предчувствие трагической судьбы охватило Муравьева, он завещал Горбачевскому, если последний переживет его, написать непременно записки о тайном обществе, о мечтах и целях членов организации, о их готовности принести себя в жерту во имя любви к России и русскому народу.

По возвращении на зимние квартиры в район Новоград-Волынска, «славяне» в 8-й бригаде начали деятельную подготовку к восстанию, которое во время лещинских собраний было назначено на лето 1826 г. Они обсуждали планы военных действий и вели энергичную пропаганду среди офицеров и фейеверкеров, не открывая им, однако, до поры до времени, тайны существования организации и ее конечной цели. Горбачевский как

---

[1] ВД, т. V, стр. 231.

[2] «отряд обреченных» *(франц.)*.

посредник играл видную роль на всех собраниях, принимая участие в агитации среди солдат, хотя, по-видимому, и менее значительное, чем другие товарищи. О результатах работы декабристской управы в 8-й артиллерийской бригаде Горбачевский письменно информировал Бестужева-Рюмина и Муравьева.

Известия о восстании 14 декабря, а затем об аресте С. И. Муравьева и о восстании Черниговского полка застали бывших «славян» в разгаре их агитационной деятельности. Члены управы во главе с Борисовым 2-м принимают решение немедленно начать действия, стараясь вовлечь в восстание «все, что только показывало склонность к мятежу». С этой целью Борисов 1-й, приехавший к брату, объезжает участников организации, находившихся в Житомире, Пензенском и Саратовском полках, а Андреевич 2-й и Бечаснов пытаются привлечь к восстанию Алексопольский пехотный и Ахтырский гусарский полки. Через Н. Красницкого и П. К. Головинского Борисов 2-й устанавливает связи с местной польской шляхтой. Разрабатывается план действия, соответственно которому намечалось «тотчас по восстании образовать в городе временное правление и выдать прокламации об освобождении крепостных людей» [1].

Нельзя отказать в энтузиазме и решительности наиболее последовательной и верной своему революционному долгу части бывших «славян». И, как знать, доберись до них в свое время Бестужев-Рюмин, они, вероятнее всего, предприняли бы попытку поднять восстание. Но в целом славянские управы оказались неподготовленными к непредвиденному выступлению. Члены Общества — П. Ф. Громницкий и Н. Ф. Лисовский — откровенно испугались столь ответственного шага. Не проявили необходимой оперативности и настойчивости М. М. Спиридов и А. И. Тютчев. Отрицательно повлияли на бывших «славян» отказы полковников И. С. Повало-Швейковского и Артамона Муравьева поддержать революционные начинания артиллеристов. Да и руководители Васильковской управы не сумели своевременно известить своих новых товарищей по Обществу о начале действия. Все это привело к тому, что бывшие «славяне» не смогли поднять восстание. К тому же они вскоре узнали о поражении черниговцев. Так неудачно окончилась попытка руководителей Васильковской управы организовать выступление войск 3-го пехотного корпуса. Начался разгром декабристских обществ.

9 января 1826 г. на квартире Горбачевского в местечке Барановка был арестован Борисов 2-й, а 20 января та же участь постигла Горбачевского. Бывшие «славяне» вместе с другими декабристами предстали перед Следственной комиссией.

Горбачевского перевезли в Петербург 3 февраля 1826 г. и в тот же день перед отправкой в Петропавловскую крепость он был допрошен В. В. Левашевым. 5 февраля Горбачевский пишет на его имя покаянное

[1] См. настоящ. изд., стр. 45

письмо, стремясь разжалобить судей, выставить себя жертвой коварства и обольщения Борисовых и Бестужева-Рюмина! 7 февраля он впервые предстал перед Следственной комиссией. Его показания в этот день отличались сдержанностью, скупостью признаний и исполнены чувства личного достоинства. Но этот взлет Горбачевского в его поведении во время следствия был единственным. Кошмар одиночного заключения, мучительные допросы с очными ставками, угрозы следователей сломили недостаточно стойкий характер Горбачевского и он, хотя и прибегал подчас к хитростям и умолчаниям, но все же грешил в конечном счете довольно откровенными показаниями. В этом отношении Горбачевский представляет исключение среди членов Общества соединенных славян, которые вообще держались твердо от начала и до конца следствия. Справедливость требует отметить, что в долгой жизни Горбачевского это была единственная полоса малодушия.

Приговором Верховного уголовного суда Горбачевский был отнесен к первому разряду государственных преступников. В вину ему были поставлены умысел на цареубийство, участие в управлении тайным обществом, подготовка и возбуждение к бунту нижних чинов, прием в Общество новых членов. Наказанием по первому разряду назначена была вначале смертная казнь отсечением головы, замененная ссылкой в вечные каторжные работы с лишением чинов и дворянства.

Через несколько дней после объявления сентенции, 21 июля 1826 г., Горбачевский вместе со М. М. Спиридовым и А. П. Барятинским был отправлен в Финляндию, в крепость Кексгольм. Здесь всех троих посадили в так называемой Пугачевской башне, где перед тем содержалась семья Емельяна Пугачева. В апреле 1827 г. узников перевели в Шлиссельбург. Отсюда в октябре того же года Горбачевский вместе с Николаем и Михаилом Бестужевыми был отправлен в Восточную Сибирь, в Читу.

В Читинском остроге Горбачевский содержался в «малом» каземате. Обстоятельства жизни декабристов в Чите известны: теснота, артельное хозяйство, работы, занятия науками и языками. Вероятно здесь Горбачевский выучился языкам — французскому и немецкому — настолько, что потом переводил с них свободно. То, что рассказывают в своих мемуарах декабристы о «славянах» вообще, можно отнести к Горбачевскому в отдельности. Несомненно, он принадлежал к тому кружку атеистов-материалистов из «славян», о котором писал в своих «Записках» И. Д. Якушкин. Позднее, в 1846 г., иркутский архиепископ Нил возбудил дело о том, что находившиеся уже на поселении Горбачевский и А. Е. Мозалевский не бывали на исповеди и не посещали церкви, и что из уст Горбачевского, к тому же, слышали богохульные слова, обличающие его безбожие. Можно предполагать, что Горбачевский был в числе тех «славян», которые 30 августа 1828 г. отказались от царской милости и настаивали на том, чтобы им, как и прежде, оставили на ногах кандалы.

В Чите было много разговоров о «деле», выяснялись все детали следствия и подробности разных событий из истории Общества, вплоть до самой катастрофы. Надо полагать, что именно тогда начал собирать Горбачевский в своей памяти материалы для позднейших своих рассказов и записок, и что тогда же выработалось окончательно понимание им пережитых событий, их смысла и значения.

Осенью 1830 г. декабристов из Читы перевели в новую, специально выстроенную для них при Петровском Заводе тюрьму, казематы которой не имели даже окон. Горбачевский был помещен в одном коридоре с И. И. Пущиным, Е. П. Оболенским, В. И. Штейнгелем. Здесь заключенные провели девять лет каторжного труда, заполненных вместе с тем богатой духовной жизнью. В Читинском остроге функционировала знаменитая «декабристская академия», в которой заключенные занимались различными науками, изучали литературу, сами писали художественные произведения и мемуары, отдавали дань музыке и живописи. И все это в тяжелых условиях тюремного быта, при постоянном притеснении со стороны местной администрации.

10 июля 1839 г. Горбачевский вышел на поселение и остался тут же, в Петровском Заводе, хотя и имел одно время желание переехать вместе с Е. П. Оболенским и А. А. Быстрицким в Верхнеудинск. Коронационный манифест 26 августа 1856 г., разрешавший декабристам вернуться в центральные губернии России, застал Горбачевского на старом месте. Для переезда в Россию у него не было средств. Деньги, которые высланы были ему по завещанию умершего брата, в значительной части до него не дошли. В 1863 г. племянники Горбачевского, дети Анны Ивановны Квист (в первую очередь Оскар Ильич), выхлопотали ему разрешение жить в Петербурге и Москве и звали его в Петербург, беря на себя полностью его содержание. Однако Горбачевский не воспользовался этой возможностью и отклонил предложение племянников. Он боялся оказаться в России еще более, чем в Сибири, одиноким и чужим новому поколению, не хотел попасть в материальную зависимость от родственников; «...ехать на неизвестное, жить с людьми, которых не знаю, хотя и считаются родными, что я буду там делать»,— писал он Оболенскому. Так и остался Горбачевский навсегда один в Петровском Заводе, потому что все товарищи его разъехались в разные стороны.

Тотчас же по выходе на поселение перед Горбачевским встала забота о средстах для существования. Сбережений его едва хватило, чтобы приобрести небольшой домик. Родные могли оказывать ему лишь очень скромную поддержку. И вот Горбачевский, не имея ни природной склонности, ни опыта в хозяйственных делах, должен был взяться за предпринимательство. По совету знакомых, он, купив лошадей, занялся извозом по казенным подрядам. Но очень скоро понес изрядный убыток (900 руб.) и бросил это занятие. Вслед за этим, вместе с заводским доктором Д. З. Ильин-

ским, он принялся за мыловарение, потерял на этом деле до 2 000 рублей и остался совершенно без денег. Позднее Горбачевский завел мельницу, но и ее доходность оказалась весьма сомнительной. По доброте своей Горбачевский без отказа раздавал муку в долг заводским жителям и соседним крестьянам. Долги собирались туго, сроки их возвращения, как правило, нарушались. Должники всегда умели разжалобить Горбачевского, а при случае и обмануть. Ему пришлось вернуться к подрядам на казну и на частных золотопромышленников. При скромных потребностях, он сводил кое-как концы с концами, но необходимость постоянно изворачиваться, постоянно налаживать вместо лопнувшего предприятия какое-нибудь новое, столь же не интересное и столь же мало доходное, тяготило его, и чем дальше, тем более ненавидел и проклинал он свое хозяйство.

Горбачевский пользовался на Петровском Заводе общим уважением, став центральной фигурой немногочисленного местного общества. Заводские инженеры, священник, несколько купцов, кое-кто из заводских мастеров и тянувшаяся к просвещению молодежь составляли его окружение. Они брали у Горбачевского книги; через него шли в обращение по Заводу журналы и газеты, издававшиеся не только в России («Библиотека для чтения», «Сын отечества», «Московские ведомости»), но и за границей,— «Полярная звезда», «Колокол», «Правдивый» П. В. Долгорукова и др. Горбачевский пустил в оборот запрещенную в России книгу Герцена и Огарева — «14 декабря 1825 г. и император Николай» (Лондон, 1858), разоблачавшую гнусную клевету писаний М. А. Корфа о декабристах, и «Донесения Следственной комиссии» Д. Н. Блудова. Споры и беседы в кружке знакомых Горбачевского носили не только литературный, но и политический характер. Особенно притягателен был старый декабрист как для заводской, так и для окрестной молодежи: на «поклонение» к нему ездили из округи верст за 200. Для молодых приятелей своих, не владевших иностранными языками, Горбачевский, как некогда Борисов в Новоград-Волынске для «славян», переводил произведения Вольтера, Руссо, Шиллера.

Одинокий холостяк, Горбачевский любил детей и охотно давал уроки в семьях своих заводских знакомых, иногда даже бесплатно. Объем знаний, сообщаемых Горбачевским своим ученикам, ограничивался, как правило, программой уездного училища, а то и просто первичными навыками чтения и письма. Но были случаи, когда его питомцы шли дальше. Особенно выделяется среди них Илья Степанович Елин. По словам П. И. Першина-Караксарского и Н. А. Белоголового, Елин был якобы внебрачным сыном Горбачевского. Его Горбачевский подготовил в 4-й класс гимназии. Окончив иркутскую гимназию Елин поступил на медицинский факультет Московского университета, где был учеником С. П. Боткина, который высоко ценил его. Елину удалось для заверше-

ния образования поехать в Берлин и Вену. Но воспаление легких, перешедшее в чахотку, преждевременно свело его в могилу. Умер он в 1872 г. в Пизе в возрасте 32 лет.

Близкие отношения завязывались у Горбачевского и среди трудового населения Завода. Кузнец Афанасий Першин — только один из наиболее колоритных его друзей-рабочих. С участливым интересом присматривался Горбачевский к ссыльным поселенцам, этому «оклеветанному, убитому народу», среди которых он находил людей «умных, рассудительных, даже ⟨...⟩ очень добрых и честных». Многим из них он помогал деньгами, прибегая для этой цели к займам, когда сам не имел средств. Некоторых из отбывших наказание он брал к себе в работники, стараясь их перевоспитать и приучить к труду.

С момента объявления на Заводе 12 апреля 1861 г. «Манифеста» и «Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», Горбачевский близко входит в новую жизнь рабочих. Он выступает посредником между ними и заводской администрацией в связи с забастовкой, вспыхнувшей из-за кулачных расправ, чинимых мастерами и смотрителями. Через своего приятеля Першина, избранного волостным головою, Горбачевский влияет на решения схода относительно открытия на Заводе народного училища, общественной лавки, а также содействует выработке примерного договора рабочих с администрацией. Когда 25 июля 1864 г. Горбачевский, которому к тому времени было возвращено дворянство, выбран был в мировые посредники на Заводе, это было всего лишь официальным оформлением того положения, которое фактически он уже давно занимал в местной жизни.

Однако Горбачевский, в отличие от Е. П. Оболенского, П. Н. Свистунова, А. Е. Розена и некоторых других декабристов, одобрительно отнесшихся к «крестьянской реформе», критически подходил к ее оценке. В его письмах 1860-х годов мы встречаем много справедливых замечаний о грабительском характере «освобождения крестьян» и о беспочвенности надежд на серьезные политические преобразования. Он взял себе »за правило,— пишет Горбачевский,— не верить русскому прогрессу ⟨...⟩ Смешной этот прогресс; все переиначивает только, а гарантий никаких, и даже никто об этом, как кажется, и не думает». Горбачевский, подобно В. Ф. Раевскому, остался верен идеалам молодости. «Первый декабрист» считал, что в период деятельности тайных обществ дворянских революционеров участники освободительной борьбы были ближе к пониманию нужд народа, чем правительство Александра II. Горбачевский, как бы вторя Раевскому, взволнованно писал: «... все к черту,— ничего не надобно,— лишь бы осуществилась идея». Узнав о том, что Розен стал мировым посредником в Изюмском уезде Харьковской губ., Горбачевский в 1863 г. выразил по этому поводу свое удивление. «Какое тут может быть посредничество между притеснителями и притесненными»,— писал он Завалишину.

И тем не менее, сам Горбачевский принял на себя в 1864 г. обязанности мирового посредника. Как объяснить этот поступок? Думается, что такое решение не означало изменения взглядов Горбачевского на сущность реформы. По всей видимости, престарелый декабрист хотел воспользоваться легальными возможностями для того, чтобы помочь рабочим завода и окрестным крестьянам лучше устроить свой быт после «освобождения». Он имел основания опасаться, что другой мировой посредник будет отстаивать интересы государственной казны и тем самым усугубит тяжесть реформы для местного населения.

Занятый хозяйством, уроками, общественной дятельностью, Горбачевский прочно обжился на Заводе. Он почти никуда не выезжал, даже для поездок в Селенгинск к Бестужевым и в Кяхту к знакомым сибирякам подымался с трудом и редко, за что М. Бестужев и прозвал его «медведем», «сморгонским студентом». И, однако, сам Горбачевский чувствовал себя на Петровском Заводе одиноким, чужим и людям и жизни, которая шла вокруг. Семьи он не имел; хозяйство для него было ненавистным бременем, в местной общественной жизни он был только советчиком и участником в чужих делах; своего личного дела у него в ней не было. Как ни близок он был со своими заводскими приятелями, не было среди них у него «знакомых по мысли и друзей по сердцу». Мысль и сердце его были отданы всецело старым друзьям по революционной борьбе. С ними он «связан навсегда и душевно, и мысленно», «у него нет родных других, кроме них». Но друзья — далеко, и единственное утешение, которое осталось ему в одинокой сибирской глуши,— переписка. Он пишет длинные горячие письма, отправляя их до семнадцати в одну почту. И какие бурные чувства поднимают в его груди ответы и вести от далеких друзей.

В августе 1842 г. Н. И. Пущин приезжает на Завод с письмами и приветами от своего брата и Оболенского. Не наглядится на него Горбачевский, не наслушается его голоса, так напоминает он лицом и речью дорогого ему Ивана Ивановича.

Горбачевский дорожит своей дружбой с соузниками и всемерно старается поддерживать с ними связь. Его все интересует в их жизни — и важное и мелочи, он привязался и полюбил их семьи. Но не теперешняя жизнь друзей, не нынешние их интересы определили его стойкую привязанность к ним. Новое в их жизни, пожалуй, даже чуждо и непонятно иногда Горбачевскому. Ему кажется странным, как это они, после всего перенесенного, живут в Москве, Калуге и других городах, тихо и просто. Для него «все это кажется фантазия, мечта». Он пишет Оболенскому: «меня удивляет, как это сделалось, у вас у всех достало уменья устроить себя так, что живете спокойно, умели завестись семьями, рассуждаете хладнокровно, смотрите на дела людские спокойно, чего-то от них ожидаете хорошего и проч.». Он не может вполне понять увлечения

Оболенского деятельностью по освобождению крестьян, разделить его интересы к происходящим реформам и надежды на лучшее будущее. А о М. Бестужеве, маленьких детей которого Горбачевский успел полюбить во время своего четырехдневного пребывания в Селенгинске, он не без внутреннего раздражения пишет в 1862 г. Оболенскому: «...занят своей семьей, следовательно, все и всех забыл».

У самого Горбачевского все мысли и чувства всегда обращены на далекое прошлое, на пережитое в годы молодости. Это прошлое — прямо или косвенно — основная тема его писем, его разговоров с друзьями, настоящих и воображаемых. В 1861 г. Горбачевский с М. Бестужевым в Селенгинске все четыре дня «говорили день и ночь, и еще не кончили». Разговор шел о друзьях-единомышленниках, их судьбе и месте в декабристском движении. Именно этими разговорами, как писал Горбачевский, он сам «раздразнил себя воспоминаниями». Уезжая на Петровский Завод, Горбачевский обещал Бестужеву прислать список всех товарищей, с краткой справкой о судьбе каждого. Через неделю он шлет, вместо сухого реестра, тетрадь воспоминаний, написанных живо и эмоционально.

Горбачевский, мысленно посетив вместе с Оболенским Свистунова в Калуге, ясно представил себе: «А сколько бы ⟨было⟩ воспоминаний, разговору, рассказов о былом — прошедшем, которыми я только и живу, не зная настоящего и не имея никакого будущего и даже решительно — не веря в хорошее». На это прошлое память у Горбачевского, по его определению,— «чертовская». Жадно впитывая все рассказы и воспоминания, складывая и сортируя их в своем уме, он становится своеобразным хранителем истории декабристского движения. Примерно с 1830-х годов Горбачевский периодически занимался литературным оформлением собранных им сведений о движении декабристов. Пожалуй, можно согласиться с утверждением Горбачевского, что он знал о деятельности своих товарищей по борьбе больше всех, кто дожил из них до шестидесятых годов. Исключительное сосредоточие всех душевных сил на прошлом в значительной мере объясняется обстоятельствами биографии самого мемуариста. Судьба Горбачевского, как отмечалось выше, сложилась так, что прямо со школьной скамьи, молодым, пылким юношей, он связывает свою жизнь с Тайным обществом, загораясь со временем его высокими идеями. Увлечение мечтой о светлом будущем русского народа привело его вскоре в тюрьму, ссылку, изломав, по-существу, личную жизнь, лишив обычного человеческого счастья. У других декабристов годы до катастрофы были наполнены более сложным и разнообразным содержанием, а после тюрем, особенно у тех, кому удалось вернуться из Сибири, радости и заботы новой жизни заслонили в большей или меньшей степени драматические события их молодости, и память иных из них уже с усилием пробивалась к ним через пережитое. Горбачевскому, которому жизнь не принесла ни женской любви, ни семьи, ни интересной общественной

работы; ни возможности заниматься любимым делом,— прошлое светило, ничем не заслоненное, как духовный идеал, как мечта, трагически разбитая жестокой действительностью. За гранями этого короткого периода 1823—1825 гг. ничего не было в его жизни значительного. Именно воспоминаниями об этих незабываемых годах Горбачевский скрашивал свое существование, и только где-то в туманной дали, до которой он сам не надеялся дойти, светилось ему, как мираж, такое же «яркое будущее», которое явится воплощением его юношеских мечтаний, осуществлением идеалов декабристов. Все встречи, заботы, дела, которые пролегли в его жизни между двумя заветными целями прошлого и будущего, кажутся ему ничтожными и бессмысленными, какими-то скучными, серыми буднями.

Преодолев в себе временную слабость, охватившую его в Петропавловской крепости, Горбачевский вновь обрел верность духу и правилам Тайного общества. Его высказывания по политическим вопросам и прежде всего оценка самого движения декабристов определялись в основном мировоззрением Общества соединенных славян, хотя и прокорректированным в свете учета тактических промахов и поражения восстания. Горбачевскому было чуждо признание принципиальной ошибочности деятельности декабристов, что в какой-то степени и с разными оттенками проскальзывало в суждениях некоторых его товарищей по судьбе. В заговоре и восстании мемуарист видит лишь досадные до боли тактические просчеты и грубые погрешности. Так, он упрекает членов Северного общества в том, что все они, как Пущин, хотели якобы революции «на розовой воде», «хотели все сделать переговорами, ожидая, чтобы Сенат к ним вышел и, поклонившись, спросил: „Что вам угодно? Все к вашим услугам“». Досадует он и на то, что С. Муравьев-Апостол, «заразившись петербургскою медленностью», упустил в Лещине «случай с 30-ю тысячью солдат» и потом все тою же нерешительностью обрек на поражение восстание Черниговского полка, которое могло бы, по мнению Горбачевского, иметь и другой исход. «Что ж хорошего после этого в умеренности, в хладнокровии, нелюбви к пролитию крови, в медленности, в холодном рассудке, в расчете каком-то? Все это глупость, по-моему, и по-нашему»,— писал он 12 июня 1861 г. Бестужеву. Эти резкие и справедливые в значительной мере критические замечания Горбачевского не могут, однако, рассматриваться как выражение взглядов мемуариста в период его деятельности посредником в составе Южного общества. Более сдержанно и спокойно высказаны в «Записках» те же упреки в нерешительности действий руководителей «южан». При этом автор ставит в укор членам Южного общества их стремление к командирству, недоверие к младшим по знанию офицерам и к солдатам, неискренность и демагогичность при характеристике силы тайной организации, недостаток демократизма, выразившийся в отказе от широкой агитационной работы среди солдат и

намерении навязать народу готовый политический строй. Извинение и объяснение ложных тактических правил своих друзей из Южного и Северного обществ Горбачевский находит в их социальном положении. По своему происхождению, воспитанию, месту в светском обществе они не могли быть, по мнению мемуариста, революционерами, «патриотами», «республиканцами», «заговорщиками», способными «кверху дном все перевернуть», какими являлись, с его точки зрения, «славяне» и какими он изображает последних в «Записках». Эта идеализация «славян» психологически легко объяснима. Горбачевский, видимо, как и некоторые другие его товарищи по Славянскому союзу, считал основной причиной всех своих бед присоединение их организации к Южному обществу. «Черт нас попутал» пойти на этот шаг,— писал он о решении соединиться с «южанами». Отсюда резкое противопоставление «славян» и «южан», с преувеличением роли первых в освободительном движении и явным обличительством по отношению к последним. По сути дела, в этом существо всей концепции «Записок».

Особый налет демократизма придают суждениям мемуариста его оценки событий 1850—1860-х годов, встречающиеся в письмах тех лет. Реформа 19 февраля не удовлетворила его своей половинчатостью. Он иронически отнесся к «дарованной свободе». «...что это такое — шутка или серьезная вещь»,— пишет он Оболенскому.— К чему вся эта постепенность, уставные грамоты, какое-то затяжное переходное состояние? Зачем столько формальностей, и почему крестьянам не представляют самим выработать условия своей новой жизни, окружают их уставами и опекой? Почему бы «не кончить дело одним разом», как поступили когда-то со своими крестьянами отец и братья Горбачевские, отдав им всю землю даром? От «воли», насаждаемой начальством и помещиками, Горбачевский ничего хорошего не ждет. Не может он разделить веры Оболенского относительно широковещательных обещаний правительства, его надежд на скорое осуществление «гражданского устройства», о котором они мечтали в молодости. Все то, что происходит в России, в чем принимает участие и сам Оболенский, все эти «заседания по общественному делу», конечно, очень интересуют Горбачевского, он радуется подъему освободительных настроений, просит писать о положении дел в европейских губерниях страны, но склонен трезво оценить события и предупредить друга в излишней доверчивости; «...все в тебе хорошо, прекрасно,— пишет он Оболенскому,— кроме твоей надежды». «Я перестал верить и обещаниям людским, и в хорошую будущность,— опекунство и благодеяния тяжелая вещь». Отзвуки крестьянских выступлений в ответ на реформу докатились и до Петровского Завода, и Горбачевский сомневается, чтобы дело было доведено до конца мирно и начавшееся массовое движение остановилось на половине пути: «струна была слишком натянута, чтобы пущенная стрела не пошла прямо к цели».

Верный революционным мечтам своей юности, Горбачевский и в отношении к власти, торжествовавшей победу в декабре 1825 г., до конца дней сохранил всю непримиримость, не видя никаких оснований и поводов простить ей и забыть все беды и несчастья, тяготы и испытания, на которые она обрекла «апостолов свободы» — декабристов. В июле 1861 г., посетив старую тюрьму на Петровском Заводе, Горбачевский писал Оболенскому: «Грудь у меня всегда стесняется, когда я там бываю: сколько воспоминаний, сколько и потерь я пережил, а этот гроб и могила нашей молодости или молодой жизни существует. И все это было построено для нас, за что? И кому мы все желали зла? Вы все давно отсюда уехали, у вас все впечатления изгладились, но мое положение совсем другое, имевши всегда пред глазами этот памятник нежной заботливости о нас. Ты скажешь, зачем я сержусь? Я знаю, что ты всегда молишь бога и за своих врагов, но это мне не мешает высказывать тебе мои чувства».

Горбачевский сознавал, что при его нынешнем радикализме и верности идеалам своей молодости, он далеко расходился даже с теми из своих товарищей, которые не ушли целиком в частную жизнь и примкнули к либеральному движению 1860-х годов. Различие во взглядах было между ними, конечно, еще и в незабываемом 1825 г., но теперь жизнь, значительно изменившая друзей Горбачевского, со многим их примирившая, ему же не давшая никаких оснований и мотивов к отказу от прежних оценок и взглядов,— эти различия еще заметнее усилила. Со своим подчеркнутым демократизмом и радикализмом во взглядах, с идеализацией русского народа, с определенностью своих симпатий к угнетенным массам и прежде всего к крестьянам, со своим одобрением революционных методов и критическим отношением к компромиссам и непоследовательности, наконец, с самою суровостью своих моральных правил — Горбачевский, пожалуй, становился ближе к выступившему в те годы на политическом поприще новому революционному поколению, чем к своим старым друзьям по 14 декабря из Южного и Северного общества, доживавшим свой век.

В такой обстановке, с такими мыслями и чувствами жил Горбачевский на Петровском Заводе в 1840—1860-х годах.

Время между тем шло, давали о себе знать и пережитые невзгоды; крепкий организм Горбачевского начал сдавать; все чаще он прихварывает — ревматизм и другие болезни приносят ему физические страдания. К тому же и хозяйственные дела из года в год ухудшаются — выработка железа на Петровском Заводе падает, относительно дешевая продукция уральских предприятий вытесняет на рынке его дорогие изделия, золотопромышленники не дают больше комиссий на их доставку. Нужда самая подлинная, какой не знал Горбачевский даже в прежние годы своей жизни на поселении, становится его постоянной гостьей. Чтобы хоть как-нибудь добыть денег, ему приходится брать явно убыточные казенные

подряды на возку угля и разоряться все дальше и дальше. Хозяйство становится ему окончательно противно.

Все чаще жалуется Горбачевский в письмах к друзьям на тоску и заброшенность. Он чувствует себя никому не нужным, забытым «сторожем при могилах наших», который подобен «гвоздю, забитому в дерево». 8 марта 1862 г. он писал Завалишину: «Бестужев уедет и нас только двое здесь будет, как стражи на развалинах наших прежних печальных жилищ». Особенно остро ощутил свое одиночество Горбачевский после отъезда из Сибири последних товарищей (Завалишина и М. Бестужева). «В моей жизни,— писал автор «Записок» В. А. Обручеву,— кроме скуки, горя, ничего не вижу, и не предвижу лучшего; никого при мне нет близкого,— все это разъехалось, разлетелось,— все бегут из Завода, одни по охоте, другие по надобностям. Я один остаюсь на месте, как гнилой верстовой столб, мимо которого мелькают люди и происшествия». Бодрость изменяет престарелому декабристу. В тоне его писем нет прежней энергии, а в особенно горькую минуту у него готов вырваться и упрек далеким друзьям, которые уговаривают его заняться мемуарами, литературной работой, забывая, в каких условиях он живет и каково должно быть его душевное состояние. Но этот упрек никогда не переходит в просьбу о поддержке.

Так безрадостно и трудно проходили последние годы жизни Горбачевского. Но несмотря на все это, он до самой смерти близко принимал к сердцу все неурядицы местной жизни, выполняя обязанности мирового посредника на Заводе, живо откликаясь на успехи и неудачи своих сибирских друзей. До самой смерти он продолжал довольно регулярно писать Обручеву, с которым познакомился в начале 1863 г. на Петровском Заводе. В одном из писем Горбачевский раскрыл причины своей особой симпатии к молодому распространителю «Великорусса»: «...в одиночестве, часто думая про себя, благословляю тот случай, который мне помог в моей жизни и в моем сердце заменить вами потерю моих прежде бывших товарищей, которых смерть унесла и которых я любил и высоко уважал; Я в вас встретил их, я их узнал, опять их вижу и слышу, говоря с вами, хотя бы заочно». 12 декабря 1868 г. он отправил очередную весточку Обручеву, на которой адресатом сделана помета: «Последнее письмо, уже ослабевшей рукой». Умер Горбачевский 9 января 1869 г. Еще в самый день смерти написал он письмо П. И. Першину-Караксарскому. Похоронен Горбачевский на Петровском Заводе, где и ныне сохранилась его могила.

2

Важную страницу в биографии Горбачевского, прочно вошедшую в историю декабризма, занимают его «Записки».

«Записки» Горбачевского впервые были опубликованы П. И. Бартеневым во второй книжке «Русского архива» 1882 г. по рукописи,

доставленной в редакцию из Сибири[1]. Рукопись была анонимная и не имела названия, и Бартенев условно озаглавил ее при печатании: «Записки неизвестного из Общества соединенных славян». Однако еще тогда у Бартенева имелись какие-то основания предполагать, что автором «Записок» был Горбачевский. Поэтому во вступительной заметке к «Запискам» он сделал следующую оговорку: «Кажется, что „Записки" эти составлены бывшим подпоручиком 8-й артиллерийской бригады Иваном Ивановичем Горбачевским; но ручаться в этом нельзя». Вскоре Бартеневу представился случай сопоставить рукопись «Записок» с подлинными письмами Горбачевского, адресованными его сестре Анне Ивановне Квист. Сравнение это окончательно утвердило Бартенева в справедливости высказанного им ранее предположения, и в четвертом номере издаваемого им журнала за тот же год он поместил новую заметку о «Записках», в которой заявил: «Наше предположение о том, что „Записки" об Обществе соединенных славян (напечатанные во второй тетради „Русского архива" нынешнего года) принадлежат И. И. Горбачевскому, оправдалось. Сочинитель этих „Записок" Иван Иванович Горбачевский...» Здесь же Бартенов коротко пояснил, что в этом он был убежден «сличением почерка» рукописи «Записок» с оригиналами писем Горбачевского [2].

Некоторые подробности этого сличения мы находим в статье Бартенева «О Записках Горбачевского», помещенной в девятой книжке «Русского архива» 1890 г., т. е. спустя восемь лет после опубликования самих «Записок». В названной статье автор сообщает, что инициатором проведенного сличения почерков оказался племянник Горбачевского — Оскар Ильич Квист, с которым они случайно встретились в июле 1882 г. в Петербурге. «Мы не были знакомы друг с другом,— пишет Бартенев,— но Квист, знавший, что я издаю „Русский архив", заявил, что давно искал моего знакомства и намеревался заехать ко мне в Москве для того, чтобы взглянуть на рукопись, незадолго перед тем мною напечатанную ⟨...⟩ под заглавием „Записки неизвестного". „Судя по слогу этих „Записок",— сказал он,— я начинаю думать не принадлежат ли они известному декабристу Горбачевскому. У меня много писем его к родной его сестре, моей матери. Стоило бы только сличить подлинник „Записок" с этими письмами, чтобы удостовериться в моем предположении". Случилось, что подлинник этот находился в Петербурге. Я на другой же день поехал с ним к О. И. Квисту и по сличении несомненно оказалось, что эти любопыт-

[1] По сообщению П. И. Бартенева («Русский архив», 1882, № 2, стр. 435), рукопись «Записок» была написана так мелко, что для подготовки к печати потребовалось снять с нее копию. Эту работу осуществил с большой тщательностью А. И. Баландин, исполнявший и ранее подобные поручения редакции. Судя по пометам, оставленным на полях копии переписчиком, копирование рукописи было начато 16 декабря 1871 г. и завершено 8 августа 1872 г. В настоящее время копия хранится в ИРЛИ, Р. I, оп. 5, ед. хр. 91.

[2] «Русский архив», 1882, № 4, стр. 311.

ные и важные записки, писанные через много лет после событий хладнокровно и трезво, действительно писаны Горбачевским». Свой рассказ Бартенев заключает следующими словами: «Бумаги Горбачевского, находившиеся у племянника его О. И. Квиста, служат отличным дополнением к этим „Запискам" умного и даровитого декабриста ⟨...⟩ Сохранились ли эти бумаги, и у кого именно?» [1]

Итак, из рассказа Бартенева выясняется, что с рукописью «Записок» сличалось не одно какое-то случайное письмо, а «многие» письма и даже «бумаги» Горбачевского, написанные им, несомненно, в разные годы, по разным поводам и при разных обстоятельствах. В сличении почерков ближайшее участие принял Квист, обладавший, как и Бартенев, многолетним опытом обращения с рукописными материалами: он был одним из известных петербургских коллекционеров гравюр и собирал автографы (в частности, пушкинские) [2]. В результате сличения Бартенев и Квист пришли к выводу, что почерк в обоих случаях оказался одним и тем же. Но это был не единственный аргумент в пользу авторства Горбачевского: в рассказе Бартенева имеется указание на сходство слога сличаемых рукописей, подмеченное Квистом еще до их сопоставления, и на какую-то близость их содержания (именно так следует понимать слова Бартенева: «Бумаги Горбачевского ⟨...⟩ служат отличным дополнением к этим „Запискам"».

По всей вероятности, Бартенев имел и другие подтверждения авторства Горбачевского. В год издания «Записок» еще были живы декабристы А. П. Беляев, Д. И. Завалишин, Н. А. Загорецкий, Н. И. Лорер, М. И. Муравьев-Апостол, М. А. Назимов, А. Е. Розен, П. Н. Свистунов, А. Ф. Фролов. Все они внимательнейшим образом следили за декабристской литературой, не оставляя без замечаний ни одного промаха в ней. Некоторые из них были лично знакомы с Бартеневым, а Свистунов даже был для редакции «Русского архива» чем-то вроде арбитра по истории декабристского движения. Занимаясь розыском и публикацией всевозможных декабристских материалов, Бартенев был также связан со многими родственниками и сибирскими друзьями декабристов. Трудно допустить, чтобы при установлении автора «Записок» Бартенев пренебрег их консультацией, тем более, что в самой декабристской среде о принадлежности Горбачевскому «Записок» говорили как о хорошо известном факте. Так, например, 3 января 1883 г. А. Е. Розен писал М. А. Назимову: «В конце недели получил письма из Москвы от Муравьева ⟨М. И. Муравьева-Апостола⟩ и Свистунова ⟨...⟩ первый диктует о старой семеновской истории, по которой задела его какая-то брошюра — кажется Горбачевского из „Русского архива"» [3].

[1] «Русский архив», 1890, № 9, стр. 111—112.
[2] «Новое время», 1890, № 3163, 15 июля; «Русский архив», 1882, № 4, стр. 309.
[3] ИРЛИ, Р. I, оп. 24, ед. хр. 49, л. 132 об.

К сожалению, последующие историки оказались лишенными возможности проверить правильность наблюдений Бартенева — Квиста, так как сибирская рукопись «Записок» и бумаги Горбачевского, хранившиеся у Квиста, были утрачены. Между тем, некоторые позднейшие исследователи выразили сомнение в подлинности рукописи, полученной Бартеневым из Сибири. В 1925 г., готовя отдельное издание «Записок» Горбачевского, Б. Е. Сыроечковский обратил внимание на то, что, по описанию Бартенева, сибирская рукопись «Записок» была писана настолько мелко, что из одной ее страницы выходило несколько печатных. Почерк же Горбачевского, во всех известных тогда Б. Е. Сыроечковскому автографах, был, напротив, крупный и размашистый. Это обстоятельство дало повод Б. Е. Сыроечковскому высказать предположение, что в руках у Бартенева была всего лишь копия подлинного манускрипта Горбачевского, снятая кем-то из его сибирских знакомых и через ряд рук дошедшая до редактора «Русского архива». Некоторое основание для такого предположения давало Б. Е. Сыроечковскому сообщение самого Горбачевского о сожжении им какой-то своей рукописи [1]. Однако каких-либо других, более убедительных данных для отрицания подлинности сибирской рукописи у Б. Е. Сыроечковского не было, и поэтому свою гипотезу он выдвинул как одно из возможных предположений.

В то же время принадлежность «Записок» перу Горбачевского никогда не вызывала сомнения у исследователей, занимавшихся их изучением в связи с восстанием Черниговского полка.

В вводной статье к публикации новых документов о революционном выступлении декабристов на Украине, В. В. Мияковский дал краткую общую характеристику «Записок Горбачевского» как одного из основных исторических источников по истории Общества соединенных славян [2]. Содержательный разбор «Записок Горбачевского» и исправление фактических неточностей мемуариста содержится в историографическом обзоре Ю. Г. Оксмана в шестом томе «Восстания декабристов», посвященном восстанию Черниговского полка и в комментариях к документам. Л. П. Добровольский в статье «Декабрист Горбачевский як мемуарист», произведя тонкий источниковедческий анализ «Записок», ни на минуту не усомнился в том, кто являлся их автором [3].

И только в недавнее время вопрос об атрибуции «Записок неизвестного из Общества соединенных славян» приобрел неожиданную остроту в связи с полемическим выступлением М. В. Нечкиной в статье «Кто автор „Записок И. И. Горбачевского“?». Отвергая авторство Горбачевского,

[1] «Записки», изд. 1925 г., стр. 28—29.

[2] В. Мiяковський. Повстання Чернигiвського полку.— Сб. «Рух декабрістів на Україні». Харків, 1926; ср. «Каторга и ссылка», 1927, № 5, стр. 211—219.

[3] Л. Добровольский. Декабрист Горбачевский як мемуарист.— Сб. Декабрісті на Україні. За ред. акад. Д. Багалія. У Києві, 1930.

М. В. Нечкина считала, что Бартенев сличал почерк подлинного письма Горбачевского с почерком какого-то другого лица, который и был автором «Записок». В своей аргументации М. В. Нечкина повторила довод Б. Е. Сыроечковского о несвойственности Горбачевскому мелкого письма. «Никак нельзя было представить себе, чтобы он мог написать свой текст столь убористо и мелко»,— замечает М. В. Нечкина. Самое же главное, по ее словам, заключалось в том, что вопрос об идентичности почерков отпал вообще после опубликования П. Е. Щеголевым в 1913 г. письма Горбачевского к Михаилу Бестужеву от 12 июня 1861 г., в котором Горбачевский сообщал, что сжег свою рукопись[1].

Вдумываясь в приведенные М. В. Нечкиной аргументы, мы должны констатировать, что оба они очень уязвимы.

Действительно, большинство дошедших до нас автографов Горбачевского написано крупно и размашисто. Особенно крупно стал он писать к концу жизни, когда на него надвигалась слепота. Но в бумагах Горбачевского встречаются иногда и листы весьма мелкого и тонкого письма,— таковы, например, некоторые страницы его показаний на следствии 1826 г. Одна из таких страниц была даже намеренно воспроизведена Н. П. Чулковым в пятом томе «Восстания декабристов» в качестве своего рода критической реплики против безоговорочного утверждения Б. Е. Сыроечковского о несвойственности Горбачевскому мелкого почерка[2]. Вполне вероятно, что и при беловой переписке «Записок» Горбачевский сознательно свел свой обычно крупный почерк к бисерному, хорошо понимая, что в условиях ссылки убористую рукопись легче уберечь от посторонних глаз. В таком случае правыми оказывались Бартенев и Квист, сличавшие мелко написанный текст Горбачевского с обычными его рукописями, а не позднейшие исследователи, не допускающие почему-то возможности, чтобы одно и то же лицо при разных обстоятельствах писало то крупно, то мелко.

Неубедительна и ссылка М. В. Нечкиной на письмо Горбачевского, в котором речь шла о гибели его «Записок».

Приведем это сообщение о сожжении рукописи полностью. «Лет не знаю сколько,— писал Горбачевский М. А. Бестужеву,— но только много тому назад времени *я написал было порядочную тетрадь, не ту, что ты видел, а другую,* любопытная вещь была; многие, которым я давал читать, восхищались, дорого ее ценили. Но в одно прекрасное утро мне надобно было из дому куда-то отлучиться надолго; думал, думал, что делать с такою массою бумаги написанной,— кому отдать? Кому все это поручить? Не нашел человека по нашему разумению: взял все и бросил, и побросал в печку, которая, как нарочно, тут же топилась; даже едва достало

---

[1] «Исторические записки», т. 54, стр. 287.
[2] ВД, т. V, вклейка между стр. 192—193.

терпения у меня бросать все в огонь, такая была масса исписанной бумаги» [1]. Из приведенного рассказа видно, что Горбачевский действительно уничтожил какие-то свои записи. Однако из этого же рассказа явствует, что у него имелась и какая-то другая тетрадь записок, которую видел М. А. Бестужев. Возможно, что это и была рукопись, попавшая позже к Бартеневу. В таком случае разрушается и второй довод М. В. Нечкиной. Правда бартеневский экземпляр записок позднее был утрачен, но до нас дошла другая — неполная — рукопись тех же «Записок», хранящаяся в настоящее время в Отделе рукописей Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в фонде Н. К. Шильдера [2]. Несмотря на то, что эта рукопись была введена в научный оборот более трех десятилетий назад, в специальной литературе о «Записках» Горбачевского она до сих пор не стала объектом специального изучения. Самую беглую ее характеристику мы находим лишь во вводной статье Б. Е. Сыроечковского ко второму изданию «Записок и писем И. И. Горбачевского» [3]. Оставлена она без внимания и в статье М. В. Нечкиной «Кто автор „Записок И. И. Горбачевского"?».

Между тем, как мы думаем, ответить на поставленный вопрос помогает изучение именно этой рукописи. Указанная рукопись представляет собою тетрадь из семи листов синеватой бумаги, вырванной, видимо, из какого-то переплета. Первые шесть ее листов и начало седьмого заполнены мелким и убористым текстом, содержащим примерно одну треть полного текста «Записок», но отличающимся от опубликованного Бертеневым варианта многочисленными мелкими разночтениями. Изучение рукописи показывает, что написана она рукой М. А. Бестужева. В этом удостоверяет не только идентичность почерка рассматриваемой рукописи с почерком писем М. А. Бестужева (см. воспроизведение их в настоящем издании), но и наличие в ней некоторых характерных для М. А. Бестужева неправильных написаний (например: «Сухинин» — вместо Сухинов) [4]. Рукопись не датирована, но, судя по водяным знакам бумаги и характеру письма, можно отнести ее к концу 1830-х или началу 1840-х годов [5].

---

[1] Письмо от 12 июня 1861 г. Ср. «Исторические записки», т. 54, стр. 287.— *Курсив наш.*

[2] ГПБ, ф. Н. К. Шильдера, к. 18, № 3, лл. 2—8.

[3] «Записки», изд. 1925 г., стр. 30, 32—33.

[4] О написании М. А. Бестужевым фамилии «Сухинин»— вместо Сухинов —см. «Воспоминания Бестужевых», стр. 725.

[5] Всесоюзный научно-исследовательский институт Прокуратуры СССР по нашей просьбе провел в 1962 г. специальное исследование с целью окончательного определения: М. А. Бестужевым или кем-либо другим написан текст изучаемой рукописи. В результате экспертизы установлено, что текст «Записок» Горбачевского, хранящийся в настоящее время в ГПБ, в фонде Н. К. Шильдера, был, бесспорно, написан рукой Михаила Александровича Бестужева. Приносим глубокую благодарность старшему научному сотруднику ВНИИ криминалистики Прокуратуры СССР В. П. Власову, проведшему указанную экспертизу.— *Ред.*

Письмо М. А. Бестужева. Начало 1840-х годов (ИРЛИ)

Последняя страница «бестужевского» списка «Записок» И. И. Горбачевского (ГПБ)

И. И. Горбачевский

Рассмотрим теперь другие материалы, связанные с интересующей нас рукописью. В начале 1860 г. к М. А. Бестужеву, жившему тогда в Селенгинске, обратился историк и будущий редактор журнала «Русская старина» М. И. Семевский с просьбой ответить на ряд вопросов из истории декабризма. М. А. Бестужев охотно откликнулся на эту просьбу и начал высылать пространные письменные ответы, из которых впоследствии и сложились его известные воспоминания. Не ограничиваясь этим, Бестужев дал согласие предоставить в распоряжение Семевского бумаги из своего личного архива и вскоре отправил в Петербург объемистый портфель с разнообразными декабристскими материалами. Перечисляя содержание посылки, Бестужев писал Семевскому 21 ноября 1860 г., что он найдет в портфеле в числе других бумаг «две тетради записей (memoires) нач⟨альной?⟩ истории Южного Общества» [1]. В цитируемом письме Бестужев не раскрыл точнее характер этих «записей», однако из его последующей переписки с Семевским мы узнаем, что они оказались именно той самой неполной копией «Записок» Горбачевского, о которой речь шла выше.

16 июля 1861 г., через полгода после отправки портфеля, заговорив в одном из писем к Семевскому о Горбачевском, Бестужев писал: «Вы уже должны быть знакомы с его записками по четырем или пяти листам мелкого письма, присланным вам мною в портфеле. О них вы мне ничего не упоминаете в ваших письмах, а они заслуживают некоторого внимания. Жаль, что остальную, большую и самую интересную часть их он сжег, как это вы увидите из его письма. Я вытянул от него обещание написать их снова» [2].

Спустя еще полгода, 13 февраля 1862 г., Бестужев в письме к Семевскому вновь возвращается к «Запискам» Горбачевского. Говоря о трудностях, сопряженных с литературной работой декабристов в Сибири, и о своей личной «антипатии к писательству», вызванной положением ссыльно-поселенца, Бестужев пишет: «Другая оставшаяся в живых личность,— это Горбачевский,— служит лучшим доказательством моих слов. Истребил по обстоятельствам первую свою рукопись о Южном обществе, писанную во время нашей лихорадочной деятельности в тюрьме, он все собирается снова и в новом виде ее воспроизвести, и, несмотря на мои беспрестанные понуждения,— дело худо подвигается. Все ему лень или некогда» [3].

Последний из известных нам отзывов М. Бестужева о «Записках» Горбачевского находится в его письме к Семевскому 28 июня 1862 г. Бестужев отвечал на вопрос Семевского о восстановлении Горбачевским своих «Записок»: «Вы спрашиваете о *Горбачевском.* Что вам сказать о нем? Он

---

[1] «Воспоминания Бестужевых», стр. 428.
[2] Там же, стр. 443.
[3] Там же, стр. 446.

со своею непроходимою малороссийскою ленью — ленив хуже меня. Я, по крайней мере, не ленюсь его распекать еще погорячее, чем вы меня, а он поет всю ту же песенку — „погоди, брат, теперь некогда“» [1].

Приведенные выдержки из писем М. А. Бестужева совершенно неоспоримо свидетельствуют о том, что автором рукописи, посланной в портфеле к Семевскому, был Горбачевский. Один из самых близких друзей Горбачевского, М. Бестужев был прекрасно осведомлен о его делах и литературных работах и, конечно, не мог ошибочно приписать ему чужие записки, а, тем более, настойчиво требовать от него их нового воспроизведения.

С какой же рукописи Горбачевского была снята М. Бестужевым копия? В письме 12 июня 1861 г. Горбачевский упоминает о двух рукописях своих «Записок». Первая — объемистая тетрадь, составлявшая «массу» исписанной бумаги, была Горбачевским сожжена. Вторую «видел» у Горбачевского Бестужев. С нее-то он и снял копию, которую позже отослал Семевскому. Какие-то причины помешали в то время Бестужеву довести копирование рукописи до конца, и у Семевского оказалась лишь первая треть всей работы Горбачевского. Объясняя Семевскому причины незавершенности копии «Записок», Бестужев писал, что Горбачевский «большую и самую интересную часть их» сжег и ссылался при этом на известное уже нам письмо Горбачевского от 12 июня 1861 г., которое так же отправил Семевскому. Однако в этом письме речь шла о сожжении не той рукописи, которую у Горбачевского «видел» Бестужев, а другой, с которой, судя по тону письма Горбачевского, Бестужев даже не был знаком. Таким образом, отождествив судьбу двух совершенно различных рукописей Горбачевского, Бестужев впал в явную ошибку. Впрочем, уже в одном из своих следующих писем к Семевскому, Бестужев, видимо, в связи с вопросом последнего, уточняет свое первоначальное сообщение и пишет, что Горбачевский уничтожил именно «*первую свою рукопись* о Южном Обществе».

Факт сожжения Горбачевским своей первой рукописи был не только сурово осужден его товарищами («не ты один меня за это ругаешь,— писал Горбачевский Бестужеву 12 июня 1861 г.,— даже есть один такой мой приятель, что за этот пожар перестал со мною переписку иметь, так рассердился на меня»), но стал даже известен вне декабристской среды. В несколько иной интерпретации, чем у Горбачевского, он передается, например, народником И. Г. Прыжовым в его записях о декабристах в Сибири, составленных им в 1882 г.: «Еще сидя в каземате, он ⟨Горбачевский⟩ составлял записки о 14 декабря и читал их своим товарищам, но они не одобрили, сказав, что „*это жестоко и грубо*“, и Горбачевский свои

[1] «Воспоминания Бестужевых», стр. 452.

записки бросил в печь» [1]. Сосланный в Петровский Завод спустя несколько лет после смерти Горбачевского, Прыжов лично не знал его и писал со слов местных старожилов, повторяя при этом и их ошибки. Но в данном случае нас интересует не точность отдельных деталей, переданных Прыжовым, а самый факт сохранения в памяти петровских жителей эпизода сожжения Горбачевским своей рукописи.

Но вернемся к бестужевской копии «Записок» Горбачевского. Нам неизвестны причины, помешавшие Семевскому опубликовать ее в «Русской старине» или в каком-либо другом издании. Скорее всего решающую роль здесь играли цензурные соображения, но, может быть, сказалась и незавершенность «Записок». Однако известно, что Семевским предпринималась попытка использовать «Записки» в качестве первоисточника для другой работы. В своих автобиографических записях Семевский рассказывал, что для январской книжки «Русской старины» 1878 г. им была заказана Д. Л. Мордовцеву статья «Развитие славянских идей в русском обществе». По мысли Семевского, основой статьи должны были быть «новые данные» о том, «в какой мере идея славянства развивалась тайными обществами в 1820 годах, главным образом, одним отделом этих обществ, масонскою ложею, а затем и политическим товариществом соединенных славян». Далее Семевский писал: «Наиболее любопытным материалом к такой статье представляется записка Ивана Ивановича Горбачевского, имеющаяся у меня в подлинной его рукописи, сообщенной еще в 1860 г. чрез посредство его друга и товарища посылкой из Сибири, Михаилом Александровичем Бестужевым» [2]. По рассказу Семевского, статья Мордовцевым была написана и передана в редакцию «Русской старины», но была отвергнута цензурой и заменена другой — «крайне мирного свойства записками артистки Никулиной-Косицкой» [3].

Еще раньше Семевский предоставил возможность ознакомиться с рукописью «Записок» В. П. Буренину, который весной 1872 г. в одном из писем к Н. А. Некрасову, собиравшему тогда материал к своим поэмам о женах декабристов, писал: «Кстати, декабрист, записка которого есть у Семевского,— Горбачевский» [4].

Из приведенных свидетельств можно заключить, что о «Записках» Горбачевского, находящихся с 1860 г. у Семевского, о их содержании и авторе мог быть осведомлен довольно широкий круг лиц, в том числе и Бартенев. Вспомним, что еще до сличения почерков у него были какие-то веские основания назвать автором «Записок» Горбачевского.

После смерти М. И. Семевского и продажи «Русской старины» «вместе с архивом», бестужевская копия записок Горбачевского в числе

---

[1] ЛН, т. 60, кн. 1, 1956, стр. 638.
[2] ИРЛИ, ф. 274, оп. 1, № 16, л. 25—25 об.
[3] Там же, л. 32 об.
[4] ЛН, т. 51-52, 1949, стр. 170.

некоторых других декабристских бумаг из коллекции Семевского (в частности, цитированных выше писем к нему М. А. Бестужева) перешла к историку Н. К. Шильдеру, бывшему преемником Семевского по редактированию «Русской старины». Со смертью же Шильдера весь его архив поступил в Публичную библиотеку [1].

Рассмотрение вопроса об авторстве «Записок» не будет полным, если мы не обратимся к сопоставлению их текста с другими материалами, принадлежность которых Горбачевскому бесспорна.

Заметим сразу, что из нашего сопоставления выпадает такой, казалось бы на первый взгляд, незаменимый для этой цели материал, как следственные показания Горбачевского Верховному уголовному суду 1826 г. Составленные в Петропавловской крепости в состоянии тяжелой душевной депрессии, на редкость сбивчивые, иногда уклончивые, но в большинстве покаянные, они не дают никаких серьезных аргументов ни в пользу авторства Горбачевского, ни против него. Несопоставимы с «Записками» и дошедшие до нас частные письма Горбачевского, хранящие глубокое молчание о его взглядах на революционные события 1820-х годов. Исключение составляет лишь его письмо к М. А. Бестужеву 12 июня 1861 г., содержащее большой материал о декабристском движении в целом и об отдельных декабристах, Письмо это (в дальнейшем, для сокращения, мы его будем называть — «Письмо») написано было Горбачевским в ответ на просьбу Бестужева дать «список наших товарищей по разрядам; где и когда кто из них был арестован и где он содержался и умер; или кто жив теперь, где находится — в Сибири или в России». Этот «список» всех осужденных декабристов, снабженный краткими сведениями о каждом из них, и составляет главную «официальную» часть «Письма». Вместе с тем Горбачевский сделал ряд отступлений от списка, наполнив их своими личными воспоминаниями и размышлениями. Эти отступления Горбачевский рассматривал как неофициальную часть «Письма» и предупреждал Бестужева, что они пишутся «без плана, без системы» и «только для тебя». В итоге «Письмо» переросло в своеобразный мемуарный документ, позволяющий судить как о позднейшем мировоззрении Горбачевского и его оценке революционных событий 1820-х годов, так и об авторских приемах, стилистических и языковых особенностях его письма.

Суждения Горбачевского о движении декабристов содержатся также в заметках, сделанных им на полях книги «14 декабря и император Николай», изданной Герценом и Огаревым в Лондоне в 1858 г. Сама книга с заметками не сохранилась, но в 1870-х годах она находилась в руках у Прыжова, который и скопировал все заметки «с должным вниманием»,

---

[1] В. В. Майков. Опись бумаг Н. К. Шильдера, поступивших в 1903 г. в Публичную библиотеку. СПб., 1910 (прилож. к Отчету ПБ за 1903 г.), стр. 67, №№ 20-а, 21.

«не пропуская ни одной ноты» [1]. Наконец, некоторые сведения о декабристах имеются в устных рассказах, записанных П. И. Першиным-Караксарским со слов Горбачевского в 1862 г. и опубликованных в 11-й книжке «Исторического вестника» 1908 г. Этими тремя разнохарактерными источниками и исчерпывается круг авторского наследия Горбачевского, подлежащего сопоставлению с «Записками».

Сопоставление «Записок» с позднейшими суждениями и высказываниями Горбачевского тем более необходимо, что попытки такого сравнения приводили исследователей к диаметрально противоположным выводам.

По мнению редактора первых двух отдельных изданий мемуаров Горбачевского, полное созвучие его суждений в письме 12 июня 1861 г. с общими оценками, приводимыми в «Записках», может только подтвердить принадлежность «Записок» Горбачевскому [2]. По утверждению же М. В. Нечкиной, «сопоставление письма И. Горбачевского к М. Бестужеву с текстом ,,Записок“ не только не может быть аргументом в пользу того, что автором ,,Записок“ является Горбачевский, а, наоборот, решительно свидетельствует против этого» [3]. К такому выводу М. В. Нечкина пришла на основании ряда имеющихся, по ее мнению, расхождений между «Письмом» и «Записками».

«Прежде всего,— пишет М. В. Нечкина,— обращает на себя внимание, что в указанном письме к Михаилу Бестужеву автор письма — И. И. Горбачевский — лишь мечтает когда-нибудь в будущем написать записки о Славянском обществе и его слиянии с Южным: ,,если бы удалось их написать“,— пишет И. И. Горбачевский в 1861 г. Между тем, так называемые ,,Записки И. И. Горбачевского“ бесспорно датируются до 1845 г...» [4]. Вывод из этого напрашивается один: Горбачевский не автор приписываемых ему «Записок» о Славянском обществе. Ведь не мог бы он в 1861 г. забыть, что такие «Записки» им же самим были составлены двумя десятилетиями раньше. Но стоит лишь сравнить приведенную цитату из статьи М. В. Нечкиной с подлинным «Письмом» Горбачевского, как становится очевидным, что такой вывод преждевременен. В соответствующем месте «Письма» Горбачевский, как уже указывалось выше, упоминает о двух рукописях своих записок, одна из которых им была уничтожена, а другую «видел» Бестужев. Одновременно он намечает три варианта записок, которые мог бы написать. Это могли бы быть или, во-первых, подробные жизнеописания всех декабристов, или, во-вторых, автобиография

---

[1] Полный текст копии «Заметок И. И. Горбачевского» хранится в ЦГАЛИ, ф. 1227, ед. хр. 6 и в ЦГАОР, ф. 279-И, оп. 1, д. 1280 (копия Е. Е. Якушкина). Частично опубликовано Л. Н. Пушкаревым — «Вопросы истории», 1952, № 12, стр. 127—129.

[2] «Записки», изд. 1925 г., стр. 28.

[3] «Исторические записки», т. 54, стр. 291.

[4] Там же, стр. 288.

самого Горбачевского, начиная с 1812 г. и кончая каторгой и ссылкой, или, наконец, общая история всего декабристского движения в тесной связи с внутренним состоянием России и революционными событиями на Западе. Однако на протяжении всего «Письма» Горбачевский нигде ни слова не говорит о том, что «мечатает когда-нибудь в будущем написать записки о Славянском обществе и его слиянии с Южным». Более того, цитируемые исследовательницей слова Горбачевского: «если бы удалось их написать», якобы подтверждающие мечту декабриста о создании таких записок, взяты из совершенно иного контекста «Письма».

Не правильно, по нашему мнению, истолковывает М. В. Нечкина и другие места разбираемого «Письма». Делясь в «Письме» с Бестужевым своими литературными планами, Горбачевский связывает их с завещанием С. И. Муравьева-Апостола. Он рассказывает, что при прощании в лагере под Лещиным в сентябре 1825 г. Муравьев-Апостол сказал ему: «ежели кто из нас двоих останется в живых, мы должны оставить воспоминания на бумаге; если вы останетесь в живых, я вам и приказываю, как начальник ваш по Обществу нашему, так и прошу, как друга ⟨...⟩ написать о намерениях, цели нашего Общества, о наших тайных помышлениях, о нашей преданности и любви к ближнему, о жертве нашей для России и русского народа. Смотрите, исполните мое вам завещание, если это только возможно будет для вас». В этом же «Письме» Горбачевский сообщал, что он бы и исполнил завещание своего начальника и товарища по Обществу, но житейские невзгоды, бедность и болезни не позволяют ему отдаться литературным занятиям. Опираясь на только что приведенный рассказ Горбачевского о завещании Муравьева-Апостола, М. В. Нечкина заключает: «Ясно, что если бы в начале 1840-х годов реальный Горбачевский написал бы так называемые „Записки И. И. Горбачевского“, то он считал бы, что выполнил завещание Сергея Муравьева-Апостола и в письме своем к М. Бестужеву в 1861 г. скорбел бы о том, что он уничтожил рукопись, являвшуюся выполнением завещания, а не просто выражал бы огорчение, что он до сих пор не сумел взяться за работу, чтобы выполнить завещание» [1]. Здесь уместно поставить вопрос: а мог ли Горбачевский рассматривать свои «Записки» о Славянском обществе как выполнение завещания Сергея Муравьева-Апостола? Безусловно, не мог, хотя бы в силу того, что они полемически направлены против Южного общества и, в частности, против самого С. Муравьева-Апостола. Но главное заключается даже не в этом. Поручая Горбачевскому в 1825 г. донести до потомства правду о целях и намерениях «нашего общества», «о жертве нашей для России», С. Муравьев-Апостол имел, конечно, в виду не историю Общества соединенных славян, а нечто более широкое. Один из организаторов и руководителей всего декабристского движения и Южного общества, он мечтал, несомненно,

[1] «Исторические записки», т. 54, стр. 289.

о написании истории всего декабристского движения или, по меньшей мере, Южного общества, куда «славянская» тематика могла бы войти разве только как составная часть. В таком же широком плане в 1861 г. мыслил осуществить его завещание и Горбачевский. В своем «Письме» он говорит: «...если писать, так писать с начала до конца, все подробно и по порядку времени и места происшествий. Начать с французской революции; влияние ее на Европу, потом на Россию; состояние в 815 году России; историю тайных обществ в Европе и России,— все это хотя бы вкратце описать. Потом уже взяться и ⟨за⟩ происшествия с 825 года по день амнистии 856 года». В другом месте этого же «Письма», говоря о своей готовности «исполнить завещание Сергея Ивановича, сколько сил достало бы», он вновь подчеркивает широту своего замысла: «Надобно бы писать и описать каждого характер, степень ума, действия в Обществе; род, откуда явился, где служил, какой губернии, где учился, что делал, что думал, что с ним приключалось в жизни и пр. и пр.». По его словам, для осуществления всех этих планов «надобно написать целые томы». Как видим, Горбачевский мечтал в 1861 г. о написании всеобъемлющей работы о декабристах, только в ней он видел достойное выполнение заветов товарища, и поэтому свои прежние «Записки» о Славянском обществе не считал выполнением этого завещания.

Перейдем к следующему расхождению, отмеченному М. В. Нечкиной. В «Записках» правильно говорится, что 31 декабря в Василькове перед восставшим Черниговским полком священник Д. Кайзер прочел революционный катехизис С. Муравьева и Бестужева-Рюмина. В «Письме» же ошибочно сказано, что читалась там «краткая выписка из „Русской правды“». Расхождение явное, однако произошло оно не из-за неосведомленности Горбачевского, а в результате его описки или какой-то аберрации памяти. Горбачевский знал детали восстания, в том числе и подробности событий в Василькове 31 декабря, о чем свидетельствует хотя бы характер его многочисленных замечаний на «Донесении Следственной комиссии», опубликованном Герценом и Огаревым в книге «14 декабря и император Николай». На той странице «Донесения», где говорится, что при сборе полка на площади в Василькове «полковый священник за 200 рублей согласился отпеть молебен и прочесть сочиненный Сергеем Муравьевым и Бестужевым-Рюминым *катехизис»,* Горбачевский сделал ряд критических пометок, однако только что цитированные слова «Донесения» о чтении катехизиса он принял безоговорочно. Поэтому брошенные им мимоходом в «Письме» слова о чтении перед восставшим полком краткой выписки из «Русской правды» можно объяснить лишь случайной оговоркой.

Далее М. В. Нечкина обращает внимание читателей на расхождения «Записок» и «Письма» в изображении обстоятельств приезда к С. Муравьеву-Апостолу в Трилесы в канун восстания офицеров Черниговского

полка Соловьева, Кузьмина, Сухинова и Щепиллы. В «Записках» сказано, что они приехали по вызову С. Муравьева-Апостола, переданному Кузьмину «через рядового вверенной ему роты». В «Письме» же говорится, что Кузьмин вместе с указанными офицерами приехал к Муравьеву, «получивши записку от Горбачевского чрез посланного им в Черниговский полк подпоручика Андреевича». Противоречия очевидные, однако не взаимоисключающие. Ведь мог же и Горбачевский, независимо от С. Муравьева, в напряженное время кануна восстания переслать черниговским офицерам через Андреевича какую-то записку, содержание и обстоятельства пересылки которой ускользнули от Следственной комиссии. Такое предположение тем более вероятно, что Андреевич и прежде выполнял подобные связные поручения, а все последние дни декабря находился в беспрестанных разъездах в районе дислокации 3-го пехотного корпуса.

М. В. Нечкина отмечает и такое расхождение: в передаче «Записок», отправившиеся к С. Муравьеву «Соловьев и Щепилло поехали большою дорогою, а Кузьмин и Сухинов — проселочною». Горбачевский же в «Письме» пишет иначе: «Кузьмин и Соловьев поехали по одной дороге, Сухинов и Щепилло — по другой». Это разночтение произошло, видимо, по небрежности Горбачевского, писавшего «Письмо» на скорую руку. Могла повлиять здесь и путаница в рассказах самих очевидцев событий. Так, Матвей Муравьев-Апостол, неотлучно находившийся в ту ночь с братом Сергеем в Трилесах, впоследствии упорно настаивал на третьем варианте: по его показаниям, Кузьмин был с Щепиллой, а Соловьев — с Сухиновым [1].

Можно ли говорить, что в сличаемых документах «расходятся и даты относящиеся к ходу восстания Черниговского полка»? [2]. Проверка показывает несовпадение всего лишь одной даты — дня сбора восставшего полка на площади в Василькове и выступления его в поход. В «Записках» верно говорится, что эти события произошли 31 декабря 1825 г., в «Письме» же они датируются 1 января 1826 г. Здесь следует заметить, что Горбачевский сам подозревал возможность хронологических ошибок и поэтому несколькими строками ниже в «Письме» предупреждал Бестужева: «Числа все надобно проверить после, но, кажется, как помню, пишу верно».

М. В. Нечкина обращает внимание на то, что в «Записках» весьма точно указано место разгрома Черниговского полка: в поле между деревнями Ковалевкой и Трилесами. В письме же к Бестужеву Горбачевский, по мнению исследовательницы, «колеблется и определяет место разгрома неточно: „под Трилесами или за Трилесами“». «Едва ли,— заключает М. В. Нечкина,— такое расхождение могло бы возникнуть, если бы автором „Записок Горбачевского“ и автором письма к Мих. Бестужеву было одно и то же лицо» [3]. Действительно, в одном месте «Письма», говоря о

[1] ВД, т. IX, стр. 204, 237.
[2] «Исторические записки», т. 54, стр. 290.
[3] Там же.

гибели восстания, Горбачевский употребил весьма расплывчатую формулировку. Он писал: «Под Трилесами или за Трилесами ⟨...⟩ встретились с гусарами и с артиллериею конною генерала Гейсмара ⟨...⟩, который войска Муравьева лучше сказать расстрелял, чем разбил. Тут был арестован раненный картечью в голову, упавший с лошади Сергей Муравьев-Апостол». Однако ссылаться только на одну эту фразу без учета остального текста «Письма» для утверждения о колебании Горбачевского в определении места разгрома было бы опрометчиво. В том же «Письме», только несколькими страницами ниже, Горбачевский трижды повторяет, что разгром черниговцев и арест их произошел «под Трилесами». Он писал: «Муравьев-Апостол (Матвей) взят под Трилесами вместе с братом и арестован». Соловьев «арестован в поле под Трилесами». Кузьмин арестован «на поле под Трилесами, где был ранен картечью». Ясно, что Горбачевский, прекрасно зная место разгрома Черниговского полка, в первом случае допустил описку, которую позже сам же и исправил.

«Разительное» противоречие усматривает М. В. Нечкина в описании обстоятельств приезда в конце 1825 г. в Новоград-Волынск отставного Андрея Борисова (Борисова 1-го). Приведем эту аргументацию полностью В статье говорится: «Автор „Записок Горбачевского" пишет об этом так: „14 декабря неожиданно приехал в Новоград-Волынск из Харьковской губернии Борисов 1-й". И. Горбачевский же в письме к М. Бестужеву пишет об этом совершенно иначе — Борисов 1-й „был вытребован Горбачевским в Новоград-Волынск после Лещинского лагеря", т. е. приехал вовсе не „неожиданно", причем не из Харьковской губернии, как пишет автор „Записок Горбачевского", а из Курской губернии. Противоречие разительное,— заключает исследовательница,— причем, как видим, участником события является сам Горбачевский,— следовательно, невозможно полагать, что автор „Записок" и Горбачевский — одно и то же лицо» [1].

Между тем следственные показания А. Борисова и других «славян» дают ключ к объяснению и этого, казалось бы, явного противоречия. Находящийся в отставке А. Борисов официально считался живущим в местечке Миронолье Курской губернии. Именно туда осенью 1825 г. ему и писали брат Петр и Горбачевский, вызывая его в Киев для свидания с Бестужевым-Рюминым [2]. Но, имея виды на жительство в Курской губернии, А. Борисов значительную часть осени и начало зимы 1825 г. провел в Ахтырском и Лебединском уездах Харьковской губернии, помогая там своему отцу в его архитектурных работах у местных помещиков. Такие переезды семьи Борисовых облегчались тем, что все три уезда — Миропольский, Ахтырский и Лебединский примыкали друг к другу и находились на стыке Курской и Харьковской губерний. Туда же, в деревню

[1] «Исторические записки», т. 54, стр. 291.
[2] ВД, т. V, стр. 202, 212, 277.

Буймир Лебединского уезда Харьковской губернии, вернулся Борисов 1-й после поражения восстания, где и был вскоре арестован по распоряжению курского гражданского губернатора. Все три места жительства А. Борисова были настолько близки друг от друга (хотя и находились в разных губерниях), что иногда даже он сам путал их без всякого умысла. Так, в одном месте своих следственых показаний он писал, что после поражения Черниговского полка, «возвратясь в *Харьковскую* губернию ⟨...⟩, проживал у моих родителей Ахтырского уезду в с. Боромле, или Лебединского уезду в д. Буимире ⟨...⟩, где вторично арестован» [1]. В другом же месте показаний А. Борисов заявлял, что после поражения восстания он «возвратился к отцу в *Курскую* губернию, у коего жил до самого арестования своего и отправления в Петербург» [2]. Немудрено, что и Горбачевский мог повторить ту же ошибку, назвав в одном месте Харьковскую губернию, а в другом — Курскую.

Нет никаких противоречий и в том, что «Записки» говорят о «неожиданном» приезде А. Борисова в Новоград-Волынск, а в «Письме» сказано, что он «был вытребован Горбачевским». По свидетельству ряда декабристов, в том числе Горбачевского и самого Андрея Борисова, в конце 1825 г. он действительно был вытребован письмами Петра и Горбачевского в Киев для свидания с Бестужевым-Рюминым, но, не найдя его в Киеве, отправился к «славянам» в Новоград-Волынск [3]. О своем приезде он не известил заранее ни брата, ни товарищей. Это и дало повод говорить о неожиданности его приезда.

Другие расхождения между «Записками» и «Письмом», носят еще более частный характер и к тому же почти каждый раз объяснимы. Говоря о расхождениях такого рода, не следует забывать, что «Письмо» написано было через два десятилетия после составления «Записок» и через тридцать пять лет после описываемых событий. Писалось оно экспромтом, без каких-либо предварительных материалов и черновиков. Сам Горбачевский говорил о нем М. Бестужеву: «Пишу к тебе, не вставая с места, и написал много, сам не помня, что я писал в прежних листах; пишу без плана, без системы». Смущенный этим, он настойчиво убеждал Бестужева не показывать «Письма» никому или же уничтожить его. Поэтому было бы удивительно, если бы в «Письме», написанном при таких обстоятельствах, не было бы никаких отклонений от «Записок» и от исторической достоверности изображаемых событий. Нужно удивляться не наличию таких отклонений и ошибок, а тому, что их так мало. Таким образом, приводимые в статье М. В. Нечкиной расхождения и по своему содержанию и даже с чисто количественной точки зрения не могут быть серьезным аргументом против того, что автором «Записок» является Горбачевский.

[1] ВД, т. V, стр. 90. Курсив наш.— *Ред.*
[2] Там же, стр. 83. Курсив наш.— *Ред.*
[3] Там же, стр. 202, 212—213, 83.

В своем сопоставлении «Письма» и «Записок» М. В. Нечкина остановилась лишь на некоторых расхождениях этих документов, обойдя молчанием яркие черты сходства и созвучия сличаемых текстов. Остановимся же и на этой стороне вопроса.

Сравнивая «Записки» с «Письмом», обратим прежде всего внимание на литературное оформление того и другого документа. По своей форме «Записки» отличаются от обычного типа мемуарного повествования, где исторические события тесно переплетены с биографией автора, а изложение их ведется от первого лица. В «Записках» читатель не найдет ни изложения «от автора», ни местоимения «я»; самого себя автор «Записок» именует лишь по фамилии или в третьем лице — «он». Все это придает повествованию вид беспристрастного рассказа. Точно такой же прием мы наблюдаем и в «Письме». По своим речевым особенностям оно не однородно. В тех местах, где Горбачевский делится своими мыслями о прошедшем, тон его ничем не отличается от тона обычных писем. Но как только он переходит от задушевной беседы к главной части «Письма» — к «хронике» судеб товарищей, которую он рассматривает как своего рода исторический документ, язык «Письма» резко меняется. Пропадает тон особой интимности, исчезают обращения к личной памяти и местоимение «я», манера изложения начинает напоминать литературную форму «Записок». Приводя, например, сведения о Петре Борисове, Горбачевский пишет: «Борисов 2-й (Петр). Основатель Славянского общества, целью которого было освобождение всех славян в Европе и соединение их в одну федеративную республику. Арестован на квартире у Горбачевского, к которому он приехал из Новоград-Волынска 〈...〉 Горбачевский в это время жил 30 верст от Новоград-Волынска в местечке графа Вашлевского в Барановке...» Об Андрее Борисове он сообщает: «Служил с братом в 8-й артиллерийской бригаде, в 1-й батарейной роте, вместе с Горбачевским; вышел в отставку в 824 году и жил в Курской губернии. В 825 году был вытребован Горбачевским в Новоград-Волынск, после Лещинского лагеря». О самом себе Горбачевский писал: «Горбачевский (Иван). Родом Черниговской губернии; служил в 8-й артиллерийской бригаде 〈...〉 Был арестован вскорости после Борисова Петра. После сентенции в пятый (кажется) день был отправлен из Петербургской крепости вместе со Спиридовым и Барятинским в крепость Кексгольм и посажен был вместе с ними в отдельную от крепости на острову башню под названием в простонародии Пугачевой башни». И т. д.

Эта форма изложения прошедших событий была для Горбачевского, по-видимому, настолько привычна, что просачивалась порой даже в «неофициальную» часть «Письма». Так, например, в одном из отступлений, Горбачевский вспоминал: «Муравьев-Апостол не раз грозил мне, что он меня убьет, если что случится, приговаривая мне: — Вы этих собак славян держите в руках...» В первоначальной же редакции «Письма», как

свидетельствует изучение его автографа, эта фраза выглядела так: «...Муравьев-Апостол не раз грозил Горбачевскому, что он его убьет, если что случится, приговаривая ему: Вы этих собак славян держите в руках...» [1].

Но «Записки» Горбачевского и его «Письмо» к Бестужеву близки друг к другу не только формой изложения. Прямым образом совпадает и их содержание.

Ведущим положением, проводимым через все «Записки», их *историческим и политическим тезисом*, в обоснование которого они были задуманы и выполнены, является утверждение, что при согласии в целях и задачах Славянского и Южного обществ, при признании со стороны «славян» руководства основного Общества, между ними было глубокое «разномыслие в средствах и образе действия». То же противопоставление взглядов, политического поведения и тактической линии членов обоих Обществ мы находим и в «Письме» Горбачевского 12 июня 1861 г. При этом, точно так же, как и в «Записках», в «Письме» Горбачевский дает нарочито приподнятую характеристику «славянам» и снижает революционность основного декабристского Общества.

Полностью совпадают и в «Записках» и в «Письме» оценки отдельных событий из истории тайных обществ. И там и здесь факт слияния Общества соединенных славян с Южным обществом рассматривается как непростительная ошибка, допущенная «славянами». И в том и в другом случае повторяется мысль о том, что восстание Черниговского полка было плодом действий «славян». Еще убедительнее совпадения взглядов, высказанных и в «Записках» и в «Письме» относительно тактической стороны восстания Черниговского полка.

Продолжая сопоставление «Письма» и «Записок», нельзя не заметить, что «Письмо» не только повторяет общие взгляды, развитые в «Записках», но и в сжатом виде излагает некоторые эпизоды, содержащиеся в них. В «Письме» бегло рассказывается о ходе восстания Черниговского полка, о дальнейшей судьбе его участников, о «заговоре» Сухинова в Зерентуе и о некоторых других событиях, подробно разработанных в «Записках». При этом обращает на себя внимание близость описаний как в лексическом отношении, так и в наличии и здесь и там одних и тех же мелких штрихов и второстепенных деталей. Приведем несколько примеров.

Говоря об обстоятельствах ранения и самоубийства поручика Кузьмина, «Письмо» лаконично сообщает: Кузьмин *«был ранен картечью в правое плечо навылет, в корчме на ночлеге застрелился. Похоронен около Трилес»*. Те же самые детали приводятся и в «Записках»: Кузьмин *«был ранен картечною пулею в правое плечо навылет»* и далее сообщается, что

---

[1] ГПБ, ф. 69, № 30, л. 22 об.

покончил он с собой на ночлеге *«в корчме»* и похоронен *«близ деревни Трилесы»* [1].

Рассказывая о судьбе солдат, участвовавших в восстании Черниговского полка, и «Письмо» и «Записки» отмечают, что:

Солдаты все судились военным судом в кандалах; на эти кандалы графиня Браницкая пожертвовала без денег 200 пудов железа, за что ее хвалили и превозносили ее бескорыстие. (*«Письмо»*)	Нижние чины содержались в крестьянских избах и были тут закованы в кандалы, сделанные из 100 пуд. железа, пожертвованного графинею Браницкою, которая на сей раз забыла свою скупость. (*«Записки»*)

Очень близки и в «Письме» и в «Записках» описания злоключений Сухинова, происшедших с ним после разгрома черниговцев. В «Письме» говорится, что «после разбития Черниговского полка», скрываясь, он «бежал в Молдавию, но услыша там, что его товарищей арестовали, и ⟨что они⟩ сидят в кандалах, не мог этого перенести, возвратился в Кишинев и объявил о себе, кто он такой». Те же самые мотивы исполнения Сухиновым высокого нравственного долга перед товарищами проходят через изложение этого эпизода и в «Записках». Совпадают изложения и дальнейшей истории Сухинова: организация им в Зерентуе заговора, приговор, его самоубийство. Остановимся лишь на деталях последнего. В «Письме» кратко сказано, что Сухинов «накануне исполнения приговора в тюрьме *на ремне, около печи* повесился». Те же самые детали самоубийства Сухинова фигурируют и в «Записках». Накануне казни «он тщательно осматривал все углы и стены тюремные и, увидя большой гвоздь, вбитый в стену *недалеко от печи* над нарами, решился привести свою мысль в исполнение ⟨...⟩ Сухинов, отвязав *ремень*, на котором поддерживал свои железа, прикрепил оный к помянутому гвоздю, набросил на свою шею петлю и, спустив ноги с нар, повесился».

Приведенные примеры не только снимают тезис о том, что сопоставление «Письма» и «Записок» якобы «решительно свидетельствует» против принадлежности «Записок» Горбачевскому, но, напротив, вновь подтверждают его авторство.

В том, что «Записки» были написаны Горбачевским, убеждает нас и сопоставление их текста с устными рассказами Горбачевского, дошедшими до нас в передаче П. И. Першина-Караксарского. Как сообщает Першин, рассказы эти были записаны под свежим впечатлением его беседы с Горбачевским в Петровском Заводе в 1862 г. Першин ручался за то, что рассказы воспроизвел он верно, «заботясь лишь о буквальной передаче слышанного, сохраняя все его выражения, не прибегая к исправлению

[1] Курсив наш.— *Ред.*

стилических погрешностей» [1]. Несмотря на отдельные фактические и хронологические ошибки, возникшие вследствие несомненных трудностей записи живой речи по памяти, к ручательству Першина мы можем отнестись с полным доверием хотя бы потому, что отдельные эпизоды, переданные в рассказах в общем и в частностях, повторяются и в «Письме» Горбачевского к Бестужеву 12 июня 1861 г. Заимствование же Першиным этих эпизодов из «Письма» полностью исключается, поскольку «Письмо» впервые было опубликовано в 1913 г.— пятью годами позже публикации рассказов, а до этого (с 1861 г.) хранилось в частных коллекциях М. И. Семевского, а затем Н. К. Шильдера.

При знакомстве с указанными рассказами Горбачевского прежде всего обращает на себя внимание приведенный в них эпизод о намерениях поручика Кузьмина начать восстание во время Лещинских лагерей, повторяющийся и в «Записках» и в «Письме». Устные рассказы Горбачевского повторяют и другой содержащийся в «Записках» эпизод — о волнениях 1-й гренадерской роты Саратовского полка, происшедших во время лагерей. Аналогичные совпадения можно отметить и в ряде других случаев.

Попытаемся теперь выяснить время, место и обстоятельства возникновения «Записок». По весьма расплывчатому определению их первого публикатора П. И. Бартенева, «Записки написаны долгое время после события, но еще в царствование Николая Павловича» [2]. Более определенную датировку «Записок» предложил в 1925 г. при их переиздании Б. Е. Сыроечковский. Он исходил из того, что в заключительных строках «Записок» имеется упоминание о переводе декабристов из читинского острога во вновь построенную государственную тюрьму при Петровском Заводе. Перевод этот состоялся в августе 1830 г., следовательно, «Записки» не могли быть написаны ранее этой даты. С другой стороны, в «Записках» говорится о декабристе М. С. Лунине еще как о живом человеке. Лунин же умер в декабре 1845 г. Таким образом, становится очевидным, что «Записки» могли быть составлены не ранее 1830 г. и не позже 1845 г.

Однако, стремясь к еще большим уточнениям, Б. Е. Сыроечковский полагал, что «Записки» едва ли могли быть написаны в тюрьме, ибо в таком случае о них сохранились бы какие-нибудь упоминания в мемуарах и письмах друзей Горбачевского. Таких упоминаний Б. Е. Сыроечковский не находил и поэтому заключал, что «Записки» возникли уже после выхода декабристов из тюрьмы на поселение, когда Горбачевский оставался на Петровском Заводе один, т. е. в 1840—1845 гг. [3] В настоящее время мы располагаем новыми, неизвестными в свое время Б. Е. Сыроечковскому материалами, позволяющими исправить эту ошибочную датировку. В пись-

[1] См. выше в настоящем издании.
[2] «Русский архив», 1882, № 2, стр. 435.
[3] «Записки», изд. 1925 г., стр. 30.

ме к М. И. Семевскому 13 февраля 1862 г. М. А. Бестужев прямо указывал, что «Записки», копия с начальных страниц которых им была отправлена к Семевскому, писались Горбачевским «во время нашей лихорадочной деятельности в тюрьме», т. е. в каторжной тюрьме Петровского Завода, где Горбачевский находился с 1830 по 1839 г.[1] Тюремное происхождение «Записок» подтверждается, как мы увидим ниже, и записями И. Г. Прыжова. О том, что «Записки» могли быть написаны только в эти годы, в тюрьме, в условиях длительного общения Горбачевского с участниками событий, описанных в них, совершенно ясно говорит и сам характер «Записок».

По своему содержанию «Записки» Горбачевского распадаются на три части. Первая часть посвящена подробному изложению истории Общества соединенных славян на конечном ее этапе. Она открывается характеристикой неудовлетворенности (сложившейся у «славян» к началу 1825 г.) бездеятельностью их небольшого Общества, отсутствием приближения его к своей конечной цели. Далее следует рассказ об «открытии» «славянами» Васильковской управы Южного общества, об их ознакомлении с программой, революционными планами, силами и связями «южан». Заканчивается первая часть рассказом о роспуске «славянами» своей организации и переходе их в Южное общество. Вторая часть повествует о революционном выступлении Черниговского пехотного полка под руководством С. И. Муравьева-Апостола и об активной роли «славян» в восстании. Третья часть рассказывает о суде при штабе 1-й Армии над «славянами» — участниками восстания, о их пути по этапам, пешком, в кандалах на каторгу в рудники Забайкалья, о подготовке в 1828 г. членом Общества Сухиновым на Зерентуйском руднике восстания уголовных каторжан, с планом поднять другие заводы, пробиться в Читу и освободить заключенных там декабристов[2].

Если многие события, изложенные в первой части «Записок», развертывались на глазах у Горбачевского, при его активном участии и могли быть им описаны по личным воспоминаниям, то о большей части событий, содержащихся во второй и третьей частях, Горбачевский мог знать лишь с чьих-то слов, ибо сам в них никакого участия не принимал и территориально находился от них вдали. Столь развернутую информацию об этих событиях Горбачевский мог получить только из тех воспоминаний и рассказов декабристов, которыми обменивались они, оказавшись собранными все вместе в каторжных тюрьмах сначала Читы, а затем Петровского Завода. По словам М. Бестужева, с первых же дней казематской жизни их

---

[1] «Воспоминания Бестужевых», стр. 446.

[2] Деление «Записок» на части, и внутри их — на главы, осуществлено не автором, а их издателем в 1916 и в 1925 г. Это деление сохранено и в настоящем издании.

захватили «споры, прения, рассказы о заключении, о допросах, обвинения и объяснения»[1]. В этих тюремных припоминаниях и взаимопроверках Горбачевский был активен и настойчив. «Я ⟨...⟩ любопытствовал много, у всех расспрашивал, и у меня память на это чертовская»,— писал он о своих казематских беседах много лет спустя Михаилу Бестужеву. В ходе этих расспросов Горбачевский имел широкие возможности выявить нужный ему материал, отобрать наиболее достоверные версии из расходившихся иногда между собой свидетельств отдельных декабристов, проверить и уточнить их. Следы этой большой синтетической работы сохранились в тексте «Записок» и в некоторых авторских примечаниях к ним.

В тех же тюремных беседах окончательно сложилась у Горбачевского и та оценка роли «славян» в движении декабристов, которая легла в основу всей концепции, развитой в «Записках». Таким образом, «Записки» созданы не только из личных индивидуальных воспоминаний Горбачевского, но в значительной мере из воспоминаний коллективных, прошедших через критическую проверку и сведенных затем в широкое, искусно построенное повествование с продуманным до деталей планом.

Весь творческий процесс создания «Записок» четко охарактеризован Прыжовым в неопубликованной части его записей о декабристах в Сибири. Рассказывая о разносторонних умственных занятиях декабристов в тюрьме Петровского Завода и перечисляя при этом их литературные работы, Прыжов резюмировал: «Но что важнее всего — в каземате публично, на глазах общественного суда декабристов писались записки о 14 декабря. Писали, как увидим, Горбачевский и Лунин»[2].

Само собой разумеется, что наиболее авторитетными для Горбачевского информаторами и в то же время «судьями» его работы были его друзья-единомышленники по Обществу соединенных славян, а также офицеры Черниговского полка — непосредственные участники восстания. При этом есть все основания полагать, что в предварительной работе по сбору нужных материалов Горбачевский не ограничивался одними лишь устными беседами, а использовал и письменные припоминания своих товарищей, составленные, может быть, даже специально по его просьбе.

В литературе уже не раз обращалось внимание на близость «Записок» к двум другим мемуарным произведениям декабристов, возникшим также в тюрьме Петровского Завода. Мы имеем в виду, во-первых, краткий рассказ о восстании Черниговского полка — «Белая Церковь», записанный Ф. Ф. Вадковским со слов оставшихся в живых его участников: В. Н. Соловьева, А. А. Быстрицкого и А. Е. Мозалевского, и, во-вторых, биографи-

---

[1] «Воспоминания Бестужевых», стр. 150—151.
[2] Прыжов, л. 103.

ческий очерк «И. И. Сухинов», составленный В. Н. Соловьевым. По своему объему, широте тематического охвата и литературным качествам обе эти работы далеко уступают «Запискам», но вместе с тем имеют с ними и много общего: содержание «Белой Церкви» совпадает с рядом страниц второй части «Записок», а жизнеописание Сухинова — с третьей их частью. Сравнивая ту и другую работы с соответствующими местами «Записок», можно без труда заметить, что и там и здесь фигурируют одни и те же эпизоды, в той же последовательности изложения, с теми же деталями, а порой даже с теми же фактическими ошибками. Более того, все три указанных текста в ряде случаев повторяют одни и те же специфические обороты речи и синтаксические конструкции.

Приведем несколько примеров таких совпадений, начав свое сопоставление «Записок» с текстом «Белой Церкви». В «Белой Церкви» довольно подробно рассказывается об одном из первых успехов восставших черниговцев — бескровном занятии ими города Василькова 30 декабря 1825 г.:

30-го авангард Муравьева, под командою поручика Сухинова, вошел в город в 4 часа пополудни. Трухин приказал бить тревогу и, взяв с гауптвахты несколько часовых, пошел навстречу Сухинову, который показался уже на площади. Трухин приказал зарядить ружья и стрелять. Солдаты плохо повиновались ему. Между тем Сухинов с авангардом, с криком ура! за свободу! добежал до гауптвахты, остановился, запретил слушать Трухина бывшим с ним солдатам и арестовал майора; солдаты надавали ему тычков; Бестужев сорвал с него эполеты и отправил на гауптвахту.

«Воспоминания и рассказы», т. I, стр. 195—196)

Майор Трухин, узнав о сем движении, приказал в городе бить тревогу, а 4-й мушкатерской роте, занимавшей караулы, приготовиться к бою ⟨...⟩ В три часа пополудни авангард С. Муравьева под командою Сухинова спокойно вошел в город, достиг городской площади без всякого сопротивления и не обнаружил никаких неприязненных расположений против жителей. Миролюбивый вид мятежников ободрил майора Трухина; надеясь обезоружить их одними словами, он, в сопровождении нескольких солдат и барабанщика, подошел к авангарду и начал еще издалека приводить его в повиновение угрозами и обещаниями; но когда он подошел поближе, его схватили Бестужев и Сухинов, которые, смеясь над его витийством, толкнули его в сторону колонны. Мгновенно исчезло миролюбие солдат. Они бросились с бешенством на ненавистного для них майора, сорвали с него эполеты, разорвали на нем в клочки мундир, осыпали его ругательствами, насмешками и, наконец, побоями...

(«Записки» Горбачевского)

Как видим, и там и тут совпадает не только общий смысл, но и отдельные обороты речи. Текст Горбачевского лишь эмоционально усилен и содержит некоторые фактические уточнения.

То же самое мы наблюдаем и при описании ряда других эпизодов восстания Черниговского полка. Сравним, например, описания в «Белой Церкви» и в «Записках» событий, происшедших 3 января 1826 г.:

...3 января вступили в Ковалевку, в которой в 11 часов был привал. Солдаты вытребовали съестных припасов и вина. Управляющий в Ковалевке г. Петровский пригласил к себе Муравьева и офицеров и с ними двух разжалованных, Ракузу и Грахольского; у него обедали; он и семейство его оказали им очень радушный прием. Разобрали бумаги, которые были захвачены Гебелем и с уничтожением его достались Муравьеву; одними варили кофе, другие оставили; в час пополудни выступили на Трилесы.

(«Воспоминания и рассказы», т. I, стр. 198)

...Черниговский полк выступил из Полог и в исходе 11-го часа вступил в деревню Ковалевку, где Муравьев дал солдатам роздых, остановясь на площади против управительского дома. Он потребовал под квитанцию хлеба и водки для нижних чинов. Управитель доставил всего солдатам в изобилии, во время привала пригласил С. Муравьева и офицеров к себе на обед и угощал их радушно. Тотчас после обеда С. Муравьев вместе с офицерами пересматривал бумаги, взятые у него Гебелем в Василькове и опять отнятые в Трилесах; как бы предчувствуя ожидавшее его поражение, он сжег все письма, полученные от членов тайных обществ, и некоторые бумаги, относящиеся к сим делам. Те же, которые он, неизвестно почему, оставил, были впоследствии захвачены правительством.

В полдень Муравьев вышел из Ковалевки к Трилесам...

(«Записки» Горбачевского)

И вновь мы видим почти полное созвучие цитированных отрывков. Порой даже кажется, что перед нами не фрагменты двух различных текстов, а всего лишь два варианта одной и той же работы, носящие различную степень литературной обработки.

Обратимся теперь к очерку В. Н. Соловьева «И. И. Сухинов. Один из декабристов». Этот очерк, опубликованный впервые Бартеневым в «Русском архиве» 1870 г. (кн. 4-5, стр. 903-926) без указания автора, имеет столь разительные смысловые и речевые совпадения с «Записками» Горбачевского, что одно время считался даже его произведением и был включен в 1916 г. Б. Е. Сыроечковским в число сочинений Горбачевского [1]. Приведем несколько сопоставлений.

[1] «Записки декабриста И. И. Горбачевского». С приложением и со вступ. статьей Б. Е. Сыроечковского. М., изд. «Задруга», 1916, стр. 217—235. Авторство В. Н. Соловьева было установлено лишь в 1925 г. Ю. Г. Оксманом («Поимка поручика И. И. Сухинова».— В сб. «Декабристы». Труды Пушкинского дома. М., 1925, стр. 53). Дополнительные материалы, подтверждающие принадлежность очерка Соловьеву, содержатся в неопубликованных письмах Е. И. Якушкина (сына декабриста) к П. И. Бартеневу. Письма эти интересны еще и тем, что проливают свет на историю поступления очерка в редакцию «Русского архива» и объясняют причину, побудившую Бартенева уклониться от публикации имени его автора.

15 декабря 1869 г. Е. И. Якушкин писал Бартеневу: «В самом непродолжительном времени я пришлю вам биографию И. И. Сухинова, написанную одним из декабри-

Скрываясь после разгрома Черниговского полка, поручик Сухинов нашел временный приют в деревне Гребенки в доме бывшего эконома. Провожая Сухинова,

..эконом сам запряг лошадь в сани, дал Сухинову свое платье, 10 р. серебряной монетой и выпроводил на дорогу. Сухинов отправился на Богуславль и в первой полевой канаве бросил все, что оставалось у него от гусарского костюма...

(В. Н. Соловьев. Записка о И. И. Сухинове.—«Воспоминания и рассказы», т. II, стр. 25)

...хозяин пошел тихонько в конюшню, запряг лошадь в сани и, одев Сухинова в свое платье, снабдил его 10 рублями на дорогу и отправил в путь ⟨...⟩ наш странник выехал на Богуславскую дорогу и в первый ров бросил свое военное платье...

(«Записки» Горбачевского)

Сравним сообщения Соловьева и Горбачевского о раскрытии «Зерентуйского заговора»:

Козаков, проходя пьяный 22 мая мимо квартиры Черниговцева, объявил ему, что многие готовы к бунту, и что в этом участвуют секретные (так называли они государственных преступников).

(«Воспоминания и рассказы», т. II, стр. 29)

Пьяный Козаков, проходя мимо управляющего рудниками маркштейгера г. Черниговцева ⟨...⟩ объявил, что ссыльные составили заговор для освобождения своего, и что главные участники оного суть «секретные» (так называли всех государственных преступников).

(«Записки» Горбачевского)

Приведенные сопоставления со всей очевидностью свидетельствуют о генетической связи «Записок» Горбачевского и с «Белой Церковью» и с жизнеописанием Сухинова. В силу того, что Соловьев, Быстрицкий и Мозалевский были в каторжной тюрьме Петровского Завода единственными свидетелями описанных ими событий, предположение об использовании ими текста Горбачевского полностью отпадает. Те же самые причины исключают пользование всеми указанными авторами (включая и Горбачевского) каким-то общим, не дошедшим до нас источником. Такую работу

стов и составляющую отчасти и автобиографию. В ней описывается, между прочим, дело под Белой Церковью и мало известная попытка восстания в Нерчинске» (ЦГАЛИ, ф. 46, оп. 1, ед. хр. 561, л. 637—637 об.). Через неделю —21 декабря 1869 г. Якушкин выслал обещанную рукопись, указав при этом, что она принадлежит перу В. Н. Соловьева и написана им «под свежим впечатлением еще недавних происшествий, в которых автор сам принимал непосредственное участие» (там же, л. 60).

Спустя еще полтора месяца — 5 февраля 1870 г., отвечая, видимо, на вопрос Бартенева, как обозначить имя автора очерка при печати, Якушкин писал ему: «Едва ли возможно выставить имя барона Соловьева,— по крайней мере, я не считаю себя в праве на это уполномочить. Я не имею давно уже никаких сведений о Соловьеве, но думаю, что он еще жив, поэтому распоряжаться его именем без его согласия не могу» (там же, л. 165).

без участия Соловьева, Быстрицкого и Мозалевского просто некому было составить. Остается одно: при работе над «Записками» Горбачевский имел в руках и «Белую Церковь», отдельные эпизоды которой он включил во вторую часть «Записок», и жизнеописание Сухинова, легшее в основу третьей части. При этом Горбачевский не механически перенес в свой текст сведения из этих первоисточников, а частично переработал их, уточнил хронологию, дополнил новыми эпизодами и придал всему повествованию политическую остроту и публицистичность. Большинство дополнений и поправок фактического характера Горбачевский мог сделать опять-таки только с помощью Соловьева, Быстрицкого и Мозалевского или, во всяком случае, кого-нибудь из них. Таким образом, роль офицеров-черниговцев в подготовительных работах Горбачевского более или менее ясна.

Значительно сложнее установить степень персонального участия в предварительных работах Горбачевского других декабристов. Вчитываясь в текст «Записок» и сопоставляя его со следственными показаниями членов Общества соединенных славян, можно, естественно, предположить, что в числе лиц, чьими устными, а, может быть, даже письменными воспоминаниями воспользовался Горбачевский, были братья Борисовы, Я. М. Андреевич, В. А. Бечасный, М. М. Спиридов. Особенно близки к тексту «Записок» отдельные фрагменты показаний Петра Борисова — основателя Общества соединенных славян и ближайшего друга Горбачевского. Приведем в параллельном чтении один из наиболее ярких примеров такого совпадения.

На одном из совещаний Борисов 2-й спросил у Бестужева-Рюмина, какие меры будут приняты против того, если кто-либо из членов временного правления, опираясь на штыки, сам попытается установить самовластие? На это Бестужев-Рюмин

с жаром отвечал мне: «Как не стыдно вам о сем спрашивать, чтобы те, которые для получения свободы решились умертвить своего монарха, потерпели власть похитителей» 〈...〉 Мне стало досадно. «Это хорошо сказано; но победитель галлов и несчастного Помпея пал под ударами заговорщиков в присутствии всего сената, а робкий 18-ти летний Октавий сделался властелином гордого Рима»,— сказал я сквозь зубы и отошел в сторону. После меня многие из присутствующих начали делать Бестужеву различные вопросы и большею частью самые пустые.

(Показания Петра Борисова на допросе 1826 г.— ВД, т. V, стр. 63)

...«Как можете вы меня об этом спрашивать! — вскричал он с сверкающими глазами.— Мы, которые убьем некоторым образом законного государя, потерпим ли власть похитителей! Никогда! Никогда!» «Это правда,— сказал Борисов 2-й с притворным хладнокровием и с улыбкой сомнения;— но Юлий Цезарь был убит среди Рима, пораженного его величием и славой, а над убийцами, над пламенными патриотами восторжествовал малодушный Октавий, юноша 18 лет».

Борисов хотел продолжать, но был прерван другими вопросами, сделанными Бестужеву, о предметах вовсе незначительных.

(«Записки» Горбачевского)

Трудно допустить, чтобы весь этот диалог, воспроизведенный в «Записках» почти со стенографической точностью, мог быть восстановлен Горбачевским только по памяти, без помощи Петра Борисова. Тем более, что в памяти самого Горбачевского, судя по его показаниям 1826 г., этот же эпизод сохранился более тускло и без тех подробностей, какие мы находим в «Записках». Горбачевский на следствии показывал: «Однажды ⟨...⟩ Петр Борисов спросил у Бестужева, „что когда сей государь уничтожится, то другой заступит его место", тогда Бестужев, вскочивши с своего места, вскрикнул на Борисова: „наследия никакого нет и не будет, все сие уничтожается, да и как вам не стыдно сие говорить; вы, который уничтожаете одного государя, разве допустите чтоб был другой",— тогда я видел, что Борисов ему на сие ни слова не отвечал, да и все молчали» [1].

Приведенные выше совпадения между показаниями Петра Борисова и текстом «Записок» послужили М. В. Нечкиной главным аргументом для выдвижения гипотезы о том, что автором «Записок» об Обществе соединенных славян, вероятно, был Петр Борисов [2]. Но если бы это было действительно так, то чем же тогда можно объяснить явные противоречия между теми же показаниями П. Борисова и «Записками» даже в тех местах, где речь идет о личных действиях самого Петра Борисова? Так, например, признаваясь Следственной комиссии в том, что утром 16 сентября

---

[1] ВД, т. V, стр. 245.

[2] «Исторические записки», т. 54, стр. 293—295.— В качестве дополнительных доводов в пользу авторства Петра Борисова М. В. Нечкина приводит следующие соображения: «Во-первых, редкое словоупотребление „*Президент* славянского общества", встречающееся в „Записках", применено на допросах лишь Андреем Борисовым ⟨...⟩, т. е. бытовало в общении братьев Борисовых. У других членов Общества соединенных славян эта терминология вообще не встречается». Во-вторых, в показаниях Борисова отчетливо чувствуется критическое отношение к действиям С. Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина — черта, совпадающая с общим типом «Записок». В показаниях же Горбачевского эта линия отсутствует. В-третьих, и в показаниях П. Борисова и в «Записках» имеется большая близость детальных датировок с указанием не только года, но и числа и месяца, что опять-таки, по мнению исследовательницы, свойственно только П. Борисову.

На наш взгляд, все эти доводы неубедительны. Термин *«президент»* употреблялся не только Андреем Борисовым, но и Горбачевским. В рассказах последнего, опубликованных П. И. Першиным-Караксарским, можно, например, прочитать такую фразу: «Всякая мера предстоящих действий Общества, предложенная *президентом* Союза, обсуждалась и решалась большинством голосов» (стр. 242 настоящ. изд.). Скептицизм по отношению к действиям руководителей Васильковской управы можно найти и в показаниях Горбачевского. Еще более выпукло эта линия прослеживается в письме Горбачевского к М. Бестужеву от 12 июня 1861 г. («...мы упрашивали и умоляли Муравьева-Апостола начать действия; ибо мы уверены были увлечь всех и все. Но не тут-то было: Муравьев-Апостол заразился петербургскою медлительностью, и случай был упущен...» и т. д.).

Что касается детальных датировок событий, изображенных в «Записках», то они встречаются не только в показаниях П. Борисова, но и в показаниях других «славян», например, Андреевича, Бечасного.

1825 г. он принес Бестужеву-Рюмину клятву о готовности покуситься на жизнь императора, Борисов показывал, что это знаменательное для него событие произошло во время его свидания с глазу на глаз с Бестужевым-Рюминым. «Когда я вошел к нему,— пишет П. Борисов,— то он встретил меня следующими словами: А! Борисов! я и думал, что вы будете; потом спросил, слышали ли вы? Сказывал ли вам Горбачевский? Слышал и знаю все,— был мой ответ. Решаетесь ли вы на это? Я назначен и не отказываюсь; — Помните, это тайна для других членов.— Знаю.— Клянитесь. Я клялся и поцеловал образ, висевший у него на шее, после сего открыл ему, что я был основателем Славянского Союза...» [1]. В другом месте своих показаний П. Борисов даже подчеркивал, что весь этот разговор с Бестужевым происходил наедине, без свидетелей: «В третий раз был я 16 сентября рано поутру и говорил с одним Бестужевым»,— показывает Борисов [2].

Совсем иначе передают этот эпизод «Записки» Горбачевского: «Борисов 2-й на другой день рано утром был у Муравьева и Бестужева (они вместе жили), которые, сообщив ему помянутую меру Южного общества, объявил ему, что он поступил в заговорщики, и взяли с него клятвенное обещание». Ясно, что, если бы Петр Борисов был автором «Записок», то не вступил бы сам с собой в противоречие по поводу того, с кем же он в то утро вел столь ответственную для себя беседу,— с одним ли Бестужевым, или с Бестужевым и с Муравьевым-Апостолом?

Но между «Записками» и показаниями П. Борисова имеются и более существенные для истории Общества соединенных славян расхождения. Рассказывая о совещаниях «славян» при обсуждении вопроса слияния с Южным обществом, автор «Записок» называет пять таких собраний. Первое состоялось в Лещине на квартире у Пестова и П. Борисова, а остальные — в Млинищах на квартире у Андреевича. На первом Бестужев-Рюмин произносил речь о Южном обществе, на втором Бестужев познакомил «славян» с «Государственным заветом», на третьем, происходившем в отсутствие Бестужева, отчитывался П. Борисов и был избран посредником Спиридов, на четвертом обсуждались «правила», выработанные Спиридовым, и был доизбран второй посредник — Горбачевский, на пятом собрании «славяне» принесли Бестужеву клятву революционной верности. «Записки» передают, что П. Борисов присутствовал на всех пяти собраниях и принимал в них деятельное участие. Иную схему дает в своих показаниях Петр Борисов. Он показывает, что у Андреевича было только три собрания, причем обсуждение «правил», предложенных Спиридовым, происходило на том собрании, на котором «Бестужева не было», что же касается времени избрания посредников и принесения «славянами» клят-

[1] ВД, т. V, стр. 47.
[2] Там же, стр. 34.

вы, то, по Борисову, оба эти важнейшие моменты в слиянии Обществ произошли не на двух разных собраниях, а на одном — «последнем, бывшем 12 сентября» [1].

Совершенно по иному оценивается присоединение Славянского общества к Южному в «Записках» и в приведенном выше письме Борисова 2-го к Головинскому 21 сентября 1825 г. В «Записках» оно рассматривается как непоправимая ошибка «славян», в письме же Борисова 2-го — как успех общего дела. Такое принципиальное расхождение во взглядах является важным аргументом против принадлежности «Записок» Борисову 2-му. Не лишне заметить, что изложение истории Общества соединенных славян начинается в «Записках» с 1824 г. Если бы их автором был Борисов 2-й, он, без сомнения, начал бы повествование с возникновения тайных кружков «Первого согласия» и «Друзей природы», предшествовавших Славянской организации. В пользу этого утверждения говорит следующий факт, запечатленный в следственных документах. Горбачевский, получив в декабре 1825 г. от Андрея Борисова для передачи его брату Петру материалы, относившиеся к ранним кружкам, «хотел изорвать или сжечь оные». Но Петр Борисов воспрепятствовал этому, сказав: «Так как моя политическая жизнь кончилась, и я хочу, взявши отставку, жить подобно *друзьям природы* уединенно и предаваясь размышлениям, то сии рисунки будут мне нужны, я буду писать историю о происхождении Общества друзей природы и Славянского союза и о их падении» [2].

Против гипотезы М. В. Нечкиной выступают и авторские приемы составителя «Записок», в частности, неоднократно встречающиеся в «Записках» приподнятые характеристики Петра Борисова. Едва ли П. Борисов, с его исключительной скромностью, мог сам себя наделять такими эпитетами, как «врожденная недоверчивость Борисова», «притворное хладнокровие и улыбка сомнения» Борисова. Сомнительно, чтобы он мог сам о себе написать: «Энтузиазм Бестужева ⟨...⟩ восторжествовал над холодным скептицизмом Борисова 2-го, ожидавшего успеха от одних усилий ума и приписывающего все постоянной воле людей». Добавим, что вряд ли П. Борисов написал бы о себе (да еще дважды!), что он «получил от его брата записку» (т. е. от Андрея Борисова).

Приведенные соображения не оставляют места гипотезе о принадлежности «Записок» Петру Борисову. Вместе с тем, зная творческий метод Горбачевского, опиравшегося в своей работе на устные и письменные традиции, и учитывая при этом его дружеские связи с П. Борисовым, можно легко объяснить близость отдельных мест показаний Борисова с «Записками» Горбачевского. Подобно тому, как Горбачевский использовал в «Записках» рассказы Соловьева, Быстрицкого, Мозалевского и других декаб-

---

[1] ВД, т. V, стр. 35.
[2] Там же, стр. 39.

ристов, он мог воспользоваться и воспоминаниями Петра Борисова. Однако при несомненном и широком использовании Горбачевским припоминаний своих товарищей, весь замысел его работы, ее композиционный план, выводы и оценки, которые в ней содержатся,— все это принадлежало лично Горбачевскому, было плодом его литературного и исследовательского творчества.

Анализируя внешнюю и внутреннюю структуру «Записок» Горбачевского как памятника литературы. Ю. Г. Оксман установил, что тенденции мемуариста «к возможно более красочной и драматической передаче фактического материала» привели его к мастерскому введению в повествование программных речей, сентенций и даже вымышленных диалогов действовавших в описываемых событиях исторических лиц, диалогов — «искусно построенных по методам античных жизнеописаний, археологов-беллетристов школы Бартелеми и русских их подражателей карамзинской эпохи». По высоким художественным образцам «оживляя словесную ткань своих мемуаров, И. И. Горбачевский и в приемах идеологического заострения их не был свободен от литературных воздействий». Особенно разительны связи «Записок» об Обществе соединенных славян с публикацией И. И. Давыдова «Секта пифагорейцев» в «Вестнике Европы» (1819, № 9). Этот рассказ о создании, формах быта, достижениях и гибели тайного общества пифагорейцев представлял собой перевод одной из глав книги известного французского просветителя Бартелеми «Voyage du jeune Anacharsis en Grèce» (Paris, 1788) [1].

При издании «Записок» Горбачевского в «Русском архиве» 1882 г. цензура произвела довольно значительные купюры в уже отпечатанной книжке журнала, урезав текст в девяти местах. Бартенев склонен был объяснить эти цензурные изъятия случайным стечением обстоятельств. В заметке «О записках Горбачевского» он писал: «К сожалению, тогдашнее министерство (1882), злобясь на Каткова и не желая показать этого, назначило *вообще для всех московских изданий* особого цензора, и первое московское издание, попавшее ему в руки, была 2-я книга „Русского архива“. Ревность неофита увлекла его дальше меры и, прежде чем подыскать цензурную виновность „Московских ведомостей“, он накинулся на тени прошлого, так что „Записки“ Горбачевского были задержаны и во многих местах урезаны...» [2].

Между тем, для органов цензуры было совершенно ясно, что в обстановке реакции 1880-х годов публикация «Записок» Горбачевского даже в таком специальном и малораспространенном журнале, каким являлся

[1] Ю. Г. Оксман. Восстание Черниговского полка.— ВД, т. VI, стр. XXXV—XXXVI. Здесь же обзор всей специальной литературы о «Записках» Горбачевского со времени их публикации. См. также: Ю. Г. Оксман. Из истории агитационно-пропагандистской литературы двадцатых годов XIX века.— «Очерки», стр. 507—509.

[2] «Русский архив», 1890. № 9. стр. 112.

«Русский архив», будет иметь, несомненно, политическое звучание. Опасения цензуры красноречиво раскрывает «Представление» Московского цензурного комитета, направленное в Главное управление по делам печати. В нем говорилось:

«В представленной в Московский цензурный комитет 13 сего апреля второй книжке „Русского архива" обращает на себя внимание статья: Записки неизвестного из Общества соединенных славян. Статья, по объяснению редактора „Архива", замечательна по беспристрастному изложению и важная потому, что Общество соединенных славян было весьма мало известно в нашей печати. Насколько беспристрастны записки современника и участника в смутных событиях 1825 г., читателю трудно судить, но зато все внимание его приковывает к себе свидетельство современника о том, что замыслы тайных обществ и, в частности, бунт Черниговского полка, имевших целию цареубийство и истребление привилегированного сословия, вызывали полное сочувствие со стороны местных жителей и нижних военных чинов. Многие из офицеров Черниговского полка оставляли свои места, из солдат же — никто. Далее значится из статьи, что восстание Черниговского полка при других обстоятельствах могло бы иметь благодетельное влияние на судьбу России и было бы новою эпохою жизни русского народа. Погибшие в этом восстании называются мучениками свободы, а смерть их выставляется, хотя и позорно, но высоко. В конце „Записок" есть до крайне тяжелая картина исполнения приговора над осужденными, а выше предпосылаются слова одного из осужденных, который говорит, что правительство не наказывает осужденных, а мстит им, что цель всех его гонений не исправление, не пример другим, а личное мщение робкой души.

Соглашаясь с цензором, рассматривающим „Русский архив", в том, что статья много теряет значения своего потому, что является на страницах строго специального и в публике мало распространенного издания, Цензурный комитет не мог не признать основательным и того мнения цензора, что в настоящее время едва ли могут быть уместны даже и в специальном журнале статьи, которые воскрешают из сравнительно неотдаленного прошлого идеи цареубийства и социального переворота, а потому определил: „о доложенной статье довести до сведения Главного управления по делам печати"» [1]. Одновременно в Петербург сообщалось, что весь тираж журнала, находившийся в типографии, опечатан, а набор — рассыпан [2]. Началось,— как писал впоследствии Бартенев,— время «бесплодных объяснений и двухмесячных хлопот». В результате издателю «Русского архива» все же удалось получить санкцию министра внутренних дел на выпуск в свет задержанного цензурой журнала, но с непременным условием, что-

[1] ЦГИАЛ, ф. 776, оп. 3, № 156, лл. 93—94— В подлиннике описка: 1824 — *вм.* 1825 г.
[2] Там же, л. 96.

бы из текста «Записок» «были сделаны исключения, указанные Комитетом».

В архиве Главного управления по делам печати сохранился ряд документов, относящихся к дальнейшей цензурной истории «Записок» Горбачевского. Среди них: перечень страниц второй книги «Русского архива», подлежащих изъятию, сообщение московского генерал-губернатора князя Долгорукова в Главное управление по делам печати о том, что эти изъятия произведены «с надлежащей правильностью и точностью» и что переверстанный во многих местах журнал 12 мая 1882 г. выпущен в свет, и, наконец, сообщение того же Долгорукова о том, что «27 сего мая уничтожены сожжением при Басманном частном доме выдержки из 2-й книжки журнала „Русский архив"...» [1]. Согласно дошедшему до нас акту, сожжено было девять пачек вырезок, изъятых из 1009 экземпляров журнала [2]. Между тем, в цитированном выше «Представлении» Московского цензурного комитета говорилось, что 13 апреля к 2 часам пополудни (момент наложения ареста на журнал) в типографии было отпечатано 1200 экземпляров «Русского архива».

Таким образом, часть экземпляров 2-й книжки «Русского архива» сохранилась без цензурных изъятий и текст «Записок» в них остался в том виде, как он первоначально был напечатан Бартеневым. Один из таких полных экземпляров и был использован при печатании «Записок» отдельными изданиями в 1916 и 1925 гг.

Уже после выхода 2-го издания «Записок» в Пушкинский Дом Академии наук в Ленинграде поступила полная рукописная копия «Записок» Горбачевского, принадлежавшая известному собирателю старообрядческих документов В. Г. Дружинину. Как пишет Ф. Г. Шилов, Дружинин собирал старинные книги, рукописи по поморскому старообрядчеству, чем приобрел широкую известность, и «кроме того он собирал русские запрещенные книги или издания, покалеченные цензурой, но с тем, чтобы они были без вырезанных страниц» [3]. Этим, видимо, и объясняется наличие в его коллекции полной рукописной копии «Записок» Горбачевского. Проведя внешний анализ этой копии, М. В. Нечкина отмечала, что общий ее вид — пятна типографской краски, следы пальцев наборщиков, типографская разметка зеленым карандашом и другие признаки — не оставляют сомнения, что перед нами экземпляр типографии «Русского архива», переданный из редакции непосредственно для набора [4]. Однако нельзя согласиться с предположением исследовательницы о том, что и эта «наборная» копия едва ли доносит до нас подлинный текст «Записок», что «перепи-

---

[1] ЦГИАЛ, ф.776, оп. 3, № 156, лл. 98—106.

[2] Там же, л. 106.

[3] Ф. Г. Шилов. Записки старого книжника. М., 1959, стр. 27.

[4] «Исторические записки», т. 54, стр. 295.

санная для типографского набора, она, может быть, уже отразила редакционную правку, предварительно проведенную на подлиннике или предшествующей копии»[1]. В связи с этим напомним еще раз историю публикации «Записок» в «Русском архиве». В редакционной заметке к «Запискам» Бартенев тогда писал: «Подлинная рукопись этих „Записок“ была привезена из Сибири. Она писана до того мелко, что из одной страницы ее выходит по нескольку печатных. Достоуважаемый Александр Иванович Баландин принял на себя труд снять с нее список, по которому она здесь печатается»[2]. Не вызывает никакого сомнения, что речь здесь идет о «наборной» копии. В этом удостоверяет нас и сличение почерка «наборной» копии с подлинными письмами Баландина, сохранившимися в архиве Бартенева. Учитывая мельчайшее письмо сибирской рукописи, невозможно допустить, чтобы на ней могла быть произведена Бартеневым какая-либо редакторская правка, как предполагает М. В. Нечкина. Из цитированных выше слов Бартенева видно, что промежуточных копий «Записок» не было. Что же касается «наборной» копии, то почти на каждой ее странице можно найти следы тщательнейшей сверки ее с оригиналом (ссылки на трудно читаемые слова в оригинале, оговорки о пропусках и пробелах в оригинале и т. д.). Следов же каких-либо произвольных редакторских изменений содержания «Записок» в «наборной» копии нет.

О стремлении редакции «Русского архива́» сохранить в неприкосновенности подлинный текст «Записок» свидетельствует и письмо Баландина к Бартеневу. 1 июня 1882 г. Баландин писал: «Очень рад, что вам удалось спасти для потомства весьма интересный документ, и судя по первоначальному и окончательному числу страниц — без особенно значительных пропусков ⟨...⟩ Так как было бы довольно скучно сравнивать статью с корректурными листами, то вы весьма одолжите меня, сообщив мне указание *страниц*, на которые покусилась цензура»[3]. Трудно предположить, что такое письмо могло быть написано, если бы Бартенев до опубликования «Записок» внес в них какие-либо изменения. Таким образом, «наборная» копия «Записок» Горбачевского является наиболее полным и, видимо, самым близким к их оригиналу текстом.

Б. Е. Сыроечковский, Л. А. Сокольский, И. В. Порох

* * *

В период завершения работы над рукописью книги скончался (12 июня 1961 г.) Борис Евгеньевич Сыроечковский.

Борис Евгеньевич родился 12 апреля 1881 г. в г. Владимире. Окончив в 1906 г. историко-филологический факультет Московского университета,

[1] «Исторические записки», т. 54, стр. 295.
[2] «Русский архив», 1882, № 2, стр. 435.
[3] ЦГАЛИ, ф. 46, оп. 1, ед. хр. 576, л. 140—140 об.

он многие годы преподавал историю в московских гимназиях, ведя одновременно научно-исследовательскую, литературную и методическую работу.

После Великой Октябрьской социалистической революции Б. Е. Сыроечковский работал в ряде школ, рабфаков и высших учебных заведений г. Москвы.

Известны заслуги Б. Е. Сыроечковского в развитии архивного дела в нашей стране. С 1924 г. он состоял научным сотрудником Центрархива РСФСР, выполняя обязанности секретаря «Комиссии для издания материалов по истории движения декабристов». Им написано и отредактировано свыше 80 различных статей, книг и сборников документов. Значителен вклад историка в дело введения в научный оборот новых материалов, связанных с восстанием декабристов. В 20—30-х годах им подготовлены и изданы следственные дела П. И. Пестеля и С. И. Муравьева-Апостола, «Записки» И. И. Горбачевского и другие материалы, имеющие первостепенное значение для научного изучения движения декабристов. Много сделано Б. Е. Сыроечковским для установления различных редакций важнейшего памятника идеологии декабризма — «Русской правды» Пестеля. В 1954 г. под редакцией Б. Е. Сыроечковского и Н. М. Дружинина был издан сборник статей «Очерки из истории движения декабристов». В 1960 г. под редакцией Б. Е. Сыроечковского и И. В. Пороха вышел в Саратове сборник С. Н. Чернова «У истоков русского освободительного движения».

Несмотря на преклонный возраст и болезнь, Борис Евгеньевич до последних дней жизни продолжал научную работу, щедро делясь своими обширными знаниями с товарищами и учениками.

РАЗНОЧТЕНИЯ КОПИИ М. А. БЕСТУЖЕВА В ГПБ

Стр. 5, строка 6 св.

Вместо: не ослабляя желаний ∾ воспламеняло — не ослабляя желаний всех, некоторых еще более воспламеняло.

Стр. 6, строка 12 св.

Вместо: взносами — произвольными взносами

Стр. 6, строка 14 св.

Вместо: оного — оной процентами.

Стр. 6, строка 7 сн.

Вместо: По проходе — при проходе

Стр. 7, строка 14 сн.

Вместо: догадались — досадывали

Стр 7, строка 12—11 сн.

Вместо: и невозможности ∾ общества — и невозможности славянам осуществить свои желания без содействия русского и известного ему польского тайных обществ.

Стр. 8, строка 25 св.

Вместо: многих сообщений — многих и долгих совещаний

Стр. 9, строка 15 св.

Вместо: единодушно — за основание

Стр. 9, строка 16 св.

После слов: членами Южного общества *следует:* Большая часть славян соглашалась на соединение, но прежде хотели видеть составленную конституцию, узнать меры ко введению оной и имена главных членов Южного общества.

Стр. 9, строка 19—18 сн.

Вместо: время ∾ усилит его — время не охладит, а усилит порыв, замеченный им в большей части членов

Стр. 11, строка 21 сн.

Вместо: федеральным — федеративным

Стр. 11, строка 14—13 сн.

Вместо: приписывавшего ∾ людей — полагавшего достаточным сильной воли людей для достижения цели.

Стр. 14, строка 6 св.

После слов: бережливости *следует:* можно приобретать богатства и каким образом

Стр. 14, строка 21 сн.

Вместо:.........— улучшить.

Стр. 15, строка 12 сн.

Вместо: страстях — умах

Стр. 17, строка 5 сн.

Вместо: Кузьмину — спокойствию Кузьмина

Стр. 20, строка 6—7 св.

Вместо: сверх того ∾ отчетливость — может тогда только быть, когда она не скрывается и всем известна, а этого не может существовать без отчетности.

Стр. 20, строка 14 св.

После слов: если *следует:* все остальные более или менее склонны последовать их примеру. Первая батарейная и Вторая легкая роты 8-й бригады начнут первые.

Стр. 23, строка 7—8 св.

Слова: Сделать народ ∾ опасным — *отсутствуют.*

Стр. 24, строка 4 св.

Вместо: за Россию — за свободу.

Стр. 25, строка 14 св.

Вместо: заставить — надеялся, что его хладнокровие и настойчивость заставят

Стр. 26, строка 13—12 сн.

Вместо: в пользу мер Южного общества — за положительные правила Славянского общества

Стр. 28, строка 12—13 св.

Вместо: или желая ∾ страсти — может быть, желая картиной лучшей будущности воспламенить умы

Стр. 29, строка 13—15 св.

Вместо: им сего ∾ ими права — им главного, заставить их только о нем догадываться, думать и довести их до того, чтобы они сражались, не увлеченные минутным энтузиазмом, но постоянно за правость своих мыслей.

Стр. 30, строка 11—10 сн.

После слов: Новым заветом *следует:* что все власти от бога

Стр. 37, строка 4 сн.

Вместо:.... — тирана

ПРИМЕЧАНИЯ

ЗАПИСКИ

Историю создания и анализ текста «Записок» — см. выше в статье, стр. 273—305.

В настоящем издании воспроизводится текст наборной копии «Записок», хранящейся в ИРЛИ, ф. Р. I, оп. 5, ед. хр. 91.

В конце рукописи стоит дата, поставленная ее переписчиком А. И. Баландиным,— 8 августа 1872 г.

[1] Тайная революционная организация — Общество соединенных славян возникло в 1823 г. в Новоград-Волынске. Ее учредителями были офицеры 8-й артиллерийской бригады братья Петр и Андрей Борисовы и политический ссыльный польский шляхтич Юлиан Люблинский. Все три организатора Общества имели уже определенный опыт конспиративной и революционной деятельности. Еще в 1818 г. в с. Решетиловке Полтавской губ. братья Борисовы при участии юнкера Волкова создали кружок единомышленников, получивший название Общества первого согласия. Вскоре он был преобразован в Общество друзей природы. Люблинский принадлежал в 1819—1822 г. к одному из тайных студенческих обществ в Варшаве, руководимых Союзом свободных поляков.

В программных документах вновь созданной тайной организации — Общества соединенных славян, каковыми являются «Правила» (или «Катехизис») и «Клятвенное обещание», при всей их политической незрелости и незавершенности отчетливо выступает идея славянского соединения и требование борьбы против крепостничества и деспотизма. Своей ближайшей целью члены Общества ставили ниспровержение самодержавия, установление республики, ликвидацию крепостного права и восстановление независимости Польши. Большое место в осуществлении поставленной цели отводилось самоусовершенствованию, как умственному, так и моральному. Вместе с тем ставка делалась на революционный переворот при помощи армии. Конечной задачей Общества было создание республиканской федерации славянских народов. К числу наиболее активных членов Общества принадлежали братья Борисовы, Горбачевский, Я. А. Андреевич 2-й, В. А. Бечаснов, В. Н. Соловьев, А. Д. Кузьмин. М. А. Щепилло и некоторые другие (см. ВД, тт. IV—IX; М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. II. М., 1955, гл. XIV, XVIII).

[2] Одновременно официальным заместителем Борисова 2-го был избран поручик Пензенского полка П. Ф. Громницкий. «В случае болезни, командировки или отлучки Борисова 2-го, который был начальником Общества, Громницкий,— как он сам показывал по этому поводу на следствии,— должен был заступить его место» (ЦГАОР, ф. 48-И, д. 440, л. 3 об.). Громницкий принял в Общество своего сослуживца по полку капитана А. И. Тютчева. После слияния Общества соединенных славян с Южным обществом Громницкий не проявлял активности, а во время восстания Черниговского полка он вместе с Н. Ф. Лисовским по существу отказался помочь своим товарищам. Осужден по 2-му разряду.

[3] Специфическая военная терминология тех лет. Имеется в виду расположение войск вне стационарных казарм на постое у местных жителей.

[4] Этим «извлечением» из «Русской правды» был текст известного программного документа Южного общества под названием «Конституция Государственный завет». Автором его являлся П. И. Пестель (список с «Конституции Государственного завета» сохранился в деле прапорщика Саратовского полка И. Ф. Шимкова — ЦГОАР, ф. 48-И, д. 445, лл. 8—9. Впервые опубликован в «Красном архиве», 1926, т. 6, стр. 280—284. Ср. ВД, т. VII, стр. 213—215). М. В. Нечкина справедливо подчеркнула генетическую связь «Конституции Государственного завета» с «Русской правдой» (М. В. Нечкина. Из работ над «Русской правдой».— «Очерки», стр. 73—83)

У исследователей не вызывает разногласий оценка содержания «Государственного завета». Этот документ воспроизводит положения ранней, умеренной редакции «Русской правды», провозглашавшей постепенное освобождение крестьян от крепостной зависимости при условии выполнения ими в переходный период повинностей в пользу помещиков.

Но при решении вопроса о дате возникновения «Конституции Государственного завета» в литературе имеются противоположные суждения. М. В. Нечкина, категорически отвергая всякую возможность появления этого документа в январе-феврале 1823 г. (как полагают Л. А. Медведская-Басова, Б. Е. Сыроечковский и некоторые другие историки), утверждает, что он возник между 3 и 7 сентября 1825 г. и был специально продиктован Пестелем М. П. Бестужеву-Рюмину для ознакомления «славян» с программой «южан» (М. В. Нечкина.— «Очерки»; Движение декабристов, т. II. М., 1955, стр. 471—472). Чтобы объяснить вызванные этой датировкой явные противоречия в самом содержании программных документов Южного общества, М. В. Нечкина обращается к истории создания «Русской правды». Очень оригинально и остроумно строя свои наблюдения, исследовательница приходит к выводу, «...что в тот день 1825 г., когда Бестужев-Рюмин, присоединивший Общество соединенных славян к Южному обществу, обратился к Пестелю с просьбой дать ему требуемую „славянами" конституцию, *принятую Южным обществом,* Пестель продиктовал основное содержание принятой в 1823 г. Южным обществом конституции. Ибо другой какой-либо, *принятой Южным обществом,* конституции не существовало» (М. В. Нечкина. Из работ над «Русской правдой».— «Очерки», стр. 81—82).

Однако целый ряд важных документальных свидетельств ставит под сомнение всю сложную систему доказательств в пользу датировки возникновения «Конституции Государственного завета» 3—7 сентября 1825 г. Прежде всего заметим, что Пестель впервые услышал о «славянах» от Бестужева-Рюмина только после Лещинского лагеря (ВД, т. IV, стр. 169, ср. стр. 118, 138). Но этого мало. Так, уже 1 сентября Бестужев-Рюмин показывал «Конституцию Государственный завет» М. М. Спиридову (ВД, т. V, стр. 110—111, 175—176) и на следующий день после первого организационного собрания «славян» и «южан», т. е. 4 или 5 сентября, вручил ее А. С. Пестову. Трудно предположить, что Бестужев-Рюмин, не имея у себя этого документа, стал бы обещать «славянам» на первом же объединенном собрании «немедленно доставить» копию с конституции («Записки», стр. 9). Кроме того, если бы Пестель специально для «славян» диктовал Бестужеву-Рюмину текст «Конституции», то он не мог бы заявить на следствии о том, что не знает, «какой Государственный завет дан был от Бестужева-Рюмина Славянскому обществу», но точно помнит, «что под мою диктовку писал Бестужев извлечение краткое из „Русской правды"» (ВД, т. IV, стр. 188).

[5] Эти сведения, полученные мемуаристом, как явствует из «Записок», от Бестужева-Рюмина (ВД, т. IX, стр. 63, 65, 67; ср. ВД, т. IV, стр. 283), подтверждаются другими документами о русско-польских революционных связях 1820-х годов (П. Ольшанский. Декабристы и польское национально-освободительное движение. М., 1959).

[6] Документально устанавливается, что донос Майбороды датирован 25 ноября 1825 г. (ВД, т. IV, стр. 8—9).

[7] Вопрос о тактических взглядах «славян» остается до сих пор дискуссионным. Еще в 1927 г. М. В. Нечкина в книге «Общество соединенных славян», опираясь на комментируемый текст «Записок» Горбачевского, выдвинула положение о том, что «славяне» были противниками военной революции и явились первыми носителями идеи народной революции (стр. 210). Эта точка зрения осталась в сущности без изменений во всех последующих работах М. В. Нечкиной, посвященной декабристам. Сразу же по выходе книги М. В. Нечкиной А. Е. Пресняков поставил под сомнение ее утверждение о том, что «„славяне" — первые носители „революции народной"», что для них характерна «ориентация на массы». «В этих „выводах",— писал А. Е. Пресняков,— много увлечения и преувеличения. Одной из главных трудностей в разрешении задачи, которую М. В. Нечкина себе поставила, было преодоление обаяния увлекательных „Записок Горбачевского", которому она сильно подчинилась» («Каторга и ссылка», 1927, № 6, стр. 253). Несогласие с заключением о приверженности «славян» идее народной революции высказано также в откликах на работы М. В. Нечкиной: Н. Н. Лысенко («К вопросам тактики декабристов». Киев, 1949), Н. Г. Сладкевича («Вопросы истории», 1950, № 7, стр. 158) и С. Б. Окуня («Вопросы истории», 1956, № 10, стр. 156—157). Критические замечания по поводу утверждений М. В. Нечкиной о разночинческом характере тактических взглядов «славян» сформулированы в статьях И. В. Пороха, посвященных восстанию Черниговского полка («Ученые записки Саратовского университета», т. XXXIX, 1954 и «Очерки»).

[8] М. В. Нечкина в статье «Кто автор „Записок" И. И. Горбачевского?» вставила вместо многоточия слово «свободы», выброшенное якобы П. И. Бартеневым при издании «Записок» как «опасное» («Исторические записки», т. 54, стр. 296). В наборной рукописи под многоточием (восьми чернильными точками) значится едва приметное слово «свободы», написанное карандашом, над ним карандашом же поставлены два знака вопроса. Слово «свободы» написано не рукой переписчика и, безусловно, является поздней вставкой, вряд ли восходящей к подлинной рукописи. На этом основании в публикуемом тексте «Записок» слово «свободы» отсутствует.

[9] Показательно в этом отношении то, что в подлиннике «Правил» соединенных славян в тексте первого пункта их дважды стоит вместо слова «оружие» — символический знак, изображающий штык (ЦГАОР, ф. 48-И, д. 431, л. 3 об.; ср. ВД, т. V, стр. 12).

[10] «Правила» соединенных славян, состоявшие из 17 пунктов, сохранились в деле Борисова 2-го (опубликованы: ВД, т. V, стр. 12—13). Эти «Правила», наряду с социально-политическими декларациями (ликвидация крепостного права, создание общеславянской федеративной республики), содержали в большинстве своем требования самоусовершенствования и нормы морали. В целом содержание «Правил» свидетельствовало о недостаточной политической зрелости их авторов в момент написания этого документа. Вместе с тем апелляция к оружию в «Правилах» подчеркивала революционность «славян» (Ю. Г. Оксман. «Пифагоровы законы» и «Правила соединенных славян».— «Очерки», стр. 474—515; И. В. Порох. Восстание Черниговского полка.— Там же, стр. 140; М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. II, стр. 155—167).

[11] При всех разногласиях и отличительных качествах членов Южного и Славянского обществ у автора «Записок» не было оснований, кроме личных мотивов, для такого категорического вывода. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить взаимные характеристики, данные Борисовым 2-м и Бестужевым-Рюминым обоим Обществам. «Цель сего Общества,— говорил Борисов 2-й о южной организации декабристов,— есть введение в России чистой демократии, уничтожающей не токмо сан монарха, но дворянское достоинство и все сословия и сливающее их в одно сословие гражданское» (ВД, т. V, стр. 54). Бестужев-Рюмин писал о Славянском союзе: «В сем Обществе я нашел много энтузиазму, решительности, но порядка, цели, ясно определенной, и плана не было. Одно в сем Обществе замечательно то, что оно

демократическое» (ВД, т. IX, стр. 61). Демократичность взглядов «южан» и «славян», единство их помыслов и целей явились основными побуждающими стимулами объединения. Вряд ли бы эти организации соединились, будь они «друг другу совершенно противоположны».

[12] Утверждение Спиридова о том, что Кузьмин и Соловьев к моменту сбора войск 3-го пехотного корпуса на Лещинские маневры уже два года состояли в Обществе соединенных славян — ошибочно. Как явствует из показания самого Соловьева, он был принят в тайное общество «славян» в феврале 1825 г. в м. Черняхове Громницким (ВД, т. VI, стр. 139; ср. «Воспоминания и рассказы», т. II, стр. 12). Точных данных о приеме Кузьмина в Славянский союз не имеется, однако нет сомнения, что и он не был в числе организаторов Общества и не имел к августу 1825 г. двухлетнего стажа пребывания в нем.

[13] Утверждение мемуариста относительно принадлежности И. И. Сухинова к Обществу соединенных славян является недоразумением. Возможно, что оно восходит к ошибочной квалификации Сухинова как члена Общества, данной во «Всеподданнейшем докладе аудиториатского департамента от 10 июня 1826 г.» (ВД, т. VII, стр. 195) и перекочевавшей оттуда в сообщение «С.-Петербургских сенатских ведомостей» от 21 августа 1826 г. Другие более авторитетные свидетельства опровергают принадлежность Сухинова к этому Обществу. В специальной литературе на это было впервые обращено внимание Ю. Г. Оксманом, который, комментируя «Записку о Сухинове» В. Н. Соловьева, привел убедительные данные о том, что Сухинов сразу вступил в Южное общество («Воспоминания и рассказы», т. II, стр. 22, 33—35). Об ошибочности утверждения о принадлежности Сухинова к Обществу соединенных славян свидетельствует и то обстоятельство, что ни один из членов Общества не называет его в составе своей организации (ВД, т. V, стр. 20, 198, 206, 270, 273, 378, 438 и др.). Об этом же говорят и показания самого Сухинова (ВД, т. IV, стр. 324; т. VI, стр. 142). Один из организаторов и руководителей Общества соединенных славян — Борисов 2-й, рассказывая на следствии о приеме новых членов после организованного присоединения «славян» к Южному обществу, и в том числе капитана Фурмана, принятого одновременно с Сухиновым, подчеркивал, что в это время они принимались «не в Славянский Союз, но в Южное общество. Славяне тогда уже соединились с сим последним» (ЦГАОР, ф. 48-И, д. 442, л. 7).

[14] Во втором издании «Записок» (М., 1925) это предложение было напечатано так: «Посему Борисов 2-й и некоторые из его товарищей осуждали убийство Павла I, Людовика XVI, изгнание Иакова II и заточение Фердинанда VII» (стр. 78). Впервые этот текст по наборной рукописи опубликован М. В. Нечкиной в «Хрестоматии по истории СССР», т. II. М., 1941, стр. 355—357.

[15] Согласно библейскому преданию, недалеко от местечка Эндор в пещере жила волшебница, которая могла на время воскрешать умерших. Так, по просьбе царя Саула, она вызвала пророка Самуила, предсказавшего просителю поражение в борьбе с филистимлянами и смерть.

[16] Это утверждение мемуариста справедливо лишь частично. С. И. Муравьев-Апостол вел довольно широкую и разнообразную подготовительную работу среди солдат. Так, унтер-офицеров и рядовых Черниговского полка руководитель Васильковской управы стремился привязать к себе и вызвать их доверие человеческим отношением, не открывая целей заговора. Такой метод подготовки солдат соответствовал установке Директории Южного общества после того, как откровенная революционная пропаганда В. Ф. Раевского среди солдат и юнкеров 16-й пехотной дивизии закончилась арестом «первого декабриста» и отстранением от командования дивизией бывшего члена Союза благоденствия генерал-майора М. Ф. Орлова. Интересные данные об этом сообщил в своем показании Майборода. «Надежды <...> его <Южного общества.— *Ред.*>, как я слышал от полковника Пестеля, главным образом основывались прежде на приобретении доверенности нижних чинов, которые бы в нужном случае пошли туда, куда поведут их начальники, но после извест-

ного происшествия в 16-й пехотной дивизии Общество переменило будущие свои орудия; вместо обольщения нижних чинов признано лучшим привлекать сколько можно более офицеров (но в принятии их быть как можно осторожнее), которые бы постепенно привязывали к себе солдат и старались приготовить к слепому последованию воле своих начальников» (ВД, т. IV, стр. 12—13). В отношении же семеновских солдат С. Муравьев-Апостол действовал более решительно. Он недвусмысленно давал им понять, что «дело», к которому их призывал, «клонится к бунту против царской власти» (там же, стр. 228). Однако не исключена возможность, что и семеновцам С. Муравьев-Апостол не излагал подробно существо подготавливаемого государственного переворота, не без основания полагая, что разговоры о республике, равенстве сословий и т. п. окажутся недоступными их пониманию. О недостаточной политической зрелости солдат тех лет свидетельствует тот факт, что когда во время восстания руководители его стали говорить рядовым участникам о необходимости республики и свержения царя, то «солдаты стали сему внушению противиться» (ВД, т. VI, стр. 105).

[17] Идея создания специального отряда цареубийц под названием «garde perdue» принадлежит Пестелю. Выдвинул он ее при обсуждении тактики действий на съезде руководителей Южного общества в январе-феврале 1823 г. (ВД, т. IV, стр. 176, 180, 204, 458 и др.). Бестужев-Рюмин, формируя из «славян» отряд цареубийц, выполнял решение Директории и, естественно, должен был сообщить Пестелю о результатах.

[18] Сообщение о преднамеренной жестокости Пестеля и о дурной памяти о нем в полку является вымыслом. В специальном донесении агента Станкевича, наблюдавшего за настроением личного состава Вятского полка после ареста их командира, сообщалось: «Нижние чины и офицеры непримерно жалеют Пестеля, бывшего их командира, говорят, что им хорошо с ним было <...>, что такого командира не было и не будет» («Красный архив», 1926, т. 3, стр. 192).

[19] Высказывая мнение о бездеятельности Васильковской управы и о решающей роли «славян» в организации восстания Черниговского полка, Горбачевский искажает действительность. Известно, что именно Васильковская управа в лице ее руководителей в течение 1823—1825 гг. являлась инициатором постановки вопроса о конкретных планах военной революции (Бобруйский, Белоцерковский, Лещинский) и подготавливала ее. Васильковская управа усилиями С. Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина стала самой многочисленной в составе Южного общества. Установив связи с солдатами бывшего Семеновского полка, руководители Васильковской управы сумели присоединить к Южному обществу Общество соединенных славян и, наконец, осуществить восстание Черниговского полка, что мемуарист считает наиболее ярким показателем деятельности членов тайной организации. Незаслуженное умаление роли подлинных руководителей восстания Черниговского полка и приписывание особых заслуг в нем Сухинову, Соловьеву, Кузьмину и Щепилле — характерный момент, показывающий личные и «партийные» симпатии мемуариста (И. В. Порох. Восстание Черниговского полка.— «Очерки», стр. 121—185).

[20] Получив с Андреевичем 2-м письмо-отчет, написанный рукой Горбачевского, и приложение к нему относительно артиллерийских снарядов, Бестужев-Рюмин передал их 30 ноября Пестелю через Крюкова 2-го, приезжавшего в Васильков с поручением руководителя «южан» объявить о переносе срока восстания на ближайшее время (ВД, т. IV, стр. 361—362). Следователи, заинтересовавшись этими «двумя бумагами от славян», установили их содержание. В одной из них было написано, «что солдаты 8-й артиллерийской бригады с таким рвением ожидают начала (возмутительного) действия, что офицеры, принадлежавшие Обществу, не находят средств удержать их нетерпение» (ВД, т. V, стр. 205, 218—219, 222 и др.; ср. ВД, т. VI, стр. 353). В другой — рекомендовалось руководителям Южного общества подействовать на армейское и корпусное начальство в том плане, чтобы оно дало указание проверить боеготовность артиллерийских снарядов, ибо у славян-артиллеристов были на этот счет сомнения (ВД, т. IV, стр. 189). Одновременно следствие установило, что

по просьбе Горбачевского записки эти были написаны Борисовым 2-м, а им только переписаны (ВД, т. V, стр. 257—258). Однако во время расследования вопроса о бумагах, написанных Борисовым 2-м и Горбачевским, из поля зрения судей совершенно выпало то обстоятельство, что эти донесения были использованы Пестелем в качестве своеобразных агитационных документов для поднятия революционного духа у членов Тульчинской управы (ВД, т. IV, стр. 159). О том, какое значение придавал им Пестель, свидетельствует тот факт, что он приобщил их к «Русской правде», которую с Крюковым 2-м передал для хранения майору Мартынову. Оба письма «славян» были сожжены Н. Ф. Заикиным и Н. С. Бобрищевым-Пушкиным 1-м после ареста Пестеля (С. Н. Чернов. Поиски «Русской правды» П. И. Пестеля.— В его кн.: У истоков русского освободительного движения. Саратов, 1960, стр. 347).

[21] В соответствии с установленным в России порядком престолонаследия, после неожиданной смерти Александра I, не имевшего детей, в стране стали присягать Константину как законному наследнику. Однако еще 16 августа 1823 г. на тайном «совете» царской семьи решено было передать право наследства на престол Николаю. Манифест об этом и письмо с отречением от своих прав Константина хранилось в Успенском соборе в Москве. О них знали лишь несколько самых приближенных к императору лиц. Этот факт способствовал возникновению междуцарствия, продолжавшегося с 19 ноября по 14 декабря 1825 г., когда в России не было признанного царя. Декабристы рассматривали такое стечение обстоятельств как наиболее благоприятное для открытого выступления и попытались воспользоваться им, подняв восстание в Петербурге.

[22] В наборной рукописи переписчик, не сумев прочесть последнее слово, поставил четыре точки, сопроводив это письмо следующим примечанием: «Нельзя разобрать: какие-то буквы, похожие на Ц». В тексте ГПБ вместо четырех точек стоит слово «тирана».

[23] Показание С. Муравьева-Апостола позволяет исправить неточность мемуариста: Муравьев-Апостол узнал о событиях 14 декабря утром 25 декабря в Житомире (ВД, т. IV, стр. 370—371).

[24] В. Н. Соловьев в биографической «Записке» о Сухинове ошибочно сообщил о том, что последний свою подорожную передал Бестужеву-Рюмину. Как установил комментатор «Записок» Ю. Г. Оксман, в этом случае правота оказалась на стороне Горбачевского (Ю. Оксман. Декабрист В. Н. Соловьев и его воспоминания.— «Воспоминания и рассказы», т. II, стр. 22, 35—36; ср. ВД, т. V, стр. 390).

[25] Показания Андреевича 2-го и Борисова 2-го подтверждают в целом это сообщение мемуариста, однако они вносят некоторые уточнения (ВД, т. V, стр. 59, 224). По-видимому, Андреевич 2-й передал на словах предупреждение Бестужева-Рюмина о более ранних сроках восстания, которое Горбачевский представил в виде цитаты из письма.

[26] Источниками этих сведений могли быть Борисов 1-й, Громницкий, Иванов или Тютчев, но скорее всего первый из них. Фамилии офицеров Троицкого полка капитана Киселевича и поручика Ярошевича Иванов назвал Борисову 1-му во время приезда того в Житомир. Через Борисова 1-го Иванов советовал Громницкому и Тютчеву обратиться за помощью к Киселевичу и Ярошевичу. Но принадлежность их к тайному обществу осталась недоказанной. Единственный из «славян», кто назвал Киселевича и Ярошевича своими товарищами по организации, был Громницкий. При этом, как выясняется из материалов следствия, он, видимо, опирался в своем утверждении на совет Иванова искать у названных офицеров Троицкого полка содействия в организации восстания (ВД, т. VIII, стр. 88, 94, 217; т. V, стр. 83, 90, 94, 95, 441, 457; ЦГАОР, ф. 48-И, д. 440, л. 12).

[27] Настоящая фамилия названного лица Красницкий.

[28] Местечко, в котором служил Головинский, называлось Искорость.

[29] Письмо Борисова 2-го к Головинскому, написанное, по-видимому, 3 января

1826 г., явилось предметом специального разбирательства Следственной комиссии. На следствии выяснилось, что Головинский был принят Борисовым 2-м в Общество соединенных славян летом 1825 г., до Лещинских лагерей (ВД, т. VI, стр. 358—359). 21 сентября 1825 г. он получил от Борисова 2-го по почте письмо следующего содержания:

«Любезный Павел Казимирович.

На маневрах случился с нами большой переворот; однако не подумайте, чтобы он произошел в мыслях. Сего никогда не случится. Наши мысли все те же, но наши дела приняли другой вид, который не может вас опечалить. Ежели вы принимаете в нас участие, то приезжайте в Житомир, адресуйтесь к Киреевy или Пестову, они объявят вам о наших делах, кои идут как нельзя лучше. Я думаю, что будете довольны» (ЦГВИАМ, ф. 343, д. 220, л. 331—331 об. Цит. по подлиннику. Ранее это письмо было известно по неисправной копии.— М. В. Нечкина. Общество соединенных славян. М., 1927, стр. 103—104).

В октябре-ноябре 1825 г. Головинский получил через Красницкого новое письмо от Борисова 2-го. Упомянутое мемуаристом письмо было третьим по счету, отправленным Борисовым 2-м Головинскому. Последний ошибочно датирует его 10 декабря 1825 г. вместо первых чисел января 1826 г. В этом письме Борисов 2-й, как показал Головинский, предлагал ему поднять на восстание солдат 4-й парочно-артиллерийской роты (ВД, т. VI, стр. 360).

[30] Это утверждение мемуариста противоречит фактам и свидетельствует о его недостаточной осведомленности относительно планов руководителей Васильковской управы. Получив сведения об аресте Пестеля, С. Муравьев-Апостол, по свидетельству Соловьева, выехал 24 декабря из Василькова в Житомир, чтобы известить всех сообщников о времени начала действия, предлагая начать с Черниговского полка (ВД, т. VI, стр. 139; ср. Ф. Ф. Вадковский. Белая Церковь.— «Воспоминания и рассказы», т. I, стр. 192). Все последующие шаги С. Муравьева-Апостола и самый факт восстания Черниговского полка неопровержимо доказывают наличие у него накануне выезда из Василькова замысла поднять восстание на юге, возглавив его черниговцами (ВД, т. IV, стр. 295, 348, 358, 362).

Высший генералитет 1-й армии хорошо понимал, что без предварительной подготовки восстание не могло бы вспыхнуть. «Мгновенная решимость нескольких офицеров восстать против власти государя императора,— писал генерал Рот в рапорте главнокомандующему 1-й армией генералу Сакену,— по одному слову подполковника Муравьева-Апостола его спасти, когда он был арестован, явно доказывает, что главнейшие сообщники его были уже приготовлены им к бунту. Но как, с другой стороны, невероятно, чтоб приготовление сие, в особенности между неистовыми и необразованными людьми, могло долгое время оставаться тайным, ибо и должно полагать, что подполковник Муравьев начал их побуждать к мятежу только после кончины покойного государя и в особенности после арестования полковника Пестеля, которое, как должно думать, не могло быть от него сокрыто и заставило его предвидеть такой же участи, для избежания коей он решился прибегнуть к крайним средствам» (ЦГВИАМ, ф. 36, оп. 4/847, д. 7, л. 120; ср. ВД, т. X, стр. 116).

[31] Арестовав братьев Муравьевых-Апостолов в ночь с 29 на 30 декабря в м. Трилесах на квартире командира 5-й мушкетерской роты поручика Кузьмина, Гебель поставил для наблюдения за ними караул в составе: начальника караула фельдфебеля М. Шутова, за унтер-офицера Алексея Никифорова, за ефрейтора Алексея Григорьева и караульными Ивана Аникина, Мартына Рогачева, Василия Доминина (в ВД, т. VI, стр. 93, он ошибочно назван Долининым).

Во время вооруженного освобождения С. Муравьева-Апостола Кузьминым, Сухиновым, Щепиллой и Соловьевым на посту в сенях стоял Иван Аникин, с наружной стороны у окна Мартын Рогачев, а с другой стороны избы у окна Василий Доминин. Именно последний и оказал сопротивление Муравьеву-Апостолу, когда он вылезал из окна (ЦГВИАМ, ф. 36, оп. 4/847, д. 7, л. 149).

Начальник штаба 1-й армии генерал Толь, узнав о «возмутительных» действиях состава караула, допустившего избиение командира полка Гебеля, писал 30 января 1826 г. в отношении на имя генерала Рота: «Караульные и фельдфебель их Шутов суть первые зачинщики возмущения из числа нижних чинов и что в особенности фельдфебель явно прежде испорчен и в заговор введен был. А потому г. главнокомандующий армией приказать изволил всех сих людей заковать покрепче на руках и на ногах и военному суду, который над преступниками учрежден быть имеет, взять в особое внимание изменнический поступок их» (ЦГВИАМ, ф. 343, д. 198, л. 414 об.). Весь состав караула, кроме Шутова, осужденного особо, был приговорен к наказанию шпицрутенами сквозь строй в 1000 человек четыре раза.

[32] Рассказ об особых поручениях, данных якобы С. Муравьевым-Апостолом Ф. М. Башмакову и А. Ф. Фурману, вымышлен. В 9 часов утра 29 декабря Башмаков выехал из Василькова в Трилесы, куда приехал в час дня, не застав уже С. Муравьева-Апостола. Вероятнее всего, что причиной поспешного выезда из Василькова было опасение Башмакова подвергнуться аресту. В Трилесах он виделся с М. Муравьевым-Апостолом, Кузьминым и Сухиновым, однако не присоединился к восставшим, а скрылся от них у помещика Чаховского, где жил до 31 декабря. 1 января Башмаков уже находится в селении Гребенки сначала у майора Лебедева, а затем у капитана Фурмана, никуда не выезжавшего в дни восстания Черниговского полка (ЦГВИАЛ, ф. 534, д. 723, лл. 33—34, 37, 39, 53). Как утверждал Башмаков он «все сие делал единственно для того, чтобы уклониться от преступного возмущения, в котором не принимал ни малейшего участия» (ВД, т. VI, стр. 312). 5 января Башмаков и Фурман были арестованы на квартире последнего васильковским земским исправником (там же, стр. 331, 347).

[33] О цели своей поездки из Трилес Бестужев-Рюмин сообщал на следствии следующее: «Я отправился уведомить славян, чтобы они приготовили солдат к соединению с нами, лишь только мы появимся. Но узнав, что местность в полном смысле слова наводнена жандармами, которые меня искали, я вернулся назад» (ВД, т. IX, стр. 47). Нет достаточных оснований ставить под сомнение справедливость этого показания Бестужева-Рюмина, подкрепленного аналогичным заявлением С. Муравьева-Апостола (ВД, т. IV, стр. 286), и выдвигать гипотетические предположения о том, что он намеревался якобы проехать не к «славянам», а к И. С. Повало-Швейковскому и Набокову 2-му (М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. II, стр. 356). Документально устанавливается, что Повало-Швейковского Бестужев-Рюмин посетил во время поисков С. Муравьева-Апостола, до встречи с последним у Артамона Муравьева. Однако посещение это не оправдало надежд молодого руководителя Васильковской управы. Он нашел Повало-Швейковского «в отчаянии и раскаивающегося в участии, которое до тех пор принимал в делах Общества» (ЦГАОР, ф. 48-И, д. 88, л. 20). После этого визита Бестужеву-Рюмину стало совершенно ясно, что на Повало-Швейковского нечего рассчитывать как на активного участника в момент решительных действий. М. Муравьев-Апостол предельно точно изложил на следствии эпизод с неудачной поездкой Бестужева-Рюмина. «Из Трилесов, когда Бестужев поехал от нас,— писал он,— его намерение было поехать к славянам, взять несколько человек из них и отправиться в Житомир, чтобы посягнуть на жизнь генерала Рота. Он доехал до деревни графа Олизара, который ему сказал, что жандармы весь дом его осмотрели, чтобы его найти» (ВД, т. IX, стр. 267; ср. стр. 40, 120, 122; ЦГАОР, ф. 48-И, д. 101, л. 6 об.). Помня свое обещание С. Муравьеву-Апостолу, в случае, если «он увидит, что проезд до Новграда-Волынска затруднителен, то он возвратится» (ВД, т. IV, стр. 286), Бестужев-Рюмин, переодевшись у Олизара, вернулся назад. В Трилесах он уже не застал С. Муравьева-Апостола и присоединился к восставшим в с. Мытница 30 декабря (ЦГАОР, ф. 48-И, д. 71, л. 6 об.).

[34] Особо проявил себя при этом рядовой 2-й гренадерской роты Олимпий Борисов, ударивший майора Трухина. В числе главнейших преступников из состава унтер-офицеров и рядовых, таких как Михаил Шутов, Прокофий Никитин, Олимпий

Борисов был приговорен вначале к расстрелу, но по конфирмации главнокомандующего 1-й армией, выражавшей волю царя, расстрел им был заменен не менее жестоким наказанием. Каждого из них приговорили прогнать шпицрутенами сквозь строй в 1000 человек двенадцать раз «с наблюдением установленного порядка за счет тех, кои в один раз наказания не выдержат, и потом сослать их вечно в каторжную работу» (ГПБ, Архив Главного штаба, д. 7, л. 12; ср. ВД, т. VI, стр. 199; ЦГВИАМ, ф. 343, д. 201, л. 21 об.).

[35] Захватив власть в Василькове, С. Муравьев-Апостол приказал Сухинову и В. Н. Петину взять на квартире командира полка знамена и полковую казну. Рядовой 2-й гренадерской роты Федор Иванов, лично принимавший участие в выполнении этого приказа, рассказал следователям, что наиболее энергично действовали при этом унтер-офицер Корчагин, рядовые Игнат Федоров, Тарас Николаев, Моисей Федоров и некоторые другие солдаты из первого полуввзвода, имена которых он не знает (ЦГВИАМ, ф. 36, оп. 4/847, д. 7, лл. 145 об.— 146). По приказу Сухинова унтер-офицеры Корчагин и Лазыкин вынесли из квартиры Гебеля полковые знамена и принесли их на то место, где собрались роты восставшего полка. При описании этого случая Горбачевский допускает неточность, назвав действующим лицом вместо поручика Петина прапорщика А. Е. Мозалевского. Вместе с тем мемуарист, «литературно» переработав факты, представил события совершенно превратно. Не мог Сухинов, рискуя своей жизнью, спасать от гнева солдат полкового командира, о чем красочно повествует Горбачевский, по той простой причине, что Гебель в это время с помощью штаб-лекаря Николаева скрылся в избе одного из местных жителей (ВД, т. VI, стр. 109).

[36] По всей видимости, официальным первоисточником клеветнической версии о грабительских намерениях восставших был рапорт волынского гражданского губернатора М. Ф. Бутовта-Андржейковича от 31 декабря 1825 г. (ВД, т. VI, стр. 8—9, 320—321; ср. ЦГВИАМ, ф. 36, оп. 4/847, д. 7, л. 26 об.). Слух о грабежах и неистовствах черниговцев имел целью дискредитировать «мятежников» и отвлечь внимание от политических лозунгов восстания. В действительности основная масса солдат Черниговского полка, возглавляемых С. Муравьевым-Апостолом, соблюдала строгую дисциплину. По явно преувеличенным данным, ущерб, нанесенный ими жителям Васильковского повета, главным образом за счет использования продуктов питания, исчислялся 17 721 руб. ассигнациями и 123 руб. серебром (В. Базилевич. Збитки вид повстания 1825—1826 рр.— «Декабрісти на Україні». Київ, 1926, стр. 106—108). Указом от 24 сентября 1827 г. на имя министра финансов Николай I распорядился выдать из государственного казначейства 10000 рублей ассигнациями для вознаграждения жителей Василькова и его уезда, пострадавших от восстания Черниговского полка (Ф. И. Покровский. Расходы государственного казначейства на декабристов.— «Былое», 1925, № 5, стр. 90).

[37] Мемуарист не совсем точно изобразил ход событий, приукрасив и без того яркий пример верности революционному делу, который показал Михаил Шутов. С этой целью Горбачевский «устроил» встречу Шутова с командиром 9-й пехотной дивизии генерал-майором Тихановским. Выписка из Военно-судного дела фельдфебеля 5-й мушкетерской роты Михаила Шутова позволяет исправить неточность мемуариста. Шутов непосредственно содействовал освобождению из-под ареста С. Муравьева-Апостола. Получив от командира роты поручика Кузьмина приказ привести оставшихся солдат в Васильков, Шутов, направляясь со своей командой в штаб-квартиру полка, встретил шесть человек рядовых 5-й роты, которые объявили, «что им приказано командовавшим дивизией возвратиться на ротный двор». «Шутов ⟨по показанию этих солдат.— *Ред.*⟩ сказал, что вам командующий?» и «изъявил к оному в самых дерзких выражениях явное презрение» (ЦГВИАМ, ф. 36, оп. 4/847, д. 7, л. 148—148 об.; ВД, т. VI, стр. 199). Важно отметить, что Шутов уже знал о подписании 25 декабря 1825 г. приказа о производстве его в офицеры и тем не менее примкнул к восставшим. Судили его в прежнем звании, как фельд-

фебеля, приговорив к 12 тысячам палочных ударов. Не выдержав с первого раза это нечеловеческое истязание, Шутов вторично был подвергнут наказанию, после чего сослан в Сибирь. Дальнейшая его судьба неизвестна.

[38] 31 декабря 1825 г. в 11 часов утра, отслужив наскоро молебен, полковой священник Даниил Кайзер прочел перед строем восставших «Православный катехизис». Получив от С. Муравьева-Апостола в виде вознаграждения 200 руб. ассигнациями, Кайзер должен был часть этих денег затратить на покупку повозки, чтобы сопровождать полк. Но он, по выходе восставших, остался в Василькове. Тем не менее действия его были квалифицированы как измена престолу и церкви. По приказу Николая I Синод исключил Кайзера из духовного сословия и Могилевская судная комиссия приговорила его «лиша дворянского звания, обратить на службу вечно рядовым». Царь изменил наказание осужденному на бессрочные крепостные работы. Но по состоянию здоровья Кайзер оказался непригодным к тяжелому физическому труду и был заключен в один из монастырей тюремного типа в Смоленской губ. При амнистии политическим заключенным, объявленной Указом Александра II от 26 августа 1856 г., о Кайзере забыли. 21 июля 1858 г. военный министр сообщил шефу жандармов, что царь разрешил вернуть осужденному дворянство и положить ежегодное пособие в размере 57 руб. $14^3/_7$ коп. серебром. Дальнейшая судьба Кайзера неизвестна (см. ВД, т. VI, стр. 181, 202, 295—300, 349; П. Е. Щеголев. Катехизис С. Муравьева-Апостола.— В его кн.: «Исторические этюды». СПб., 1913, стр. 358—363).

[39] «Православный катехизис» является своеобразным агитационным документом декабристского движения. Написанный в форме вопросов и ответов, напоминающий солдатские памятки, «Катехизис» широко опирался на тексты священного писания. Обращение к религиозным догматам было вызвано желанием авторов сделать свои политические призывы более понятными и авторитетными для простого народа.

По всей видимости, «Православный катехизис» был написан в период междуцарствия С. Муравьевым-Апостолом и Бестужевым-Рюминым. В ночь с 30 на 31 декабря они продиктовали текст его по памяти писарям Дмитриевскому и Хоперскому. По приказу С. Муравьева-Апостола последние вместе с другими писарями полка изготовили тринадцать экземпляров «Православного катехизиса». Как показывал на следствии С. Муравьев-Апостол, «Катехизис» был составлен «для воззвания к возмущению против монархической власти» (ВД, т. IV, стр. 277). Горбачевский верно определил его республиканское содержание. Правительство, армейское командование и местные власти в районе восстания приняли самые энергичные меры к розыску «Православного катехизиса», опасаясь его революционизирующего влияния на солдат и крестьянство (ВД, т. VI, стр. L—LI, 361—362). Однако солдаты и крестьяне не поняли политические лозунги и призывы «Православного катехизиса», и он не смог сыграть той мобилизующей роли, которую ему отводили в восстании С. Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин. Одновременно руководители Васильковской управы написали «Воззвание» к народу, призывавшее хранить спокойствие во время государственного переворота, совершаемого армией (ВД, т. IV, стр. 256).

[40] Как показывал на следствии С. Муравьев-Апостол, он, отправляя прапорщика Мозалевского с четырьмя солдатами в Киев, действительно вручил ему письмо к майору Курского полка Крупникову. Сам лично С. Муравьев-Апостол адресата не знал, но написал к нему по рекомендации Кузьмина. На следствии выявилось, что никакого майора Крупенникова или Крупникова в Курском полку не существовало, а служил в нем поручик Крупенников, которого Мозалевскому увидеть не удалось (ВД, т. IV, стр. 248, 250, 256—285; т. VI, стр. 18—23, 127, 148—149).

[41] Следственные материалы подтверждают сведения Горбачевского о том, что командир 1-й гренадерской роты капитан Козлов привел 31 декабря по приказу С. Муравьева-Апостола, переданного ему через поручика Войниловича, свое подраз-

деление в деревню Мотовиловку. Командир же 1-й мушкетерской роты капитан Вульферт предпочел скрыться в Белую Церковь. При этом в официальных документах содержатся интересные данные о деятельности капитана Козлова до его появления с ротой в Мотовиловке. Утром 30 декабря по приказу подполковника Гебеля Козлов, вместе с прибывшим в деревню Снетинку жандармским поручиком Скоковым, водил свою роту в деревню Трилесы, чтобы арестовать С. Муравьева-Апостола и его сподвижников. Не застав там восставших, он вернулся обратно. Именно в это время капитан Козлов распропагандировал антиреволюционно солдат своей роты. То же самое, но с меньшим успехом сделал капитан Вульферт. Призыв С. Муравьева-Апостола к солдатам 1-й гренадерской и 1-й мушкетерской рот не имел никакого успеха среди первых. Часть же солдат 1-й мушкетерской роты присоединилась к восставшим. Не малая заслуга в этом принадлежит солдатам-агитаторам, таким как Никита Волков из 1-й мушкетерской роты и Максим Андрианов из 6-й роты. На следствии шесть человек солдат 1-й роты «уличили его Волкова.— ⟨*Ред.*⟩, что как Муравьев прибыл в Мотовиловку с 5-ю ротами, а ротный командир отдал приказание не присоединяться к Муравьеву, а обождать его приказания, тогда он, Волков, говорил, я пойду за полком, куда знамена, туда и я, а из сего видно, что он пошел посвоему с Муравьевым» (ЦГВИАМ, ф. 36, оп. 4/847, д. 7, л. 140 об.).

Впоследствии капитан Козлов со своей ротой принимал участие в подавлении восстания, за что был награжден орденом св. Владимира 4-й степени, получил чин подполковника и переведен в гвардию (см. ВД, т. VI, стр. 25, 109, 134, 158; ЦГВИАМ, ф. 36, оп. 4/847, д. 7, лл. 48—49. 140 об., 154).

[42] Мемуарист верно передает настроение крестьян, бывших свидетелями восстания. Они связывали с успехом выступления черниговцев надежду на свое освобождение, залогом которого было провозглашение С. Муравьевым-Апостолом вольности крепостным. Отзвуки этих действий руководителя восстания нашли отражение в двух официальных документах. Командир 3-го пехотного корпуса генерал Рот, донося 7 января 1826 г. командующему 1-й армией о поведении войск и местного населения, сообщал: «Жители вовсе не изъявляют духа непокорности, даже в тех местах, где подполковник Муравьев-Апостол находился и провозглашал вольность, поселяне не вышли из повиновения и только имели о сем разговоры, совершенно прекратившиеся с окончанием бунта» (ЦГВИАМ, ф. 343, д. 198, л. 176; ср. ВД, т. VI, стр. 339). Эта информация подкрепляется выпиской из погибшего военно-судного дела Сухинова, где указано, что «Муравьев-Апостол, имея намерение возмутить вблизи квартировавшие войска, выступил со своим отрядом к Белой Церкви, постоянно провозглашая всем мнимую свободу» (ЦГАОР, ф. 109-И, д. 61, ч. 154, л. 6 об.). В данном случае речь шла о провозглашении С. Муравьевым-Апостолом свободы местному крестьянству, так как ни с одной воинской частью установить связь или войти в соприкосновение черниговцам не удалось. Для большей наглядности объявленной им воли С. Муравьев-Апостол отпустил на свободу в деревне Мотовиловке на глазах у крепостных крестьян своих дворовых. Провозглашение С. Муравьевым-Апостолом вольности крестьянам, безусловно, не означало еще окончательного решения вопроса о ликвидации крепостного права — это был только первый юридический акт на пути преобразования быта крестьян. При этом в своих действиях руководитель восстания следовал, как нам кажется, установкам «Русской правды», требовавшей немедленного освобождения крепостных крестьян (см. И. В. Порох. Восстание Черниговского полка.— «Очерки», стр. 173—174).

[43] Настоящая фамилия фельдфебеля 2-й мушкетерской роты Абрамов. Как показывал на следствии Дмитрий Грохольский, С. Муравьев-Апостол больше всех из фельдфебелей любил Клима Абрамова, который «довольно часто бывал у Муравьева» (ВД, т. VI, стр. 309). За «добровольное последование с возмутителем Мурвьевым» Абрамов был лишен знаков отличия военного ордена, разжалован в рядовые и прогнан шпицрутенами сквозь строй в 1000 человек два раза (ВД, т. VI, стр. 200; ЦГВИАМ, ф. 343, д. 201, л. 23).

[44] Описание разведки Сухинова не точно. В действительности С. Муравьев-Апостол, узнав в с. Пологах от местных жителей о том, что 17-й егерский полк выведен из Белой Церкви, поручил Сухинову с тремя солдатами проверить ночью 2 января достоверность этих данных. Разведка Сухинова не имела успеха и рано утром 3 января Щепилло послал в Белую Церковь солдата 3-й мушкетерской роты Виталия Фитиолина, который по возвращении сообщил С. Муравьеву-Апостолу, «что в местечке Белой Церкви находится 18-й егерский полк с артиллерией» («Рух декабрістів на Україні». Харків, 1926, стр. 51). На следствии Фитиолин «признался, что он, по приказанию поручика Щепиллы, переодевшись в крестьянское платье, ездил из с. Пологов в м. Белую Церковь для узнания, где находится 17-й егерский полк и, удостоверясь на дороге от встретившегося ему неизвестного мужика о выступлении оного полка по дороге к Сквире, возвратился и по приказанию же Щепиллы ходил к Муравьеву пересказать о том» (ЦГВИАМ, ф. 36, оп. 4/847, д. 7, л. 144 об.; ВД, т. IV, стр. 288; И. В. Порох. Восстание Черниговского полка.— «Очерки», стр. 176—177).

[45] Предположение Горбачевского и Вадковского (см. «Воспоминания и рассказы», т. I, стр. 198) о том, будто бы вначале восставших обстреляли холостыми снарядами — опровергается источниками, вышедшими из правительственного лагеря. Начальник штаба 1-й армии генерал Толь, лично участвовавший при подавлении восстания на Сенатской площади, передавая генералу Роту распоряжение генерала Сакена принять самые решительные меры против «мятежников», особо подчеркнул, что для этой цели лучше всего употребить кавалерию и артиллерию, памятуя, что «г. главнокомандующий приказал не щадить никаких мятежников и везде, где только можно, рубить и бить их картечью» (ВД, т. VI, стр. 36). В письме к начальнику штаба 4-го пехотного корпуса генералу Красовскому Толь напоминал: «Я еще раз повторяю, что сила оружия должна быть употреблена без всяких переговоров: происшествие 14-го числа в Петербурге, коему я был свидетель, лучшим служит для нас примером» (Там же). Имея такие категорические распоряжения, генерал Гейсмар сразу же приказал вести огонь боевыми снарядами.

[46] Самый факт вооруженного освобождения С. Муравьева-Апостола четырьмя офицерами-сослуживцами имел большое влияние на последующий ход событий. Он не только рассеял все сомнения С. Муравьева-Апостола, но и позволил встать во главе восстания признанному руководителю, без которого поднять Черниговский полк было бы невозможно. Под тяжестью неопровержимых улик С. Муравьев-Апостол вынужден был, в конце концов, признать, что восстание Черниговского полка, входившее составной частью в общий план революционного выступления Южного общества, было задумано ранее и что обстоятельства последних дней лишь ускорили его начало. «Утверждая в 29-м пункте моих ответов,— говорил на следствии С. Муравьев-Апостол, ссылаясь на свое показание от 6 февраля,— что *возмущение Черниговского полка последовало от предшествовавших ему обстоятельств, но прежде не имел я решительного к тому намерения, я* не разумел, что обстоятельства сии родили вдруг во мне мысль о возмущении, до того никогда в голове у меня не бывшую, а хотел только выразить, что обстоятельства сии уничтожили сомнения мои и колебания» (ВД, т. IV, стр. 358).

[47] Утверждение мемуариста относительно намерения С. Муравьева-Апостола просить прощения у подполковника Гебеля очень сомнительно и не подтверждается другими источниками.

[48] Столь категорическое заявление Горбачевского свидетельствует о том, что он не был посвящен во все детали подготовительной работы «южан» к предполагаемому восстанию 1826 г. (М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. II, стр. 183—222).

[49] Горбачевский справедливо упрекал М. И. Пыхачева в измене своим товарищам по тайной организации. Поздняя попытка М. И. Муравьева-Апостола реабилитировать Пыхачева утверждением, что он якобы «накануне того дня, когда его

рота выступила против нас, был арестован», не выдерживает критики. Оно опровергается показанием самого Пыхачева, который сообщил, что он был арестован в ночь с 10 на 11 января 1826 г. Отметив ошибку престарелого участника Черниговского полка, Ю. Г. Оксман пришел к совершенно правильному выводу: «...несмотря на свою принадлежность к тайному обществу, Пыхачев обманул расчеты мятежников и принял деятельное участие в операциях против них» (ВД, т. VI, стр. 345).

Материалы следствия по делу Пыхачева позволяют еще отчетливее установить всю низость его поведения. Оказывается, Пыхачев еще до восстания имел намерение изменить тайной организации и даже намекал Бестужеву-Рюмину о возможности доноса (ВД, т. IX, стр. 108, 119, 125, 126). Когда же пришла ответственная минута, требующая выполнения его революционных обязательств, Пыхачев, не колеблясь, перешел в правительственный лагерь. Узнав 31 декабря в Житомире о восстании, организованном С. Муравьевым-Апостолом, Пыхачев поспешно возвратился в свою роту, но не для того, чтобы оказать помощь черниговцам, а наоборот — принять все меры «дабы он ⟨С. Муравьев-Апостол⟩, по близости квартирования к нам, не сделал у нас в ротах тревоги» (ЦГАОР, ф. 48-И, д. 93, л. 24). На следствии Пыхачев показывал: «Января 3 дня, находясь со вверенной мне ротою при усмирении и забрании мятежников Черниговского пехотного полка, ревностное усердие всех членов по исполнению обязанности своей замечено корпусным командиром 3-го пехотного корпуса, за что имею счастье слышать личную благодарность с объявлением в приказе довести до сведения его величество» (там же, л. 21 об.). Только учитывая активное участие Пыхачева в подавлении восстания, можно понять, почему ему был вынесен такой легкий приговор: продержав два месяца под арестом, перевести в том же чине в 13-ю конно-артиллерийскую роту (ВД, т. VIII, стр. 158).

[50] По приказу командира 3-го пехотного корпуса генерала Рота на подавление восстания Черниговского полка были направлены полки 9-й пехотной и 3-й гусарской дивизий. Одновременно распоряжениями командующего 1-й армией генерала Сакена и 4-го корпуса генерала Щербатова были приведены в боевую готовность 1-й гренадерский корпус, 2-й и 4-й резервные кавалерийские корпуса, 10-я и 12-я пехотные, 3-я кирасирская, 4-я драгунская дивизии, а также ряд других частей и соединений.

Эти меры объясняются боязнью царя и командования 1-й армией, что восстание Черниговского полка явится сигналом к широкому выступлению войск на юге страны. 5 января 1826 г. Николай I с тревогой писал в. к. Константину Павловичу, что, по его сведениям, у восставших «наберется от 6000 до 7000 человек, если не окажется честных людей, которые сумеют удержать порядок» («Междуцарствие 1825 г. и восстание декабристов». М.— Л., 1926, стр. 175). Опасения Николая I оказались напрасными. Восстание Черниговского полка явилось единственным выступлением на юге.

[51] Сообщение о том, что С. Муравьев освободил своих крепостных вызвало сильную тревогу киевской губернской и уездной администрации. Гражданский губернатор И. Г. Ковалев писал полтавскому губернатору П. В. Тутолмину: «Квартирующего вверенной управлению моему губернии в г. Василькове, Черниговского пехотного полка командующий 2-м батальоном оного полка г. подполковник Муравьев-Апостол с несколькими ротами того полка сделал возмущение. А как до сведения моего дошло, что сей г. Муравьев-Апостол крепостных дворовых своих отпустил на волю и как он, сколько известно, имеет Полтавской губернии в Мирогородском повете значительное имение, то я долгом счел о произведенном им ныне возмущении уведомить ваше превосходительство с нарочным, для принятия зависящих с вашей стороны мер — к секретному разведыванию, не происходит ли в имении г. Муравьева-Апостола каких-либо беспорядков и к отвращению всяких вредных преднамерений, особенно через означенных отпущенных им на волю людей в случае явки их

туда произойти могущих» («Рух декабристів на Україні», 1926, стр. 66; ВД, т. VI, стр. 55; ЦГАОР, ф. 48-И, д. 20, л. 115).

[52] Весь эпизод, связанный с пребыванием Сухинова в Каменке, описан Горбачевским неточно. Рассказ В. Л. Давыдова позволяет исправить ошибки мемуариста («Красный архив», 1926, т. 6, стр. 41—42). Сухинов был радушно принят Зинькевичем, который помог ему деньгами. В. Л. Давыдов узнал о том, что у Зинькевича находился Сухинов (с которым он лично не был даже знаком) после того, как последний выехал из Каменки и, следовательно, вообще не мог проявить враждебного отношения к участнику восстания Черниговского полка («Воспоминания и рассказы», т. II, стр. 8—9, 25—26).

[53] История розысков и ареста Сухинова на основе изучения архивных материалов подробно изложена в статье Ю. Г. Оксмана «Поимка поручика И. И. Сухинова».— Сб. «Декабристы. Неизданные материалы и статьи» (Труды Пушкинского дома). М., 1925, стр. 53—74.

[54] Освещение мемуаристом событий в Полтавском полку и их последствий очень неточно. Впервые правильно существо дела было изложено М. В. Нечкиной в книге «Общество соединенных славян» (М., 1927, стр. 186—187).

[55] Приказом командующего 1-й армией от 18 января 1826 г. для судебного разбирательства восстания Черниговского полка была создана военно-судная комиссия под председательством командира 3-й пехотной дивизии генерал-майора Набокова (ВД, т. VI, стр. 75). Всеподданнейший доклад Аудиториатского департамента от 10 июля 1826 г. об офицерах Черниговского пехотного полка, судимых в Могилеве за участие в произведенном подполковником С. Муравьевым-Апостолом возмущении, напечатан — там же, стр. 124—198.

Сведения Горбачевского о существовании второй комиссии в Могилеве не подтверждаются документами. Возможно, что мемуарист второй Могилевской комиссией именовал Бело-Церковскую (см. следующее примечание).

[56] 18 февраля 1826 г., по приказу командующего 1-й армией, была создана в м. Белая Церковь военно-судная комиссия под председательством командира 2-й бригады 12-й пехотной дивизии генерал-майора Антропова для разбора дел и суда над солдатами и унтер-офицерами, причастными к восстанию на юге. После предварительного расследования из Черниговского полка были привлечены 126 человек. Из них 121 человек был приговорен к тяжелым телесным наказаниям, каторжным работам и переводу на Кавказ. 805 человек перевели на Кавказ без физической экзекуции (Г. С. Габаев. Солдаты — участники заговора и восстания декабристов.— Сб. «Декабристы и их время», II. М., 1932, стр. 361). 376 черниговцев лишили орденов, медалей (из них 112 за Отечественную войну) и нарукавных нашивок (ЦГВИАМ, ф. 36, д. 7, лл. 168—169). Кроме того, Бело-Церковская комиссия вынесла приговор 37 семеновцам, 15 солдатам Саратовского полка и 22 нижним чинам 8-й артиллерийской бригады (ЦГВИАМ, ф. 343, д. 198, л. 764).

[57] Слово «правительству» — вместо многоточия, очевидно, было внесено в текст П. И. Бартеневым (см. «Русский архив», 1882, № 2).

[58] Имеется в виду восстание Семеновского полка 16—18 октября 1820 г., вызванное жестокостью и деспотизмом полковника Шварца.

[59] Материалы Военно-исторического архива о заговоре Сухинова опубликованы и прокомментированы М. В. Нечкиной в статье «Заговор в Зерентуйском руднике».— «Красный архив», 1925, т. 6, стр. 259—279.

ПИСЬМА

В настоящем издании печатаются почти все дошедшие до нас письма И. И. Горбачевского, часть из которых была опубликована раньше, часть впервые вводится в научный оборот. Публикуемые письма составляют лишь крупицу обширной пере-

писки Горбачевского, которую он вел на протяжении более чем пятидесяти лет. Основная же часть этой переписки безвозвратно утрачена. До нас не дошло ни одного письма Горбачевского додекабрьской поры. В дни разгрома декабристского движения была уничтожена вся политическая переписка Горбачевского, в частности, его письма к М. П. Бестужеву-Рюмину, о содержании которых сохранились лишь разноречивые сведения в следственных делах декабристов. Нет никаких сведений и о письмах периода каторги. Имеющееся в нашем распоряжении эпистолярное наследие Горбачевского относится к более позднему периоду его жизни, когда, освобожденный в 1839 г. из каторжной тюрьмы Петровского Завода, он перешел на положение поселенца, а с 1856 г.— амнистированного декабриста. В эти три десятилетия он вел обширную переписку с разъехавшимися по всей Сибири товарищами, порой отправляя до 17 писем в одну почту. Но с годами круг декабристов редел и интенсивность переписки ослабевала. «...чем далее, то нашего полку убывает. Того и смотри, что придется уже ни одного письма не получать от старых своих знакомых и товарищей...»,— горько шутил Горбачевский в письме к Д. И. Завалишину 8 марта 1862 г. По свидетельству В. А. Обручева, в последние годы жизни Горбачевского к нему «всех чаще писал кн. Евг. Оболенский — всегда очень длинные письма в елейно-религиозном духе; затем, тоже длинно, но о делах земных, писал Д. И. Завалишин. Довольно аккуратные сношения были с Н. Д. Фон-Визиной и с М. А. Бестужевым» (см. настоящ. изд.).

Однако и письма Горбачевского 1840—1860-х годов дошли до нас далеко неполностью. Не сохранились, например, его письма к В. Н. Соловьеву, В. А. Бечасному, М. М. Спиридову и к некоторым другим товарищам по тайным обществам, о переписке с которыми имеются упоминания в его же письмах к Оболенскому и Пущину. Бесследно исчезли письма Горбачевского к ближайшему его товарищу по Обществу соединенных славян — Петру Борисову. Вероятно, эти письма, вместе с другими бумагами братьев Борисовых, сгорели во время пожара, возникшего при их трагической гибели в 1854 г. в с. М. Разводной. Уже через много лет после смерти Горбачевского затерялись, а возможно, и окончательно пропали его многочисленные письма к родной сестре — А. И. Квист, могущие быть, по отзыву П. И. Бартенева, читавшего их, «отличным дополнением» к его «Запискам» [1]. Летом 1918 г. в Москве, в квартире З. Д. Ерошкиной сгорела часть писем Горбачевского к Д. И. Завалишину [2].

Помимо гибели писем при случайных обстоятельствах, многие письма Горбачевского, как, впрочем, и других декабристов, уничтожались сознательно самими адресатами. «Письма мои и всякие уничтожай,— это лучше и безопаснее для всех»,— настойчиво рекомендовал Горбачевский своим корреспондентам. Не подлежит сомнению, что в ряде случаев совет этот выполнялся, причем в первую очередь, конечно, уничтожались письма политического содержания.

Таким образом, мы можем говорить лишь о небольшой части обширнейшей переписки Горбачевского, сохранившейся до настоящего времени и насчитывающей всего лишь около ста писем к восьми адресатам.

Почти полностью погибли ответные письма Горбачевскому от его многочисленных корреспондентов. По всей вероятности, основная их масса была предана огню самим Горбачевским в последние дни его жизни. По сообщению И. Г. Прыжова, «умирая, он все свои бумаги сжигал в камине» [3].

Знакомясь с дошедшим до нас эпистолярным наследием Горбачевского, следует помнить, что вся декабристская переписка сибирского и даже послесибирского, периодов их жизни протекала в чрезвычайно трудных условиях. В годы пребывания декабристов в каторжных тюрьмах они вообще были лишены права переписки и их

[1] «Русский архив», 1890, № 9, стр. 112.

[2] «Гибель исторических документов».— «Вечерняя Москва», 1926, 27 марта.

[3] Неизвестная работа И. Г. Прыжова о декабристах в Сибири. Сообщение Л. Н. Пушкарева.— ЛН, т. 60, кн. 1, 1956, стр. 638.

корреспонденцию вели приехавшие в Сибирь жены. После выхода декабристов на поселение, переписка им была разрешена, но постоянно контролировалась III Отделением и сибирскими властями, что накладывало отпечаток даже на самые невинные письма. «Клянусь тебе всем для меня священным, что мне отвратительно писать через руки правительства письма, где бы я хотел говорить с тобою со всею откровенностью растерзанной души,— писал 22 августа 1842 г. Горбачевский Пущину.— ⟨...⟩ Скажи, пожалуйста, что я могу писать к тебе, когда наши письма везде читаются? Меня это просто приводит в бешенство и отчаяние». Не всегда помогал декабристам и «эзоповский» язык, к которому некоторые из них прибегали. Так, обнаружив в 1840 г. в письмах Пущина отклонения от правил переписки политических ссыльных, начальство распорядилось: «Сказать ему ⟨Пущину⟩, чтоб он двусмысленных выражений и слов подчеркнутых, наводящих на мнение своею таинственностью, в письмах не помещал, если хочет, чтобы они доходили по адресам» [1].

Жандармская перлюстрация и задержка писем декабристов продолжалась и после амнистии 1856 г. Так, публикуемые в настоящем издании письма Горбачевского к Д. И. Завалишину от 23 августа и 27 сентября 1862 г., не дойдя до адресата, были приобщены к одному из дел III Отделения.

Письма печатаются по новой орфографии и лишь в отдельных случаях сохраняются особенности орфографии и пунктуации Горбачевского. Иногда Горбачевский оставляет недописанными отдельные слова, или пишет их сокращенно (чаще всего сокращения применялись им при написании личных имен), все такие слова печатаются полностью. Встречающиеся в автографах писем ошибочные написания фамилий и географических названий исправлены, согласно их точному наименованию. Слова, восстановленные по догадке, заключены в ломаные скобки.

Среди лиц, упоминаемых Горбачевским, много неизвестных нам людей, его сибирских знакомых. Их несколько десятков. Мы не объясняем в каждом случае — лицо не установленное.

1. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ. 5 АВГУСТА 1839 г.

Все письма Оболенскому печатаются по автографам (ИРЛИ, ф. 606, № 6 и 7). Впервые полностью опубликованы в изд. «Записок» Горбачевского 1925 г., стр. 239—311 (11 писем — с 1860 г. по 19 сентября 1863 г. и от 14 мая 1864 г.— с пропусками и неточностями были напечатаны в «Русской старине», 1903, №№ 9 и 10).

[1] Летом и осенью 1839 г. из Петровского Завода на поселение в разные пункты Сибири была отправлена последняя группа декабристов, осужденных по 1-му разряду. В их числе был и Оболенский.

[2] *Крашенинникова* — знакомая декабристов в Петровском Заводе.

[3] *Жданов* и *Арбузов* — торговцы в Петровском Заводе.

[4] Поликарп Павлович Сизых, священник в Петровском Заводе.

[5] *Громов* — знакомый Горбачевского в Петровском Заводе.

[6] *Бахмутов* — крестьянин Петровского Завода.

[7] Речь идет о декабристе Якове Максимовиче Андреевиче. Несмотря на болезнь, в июле 1839 г. он был переведен из Петровского Завода на поселение в Верхнеудинск, где и умер в местной больнице 18 апреля 1840 г.

[8] Александр Ильич Арсеньев, начальник Петровского Завода, покровительственно относившийся к декабристам. М. А. Бестужев писал о нем: «Человек прямой, бескорыстный, честный и благонамеренный. Мы все с ним очень сблизились» («Воспоминания Бестужевых», стр. 169).

---

[1] ЦГАОР, ф. 279-И, оп. 1, ед. хр. 249, л. 1.

[9] Александр Евтихиевич Мозалевский остался (по болезни) в Петровском Заводе. Переведен в с. Устьяновское (Енисейской губ.) в 1850 г.

[10] *Екатерина Дмитриевна* — Ильинская (урожд. Старцева), жена Д. З. Ильинского, доктора Петровского Завода.

[11] Оболенский первоначально был поселен в с. Итанцинском (Верхнеудинск. окр.).

[12] Дмитрий Иванович Насонов, служитель в Петровской тюрьме, из ссыльных.

[13] Семен Гру́зин, ссыльный поселенец в Петровском Заводе.

[14] Речь идет о помощи (в самых различных ее проявлениях), оказываемой декабристами местному населению. Из друзей Горбачевского особенно большая роль в этом принадлежит И. И. Пущину и Оболенскому. По словам сибирского старожила С. Семенова, «Пущин и Оболенский отличались большой общительностью и доступностью для народа, помогали обращавшимся к ним и деньгами, и советами, и юридическими знаниями. Они никогда не отказывали какому-нибудь бедняку-крестьянину или крестьянке написать письмо сыну-солдату, составить прошение, жалобу или заявление, за это и Пущин и Оболенский пользовались уважением и любовью местного населения...» («Сибирский архив», 1913, № 6-8, стр. 281).

2. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ. 19 АВГУСТА 1839 г.

[1] По окончании срока каторжных работ в 1839 г. братья П. и А. Борисовы вышли на поселение в с. Подлопатино (Верхнеудинск. окр.). Андрей Борисов страдал психическим расстройством, начавшимся еще в Читинской тюрьме.

[2] Дмитрий Захарович Ильинский, врач в Петровском Заводе, приятель многих декабристов.

[3] П. Сизых, священник в Петровском Заводе.

[4] Морем называли в тех краях озеро Байкал.

4. Н. А. БЕСТУЖЕВУ. 23 СЕНТЯБРЯ 1839 г.

Печатается по автографу (ИРЛИ, ф. 604, № 14, лл. 56—59). Впервые опубликовано в изд. «Декабристы в Бурятии». Верхнеудинск, 1927; где ошибочно датировано 1840 г. Год определяется содержанием письма.

[1] Так декабристы иронически называли Селенгинск, где с сентября 1839 г. находились на поселении М. А. и Н. А. Бестужевы. Последний писал 13 сентября 1839 г. родным: «Невыгоды города состоят в чрезвычайно песчаной почве, которая весною при сильных ветрах беспокоит жителей, нанося песчаные сугробы к домам, перемещая дороги и проч.» («Декабристы М. и Н. Бестужевы. Письма из Сибири», вып. 1. Иркутск, 1929, стр. 8—9). В одном из следующих писем он замечает, что жители Селенгинска терпят много неприятностей от «песков, засыпающих во время бурь целые дома, как в пустынях ливийских» (там же, стр. 12).

[2] Согласно изданному в 1835 г. указу, декабристам по выходе на поселение предоставлялось по 15 десятин душевого земельного надела. Горбачевский этим наделом не воспользовался.

[3] А. В. Поджио, вышедший на поселение в с. Усть-Кудинское (Иркутской губ.).

[4] Речь идет о П. И. Борисове.

[5] О ком идет речь — установить не удалось. Возможно, это одна из сестер Горбачевского.

[6] Николая Ивановича Горбачевского, военного инженера, скончавшегося на Кавказе в 1839 г.

[7] *Сестра* — Анна Ивановна Квист.

[8] *О. А.*— вероятно, Оскар Александрович Дейхман. О нем см. прим. к письму 24.

[9] Точки в подлиннике.

[10] М. Г. Сахаров, знакомый Горбачевского и Бестужевых.

[11] *Артамон* — А. З. Муравьев.

5. М. А. БЕСТУЖЕВУ. 3 ОКТЯБРЯ 1839 г.

Печатается впервые по автографу (ИРЛИ, ф. 604, № 14, лл. 60—63 об.). Год определяется содержанием письма. На л. 63 об.— приписка А. И. Арсеньева о присылке газет и журналов, о своем переводе в Баку, о Петровском Заводе.

[1] Дмитрий Дмитриевич Старцев, селенгинский купец.

6. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ. 5 ОКТЯБРЯ 1839 г.

[1] Горбачевский имеет в виду стеснения, которыми окружены были декабристы по выходе на поселение. Им запрещалось отлучаться от места поселения далее, чем на 15 верст, за каждым их шагом был установлен бдительный надзор. Вспоминая годы ссылки, М. И. Муравьев-Апостол писал: «Тридцать лет еженедельно доносили, что мы делаем, чем занимаемся, и всякий месяц сообщали о том в Петербург» (ЦГАОР, ф. 1153-И, оп. 1, ед. хр. 226, л. 17 об.).

7. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ. 2 ДЕКАБРЯ 1839 г.

[1] Речь идет о получении наследства после умершего на Кавказе брата — Николая Ивановича. См. письмо 4.

8. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ. 18 ДЕКАБРЯ 1839 г.

[1] *Кудрявцев* — знакомый декабристов в Забайкалье.
[2] Григорий Максимович Ребиндер, полковник, комендант Петровского Завода, сменивший в 1837 г. на этом посту С. Р. Лепарского.

9. М. А. БЕСТУЖЕВУ. 21 ДЕКАБРЯ 1839 г.

Печатается по автографу (ИРЛИ, ф. 604, № 14, лл. 64—65). Впервые опубликовано в изд. «Декабристы в Бурятии». Верхнеудинск, 1927, где ошибочно датировано 1840 г. Год определяется по содержанию письма и, в частности, по упоминанию о визите Ребиндера к А. И. Квист (см. предыдущее письмо).

[1] В Иркутске и близ него в 1839 г. жили на поселении: Бечаснов, Борисовы, Быстрицкий, Вадковский, Волконский, Вольф, Громницкий, Люблинский, Лунин, Александр Муравьев, Артамон Муравьев, Никита Муравьев, Муханов, Панов, братья Поджио, Сутгоф, Трубецкой, Юшневский, Якубович. Тютчев был с мая 1837 г в с. Тесинском (Минусинского окр.).
[2] *Марья Казимировна* — Юшневская.
[3] Речь идет о П. И. Борисове.
[4] Рассеянность и суетливость Бечасного, ставившие его в самые нелепые ситуации, были предметом постоянных шуток не только Горбачевского, но и других декабристов. Д. И. Завалишин пишет, что «главным героем шуточных стихотворений был товарищ наш Бечаснов, с которым случались беспрестанно приключения. На его счет писались целые поэмы, напр., „Похождение Бечасного в царство гномов“, „Похищение цикория“ и пр.» («Записки декабриста Д. И. Завалишина», т. II. Мюнхен, 1904, стр. 103).

10. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ. 3 ЯНВАРЯ 1840 г.

[1] М. М. Спиридов после отбытия каторги был переведен на поселение в Красноярск.

11. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ. 7 ЯНВАРЯ 1840 г.

[1] В с. Урик (близ Иркутска) находился на поселении С. Г. Волконский.

13. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ. 8 ИЮЛЯ 1840 г.

[1] М. М. Нарышкин, определенный в 1837 г. рядовым на Кавказ, в 1838 г. был произведен в унтер-офицеры, а в 1840 г.— в юнкеры.

[2] В. Н. Соловьев был освобожден от каторжной работы в Петровском Заводе в мае 1840 г.

14. И. И. ПУЩИНУ. 28 ИЮЛЯ 1840 г.

Письма к Пущину печатаются по автографам ЛБ (кроме № 29). Впервые опубликованы в изд. «Записок» Горбачевского 1925 г., стр. 315—333. На этом письме помета Пущина: «Пол. 5 сент.».

[1] Осенью 1839 г. Пущин был переведен на поселение в Туринск (Тобольской губ.), куда прибыл 9 октября.

[2] Василий Львович Давыдов в 1839 г. был переведен в Красноярск.

[3] *Салин* (Салик) — повар в каземате Петровского Завода. М. А. Бестужев вспоминал: «Наш повар, крымский татарин Салик (возвращенный впоследствии на родину по ходатайству княгини Зинаиды Волконской лично у государя), был сослан за то, что оказался виновным в случайном присутствии при убийстве». М. А. Бестужев называет его жертвой «произвола нашего бессовестного и бестолкового суда» («Воспоминания Бестужевых», стр. 169).

[4] Анна Ивановна Малиновская, сестра декабристов И. И. и М. И. Пущиных, жившая в Петербурге.

[5] В Туринске в 1840 г., кроме Пущина, жили на поселении И. А. Анненков, Н. В. Басаргин, В. П. Ивашев.

15. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ. 17 АВГУСТА 1840 г.

На письме помета Оболенского: «Пол. 1-го сент. Отв. 10 чрез Ждан(ова)».

16. И. И. ПУЩИНУ. 23 АВГУСТА 1840 г.

На письме помета Пущина: «Пол. 26 октября».

[1] Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин 2-й в 1840 г. был переведен на поселение в Тобольск, где ухаживал за своим братом Николаем, помещенным в дом умалишенных.

[2] Речь идет об А. Х. Бенкендорфе.

[3] Иван Васильевич Малиновский, лицейский товарищ Пущина, был женат на его сестре Анне Ивановне.

[4] Д. И. Завалишин женился на дочери начальника нерчинских заводов С. И. Смольянинова — Аполлинарии Семеновне.

17. И. И. ПУЩИНУ. 9 ДЕКАБРЯ 1840 г.

[1] Александром Ивановичем Горбачевский в некоторых письмах называл Александра Евтихиевича Мозалевского.

[2] А. П. Барятинский страдал болезнью горла, отзывавшейся на внятности его речи.

18. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ. 23 ДЕКАБРЯ 1840 г.

[1] *Гацицкий* — ксендз иркутского костела, был духовником М. С. Лунина.

19. И. И. ПУЩИНУ. 20 МАЯ 1841 г.

[1] В. П. Ивашев скоропостижно скончался в Туринске 30 декабря 1840 г. (ровно через год после смерти своей жены Камиллы Петровны), оставив трех малолетних детей — Марию, Петра и Веру.

[2] *Николай Васильевич* — Басаргин.

[3] *Яков Максимович* — Андреевич. Речь, видимо, идет об устройстве его могилы. См. письмо 17.

[4] Крестница Марии Николаевны Волконской.

20. И. П. ПУЩИНУ и Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ. 22 АВГУСТА 1842 г.

На письме помета Пущина: «Пол. 19 октября».

[1] Николай Иванович Пущин, брат И. И. Пущина, в 1842 г. во время служебной поездки в Сибирь виделся со многими декабристами.

[2] Корреспонденция декабристов, и после их выхода на поселение, проходила строгую цензуру III Отделения. Требовалось, чтобы письма писались самым разборчивым почерком и хорошими чернилами; в противном случае их не доставляли адресатам. Сохранилась следующая «Подписка» Горбачевского: «1847 года, июля 14 дня. Мы, нижеподписавшиеся государственные преступники, Иван Горбачевский и Александр Мозалевский, дали сию подписку Петровской Горной конторе в том, что полученное ею из Верхнеудинского общего окружного управления 6 июня № 152 отношение о том, чтобы отправляемые письма к родственникам, согласно воли его сиятельства господина шефа Корпуса жандармов графа Алексея Федоровича Орлова, были писаны разборчивым почерком и черными чернилами, нами в присутствии конторы объявлено, в чем к непременному исполнению и подписуемся.

Иван Горбачевский

Александр Мозалевский»

(«Декабристы в Забайкалье». Под ред. А. В. Харчевникова. Чита, 1925, стр. 44).

[3] Пущин и Оболенский, переведенные в Туринск в июне 1841 г.

[4] Горбачевский имеет в виду деньги, оставшиеся после умершего брата Николая. Официально декабристам позволялось получать от родственников и по завещаниям не более 1 000 рублей в год.

[5] Речь идет о священниках Петровского Завода Капитоне Ивановиче Шергине и Поликарпе Сизых.

Крайне резкую характеристику тому и другому дает Прыжов: Капитон Шергин «был горький пьяница, грабивший живого и мертвого, доводивший до того, что заводские дети умирали некрещеными, потом оставленный за штатом, все пропивший и вместе со своей попадьей и двумя дочерьми побиравшийся милостыней по заводу ⟨...⟩ Попа Капитона Шергина при декабристах сменил поп Поликарп Сизых — гордый и нахальный мужик» (Прыжов, л. 41 об.). *Анна Васильевна* — жена Поликарпа, *Хариеса* — их дочь.

[6] Ипполит Завалишин, младший брат Д. И. Завалишина. Еще до 1825 г. доносил на своего брата, а в 1827 г. с провокационными целями организовал так называемый «Оренбургский кружок», однако, вместе с выданными им участниками кружка, был сам приговорен к каторге, которую отбывал вместе с декабристами в Чите и в Петровском Заводе. От каторжных работ был освобожден лишь в 1844 г. В тюрьме неоднократно наказывался за буйство. В августе 1842 г. за дерзости против помощника управляющего Петровским Заводом был на месяц закован в кандалы и послан на тяжелые работы.

22. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ. 10 ИЮНЯ 1848 г.

Письма к Завалишину (кроме №№ 52 и 54) публикуются впервые по автографам (ГИМ, ф. 250, № 1).

[1] После смерти жены Завалишина — Аполлинарии Семеновны (ум. в 1845 г.) на его попечении остались теща — Ф. О. Смолянинова и две сестры покойной жены.

[2] Прыжов дает следующую характеристику Петровского Завода: «Население Петровского Завода, когда в нем в сентябре 1830 г. явились декабристы, жило совершенно в одичалом состоянии. Во главе Завода стояло жестокое крепостное право с полицмейстером, с полицией, с казаками, с тиранами служащими и с палачами. В 1833 году число ссыльных простиралось до 500 человек, не считая бежавших, число которых было также велико. Из них в 1831 г. свыше ста человек было приковано к тачкам; в 1848 г. 14 человек жили прикованными на стенные цепи ⟨...⟩ Ни базара, ни торговли не было. Разные люди продавали кое-что по домам, и только с прибытием декабристов являются первые лавки с товарами...» (Прыжов, л. 48).

[3] Завалишин писал исключительно мелко и неразборчиво.

23. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ. 5 АВГУСТА 1848 г.

[1] Отнюдь не «добрым» рисует Ф. А. Машукова в своих «Записях» Прыжов: «Сын горного служителя, учившийся в Нерчинском училище, Филипп Машуков переходит на службу в контору Петровска, мало-по-малу делается „советником", ползая и пресмыкаясь, получает за что-то крест и, кроме этого, служит комиссионером по подрядам. Он грабит здесь живого и мертвого. „Самых бедных людей заставляет проливать слезы, и совсем нищему заводскому крестьянину, идущему побираться по деревням, ни за что не выдаст билета в отлучку, если не сорвет пятитки",— рассказывают о нем старожилы...» (Прыжов, л. 42 об.).

[2] Михаил Илларионович Бибиков, племянник М. И. и С. И. Муравьевых-Апостолов.

[3] А. Н. Сутгоф в 1848 г., по ходатайству родных, был определен рядовым в Кавказский Отдельный корпус.

24. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ. 5 ЯНВАРЯ 1849 г.

[1] Оскар Александрович Дейхман, горный инженер, управляющий Петровского Завода (1849—1858), а позже — Нерчинских рудников, был в дружеских отношениях со многими декабристами и особенно с Горбачевским. Прыжов писал в 1882 г.: «Дейхман возвел теперешнее здание завода, устроил две новых доменных печи ⟨...⟩ и две паровых машины ⟨...⟩ При Дейхмане „брали Амур", и поэтому в заводе строили пароход. Для этого было пригнано из Нерчинска 200 человек каторжных. Была устроена обширная слесарная с усовершенствованными машинами ⟨...⟩ все принадлежности парохода и машина к нему были сделаны в заводе» (Прыжов, лл. 40 об.— 41 об.).

25. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ. 9 ОКТЯБРЯ 1849 г.

[1] В 1849 г. Пущину была разрешена поздка для лечения на Туркинские минеральные воды (в Забайкалье). Во время этой поездки, длившейся с марта по декабрь, он побывал в Селенгинске у Бестужевх, в Петровском Заводе у Горбачевского и в ряде других мест поселения декабристов.

26. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ. 25 НОЯБРЯ 1849 г.

[1] См. прим. к письму 25.

27. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ. 19 ИЮНЯ 1850 г.

[1] Горбачевский имеет в виду подготовительные мероприятия, проводимые в Чите по образованию Забайкальской области. В 1851 г. Забайкалье, состоявшее из Верхнеудинского и Нерчинского округов, было выделено из Иркутской губ. и преобразовано в самостоятельную Забайкальскую область с центром в Чите.

28. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ. 8 АПРЕЛЯ 1853 г.

[1] Карл Карлович Венцель, председатель Совета Главного управления Восточной Сибири. Во время частых разъездов Н. Н. Муравьева (Амурского) исполнял обязанности генерал-губернатора Восточной Сибири.

[2] Иван Варфоломеевич Поплавский, советник областного управления в Чите.

29. И. И. ПУЩИНУ. 5 ИЮНЯ 1854 г.

Печатается по автографу ЦГАЛИ. Впервые опубликовано в изд. «Летописи Государственного литературного музея. Кн. III. Декабристы». М., 1938, стр. 154—155. На письме помета Пущина: «Пол. 25 ноября».

[1] *Сергей Петрович* — Трубецкой; *Сергей Григорьевич* — Волконский.

[2] *Павел Андреевич* — читинский знакомый Горбачевского.

30. Н. А. БЕСТУЖЕВУ. 8 ОКТЯБРЯ 1854 г.

Печатается впервые по автографу (ИРЛИ, ф. 604, № 15, лл. 4—5 об.).

[1] *Генерал* — Николай Николаевич Муравьев-Амурский, с 1847 по 1861 г.— генерал-губернатор Восточной Сибири.

[2] Петр Васильевич Казакевич — военный губернатор Приморской области, сотрудник Н. Н. Муравьева в деле присоединения Амура.

[3] Слух об убийстве братьев Борисовых был, видимо, порожден внезапностью их смерти, последовавшей в один день — 30 сентября 1854 г. Петр Борисов скончался скоропостижно, а Андрей Борисов, потрясенный смертью брата, покончил жизнь самоубийством.

[4] Николай Николаевич Тоскин, управляющий Петровским Заводом в 1840-х гг. Горбачевский имеет в виду построенный им «Новый завод». «Тоскин был полезен Петровску. В 9 верстах от завода он устроил плотину на р. Баляге и построил „Новый завод" с молотовою, действующей водой...» (Прыжов, л. 40).

[5] Елена, Мария и Ольга Бестужевы приехали к братьям в Селенгинск в 1847 г., подвергнувшись всем правовым ограничениям, какие были установлены для жен декабристов, последовавших за ними в Сибирь.— *Мария Николаевна* — жена М. А. Бестужева.

31. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ. 20 ОКТЯБРЯ 1854 г.

[1] См. письмо 30 и прим. 3 к нему.

32. Н. А. БЕСТУЖЕВУ. 27 ДЕКАБРЯ 1854 г.

Печатается впервые по автографу (ИРЛИ, ф. 604, № 15, лл. 64—65 об.).

[1] Борис Васильевич Белозеров, знакомый декабристов в Петровском Заводе. Прыжов писал о нем: «Живущий в Петровском кяхтинский купец Б. В. Белозеров, когда-то простой крестьянский мальчик, встретившийся в Селенгинске с декабристами, под старость, когда он был уже богатым человеком и вел большие дела на Амуре и в Нерчинске, говорил нам: „Я человек простой, учился у дьячка, но был мальчик толковый, пользовался близостью Н. Бестужева и Торсона и им обязан всем". Действительно, живя в Петровском, Б. В. Белозеров является среди всего здешнего населения единственным мыслящим человеком, читает журналы, пользуется всеобщим уважением» (Прыжов, л. 114 об.).

[2] В 1854 г. у М. А. Бестужева родилась дочь Елена (ум. в 1867 г.). Кроме нее у М. А. Бестужева было трое детей: Николай, Мария и Александр, умершие в детском возрасте.

[3] По-видимому, речь идет об одном из очередных писем к Бестужевым их друга юности и постоянного корреспондента в годы ссылки — адмирала М. Ф. Рейнеке, находившегося во время Крымской войны в Севастополе и регулярно сообщавшего о военных действиях. В одном из писем Рейнеке прислал Бестужевым карты рейда и окрестностей Севастополя. Вспоминая об этих севастопольских письмах в 1856 г., М. А. Бестужев писал М. Ф. Рейнеке: «Следуя с напряженным вниманием и сердечным участием за осадою Севастополя, для полноты картины нам недоставало подробностей, и вы, добрейший Михаил Францевич, как истый моряк, сочувствуя нам, удовлетворили наше желание. К сожалению, последнее письмо ваше и посылка уже не застали в живых брата, а он только о них думал и говорил даже до последних минут своей жизни» (ЛН, т. 60, кн. 1, 1956, стр. 238).

33. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ. 3 МАРТА 1855 г.

[1] Речь идет о Сергее Григорьевиче Волконском и его сестре Софье Григорьевне, приезжавшей в 1855 г. к брату в Сибирь.

34. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ. 25 ОКТЯБРЯ 1856 г.

[1] Михаил Семенович Корсаков, ближайший помощник Н. Н. Муравьева в деле присоединения Амура. В 1860 г.— председатель Совета Главного управления Восточной Сибири, с 1862 г.— генерал-губернатор Восточной Сибири.

[2] Еще находясь на положении поселенца, Горбачевский (как и некоторые другие декабристы) неоднократно обращался с просьбой о разрешении вступить в частную или государственную службу, но каждый раз получал отказ. Сохранился следующий документ, вышедший из канцелярии председательствующего в Совете Главного управления Восточной Сибири 19 апреля 1850 г. и отражающий отношение к подобным просьбам правительства:

«Государственные преступники ⟨М. К.⟩ Кюхельбекер и Горбачевский обращались к генерал-губернатору Восточной Сибири с просьбами: первый о дозволении ему заниматься по Байкалу рыбными промыслами и судоходством или вступить в должность штурмана компании пароходства на Байкале наследников купца Мясникова и других, а Горбачевский — о дозволении ему заниматься на одном из золотых приисков Верхнеудинского округа, находящиеся вблизи места поселения Горбачевского.

Просьбы эти Кюхельбекера и Горбачевского его высокопревосходительство Николай Николаевич передавал на благоусмотрение и разрешение г. шефа Корпуса жандармов.

Ныне его сиятельство граф Орлов уведомил г. генерал-губернатора, что имея в виду высочайшие повеления 1831 и 1845 гг., коими воспрещается поселенцам из государственных преступников вступать в услужение к частным людям и допускать их к оборотам, которые превышают положение обыкновенного крестьянина и требуют продолжительных отлучек, его сиятельство не находит себя в праве ходатайствовать об удовлетворении вышеозначенных просьб государственных преступников Кюхельбекера и Горбачевского...» («Декабристы в Забайкалье», стр. 46—47).

Запрещение поступать на государственную или частную службу распространялось на декабристов и после амнистии 26 августа 1856 г.

35. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ. 5 СЕНТЯБРЯ 1858 г.

[1] Харлампий Романович Алексеев, служащий в Петровском Заводе. «Другой, учащийся у них ⟨декабристов⟩,— вспоминает Прыжов,— был некто Алексеев. Нищий мальчик, взятый декабристами и ими воспитанный, потом кончил курс в Нерчинском горном училище, тут же в Заводе был учителем, заведывал Болягинским рудником, теперь (1882 г.) член заводской конторы. Харлампий Романыч Алексеев — единственный порядочный человек в целом заводе» (Прыжов, л. 105 об.).

36. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ. 30 ОКТЯБРЯ 1858 г.

[1] Горбачевский, как и прочие «государственные преступники», получал в период ссылки казенное пособие в размере 56 руб. 57 ¼ коп. в год. После амнистии 1856 г. пособие Горбачевскому было удвоено.

[2] Речь идет о Михаиле Карловиче Кюхельбекере. О последних годах его жизни в Забайкалье см.: П. И. Першин-Караксарский. Воспоминания о декабристах.— «Исторический вестник», 1908, № 11, стр. 566—567.

37. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ. 3 ЯНВАРЯ 1860 г.

[1] В. А. Бечаснов умер в октябре 1858 г. в с. Смоленском; М. К. Кюхельбекер — в Баргузине в том же году.

[2] Горбачевский имеет в виду статьи Завалишина по Амурскому вопросу, печатавшиеся в «Морском сборнике» и др. журналах. См. прим. к письму 49.

38. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ. 17 НОЯБРЯ 1860 г.

[1] Причина двадцатилетнего перерыва в переписке таких близких друзей, какими были Оболенский и Горбачевский, остается невыясненной.

[2] Борьба вокруг крестьянского вопроса, обострившаяся в 1850-х гг., естественно, не могла не привлечь к себе особого внимания декабристов, впервые в своих политических программах поставивших этот вопрос и пытавшихся разрешить его революционным путем. Но взгляды декабристов в годы ссылки претерпели существенные изменения. Многие из них в 1840—50-х гг. пришли к выводу, что главным и непременным условием раскрепощения должно быть обеспечение крестьян землей. Эту точку зрения продолжали отстаивать не только те, у кого вопрос об освобождении с землей не вызывал сомнения еще в тайных обществах. В Сибири к этой точке зрения присоединились и те, кто ранее выдвигал лишь необходимость личного освобождения крестьян, а в вопросе наделения крестьян землей проявлял колебание или решал его отрицательно.

Для некоторой части декабристов (Н. Бестужев, Фонвизин, Якушкин, М. Муравьев-Апостол) в 1840—50-е гг. характерно ошибочное суждение, что только общинное землевладение раскрепощенного крестьянства обеспечит справедливое и безбедное его существование и предотвратит капиталистическую экспроприацию. Называя сельскую общину «элементом чисто славянским», призванным спасти русское крестьянство от пауперизации, считая ее готовой формой социализма, или, как писал Н. Бестужев, «социальным коммунизмом на практике», эти декабристы в своих рассуждениях о сельской общине близко подошли к теории «русского социализма», выдвинутой после 1848 г. Герценом.

Особую по своей решимости позицию заняли в отношении к крестьянскому вопросу Горбачевский и В. Ф. Раевский. Сторонники немедленного перехода земли в руки крестьян, они по-прежнему признавали лишь революционный путь решения аграрного вопроса и не разделяли либеральных иллюзий своих товарищей.

[3] *Наталия Дмитриевна* — жена декабриста М. А. Фонвизина, после его смерти — жена И. И. Пущина (рожд. Апухтина).

39. М. А. БЕСТУЖЕВУ. 7 ИЮНЯ 1861 г.

Печатается по автографу (ГПБ, ф. 69, Бестужевых, № 30, лл. 1—2). Впервые опубликовано в изд. «Записок» 1925 г.

[1] *Волков* — знакомый декабристов в Петровском Заводе.

[2] *Жуковский* — иркутский чиновник.

[3] *Саша* — см. прим. к письму 76; *Коля* и *Леля* — дети М. А. Бестужева.

[4] Дмитрий Дмитриевич Старцев (старший), селенгинский купец. *Федосия Дмитриевна* — его жена.

40. М. А. БЕСТУЖЕВУ. 12 ИЮНЯ 1861 г.

Печатается по автографу ГПБ. Впервые опубликовано П. Е. Щеголевым в прилож. к газ. «День», 1913, №№ 6—10, 11 ноября — 9 декабря. Вошло в изд. «Записок» 1925 г.

Выполняя просьбу Бестужева написать ему все, что он знает об общих товарищах по революционному делу, Горбачевский не пошел по пути простого перечня имен и повторения общеизвестных сведений о них, а сопроводил свой «список» дополнительными фактами и любопытными характеристиками. Последнее обстоятельство придало письму эмоциональность, выразительность и подняло его ценность как исторического источника. Правда, сам Горбачевский считал его сухой сводкой, но эта оценка для значительной части письма не соответствует действительности. Нельзя признать справедливым утверждение Горбачевского относительно того, что он писал письмо без плана и без системы. Сопоставление «списка» декабристов, составленного Горбачевским, с материалами Всеподданнейшего доклада Верховного уголовного суда не оставляет сомнения в том, что он ими пользовался. Трудно представить, чтобы, не имея этих данных перед глазами, престарелый декабрист по памяти смог так точно воспроизвести порядок имен «Доклада» с указанием разрядов, по которым были осуждены те или иные его товарищи (единственное расхождение Горбачевского с «Докладом» состоит в том, что он изменил порядковый номер Выгодовского с тринадцатого на двенадцатый). По всей видимости, данные Верховного уголовного суда Горбачевский почерпнул из книги Герцена и Огарева «14 декабря 1825 г. и император Николай» (Лондон, 1858), где они были напечатаны, и которую он, как известно, читал с карандашом в руках. Письмо Горбачевского от 12 июня 1861 г. служит важным дополнением к его «Запискам». Однако оно, в силу ряда обстоятельств (таких как время, ослабевшая память, недостаточная осведомленность и т. п.), имеет много неточностей и фактических ошибок. Может быть, неполностью доверяя своей памяти и не желая делать достоянием оставшихся в живых декабристов

свои оценки того или иного члена тайных обществ, Горбачевский просил Бестужева никому не посылать его письма. Однако последний не внял просьбе друга и через несколько недель переслал «список» Горбачевского издателю «Русской старины» М. И. Семевскому. На некоторые из ошибок Горбачевского обратил внимание сам Бестужев, сделавший ряд замечаний на полях письма. Записи Бестужева дословно воспроизводятся в комментариях к письму с пометой *М. Б.*

Поскольку исправление всех неточностей Горбачевского в письме от 12 июня 1861 г. потребовало бы очень много места, а значительная часть из них уже прокорректирована в примечаниях Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса к «Алфавиту декабристов» (ВД, т. VIII), мы ограничимся поправками лишь тех ошибок автора письма, которые не отмечены и не исправлены в специальной литературе, и тех, которые имеют особо принципиальное значение.

[1] Пестель был арестован в Тульчине 13 декабря. В то же самое время на его квартире в м. Линцы генералы Киселев и Чернышев произвели обыск (Б. Пушкин. Арест декабристов.— «Декабристы и их время», т. II. М., 1933, стр. 400). Ошибочное утверждение о том, что Пестель был арестован 14 декабря, бытовавшее среди декабристов и сохранившееся в специальной литературе (Б. Л. Модзалевский и А. А. Сиверс, И. М. Троцкий, А. В. Шебалов), восходит к неверным данным дежурного генерала 2-й армии Байкова.

[2] Бестужева-Рюмина в момент ареста братьев С. и М. Муравьевых-Апостолов в Трилесах не было. В это время он безуспешно пытался пробраться к «славянам» (см. стр. 54 настоящ. изд.).

[3] М. Бестужев написал на полях карандашом: Брат Муравьев Ипполит не мог пережить поражения и застрелился на поле битвы. Кузьмин был ранен картечью навылет в левый бок. Щепилло был убит. Кузьмина, Соловьева, Сухинова, Мозалевского и Быстрицкого арестовали тут же. Когда привезли их на ночлег в крестьянскую холодную мазанку, они нашли тут же раненого Сергея Муравьева, и Кузьмин, воспользовавшись минутою, когда упавшему в обморок Муравьеву бросились помогать, застрелился большим пистолетом, который он скрыл под шинелью.— *М. Б.*

[4] Трудно судить о степени осведомленности Горбачевского относительно первого разговора Сергея Муравьева-Апостола с императором. Но такой разговор действительно был, Николай I писал после него: С. Муравьев-Апостол «был образец закоснелого злодея. Одаренный необыкновенным умом, получивший отличное образование, ⟨...⟩ он был в своих мыслях дерзок и самонадеян до сумасшествия, но вместе скрытен и необыкновенно тверд» («Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи». Подготовил к печати Б. Е. Сыроечковский. М.— Л., 1926, стр. 33).

[5] Карандашная запись М. Бестужева: Это была счастливая случайность. Каждый разряд для слушания сентенции собирался в особые комнаты, кругом уставленные павловскими гренадерами. Дверь из комнаты, где был собран 1-й разряд, распахнулась в ту комнату, где стояли пятеро висельников: я и многие другие бросились к ним. Но мы только успели обняться, нас и разлучили.— *М. Б.*

[6] Их схоронили на Голодае за Смоленским кладбищем и, вероятно, недалеко от Галерной гавани, где была гауптвахта, потому что с этой гауптвахты наряжались часовые, чтобы не допускать народ на могилу висельников. Это обстоятельство и было поводом, что народ повалил туда толпами. Хорошие секреты!!! — *М. Б.*

[7] Перед фамилией Каховского — сноска, под которой на отдельном приложенном листе следующее пространное замечание М. Бестужева:

Сорвались с петли из пяти висельников — точно трое: М. Бестужев, С. Муравьев и третий, ты говоришь, Каховский: я утверждаю — Рылеев. Ты основываешь свое убеждение на словах плац-майора Подушкина, плац-адъютантов и офицера Волкова; но из всех из них свидетельство только Волкова, как единственного личного свидетеля принять должно; все прочие говорили по слухам. Но как мог знать Волков,

кто Каховский, кто Рылеев? У кого он мог спросить об этом? Не у палача же, не у Кутузова же!..

Сверх того, тюремная казнь морально так изменила всех нас, что брат Николай едва признал Рылеева, когда в Алексеевском равелине они бросились друг другу на шею. И чтоб яснее доказать тебе, что молодой офицер Волков, присутствуя по обязанности на такой страшной экзекуции, при благородстве его чувств (что он тебе потом доказал в Кексгольме), был ошеломлен, был нравственно уничтожен ужасом совершившейся перед его глазами драмы.

В доказательство сему я приведу его же свидетельство, повторенное тобою, что, когда висельники сорвались с петли, они приблизились друг к другу и пожали связанные руки на вечное прощание. Они сделать этого не могли по двум очень уважительным причинам. Во-первых, потому, что упавши, на пороге смерти, они больно ушиблись и были не в состоянии исполнить этого обряда. Один Рылеев, разбив при падении голову и потеряв много крови, мог подняться и говорить с Кутузовым. Во-вторых, они не могли этого сделать уже потому, что были наряжены перед казнью в какие-то мешки, с круглыми отверстиями на дне, куда просунули головы осужденных и под ногами связали веревкой.

В лихорадочном состоянии своей памяти, Волков смешал моменты: точно это было, но только было в начале казни. Когда осужденных ввели на эшафот, все пятеро висельников приблизились друг к другу, поцеловались и, оборачиваясь задом, потому что руки были связаны, пожали друг другу руки, взошли твердо на доску, которая должна была заставить их умирать дважды; и эта доска, эти веревки не изменили надеждам Незабвенного.— Они умерли дважды, может быть умирали в медленных страданиях целые тысячелетние минуты, но умерли, погибли, а этого-то только ему и хотелось.

Теперь я хочу тебе привести свои доводы, что третий, сорвавшийся с петли, был Рылеев, а не Каховский. В тот же день тот же самый плац-майор Подушкин посетил меня в Невской куртине. Когда я его спросил:

— Скажите, пожалуйста, мы знаем, что повешенных должно быть пять, а мы видели только двух?

— Три сорвались, батюшка, сорвались! — отвечал он.

— Кто же сорвался? — спросил я.

— Муравьев-Апостол, Бестужев и еще третий — он бранился с генерал-губернатором Петербурга.

— Кто же это?

— Ну, право, батюшка, не знаю.

Плац-адъютант Трусов положительно сказал, что это был Рылеев. Впоследствии, когда наши дамы прибыли в Читу, Катерина Ивановна Трубецкая и Александра Григорьевна Муравьева подтвердили это. Они говорили, что в тот же день во всех аристократических кружках Петербурга рассказывали, как достоверное, сделавшееся известным через молодого адъютанта Кутузова, что из трех сорвавшихся поднялся на ноги весь окровавленный Рылеев и, обратившись к Кутузову, сказал:

— Вы, генерал, вероятно приехали посмотреть, как мы умираем. Обрадуйте вашего государя, что его желание исполняется: вы видите — мы умираем в мучениях.

Когда же неистовый голос Кутузова:

— Вешайте их скорей снова!..— возмутил спокойный предсмертный дух Рылеева, этот свободный, необузданный дух передового заговорщика вспыхнул прежнею неукротимостью и вылился в следующем ответе:

— Подлый опричник тирана! Дай же палачу твои аксельбанты, чтоб нам не умирать в третий раз.— *М. Б.*

В споре о том, кто из пяти казнимых сорвался с петли, оказались неправы и Горбачевский и М. Бестужев. Возглавлявший казнь генерал-адъютант Голенищев-Кутузов доносил царю, что во время нее сорвались Каховский, Рылеев, С. Муравьев-Апостол («Былое», 1906, № 3, стр. 226; ср. «Воспоминания Бестужевых», стр. 779—780).

[8] Во втором издании «Записок» редактор принял кляксу в тексте письма после цифры два за ноль. Между тем, при более тщательном изучении автографа, можно установить, что под кляксой проглядывает цифра три и, таким образом, нет противоречий между показаниями Горбачевского на следствии и в данном письме о времени вступления его в Общество соединенных славян.

[9] Кн. Александр Петрович Барятинский был женат на местной тобольской крестьянке; по амнистии 26 августа 1856 г. его детям, рожденным после приговора, были даны права потомственного дворянства, а 30 августа им дарован и княжеский титул, который носил их отец до осуждения.

[10] На полях Бестужев написал карандашом:

В Варшаве, куда он успел пробраться после 14 декабря. Счастливо избежав по пути все опасности преследования, он, как истый немец, был арестован в Варшаве из желания после долгих лишений выпить чашку кофе. Проходя мимо гауптвахты, он признал мундир того полка, где один из его знакомых офицеров славно варил кофе, подошел к солдатам и начал расспрашивать, где живет такой-то. Это возбудило подозрение и он был задержан.— *М. Б.*

[11] Александр Иванович.— *М. Б.*

[12] В дер. Кузмихе.— *М. Б.*

[13] Мальвинского.— *М. Б.*

[14] В дер. Смоленщине.— *М. Б.*

[15] В заметке «Поправка», опубликованной 1 мая 1858 г. в 14 листе «Колокола», Герцен исправил ошибку, вкравшуюся в изданную им совместно с Огаревым книгу «14 декабря 1825 г. и император Николай». «Юшневский,— писал Герцен,— скончался не на похоронах Н. Муравьева, а другого товарища, Вадковского» (А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. XIII. М., 1958, стр. 267). При этом Герцен ссылался на информацию неназванного им корреспондента. Поскольку известно, что Горбачевский имел книгу Герцена — Огарева, сделав на ее полях немало заметок, а текст «Поправки» и «Письма» совпадает, напрашивается предположение о том, не Горбачевский ли под свежим впечатлением от книги «14 декабря 1825 г. и император Николай» сообщил Герцену и Огареву об их ошибке

[16] На сутки привезен был в Шлиссельбург.— *М. Б.*

[17] Форт — «Слава», с братом Александром, Матвеем Муравьевым, Арбузовым и Тютчевым.— *М. Б.*

[18] Антон Петрович.— *М. Б.*

[19] Женился, овдовел.— *М. Б.*

[20] Со старухою тещею и двумя сестрами жены.— *М. Б.*

[21] Николай Алексеевич.— *М. Б.*

[22] С Повало-Швейковским.— *М. Б.*

[23] В дер. Веденщине.— *М. Б.*

[24] С Пановым и Швейковским.— *М. Б.*

[25] Из отставки просился и назначен в Пятигорский госпиталь смотрителем.— *М. Б.*

[26] Из Петропавловской крепости был в Шлиссельбурге, а потом куда девался — неизвестно.— *М. Б.*

[27] Сидел ли действительно Горбачевский двое суток под арестом в церкви — на основе имеющихся документов установить нельзя. Известно однако, что 17 августа 1846 г. иркутский архиепископ Нил просил генерал-губернатора Восточной Сибири В. Я. Руперта «обуздать и вразумить» с помощью местных священников безбожников Горбачевского и Мозалевского (Б. Е. Сыроечковский. К характеристике религиозного вольнодумства декабристов.— «Каторга и ссылка», 1929, № 12, стр. 82—91).

[28] Сергей Васильевич Максимов (1831—1901) — этнограф, беллетрист-народник, автор книги «Сибирь и каторга» (СПб., 1871), в третьей части которой впервые в русской печати было дано широкое описание жизни декабристов на каторге.

[29] Далее следует исключительно тяжкое, несправедливое обвинение, брошенное Горбачевским Пушкину, которое мы не печатаем. Оно опровергается многими известными фактами, в особенности встречами Пестеля с Пушкиным 9 апреля, 25 и 26 мая 1821 г. в Кишиневе (М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. М., 1951, стр. 291, 298—299) и письмом М. С. Волконского, сына декабриста, к Л. Н. Майкову о поручении, данном С. Г. Волконскому Директорией Южного общества принять поэта в тайную организацию (ЛН, т. 58, 1952, стр. 162—166). Утверждение Горбачевского уязвимо и в том отношении, что ни мемуарист, ни его товарищи по тайной организации не могли бы встретиться с Пушкиным, поскольку с августа 1824 г. до июля 1826 г. опальный поэт жил безвыездно в Михайловском.

[30] Здесь также Горбачевский опирается в своем мнении на какие-то непроверенные слухи. Ни братья А. Л. и В. Л. Давыдовы, ни И. Н. Инзов, при котором Пушкин служил в Кишиневе, никогда не только не «прогоняли» его, но наоборот к нему прекрасно относились. Высылка же поэта из Одессы, при содействии М. С. Воронцова, имела политический характер (см. Указ. соч. М. А. Цявловского «Летопись...»).

[31] Николай Николаевич Тоскин. (См. о нем прим. 4 к письму 30).

[32] Далее с нового листа следует продолжение списка. Очевидно, Горбачевский не смог в один прием написать о всех осужденных декабристах и, завершив работу, отослал вторую ее часть с одной из следующих почт.

[33] В форте «Слава».— *М. Б.*

[34] Письмо С. П. Трубецкого от Думы Северного общества к генералу М. Ф. Орлову с приглашением немедленно приехать в Петербург Свистунов доставил в Москву, видимо, 17 декабря (поскольку он выехал из столицы 13). Вместе с ним из Петербурга выехал брат С. Муравьева-Апостола — Ипполит, который должен был информировать «южан» о решении «северян» начать восстание (ВД, т. I, стр. 41, 45, 58—59, 162 и др.; М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. II, стр. 246—247).

[35] Михаил.— *М. Б.*

[36] Иван.— *М. Б.*

[37] Александр.— *М. Б.*

[38] Константин.— *М. Б.*

[39] Черниговский полк остался существовать в царской армии под своим старым названием, но состав его был почти полностью обновлен.

41. М. А. БЕСТУЖЕВУ. 6 ИЮЛЯ 1861 г.

Печатается по автографу ГПБ. Впервые опубликовано в изд. «Записок» 1925 г.

[1] О *Сашке* — см. прим. к письму 76.

[2] Наталия Николаевна Селиванова, сестра жены М. А. Бестужева.

42. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ. 17 ИЮЛЯ 1861 г.

[1] Каторжная тюрьма в Петровском Заводе, построенная специально для декабристов. Сгорела 15 апреля 1866 г.

[2] Горбачевский упустил из вида оставшихся в Восточной Сибири и переживших его В. Ф. Раевского (ум. в 1872 г.), А. Н. Луцкого (ум. в 1870-х годах) и П. Ф. Выгодовского (ум. в 1881 г.). Материалы, уточняющие биографию П. Ф. Выгодовского, см.: М. М. Богданова. Декабрист-крестьянин П. Ф. Дунцов-Выгодовский. Иркутск, 1959.

[3] *Памятное железо* — кандалы, в которые были закованы декабристы на каторге.

43. П. И. ПЕРШИНУ-КАРАКСАРСКОМУ. 14 ДЕКАБРЯ 1861 г.

Оба письма к Першину печатаются по тексту «Исторического вестника», 1908, № 11, стр. 564—565.

См. воспоминания П. И. Першина-Караксарского о Горбачевском в настоящем издании.

[1] Алексей Михайлович Лушников, кяхтинский купец.

44. Н. П. ОБОЛЕНСКОЙ. НАЧАЛО ЯНВАРЯ 1862 г.

Печатается по автографу (ИРЛИ, ф. 606, № 32). Впервые опубликовано в «Каторге и ссылке», 1925, № 1, стр. 169—172.

Наталия Петровна Оболенская — сестра декабриста Оболенского.

По-видимому, именно об этом письме к Оболенской упоминает Горбачевский в письме к ее брату от 18 января 1862 г. (№ 45), как об отправленном с прошедшей почтой. В таком случае его можно отнести к началу января. Содержание письма — замечания о крестьянской реформе и др.— подтверждают эту датировку.

45. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ. 18 ЯНВАРЯ 1862 г.

[1] *Александр Викторович* — Поджио.

[2] *Павел Сергеевич* — Бобрищев-Пушкин.

[3] *Наталия Дмитриевна* — Фонвизина.

[4] *Софья Никитична* — Бибикова, дочь Н. М. и А. Г. Муравьевых (Нонушка).

[5] По возвращении из Сибири Оболенский вместе с декабристами П. Н. Свистуновым и Г. С. Батенковым принимал деятельное участие в заседаниях Калужского комитета по улучшению быта помещичьих крестьян. Все трое примыкали к «левому», либеральному меньшинству Комитета.

46. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ. 8 МАРТА 1862 г.

[1] Сообщение о смерти С. Г. Волконского оказалось неверным. Он умер в 1865 г.

[2] После амнистии 26 августа 1856 г. декабристам было запрещено жить в столицах и столичных губерниях.

48. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ. 22 МАРТА 1862 г.

[1] *Петр Николаевич* — Свистунов.

49. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ. 10 МАЯ 1862 г.

[1] В конце 1850-х — начале 1860-х годов Завалишин выступил на страницах журналов «Морской сборник» и «Вестник промышленности» с серией статей, критикующих методы освоения Приамурья. Не отрицая большого государственного значения решения амурского вопроса, Завалишин в своих статьях писал о бедственном положении переселенцев, раскрывал произвол местных властей, ошибки и промахи высшей администрации, возглавляемой генерал-губернатором Восточной Сибири Н. Н. Муравьевым (Амурским). Статьи эти вызвали большой общественный резонанс и резкое обострение отношений между их автором и Н. Н. Муравьевым. Последний добился запрещения печатать статьи Завалишина, а в 1863 г., уже будучи смещенным с поста генерал-губернатора,— высылки Завалишина из Забайкалья.

50. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ. 5 ИЮЛЯ 1862 г.

[1] Деятельность А. Е. Розена в качестве мирового посредника и его отношение к крестьянской реформе отражены им самим в «Записках декабриста». Лейпциг, 1870, стр. 517—634.

52. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ. 23 АВГУСТА 1862 г.

Печатается впервые по автографу (ЦГАОР, ф. 1463-И, оп. 2, д. 482, лл. 1—2).

[1] Горбачевский имеет в виду воспоминания М. А. Бестужева — «Мои тюрьмы», писавшиеся им в начале 1860-х годов, по просьбе М. И. Семевского, а также автобиографические рассказы Н. А. Бестужева (написанные в тюрьме Петровского Завода), и «Записки И. И. Пущина о дружеских связях его с Пушкиным» (впервые опубликованные в 1859 г. в журнале «Атеней»). Во всех перечисленных автобиографических произведениях повествование тесно соединялось с личностью их авторов, а рассказ велся от первого лица. Горбачевский отрицательно относился к такого рода мемуарам и иронически называл их «повестями» и «романами».

[2] *Сергей Григорьевич и Мария Николаевна* — Волконские.

53. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ. 27 АВГУСТА 1862 г.

[1] *Гавриил Степанович* — Батенков. Горбачевский не был знаком с Батенковым до 1825 г. Не встречался он с ним и в Сибири, ибо Батенков в течение 20 лет находился в одиночном заключении в Свартгольмской и Петропавловской крепостях, а с 1846 г.— на поселении в Томске. После амнистии 1856 г. он вернулся в Европейскую Россию и жил в Калуге.

54. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ. 27 СЕНТЯБРЯ 1862 г.

Печатается впервые по автографу (ЦГАОР, ф. 1463-И, оп. 2, д. 482, лл. 3—4).

[1] О галерее портретов декабристов, созданной Н. Бестужевым — см. исследование И. С. Зильберштейна в «Лит. наследстве», т. 60, кн. 2, 1956.

55. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ. 15 НОЯБРЯ 1862 г.

[1] В. И. Штейнгель умер в Петербурге 20 сентября 1862 г. Тайный агент, следовавший за его гробом, доносил в III Отделение, что, несмотря на то, что «сын покойного с намерением не публиковал о кончине и дне погребения своего отца, опасаясь какой-либо неуместной манифестации», на похороны явились «неизвестные лица в партикулярной одежде, которые настоятельно требовали, чтобы нести гроб на руках», а «поравнявшись с крепостью, против того места, где были повешены декабристы ⟨...⟩ требовали, чтобы отслужить литию». По дополнительным сведениям, собранным III Отделением, наибольшую активность при этом проявили братья Семевские, литератор Хмыров и полковник П. Л. Лавров. «Все эти господа,— говорилось в справке, приложенной к донесению,— принадлежат к партии крайних, но осторожных либералов» (ЦГАОР, ф. 109-И, 1 эксп., д. 61, ч. 70, лл. 139, 141).

[2] Некролог М. И. Семевского «Кончина барона В. И. Штейнгеля» был напечатан в «Московских ведомостях», 1862, № 209, 25 сентября.

56. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ. 15 НОЯБРЯ 1862 г.

[1] Михаил Степанович Добрынин, бывший надзиратель в Петровском Заводе.

57. Д. И ЗАВАЛИШИНУ. 28 ФЕВРАЛЯ 1863 г.

[1] Иван Францевич Буттоц — горный инженер, золотопромышленник. См. о нем воспоминания Обручева в настоящ. изд.

[2] О В. А. Обручеве см. прим. к письму 70.

Характеристика Обручева, данная Горбачевским, очень близка к рассказу о нем Прыжова. Последний пишет, что в Петровском Заводе «Обручев жил крайне скромно, почти никуда не ходил, учил детей по 50 коп. в час ⟨...⟩, держал заводское начальство, как и следует, в приличном от себя отдалении. Чуть бывало кто войдет к Горбачевскому — он сейчас же вон. Он не позволял себе даже пользоваться их снисхождением и, считаясь в каторжной работе, каждый день аккуратно ходил в столярную („маховая") и что заставляли, то и делал» (Прыжов, л. 157).

58. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ. 15 АПРЕЛЯ 1863 г.

[1] Речь идет о некрологической статье Е. П. Оболенского «Несколько слов в память почившего сего янв. 3-го 1863 г. Мих. Мих. Нарышкина (декабриста)», напечатанной в газ. «День» 19 января 1863 г. (№ 3).

60. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ. 4 ИЮЛЯ 1863 г.

На письме помета Оболенского: «Пол. авг. 10. Отв. авг. 14».

[1] В марте 1863 г. племянники Горбачевского О. И., В. И. и А. И. Квисты обратились в III Отделение с просьбой разрешить ему жить в Петербурге или в Москве, на что последовал ответ шефа жандармов В. А. Долгорукова: «По всеподданнейшему моему докладу высочайше разрешено дворянину Горбачевскому иметь жительство в С. Петербурге на поручительстве просителей с учреждением за ним секретного надзора» (ЦГАОР, ф. 109-И, 1 эксп., д. 61, ч. 29, л. 23 об.).

61. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ. 26 ИЮЛЯ 1863 г.

[1] Речь идет о кн. Петре Алексеевиче Кропоткине (1842—1921), географе, исследователе Восточной Сибири, теоретике анархизма, с которым Горбачевский познакомился в Чите 9 февраля 1863 г. В своем «Дневнике» под этой датой Кропоткин сделал следующую запись: «Сегодня утром познакомился с Горбачевским, один из декабристов, оставшихся в Забайкалье. Он живет в Петровском Заводе и теперь выехал прокатиться, по совету докторов. Он остановился у Завалишина (между прочим, они на „вы", Завалишин, говорят, не был любим своими товарищами, он чуть ли не фискалил что-то). Горбачевский среднего роста, оброс бородой, лицом, вернее бородой, немного напоминает Адлерберга 2-го, только лоб очень высокий и крупный. Только что я вошел и был ему представлен, как он особенно дружески принялся говорить со мною. Я привозил ему посылку (карточки декабристов) от его племянника Квист. Квист писал ему обо мне, что вот-де человек едет в такую глушь, вот-де решимость. Горбачевский говорит мало, больше слушает, зато трещал Завалишин ⟨...⟩ Впрочем я должен был скоро уехать, да и Горбачевский собирался ехать в Завод» (Дневник П. А. Кропоткина. М.— Пг., 1923, стр. 75).

62. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ. 19 СЕНТЯБРЯ 1863 г.

[1] Протестуя против пребывания в Казани высланного из Сибири Завалишина, казанский губернатор писал в 1863 г. министру внутренних дел, что его «проживание в Казани — городе университетском ⟨...⟩, несмотря на надзор за ним полиции, может иметь крайне вредные последствия, особенно в настоящее время при беспрестанно возникающих беспорядках в Университете» (Ю. Г. Оксман. Высылка декабриста Д. И. Завалишина из Читы.— «Былое», 1925, № 5, стр. 149).

65. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ. 20 ФЕВРАЛЯ 1864 г.

[1] В 1863 г. у Оболенского умер малолетний сын Михаил.

67. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ. 14 МАЯ 1864 г.

[1] Начало телеграфной связи в Сибири относится к 1861 г.; телеграфная линия из Петербурга до Иркутска была завершена в 1863 г. (см. «Почтово-телеграфный журнал», 1892, стр. 12; 1897, стр. 622).

68. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ. 1 АВГУСТА 1864 г.

На письме помета Оболенского: «Отв. окт. 1-го».

[1] В 1863 г. А. В. Поджио было разрешено выехать для лечения за границу, где он и жил, преимущественно в Женеве, до начала 1870-х годов.

[2] Елена Сергеевна Кочубей, дочь С. Г. Волконского.

[3] Горбачевский имеет в виду отбывавших каторгу в Петровском Заводе поляков-повстанцев 1863 г. и пришедших к ним на помощь в дни восстания добровольцев: французов, швейцарцев, итальянцев-гарибальдийцев из отряда Франческо Нулло и др. Утверждение Горбачевского о том, что он их не видит и не слышит, подсказано, видимо, его обычной осторожностью в письмах. Связь с этими людьми поддерживали В. А. Обручев, доктор И. Е. Елин и другие друзья Горбачевского. Небезынтересно отметить, что с 1864 г. в Петровском Заводе и в некоторых других пунктах Восточной Сибири возникли слухи о предполагаемом восстании сосланных поляков. Сигнал к восстанию (по мнению гарибальдийцев) мог дать такой человек, который обладал бы качествами и убеждениями Горбачевского — этого потомка запорожских казаков (см. Б. Г. Кубалов. Страница из жизни гарибальдийцев в Петровском заводе.— «Свет над Байкалом», 1960, № 4).

69. Е. П. ОБОЛЕНСКОМУ. 22 ДЕКАБРЯ 1864 г.

На письме помета Оболенского: «Отв. февр. 14-го 1865-го года».

[1] Речь идет о тяжелой болезни П. С. Бобрищева-Пушкина (ум. 13 февраля 1865 г. в Москве) и А. В. Поджио.

[2] Это, видимо, последнее письмо к Оболенскому, который умер 26 февраля 1865 г. в Калуге.

70. В. А. ОБРУЧЕВУ. 16 ИЮЛЯ 1866 г.

Все письма Обручеву печатаются впервые по копиям.

Владимир Александрович *Обручев* (1836—1912) — публицист, участник революционного движения 1860-х годов, был приговорен в 1862 г. к трем годам каторги с последующим поселением в Сибири. Каторгу он отбывал первоначально на Александровском винокуренном заводе (Иркутской губ.), а в 1863 г. был переведен в Петровский Завод, где и сблизился с Горбачевским. Публикуемые письма печатаются по копиям с пропусками, снятыми с оригиналов самим адресатом. В бумагах Обручева имеются указания на то, что письма (с некоторыми купюрами) были подготовлены им к печати в качестве приложения к «Очеркам сибирской жизни». Обручев сообщает также, что «Очерки» были приняты М. Е. Салтыковым-Щедриным для «Отечественных записок» в декабре 1883 г., но так как журнал закрыли, то и письма не были напечатаны. Копии писем и право их публикации предоставлены нам дочерью В. А. Обручева — Верой Владимировной Обручевой, которой приносим искреннюю благодарность.— *Ред.*

71. В. А. ОБРУЧЕВУ. 8 СЕНТЯБРЯ 1866 г.

На копии письма помета Обручева: «На лоскутке при телеграмме о смерти сына моей бывшей домохозяйки, им, можно сказать, дом держался».

72. В. А. ОБРУЧЕВУ. 20 АПРЕЛЯ 1867 г.

[1] Горбачевский подразумевает разъезды Обручева в сентябре 1861 г. по Петербургу с целью распространения им 2-го номера воззвания «Великорусс», за что он и был арестован 4 октября 1861 г.

[2] Вдова Ивана Никитича Луцкина (см. о нем прим. к письму 76).

73. В. А. ОБРУЧЕВУ. 12 ОКТЯБРЯ 1867 г.

[1] *Калинка* — повар Горбачевского из ссыльно-каторжных; похоронен рядом с Горбачевским (Прыжов, л. 156).

74. В. А. ОБРУЧЕВУ. 5 ЯНВАРЯ 1868 г.

[1] Илья Степанович Елин (1840—1872), врач, ученик Горбачевского. См. о нем воспоминания П. И. Першина-Караксарского в настоящ. изд.

75. В. А. ОБРУЧЕВУ. 8 ФЕВРАЛЯ 1868 г.

[1] Саша Луцкин. См. прим. к следующему письму.

76. В. А. ОБРУЧЕВУ. 28 МАРТА 1868 г.

[1] Имеются в виду Александра и Александр Луцкины, дети заводского фельдшера Никиты Луцкина, в судьбе которых Горбачевский принимал большое участие. По завещанию Горбачевского им после его смерти перешло все его имущество. По словам Прыжова, «все дети Никиты Луцкина, исключая старшего сына его Евгения, заводского кузнеца, считались прижитыми его женой от Горбачевского ⟨...⟩ У него „считалось" два сына — Иван, умерший в 1866 г., и Александр — и дочь Александра. Александр — белокурый, его особенно любил Горбачевский, нянчился с ним, таская его на плечах, учил его, между прочим, рисованию, играть на фортепьяно, французскому языку, дал ему прекрасного учителя — Владимира Обручева, и ничто впрок не пошло. Думая сделать его практическим человеком, любящим труд, Горбачевский сначала посылал его в кузницу присматриваться к ремесленному делу, учил его точить на токарном станке. Видя, что дело-то нейдет, решился пустить его по торговой части ⟨...⟩ и все кончилось тем, что „сын его", по обычаю всей заводской сволочи, убегает на прииски. Там сначала он получает хорошее место, женится на девушке из очень хорошего дома, потом пьянствует, сходит с ума ⟨...⟩ Дочь его Александра, или как зовут ее, Александра Никитична (по Луцкину) опять белокурая и тоже очень любимая Горбачевским...» (Прыжов, лл. 147 об.— 148).

77. В. А. ОБРУЧЕВУ. 27 ИЮНЯ 1868 г.

[1] Алексей Евграфович Разгильдеев, горный инженер.

[2] Оставление Горбачевского в 1839 г. после каторги в Петровском Заводе «по приказу из Петербурга» не подтверждается ни официальными документами, ни другими материалами.

81. В. А. ОБРУЧЕВУ. 12 ДЕКАБРЯ 1868 г.

На письме помета Обручева: «Последнее письмо, уже ослабевшей рукой».

ДОПОЛНЕНИЯ

1. ДВА РАССКАЗА ГОРБАЧЕВСКОГО

Рассказы эти, записанные в 1862 г., приведены в статье П. И. Першина-Караксарского «Воспоминания о декабристах» («Исторический вестник», 1908, № 11, стр. 561—564).

[1] Горбачевский обучался в Витебске — сперва в народном училище, а потом в гимназии; по окончании ее поступил в Дворянский полк (в Петербурге), из которого выпущен был в 1820 г. в артиллерию прапорщиком.

[2] Ошибка: Общество основано в 1823 г.; в том же году вступил в него и Горбачевский.

2. ВОСПОМИНАНИЯ О ГОРБАЧЕВСКОМ

М. И. Венюкова

Извлечено из очерка М. И. Венюкова «Воспоминания о заселении Амура» («Русская старина», 1879, № 1). Встреча с Горбачевским, описываемая Венюковым, относится к 1857 г.

В. А. Обручева

Рассказ Обручева о Горбачевском взят из его воспоминаний «Из пережитого» («Вестник Европы», 1907, № 6). Об Обручеве — см. выше, стр. 341.

ИВАН ИВАНОВИЧ ГОРБАЧЕВСКИЙ

Рассказы П. И. Першина-Караксарского, сибирского знакомого Горбачевского, публикуются в выдержках из его «Воспоминаний о декабристах» («Исторический вестник», 1908, № 11, стр. 552—555).

Из писем Першина к издателю «Исторического вестника» С. Н. Шубинскому видно, что «Воспоминания о декабристах» были написаны между 1902 и 1908 гг. и высланы в редакцию журнала 25 января 1908 г. (ГПБ, ф. С. Н. Шубинского, оп. 1, № 114, л. 129). По-видимому, это не единственная работа Першина, связанная с декабристами, и, в частности, с Горбачевским. Еще 2 мая 1885 г. он писал Шубинскому: «Посылаю при сем маленький рассказ из числа слышанных мною от Ив. Ив. Горбачевского. Если этот рассказ будет иметь хотя какой-нибудь интерес, то представляю вам право его напечатать в „Историческом вестнике“» (Там же, № 32, л. 17). Рассказ этот опубликован не был. Не обнаружен он и в фонде Шубинского.

3. ⟨И. И. ГОРБАЧЕВСКИЙ. НЕКРОЛОГ⟩

Некролог опубликован в газете «Голос» 11 июля 1869 г., № 169, за подписью: «М.» (Подпись М. И. Семевского, под которой он выступал в 1860-х гг. в «Голосе» и др. периодических изданиях. См. И. Ф. Масанов. Словарь псевдонимов, т. II. М., 1957, стр. 137). Видимо, через него был передан в редакцию «Голоса» некролог, присланный из Сибири.

[1] Ошибка: Горбачевский умер 9 января 1869 г.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

ВД — Восстание декабристов. Материалы (Центр. архив), т. I—XI. М.— Л., 1925—1959.

«Воспоминания Бестужевых» — Воспоминания Бестужевых. Редакция, статья и комментарии М. К. Азадовского. М.— Л., Изд. АН СССР, 1951.

«Воспоминания и рассказы» — Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов, т. I. Общ. ред. Ю. Г. Оксмана и С. Н. Чернова. М., 1931; т. II. Общ. ред. Ю. Г. Оксмана. М., 1933.

«Исторические записки», т. 54 — М. В. Нечкина. Кто автор «Записок И. И. Горбачевского»? — «Исторические записки Института истории АН СССР», т. 54, 1955.

ЛН — «Литературное наследство».

«Очерки» — Очерки из истории движения декабристов. Сборник статей под ред. Н. М. Дружинина, Б. Е. Сыроечковского. М., 1954.

АРХИВЫ

ГИМ — Государственный исторический музей (Москва).

ГПБ — Государственная публичная библиотека РСФСР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР (Ленинград).

ЛБ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва).

Прыжов — И. Г. Прыжов. Декабристы в Сибири на Петровском Заводе. Рукопись.— ЦГАЛИ, ф. 1227, ед. хр. 6.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции (Москва).

ЦГВИАЛ — Центральный государственный военно-исторический архив в Ленинграде.

ЦГВИАМ — Центральный государственный военно-исторический архив в Москве.

ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив в Ленинграде.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

* Указатель составлен Е. М. Львовой.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Иван Иванович Горбачевский

Записки. Письма

Утверждено к печати
Редколлегией серии «Литературные памятники»
Академии наук СССР

*

Редактор издательства *К. П. Богаевская*
Переплет художника *М. А. Маризе*
Технические редакторы *С. Г. Тихомирова, О. Г. Ульянова*
Корректоры *Н. А. Алпатова, Л. П. Грачева*

РИСО АН СССР № 9—15В. Сдано в набор 28/VI 1963 г
Подписано к печати 26/IX 1963 г. Формат $70 \times 90^1/_{16}$.
Печ. л. $22^1/_4$ + 3 вкл. Усл. печ. л. 26,03+3 вкл.
Уч.-издат. л. 24,4 (24,1+0,3 вкл.) Тираж 3000 экз.
Изд. № 2091. Тип. зак. № 2423.

Цена 1 р. 58 к.

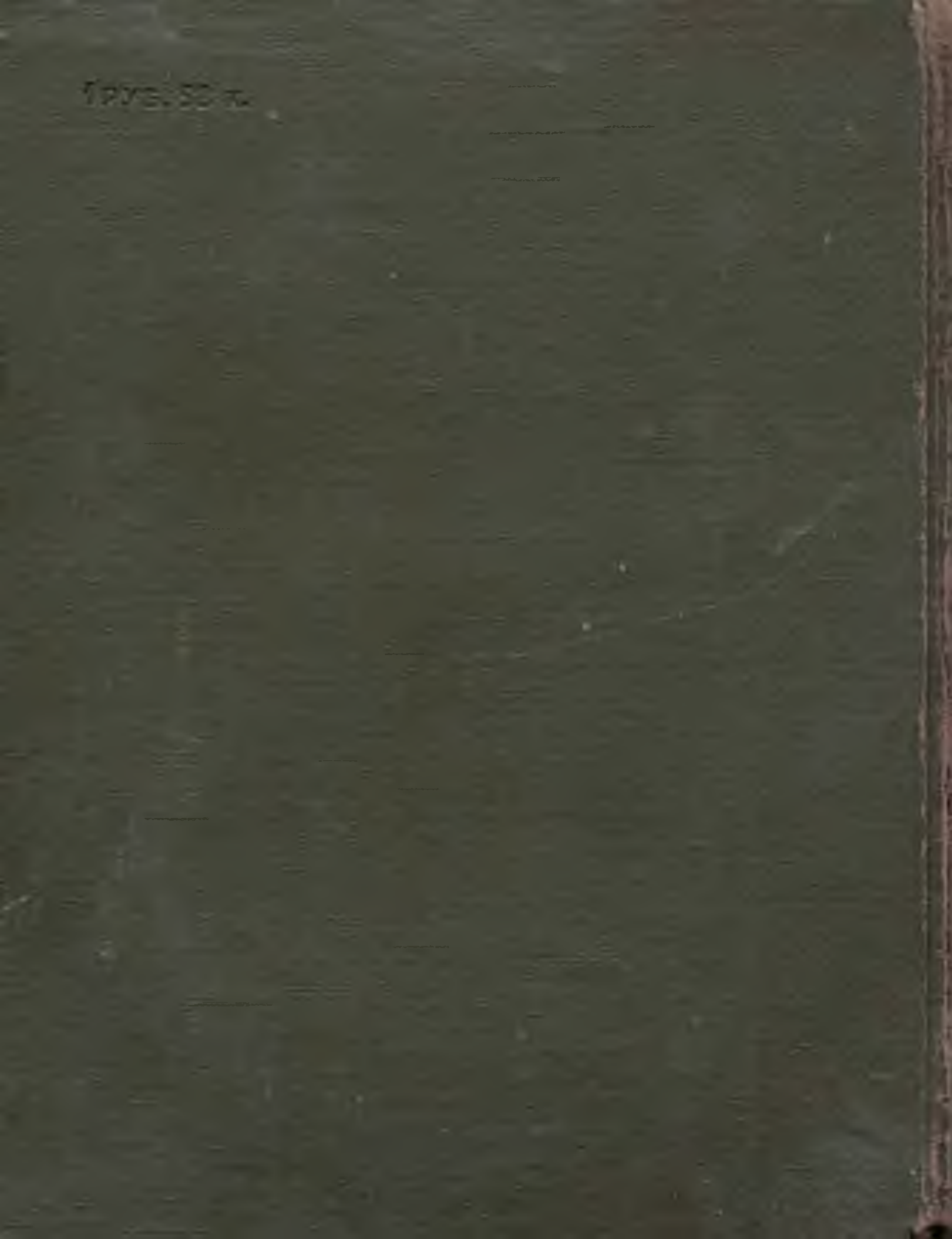
Издательство Академии наук СССР
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография Издательства АН СССР
Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

ОПЕЧАТКИ

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
65	2 сн.	всего	сего
65	5 сн.	1-й	17-й
68	16 сн.	Шутилов	Шутов
182	14 св.	Фахт	Фохт
278	23 сн.	Бертенев	Бартенев

И. И. Горбачевский. Записки. Письма.


1 руб. 50 к.



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР